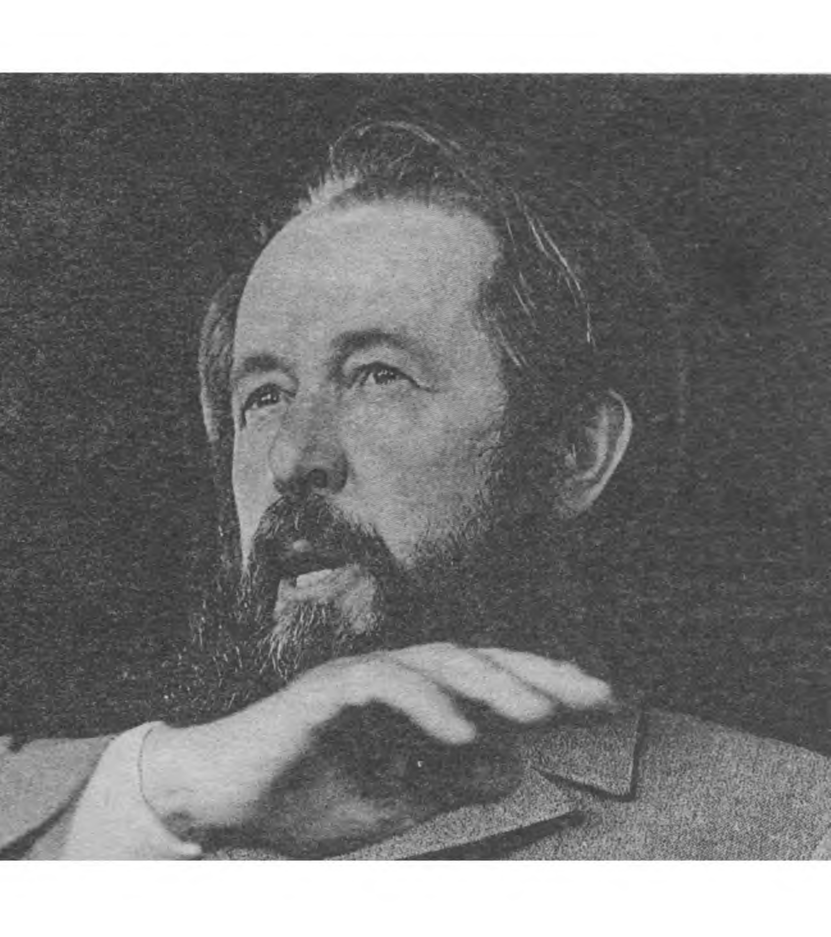
Александр

СОЛЖЕНИЦЫН

ПУБЛИЦИСТИКА







ПУБЛИЦИСТИКА

В трех томах

ТОМ 2

Общественные
заявления,
письма,
интервью

ЯРОСЛАВЛЬ
ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1996

ББК Р7
С60

Издание выпущено при содействии
Комитета РФ по печати

ISBN 5-7415-0462-0

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

1965-1974

НЕ ОБЫЧАЙ ДЁГТЕМ ЩИ БЕЛИТЬ, НА ТО СМЕТАНА

Статья академика Виноградова («Литературная газета» от 19 октября с. г.) рождает досадное ощущение: и тоном своим, и неудовлетворительным подбором примеров, и — в противоречие с содержанием — собственным дурным русским языком.

Тон её высокомерен — без надобности и без оснований. Несправедливо истолкованы побуждения старейшего писателя К. И. Чуковского, отдавшего лучшие движения своего таланта прослеживанию жизни нашего языка и поддержке всего живого в нём, будь оно седое или только что рождённое. Тот же обидный тон взят автором и по отношению к Ф. Гладкову, С. Ожегову, Ф. Кузнецову.

Подбор примеров поспешен, поверхностен, лишён стройности. Одни примеры слишком наглядны, слишком школьны для статьи, наметившей себе глубокую и дальнюю цель, другие — несправедливы: Шукшин упрекается за воспроизведение живого диалога, Кетлинская — за употребление прекрасных русских слов «распадок» и «проран», И. Гофф — за изящное обыгрывание ошибки с иностранным неразговорным словом. Главное же: примеры эти все беспорядочно сгружены и не помогают нам усвоить положительную мысль автора — да и есть ли она в статье? — какие же главные пороки и как предлагает он нам преодолеть их в письменной русской речи?

Напротив, своей авторской речью он подаёт нам худой образец. Он не ищет выразительных, ёмких слов и мало озабочен их гибким русским согласованием. Говорить о великом предмете нам бы стараться на уровне этого предмета. Если же «Заметки о стилистике» начинены такими выражениями, как

«общесоциальные и эстетико-художественные перспективы», «структурно-стилистические точки зрения», «массовые коммуникации в современной мировой культуре», «в силу значительной интеграции», а для внезапностей устной речи не подыскано лучшего слова, чем «пилюли», — то такие «Заметки» угнетают наше чувство языка, затемняют предмет, вместо того чтобы его разъяснить, горчат там, где надо сдобрить.

Странно, в статье о русском языке, где нашлось место дважды процитировать дневник Жюля Ренара, не назван никто из рачителей русского языка, предшественников академика Виноградова, указавших болезнь ещё в прошлом столетии и уже тогда предложивших средства лечения.

Ведь об этом писал (и выдвигал сильные решения) Владимир Даль в статьях «Полтора слова о русском языке» и «Недовесок к статье „Полтора слова о русском языке“»*. Этим был озабочен Александр Герцен — и во всём его письменном наследстве мы находим множество смелых образований, утверждающих поступь русского письма и нащупывающих неожиданные короткие, энергичные управления слов. Историки языка легко расширят этот перечень. В новейшее время удивительные находки (вместе с неудачами) достались Андрею Платонову.

Наша письменная речь ещё с петровских времён то от насильственной властной ломки, то под перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, пострадала: и в своём словарном запасе, и в грамматическом строе, и, самое главное, в складе.

Словарный запас неуклонно тощал; ленились выискивать и привлекать достойные русские слова, или стыдились их «грубости», или корили их за неспо-

* Статей этих теперь почти нигде не достать. Как славно было бы их насвежо опубликовать, особенно вторую!

собность выразить современную высокую тонкую мысль (а неспособность-то была в нетерпеливых авторах). Взамен уроненного наталкивали без удержу иностранных слов, иногда очень хороших (кто кинет камень в «энергию», «нерв», «процесс», «проблему»?), часто совсем никчёмных. Об этом писано много.

Грамматический строй сохранял стойко то, что роднит наш язык с европейскими, но пренебрегал многими исконными своими преимуществами. Так, отглагольные существительные предпочитались среднего рода, долгие, на немецкий лад (когда их на *-ение* скопится кряду четыре-пять, вымалывается язык и чуть ли зубы не болят), а мужского и женского рода — краткие, сильные, поворотливые — опадали, терялись.

Кто скажет *убывь* (действие по глаголу), *нагромоздка?* Обязательно: «убывание», «нагромождение». Кто напишет *для сохрану?* Нам подай «для сохранения». И *приноровка* нам не свычна, то ли дело «приноравливание»! И *перетаск* мебели нам не так надёжен, как «перетаскивание».

Образование существительных склейкой по два, по три вместе («речестрой» Югова, «Литературная газета» от 28 октября с. г.) — тоже ведь не наше. Со взгляду кажется: речестрой! ах, как по-русски! Ан — по-немецки...

И избыток отвлечённых существительных — это тоже не наше, надо искать, как содержать их во фразе поменьше.

Оставалась втуне и чисто русская свобода образования наречий, в которых таится главный задаток краткости нашего языка. Таких, как *вперевёрт, впри́порох* (о снеге, песке), понять *дотонка* (во всей тонкости), скакать *одвуконь* (то есть на одной лошади верхом, а другую ведя для смены рядом).

Мало использовалось преображение глаголов приставками, почти от каждого застыло лишь несколько главных форм, и нас теперь поражает такое простое сочетание, как: он *остегнулся* (нам понят-

нее: он застегнулся, попадая петлями на несоответствующие пуговицы). Мы усвоили, что можно на-клонить, от-клонить, при-клонить, но нас почему-то удивляет *рас-клонить* (ветви); приняв «уклониться», мы чураемся *уклонить* (кого, что).

Но больше всего блёкла наша письменная речь от потери подлинного русского *склада* («свойства языка для сочетания слов» по Далю), то есть способа управления слов словами, их стыковки, их расположения в обороте, интонационных переходов между ними. Эту третью беду трудно сколько-нибудь изъяснить в тесной газетной статье, но читатель безошибочно ощутит её вкус, сопоставив фразы из какого-нибудь современного литературного документа (хотя бы из статьи академика Виноградова) с той особенной живостью, которая аукает нам почти из каждой русской пословицы, — аукает, намекает, как можно фразы строить, а мы не слышим:

И на мах, да в горсти...
Репьём осеешься, не жито и взойдёт.
В девках сижено — плакано: замуж хожено — выто.
Здравствуй женившись, да не с кем спать!
Счастье мать, счастье мачеха, счастье бешеный волк.

Если возьмёт верх подлинно русский склад, то и многие иностранные слова обживутся в нём, как свои, и будут запросто держаться, очень легко. И наоборот, предупреждал Даль, «в не русском обороте речи у слова нашего не только отымаются руки и ноги, а отымается язык: он коснеет и немеет».

Так что самый придирчивый отбор русских слов — это ещё далеко не русская речь. Много важней русский *склад* — русское построение фразы.

Однако замечательно — и обнадёживает нас! — то, что все указанные пороки, сильно поразив письменную речь, гораздо меньше отразились на устной (тем меньше, чем меньше были говорящие

воспитаны на дурной письменной). Это даёт нам ещё не оскудевший источник напоить, освежить, воскресить наши строки. (Да только и склад, и грамматическая свобода устной речи тоже годны не всякие, здесь-то и нужен вкус да вкус!)

Оговоримся, что словарный запас устной речи, хотя и переполняется множеством терминов науки и техники и преходящим жаргоном, он тоже скудеет; приметим за собой, что мы выражаемся малым числом всё повторяющихся слов. Так в убыстрённый век разговорный словарный запас общества становится (не считая терминов) клином, сужающимся во времени. Это тревожно. Нам бы суметь обернуть клин, перекинуть узкую часть назад, а вперёд он пусть расширяется.

Мне кажется, что здесь писатели могли бы помочь письменной речи вернуть речи устной кое-какой должок. Под этим я понимаю очень осторожное *словарное расширение:* продуманное употребление (в авторской речи!) таких слов, которые хоть и не живут в современном разговорном языке, но настолько близко расположены за стёсами клина и настолько понятно употребляются автором, что могут прийтись по нраву говорящим, привлечь их — и так вернуться в язык. Похвальба же далеко отскочившими и потому безнадёжно утерянными словечками здесь бесполезна.

Например, мы усвоили «отшатнуться», несколько дичимся формы «отшатнуть», а как хорошо употребить: *вышатнуть* (кол из земли), *пришатнуть* (столб к стене).

У нас затвержено «недоумевать», но мы зря бы ощетинились против *доумевать* (доходить упорным размышлением).

Как коротко: *узвать* (кого с собой); *призевался* мне этот телевизор; *перемкнуть* (сменить замок или перенести его с одной накладки на другую); мой *предместник* (кто раньше занимал моё место); ветер *слистнул* бумагу со стола (вместо: порывом ветра

бумагу приподняло и снесло со стола); *перевильнуть* (в споре со стороны на сторону).

Употреби — и, пожалуй, зашумят, что словотворчество, что выдумывают какие-то новые слова. А ведь это только бережный подбор богатства, рассыпанного совсем рядом, совсем под ногами.

Я так понимаю, что обсуждение письменной русской речи, открытое «Литературной газетой», — не из тех обсуждений, которые ведутся месяц-другой, а потом редакцией же закрываются с однозначным решением. Это долгая, постоянная работа. И не из тех это обсуждений, где надо вытянуть десяток виновников и выпороть их при честно́м народе. Имена, конечно, называть придётся, не обойтись, но больше для осязаемости ошибок (то бишь «для конкретности»), чем для личных упрёков.

Я так понимаю, что, быть может, настали решающие десятилетия, когда ещё в наших силах исправить беду — совместно обсуждая, друг другу и себе объясняя, а больше всего — строгостью к себе самим. Ибо главная порча русской письменной речи — мы сами, каждое наше перо, когда оно поспешно, когда оно скользит слишком незатруднённо.

Умедлим же и проверим его бег! Ещё не упущено изгнать то, что есть публицистический жаргон, а не русская речь. Ещё не поздно выправить склад нашей письменной (авторской) речи, так, чтоб вернуть ей разговорную народную лёгкость и свободу.

Опять же Даль говорит, что все мы и постепенно (никто — отдельно и сразу) сумеем заменить всё дурное хорошим, всё длинное коротким, всё околичное прямым, тёмное ясным, пошлое выразительным, вялое сильным.

Октябрь 1965

ОТВЕТ МОЛОДОМУ УЧЁНОМУ

В одной научной аудитории после прочтения отрывка из моей пьесы, где содержался спор о смысле науки и цели научных занятий, мне прислали записку: «В этой аудитории уже не впервые предаются анафеме механизированные роботы (автор записки, видимо, имеет в виду людей, занятых своей наукой, и только ею одной. — *А. С.*): так делали А. Вознесенский, поэт Коржавин, сейчас, видимо, и Вы. Хочется дать реплику. Когда человек отдаётся любимому делу — художник, писатель, композитор, — почему-то это не вызывает подозрения у гуманитарных натур... Работаем потому, что дышим, как птица поёт, — зачем так всерьёз говорить об этом с библейским сомнением?»

Это требует разъяснения. Отделим вопрос о «художниках, писателях, композиторах», ибо с них нравственный спрос не только не меньше, но больше, и выходит за рамки разбираемого сейчас.

Вот какова, по-моему, правильная постановка вопроса: никто не спрашивает юношу, избравшего науку, — зачем ты её избрал? одумайся! Жизненная задача всякого человека начинается с того, чтобы правильно понять свои способности и наилучшим образом их приложить. Но вопрос задаётся всякому, молодому и старому, уже занимающемуся наукой: не может быть, чтобы ты занимался ею совершенно бесцельно, просто так, отдаёшь ли ты себе отчёт в цели своей деятельности и в своём месте в обществе?

Ответы на то бывают разные (им и посвящён спор в упомянутой пьесе). Но один из них — самый распространённый — мы разберём здесь. Ответ этот:

«мне интересно», вот и всё. Причём эмоционально это произносится обычно с оттенком превосходства: вот я оказался достоин такой интересной работы.

На это, обращаясь к говорящему (или к автору цитированной выше записки), и хочется сказать:

— Друг мой! «интересно» — это вообще не ответ, а если ответ — то совершенно безнравственный. Вам придётся признать тогда равноправность и всех других «интересных» занятий — начиная с коммерции, занятий, не создающих нравственных ценностей.

— А почему мы должны создавать нравственные ценности? Это вообще не задача учёных! Оставьте нас с нашими реакторами, датчиками и колбами. Нам — интересно так.

Вот тогда мы его и спросим:

— Скажите, а утром на сковородку вы три яйца бьёте? Это вам — интересно? А вы не хотели бы на полгодика пойти поработать в колхозный птичник? Или вы скажете — «если птичнице не интересно — пусть не занимается»? Друг мой, осознайте! Вы, учёные, уже с первых молодых шагов — любимчики и баловни общества. Вам отданы лучшие пайки, лучшие доли. Вас не касается военная служба, физический труд, трудный транспорт, недостатки в питании. Вы живёте в изолированном, застеклённом, оранжерейном мире. Плоскость вашего бытия — столица, дача, курорт, потом и заграница, она не совпадает с плоскостью жизни нации. И вы находите такую жизнь интересной? Ничего удивительного. Но — благородно ли это? Вы едите хлеб с полей XX века, а весь вклад ваш пойдёт уже в XXI, ибо ни лазеры, ни ядерные реакторы, ни успехи в физике твёрдого тела не улучшат в ближайшие десятилетия судьбу той птичницы. А что улучшит — то будет от общественной жизни, а не от науки.

Так говоря «интересно» — говорите, по крайней мере, это не с гордостью, а со стыдливостью! — со

стыдливостью за ту утреннюю яичницу, и за то, что вам не приходится возить батонов в мешке сперва в тесном поезде, потом в переполненном автобусе. С певчей птицей себя не сравнивайте, ибо она сама себе добывает пищу, и поёт только в промежутке между невесёлыми этими хлопотами. Ответ «мне просто интересно» — безнравственный. А нравственно будет — думать об обществе больше, чем о себе, и больше, чем о науке, думать, как послужить ему сегодняшнему, а не тому хрустальному, двадцать первого века.

Ноябрь 1966

ЗАМЕТКИ МЕЖДУ ДЕЛОМ

Писатель — как врач: удел его — не то, что пышет румянцем, а то, что болит. И когда (если!.. но никогда...) последняя боль уйдёт с Земли — не нужны будут и писатели. Они ведь не косметисты.

* * *

Так бы нам научиться: хорошее — вычёркивать, оставлять только отличное. Хорошего не издавать, не читать и не обсуждать: издавать, читать и обсуждать — только выдающееся. Но мы никогда не научимся, а лучше захлебнёмся потоком посредственного.

* * *

В произведении не должно бы быть слабых (не несущих нагрузки) участков. Ни одного! Произведение должно бы быть в высокой степени однородно. Тогда оно — истинно, и оно привлечёт наше внимание по одной музыкальной фразе (включили случайно приёмник), по нескольким кинокадрам, по нескольким наудачу прочтённым строкам.

Так же по нескольким кадрам и строкам мы верно заключаем, что произведение — дрянь.

* * *

Непонятно, почему писатель должен (как это в хемингуэевском методе) ограничивать себя только тем, что видит и слышит посторонний наблюдатель, то есть отказаться от духовного зрения, от прямого (не подтверждённого органами чувств) заглядывания в душевный мир и мысли персонажей (у Хемингуэя это разрешается, но почему-то только по

отношению к главному). Ведь, берясь за перо, писатель уже объявил себя судьёй внутреннего мира. Зачем же ему отказываться от духовного зрения? Без него никто не дал (и не даст) подводной части, девяти десятых айсберга.

* * *

Когда тебе кажется, что уже «невозможно сжать дальше», невозможно короче, — вспомни природу. Кроме обычного земного вещества ещё есть «ядерная упаковка» (напёрсток вещества весит как земной паровоз) и «нейтронная упаковка» (почтовая марка вещества весит 5 миллионов земных тонн).

* * *

Как отображается зло в современном искусстве: оно должно быть и привлекательно (и — внутренне объяснимо). В «Лебедином озере» мелодия Одиллии — притягательна.

* * *

Перебирая русские пословицы, часто удивляешься их внезапному частному применению. Так, многие из них могут быть поняты как существенные суждения об искусстве и литературе.

Ход замысла.

Что глубже семя схоронится, то лучше уродится.
Не с одного цветка пчёлка мёд берёт.
Зачать легко, а родить трудно.
Из щепы похлёбки не сваришь
(скудость замысла).

Метод, приёмы работы.

Ковки час, а ладки день.
Не спеши начать, спеши кончить.
От частого сита — редкие пироги.
Тонко прясть — долго ждать.
Не всё уди, что клюёт.
Сзади идёшь — больше найдёшь.

И хорошо, да невпопад.
Хоть и невпопад, да людям вдогад.
Засиженное яйцо всегда болтун.
Верши — не спеши.
Хорошего трижды не сказывают.

Конструкция.
По закладке мастера знать.
И всяк сошьёт, да не всяк скроит.
Одному началу не два конца.
Серёдка всему делу корень.
На одном гвозде всего не повесишь.
Плох конец, что не видать начала.

Роль художественного вымысла.
Не солгать, так и правды не сказать.
Всякая прибаска хороша с прикраской.
Красное словцо — не ложь.
Не за былью сказка гоняется.
Не красна сказка письмом, красна вымыслом
(сюжет, а не языковые ухищрения).

Художественная форма.
Коротко да ясно, оттого и прекрасно.
Не то хорошо, что хорошо, а что идёт к чему.
То же бы ты слово, да не так бы ты молвил.
Неперёная стрела вбок идёт
(несовершенство формы).

На тухлое да на горькое нет приправы.
Каково волокно — таково и полотно.
Каково полотно — такова и строчка.
В тонкой пряже и нить задорого.
Крива свиль, да столяры хвалят.
И строгает гладко, и стружка кудрява.

Мастерство.
Не гляди на дело, гляди на отделку.
Швею по постегу знать.
Мастер мастеру не ука́з.

Юмор.
Кто людей веселит — за того весь свет стоит.

Смех — волынка: надул, поиграл да и кинул.
Нет лучше шутки, как над собой.

Ответственность художника.
Правду не ситом сеять
(подавай её всю).

Красна милость и в правде.
Нет на свете грешнее пера.
Не на себя пчела работает.

Личность художника.
Коли земля не вызябнет — так и не родит.
Не погнетши пчёл — мёду не есть.
Без жернова на шее дна не достать.
Не перо пишет, не чернильница — пишет горюча слеза.
Без понукалки и сказочник дремлет.
Вешний ветер из темени, осенний из ясени
(юность — старость).

Искусство вообще.
Всяк туда уста, где вода чиста.
Язык — стяг, дружину водит.
Семь лет маку не родило — а голоду не было.
Попусту твердится, что́ к сердцу не ложится.

[1963—1966]

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ИНСТИТУТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

(По записи слушателя в зале)

30 ноября 1966

Перед чтением глав из «Ракового корпуса» Солженицын заявил:

— Первую часть повести я окончил весной. Я послал текст в журнал «Новый мир», но он не был принят. Однако повесть прочли и одобрили в различных литературных инстанциях и рекомендовали к печати. Впрочем, это ещё не значит, что она будет опубликована. Судьба этой повести ещё не ясна. Так вот я вам почитаю главы из неё.

После этого писатель прочитал главу 6 («История анализа») и главу 16 («Несуразности»). После небольшого перерыва Солженицын сказал, что он готов ответить на вопросы присутствующих. Вот запись вопросов и ответов, сделанная одним из слушателей:

> Почему «Новый мир» отказался опубликовать «Раковый корпус»?

Потому что «Новому миру» труднее всего что-либо опубликовать.

> Какие сейчас у вас отношения с «Новым миром»?

Я понимаю позицию журнала, и у меня нет столкновений с редколлегией; я поддерживаю с ней те же хорошие отношения, что и ранее.

> Почему вы избрали темой своего романа корпус больных раком в одной из больниц, точнее, сам рак?

Я сам одно время тяжело болел этой болезнью, и во время ссылки разговаривал в открытую со знакомыми врачами, они говорили, что мне осталось жить несколько недель. Так что я знаю этот сюжет.

Мне не понравился эпизод с кислородной подушкой. Скажите, зачем вы его описали?

(В зале хохот. Солженицын пожимает плечами.)

Зачем? Это жизнь... вот и всё.

Сумма вопросов из записок. Что можно сделать, чтобы ваши книги быстрее доходили до читателя? Что ещё вы написали недавно? Когда и где это будет опубликовано? Какова судьба вашей комедии, данной «Современнику»? Какие ещё ваши произведения отлёживаются в портфелях редакций? Как вы решились на эту пресс-конференцию, раз первоначально высказывались категорически против какого-либо интервью?

Почему я переменил намерение не выступать с публичным интервью? Конечно, в наше время, в условиях ритма современной жизни, когда вечно не хватает времени, писатель должен писать, а не отвечать на вопросы. И сегодня я придерживаюсь того же мнения. Но оно справедливо, только когда продукция писателя регулярно видит свет, и тогда писатель чувствует контакт с миром через письма читателей и критические статьи. На протяжении многих лет круг моих читателей состоял из десятка человек. После опубликования в 1962 году «Одного дня Ивана Денисовича» поток писем читателей стал затопляющим. Это были не только замечания, но и огромное количество материала, который можно было обработать. Целый год я только и делал, что отвечал на письма, вместо того чтобы работать. Но последние четыре года мои произведения не публикуются. И я получил урок: мне ни в коем случае не следовало пренебрегать публичными выступлениями. Раз писателю не дают писать — так он должен защищаться устно. Само моё положение принудило меня искать встреч с читателями. Я стал это делать по трём соображениям. Во-первых, мне необходимо чувствовать реакцию читателей. Во-вто-

рых, мне нужно защищать свои авторские права. В-третьих, мне надо защищать моё имя от клеветы. Я написал роман «В круге первом». Это 35 печатных листов. В 1964 году «Новый мир» принял его к публикации. Ещё есть пьеса «Олень и шалашовка» и повесть «Раковый корпус». Театр «Современник» хотел поставить пьесу, но ему это не удалось. В той пьесе описывается концентрационный лагерь, но не такой, как в «Одном дне». Там живут вместе и политзаключённые, и уголовники, женщины и воры. Мой роман «В круге первом» стал достоянием некой такой организации, которая зорко следит за развитием литературы, хотя это никак не входит в круг её ведения. Эта организация конфисковала мой архив, не предназначавшийся к печати. И некоторые произведения из того архива начали распространять подпольно, в частности, среди определенного круга лиц, куда входят руководители Союза писателей. Смотрите: я ещё жив — а уже без моего ведома закрыто издают для каких-то избранных мои произведения. Эти люди читают их, комментируют между собой. Среди них Хренников, Кочетов, Сурков и многие другие. Что я должен делать? Если бы мои произведения просто конфисковали, я бы молчал. Я пожаловался в Центральный Комитет партии. Но мои жалобы не дали результатов. Кстати, среди этих работ также пьеса «Свеча на ветру». Недавно Д. Стариков опубликовал критическую статью под заглавием «Свеча на ветру»; это показывает, что бесконтрольное пользование ненапечатанными рукописями может толкать и на плагиаты. Например, в моём романе есть много новых синтаксических элементов, новое в построении фраз, в расположении глав. Но, если кто-то другой пользуется этими изобретениями, я не могу призвать его к ответу, потому что мой роман не напечатан. А плагиатом считается только списывание с опубликованного... Я хотел бы обратиться в Союз писателей, но в действующем уставе нет ни одной статьи, защищающей авторские права его членов. В области техники случаи, когда

кто-то сначала «умалчивает», а потом вторично «открывает» истину, давно открытую другими, довольно часты: там есть широкие возможности для того, чтобы узнавать новости и копировать формы. В области искусства об этом говорят много. Так, итальянский неореализм в значительной степени родился из наших фильмов двадцатых годов. Но, если новшества в области литературного творчества остаются в портфелях редакций, они ничего не заслуживают. Посмотрите, как сейчас мы радуемся новым публикациям комедий Булгакова и рассказов Платонова. На мой взгляд, в русской литературе было три больших юмориста: Гоголь, Чехов и Булгаков. И посмотрите на произведения Платонова: они могли бы звучать совсем по-иному, если бы их опубликовали тридцать лет назад, когда они были написаны. Но вернёмся к моему случаю. Мне кажется, что кто-то имеет больше прав на мой роман, чем я сам. Поэтому я вынужден защищаться, если не прекратить писать. На заседаниях комитета по Ленинским премиям кто-то сказал, что Солженицын — уголовник. Это утверждение Твардовский опроверг документально. Потом, существуют лекторы, которые с официальной трибуны говорили, что Солженицын сотрудничал с немецкой полицией, не говоря уже о том, что он сдался в плен. В Новосибирске, во время встречи между редакцией «Нового мира» и читателями, кто-то задал вопрос, правда ли, что Солженицын был агентом гестапо. Я потребовал публичного обсуждения, чтобы опровергнуть всё это, но мне предложили обсуждение за закрытой дверью. Поэтому не удивляйтесь, если услышите, что я выступал против Джордано Бруно или являюсь защитником птолемеевой системы...

Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в войне.

Я был призван в октябре 1941 года. Сначала был простым солдатом, потом кончил Ленинградское артиллерийское училище в Костроме. Был на Северо-Западном фронте, потом на Центральном,

Брянском и Белорусском. В феврале 1945 года в Восточной Пруссии был арестован из-за письма своему другу. Мне дали 8 лет лагерей, а после того пожизненную ссылку. Там я провёл ещё три года.

Не намеревались ли вы что-либо написать о военных годах?

Все мои военные дневники были отняты КГБ при аресте, а затем сожжены. Как правило, военная тема пользовалась у нас успехом и не нуждается в моём вкладе...

(Голос из зала: «Жаль!»)

Каких писателей Востока вы считаете наиболее близкими себе?

Четыре года я провёл на войне. Перед этим несколько лет учился в двух высших учебных заведениях одновременно. Одиннадцать лет я провёл в лагерях и ссылке. Потом стал учителем, но не литературы, а математики и физики. Короче, мне всегда не хватало времени. Я не могу ответственно судить ни о Востоке, ни о Западе. Всё, что я усвоил, я перенял у русской литературы.

Ваши ли рассказы циркулируют под названием «Короткие рассказы»?

Да, мои.

Можете ли вы написать сценарий по «Одному дню Ивана Денисовича?»

Задача не в том, чтобы написать сценарий по своим произведениям. Лучше написать новое произведение. Впрочем, мне никто и не предлагал экранизовать «Один день». Но предлагали экранизовать рассказ «На станции Кречетовка».

Кто является прототипом Матрёны? Взяли ли вы этот персонаж с натуры?

Матрёна Васильевна Захарова. В моём рассказе все имена подлинные.

Костоглотов автобиографичен?

Я не смешиваю себя ни с одним из персонажей повести.

Что вы думаете о рассказах Шаламова?

У него, кроме рассказов, есть много стихов, которые не опубликованы. Мне они очень нравятся. Жаль, что они мало известны. Автор тяжело болен после одиннадцати лет заключения. Его рассказы? Они отражают жизнь в заключении в самом тяжёлом её аспекте. Есть ещё Дьяков, но его произведение — это для благородных девиц.

Как точно формулировался приговор о пожизненной ссылке?

В сталинские времена существовала инструкция, по которой все, имевшие в обвинении статью 58-11, организация, автоматически подлежали пожизненной ссылке, даже если по другим статьям кодекса они должны были получить освобождение.

В чём вас обвиняли?

Фразы и мнения по литературным вопросам и о самом Сталине.

Когда был написан «Один день Ивана Денисовича»?

Он был написан за несколько лет до публикации.

Что сказала Кедрина, когда обсуждался ваш роман «Раковый корпус»?

При обсуждении я ждал, что столкнутся различные мнения. Но никаких споров не было. Дискуссия свелась к похвале. Ну, а Кедрина выступила против.

Что вы думаете о Евгении Гинзбург?

«Крутой маршрут» весьма хорош и характерен. Жаль, что он не опубликован у нас.

Расскажите о ваших произведениях довоенного времени.

Свои довоенные произведения я не считаю заслуживающими внимания.

Вам разрешают выступать и встречаться с читателями?

Нет, мне препятствуют организовывать эти встречи. В середине ноября все мои назначенные встречи и выступления были под разными предлогами отменены.

На этом месте вопросы и ответы прекращаются, потому что Солженицын соглашается прочесть отрывки из романа «В круге первом». Он предваряет:

— После состоявшегося в 1931 году процесса Промпартии некоторых инженеров стали направлять в особую систему закрытых научно-исследовательских институтов. В таком закрытом институте в 1949 году происходит действие этого романа.

Читает главы, среди них «Родина должна знать своих стукачей».

Объясните, пожалуйста, что означает ваше выражение: «наши военнопленные были брошены на произвол судьбы»?

В заключении я долгое время находился вместе с бывшими военнопленными. В начале войны кто-то наверху — Сталин или Молотов — заявил, что наши военнопленные не могут ссылаться на Гаагскую конвенцию, потому что тот, кто попал в плен, то есть кто сдался на фронте, не заслуживает помощи. Все пленные, кроме советских, получали помощь от Красного Креста или из дома через его посредство. Но наши не получали ничего ниоткуда.

ПИСЬМО IV ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

(Вместо выступления)

В президиум съезда и делегатам
Членам ССП
Редакциям литературных газет и журналов

16 мая 1967

Не имея доступа к съездовской трибуне, я прошу Съезд обсудить:

I. то нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь.

Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем Главлита тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно-неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век! Тленная, она тянется присвоить себе удел нетленного времени: отбирать достойные книги от недостойных.

За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания, — запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям мелочным,

эгоистическим, а для народной жизни недальновидным.

Отличные рукописи молодых авторов, ещё никому не известных имен, получают сегодня из редакций отказы лишь потому, что они «не пройдут». Многие члены Союза и даже делегаты этого Съезда знают, как они сами не устаивали перед цензурным давлением и уступали в структуре и замысле своих книг, заменяли в них главы, страницы, абзацы, фразы, снабжали их блёклыми названиями, чтобы только увидеть их в печати, и тем непоправимо искажали их содержание и свой творческий метод. По понятному свойству литературы все эти искажения губительны для талантливых произведений и совсем нечувствительны для бездарных. Именно лучшая часть нашей литературы появляется на свет в искажённом виде.

А между тем сами цензурные ярлыки («идеологически вредный», «порочный» и т. д.) недолговечны, текучи, меняются на наших глазах. Даже Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали (не полностью печатают и сейчас), исключали из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался «контрреволюционным» Есенин (и за книги его даже давались тюремные сроки)? Не был ли и Маяковский «анархиствующим политическим хулиганом»? Десятилетиями считались «антисоветскими» неувядаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой десять лет назад было объявлено «грубой политической ошибкой». Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилёв, Клюев, не избежать когда-то «признать» и Замятина, и Ремизова. Тут есть разрешающий момент — смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или невскоре, его возвращают нам, сопровождая «объяснением ошибок». Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он

умер — и книги его издаются, и стихи его цитируются даже на церемониях.

Воистину сбываются пушкинские слова:

Они любить умеют только мёртвых!

Но пóзднее издание книг и «разрешение» имён не возмещают ни общественных, ни художественных потерь, которые несёт наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения художественного сознания. (В частности, были писатели 20-х годов — Пильняк, Платонов, Мандельштам, которые очень рано указывали и на зарождение культа личности и на особые свойства Сталина, — однако их уничтожили и заглушили, вместо того чтобы к ним прислушаться.) Литература не может развиваться в категориях «пропустят — не пропустят», «об этом можно — об этом нельзя». Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь — косметики. Такая литература теряет доверие у собственного народа, и тиражи её идут не в чтение, а в утильсырьё.

Наша литература утратила то ведущее мировое положение, которое она занимала в конце прошлого и в начале нынешнего века, и тот блеск эксперимента, которым она отличалась в 20-е годы. Всему миру литературная жизнь нашей страны представляется сегодня неизмеримо бедней, площе и ниже, чем она есть на самом деле, чем она проявила бы себя, если б её не ограничивали и не замыкали. От этого проигрывает и наша страна в мировом общественном мнении, проигрывает и мировая литература: располагай она всеми нестеснёнными плодами нашей литературы, углубись она нашим духовным опытом — всё мировое художественное развитие пошло бы иначе, чем идёт, приобрело бы новую устойчивость, взошло бы даже на новую художественную ступень.

Я предлагаю Съезду принять требование и добиться упразднения всякой — явной или скрытой — цензуры над художественными произведениями, освободить издательства от повинности получать разрешение на каждый печатный лист.

II. ...обязанности Союза по отношению к своим членам. Эти обязанности не сформулированы чётко в уставе ССП («защита авторских прав» и «меры по защите других прав писателей»), а между тем за треть столетия плачевно выявилось, что ни «других», ни даже авторских прав гонимых писателей Союз не защитил.

Многие авторы при жизни подвергались в печати и с трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получали физической возможности, более того — личным стеснениям и преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко, Андрей Платонов, Александр Грин, Василий Гроссман). Союз же писателей не только не предоставил им для ответа и оправдания страниц своих печатных изданий, не только не выступил сам в их защиту, — но руководство Союза неизменно проявляло себя первым среди гонителей. Имена, которые составят украшение нашей поэзии XX века, оказались в списке исключённых из Союза, либо даже не принятых в него! Тем более руководство Союза малодушно покидало в беде тех, чьё преследование окончилось ссылкой, лагерем и смертью (Павел Васильев, Мандельштам, Артём Весёлый, Пильняк, Бабель, Табидзе, Заболоцкий и другие). Этот перечень мы вынужденно обрываем словами «и другие»: мы узнали после XX съезда партии, что их было **более шестисот** — ни в чём не виновных писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе. Однако свиток этот ещё длинней, его закрутившийся конец не прочитывается и никогда не прочтётся нашими глазами: в нём записаны имена и таких молодых прозаиков и поэтов, кого лишь случайно мы могли узнать из личных встреч, чьи дарования погибли в лагерях нерасцветшими, чьи произведе-

ния не пошли дальше кабинетов госбезопасности времён Ягоды-Ежова-Берии-Абакумова.

Новоизбранному руководству Союза нет никакой исторической необходимости разделять со старыми руководствами ответственность за прошлое.

Я предлагаю чётко сформулировать в пункте 22-м устава ССП все те гарантии защиты, которые предоставляет союз членам своим, подвергшимся клевете и несправедливым преследованиям, — с тем чтобы невозможно стало повторение беззаконий.

Если Съезд не пройдёт равнодушно мимо сказанного, я прошу его обратить внимание на запреты и преследования, испытываемые лично мною:

1. Мой роман «В круге первом» (35 авт. листов) скоро два года как отнят у меня государственной безопасностью, и этим задерживается его редакционное движение. Напротив, ещё при моей жизни, вопреки моей воле и даже без моего ведома, этот роман «издан» противоестественным «закрытым» изданием для чтения в избранном неназываемом кругу. Добиться публичного чтения, открытого обсуждения романа, отвратить злоупотребления и плагиат я не в силах. Мой роман показывают литературным чиновникам, от большинства же писателей прячут.

2. Вместе с романом у меня отобран мой литературный архив 20- и 15-летней давности, вещи, не предназначавшиеся к печати. Закрыто «изданы» и в том же кругу распространяются тенденциозные извлечения из этого архива. Пьеса «Пир победителей», написанная мною в стихах наизусть в лагере, когда я ходил под четырьмя номерами (когда, обречённые на смерть измором, мы были забыты обществом и вне лагерей **никто** не выступил против репрессий), давно покинутая, — эта пьеса теперь приписывается мне как самоновейшая моя работа.

3. Уже три года ведётся против меня, всю войну провоевавшего командира батареи, награждённого боевыми орденами, безответственная клевета: что я

отбывал срок как уголовник, или сдался в плен (я никогда там не был), «изменил Родине», «служил у немцев». Так истолковываются 11 лет моих лагерей и ссылки, куда я попал за критику Сталина. Эта клевета ведётся на закрытых инструктажах и собраниях людьми, занимающими официальные посты. Тщетно я пытался остановить клевету обращением в Правление ССП РСФСР и в печать: Правление даже не откликнулось, ни одна газета не напечатала моего ответа клеветникам. Напротив, в последний год клевета с трибун против меня усилилась, ожесточилась, использует искажённые материалы конфискованного архива — я же лишён возможности на неё ответить.

4. Моя повесть «Раковый корпус» (25 авт. листов), одобренная к печати (1-я часть) секцией прозы московской писательской организации, не может быть издана ни отдельными главами (отвергнуты в пяти журналах), ни тем более целиком (отвергнута «Новым миром», «Простором» и «Звездой»).

5. Пьеса «Олень и шалашовка», принятая театром «Современник» в 1962 году, до сих пор не разрешена к постановке.

6. Киносценарий «Знают истину танки», пьеса «Свет, который в тебе», мелкие рассказы («Правая кисть», «Как жаль», серия крохотных) не могут найти себе ни постановщика, ни издателя.

7. Мои рассказы, печатавшиеся в журнале «Новый мир», не переизданы отдельною книгою ни разу, отвергаются всюду («Советский писатель», Гослитиздат, Библиотека «Огонька») и, таким образом, недоступны для широкого читателя.

8. При этом мне запрещаются и всякие другие контакты с читателями: публичное чтение отрывков (в ноябре 1966 г. из таких уже договоренных 11 выступлений было в последний момент запрещено 9) или чтение по радио. Да просто дать рукопись «прочесть и переписать» у нас теперь под уголовным запретом (древнерусским писцам пять столетий назад это разрешалось!).

Так моя работа окончательно заглушена, замкнута и оболгана.

При таком грубом нарушении моих авторских и «других» прав — возьмется или не возьмется IV Всесоюзный съезд защитить меня? Мне кажется, этот выбор немаловажен и для литературного будущего кое-кого из делегатов.

Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — ещё успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение её я готов принять и смерть. Но, может быть, многие уроки научат нас наконец не останавливать пера писателя при жизни?

Это ещё ни разу не украсило нашей истории.

А. Солженицын

ОТВЕТ ТРЁМ СТУДЕНТАМ

[Рязань, октябрь 1967]

Ощущение такое, что я сам свою мысль не договорил, не дояснил. Вот ещё несколько слов.

Справедливость есть достояние протяжённого в веках человечества и не прерывается никогда — даже когда на отдельных «суженных» участках затмевается для большинства. Очевидно, это понятие человечеству врождено, ибо нельзя найти другого источника. Справедливость существует, если существуют хотя бы немногие, чувствующие её. Любовь к справедливости мне представляется чувством отдельным от любви к людям (или совпадающим с нею лишь частично). И в те массово-развращённые эпохи, когда встаёт вопрос: «а для кого стараться? а для кого приносить жертвы?» — можно уверенно ответить: для справедливости. Она совсем не релятивна, как и совесть. Она, собственно, и есть совесть, но не личная, а всего человечества сразу. Тот, кто ясно слышит голос собственной совести, тот обычно слышит и её голос. Я думаю, что по любому общественному (или историческому, если мы его не понаслышке, не по книгам только знаем, а как-то коснулись душой) вопросу справедливость нам всегда подскажет поступок (или суждение) не бессовестный.

И так как разума нашего обычно не хватает, чтобы объяснить, понять и предвидеть ход истории (а «планировать» её, как вы сами говорите, оказалось бессмысленно), — то никогда не ошибётесь, если во всякой общественной ситуации будете поступать по справедливости (старинное русское выражение — *жить по правде*). Это даёт нам возможность быть постоянно деятельными, не руки опустя.

И не возражайте мне, что «все понимают справедливость по-разному». Нет! Могут кричать, за горло брать, грудь расцарапывать, но внутренний стуколок так же безошибочен, как и внушения совести (мы ведь и в личной жизни иногда пытаемся перекричать совесть). Например, я уверен, что лучшие из арабов и сейчас прекрасно понимают, что Израиль по справедливости имеет право жить и быть.

Жму руки!

Солженицын

ОТВЕТ ПОЗДРАВИТЕЛЯМ

В редакцию «Литературной газеты»
Копия: «Новый мир»

Рязань, 12 декабря 1968

Я знаю, что ваша газета не напечатает единой моей строки, не придав ей исказительного или порочного смысла. Но у меня нет другого выхода ответить моим многочисленным поздравителям иначе как посредством вас:

Читателей и писателей, приславших поздравления и пожелания к моему 50-летию, я с волнением благодарю. Я обещаю им никогда не изменить истине. Моя единственная мечта — оказаться достойным надежд читающей России.

А. Солженицын

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Секретариату Союза писателей РСФСР

Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырёх часов — добраться из Рязани и присутствовать. Вы откровенно показали, что *решение* предшествовало «обсуждению». Опасались ли вы, что придётся и мне выделить десять минут? Я вынужден заменить их этим письмом.

Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжёлые занавеси! — вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это — не то глухое, мрачное, безысходное время, когда вот так же угодливо вы исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией.

Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредёте в сторону, противоположную той, которую объявили. В эту кризисную пору нашему тяжелобольному обществу вы не способны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть-бдительность, а только «держать и не пущать!».

Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится ваше безмыслие, — а аргументов нет, есть только голосование и администрация. Оттого-то на знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость русской публицистики, не осмелился ответить ни Шолохов, ни все вы вместе взятые. А готовятся на неё административные клещи: как посмела она допустить, что неизданную книгу её читают? Раз *инстан-*

ции решили тебя не печатать, — задавись, удушись, не существуй! никому не давай читать!

Подгоняют под исключение и Льва Копелева — фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно, — теперь же виноватого в том, что заступается за гонимых, что разгласил священный тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил *тайну кабинета*. А зачем ведёте вы такие разговоры, которые надо скрывать от народа? А не нам ли было пятьдесят лет назад обещано, что никогда не будет больше тайной дипломатии, тайных переговоров, тайных непонятных назначений и перемещений, что массы будут обо всём знать и судить о т к р ы т о?

«Враги услышат» — вот ваша отговорка, вечные и постоянные «враги» — удобная основа ваших должностей и вашего существования. Как будто не было врагов, когда обещалась немедленная открытость. Да что б вы делали без «врагов»? Да вы б и жить уже не могли без «врагов», вашей бесплодной атмосферой стала н е н а в и с т ь, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества — и ускоряется его гибель. Да растопись завтра только льды одной Антарктики — и все мы превратимся в тонущее человечество, — и кому вы тогда будете тыкать в нос «классовую борьбу»? Уж не говорю — когда остатки двуногих будут бродить по радиоактивной Земле и умирать.

Всё-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечество. А человечество отделилось от животного мира — мыслью и речью. И они естественно должны быть свободными. А если их сковать — мы возвращаемся в животных.

Г л а с н о с т ь, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там.

А. Солженицын

12 ноября 1969

ВОТ КАК МЫ ЖИВЁМ

Вот как мы живём: безо всякого ордера на арест или медицинского основания приезжают к здоровому человеку четыре милиционера и два врача, врачи заявляют, что он — помешанный, майор милиции кричит: «Мы — органы насилия! Встать!», крутят ему руки и везут в сумасшедший дом.

Это может случиться завтра с любым из нас, а вот произошло с Жоресом Медведевым — учёным-генетиком и публицистом, человеком гибкого, точного, блестящего интеллекта и доброй души (лично знаю его бескорыстную помощь безвестным погибающим и больным). Именно разнообразие его дарований вменено ему в ненормальность: «раздвоение личности»! Именно отзывчивость его на несправедливость, на глупость и оказалась болезненным отклонением: «плохая адаптация к социальной среде»! Раз думаешь не так, *как положено*, — значит, ты ненормальный! А адаптированные — должны думать все одинаково. И управы нет — даже хлопоты наших лучших учёных и писателей отбиваются, как от стенки горох.

Да если б это был первый случай! Но она в моду входит, кривая расправа без поиска вины, когда стыдно причину назвать. Одни пострадавшие известны широко, много более — неизвестных. Угодливые психиатры, клятвопреступники, квалифицируют как «душевную болезнь» и внимание к общественным проблемам, и избыточную горячность, и избыточное хладнокровие, и слишком яркие способности, и избыток их.

А между тем даже простое благоразумие должно было бы их удержать. Ведь Чаадаева в своё время

не тронули пальцем — и то мы клянём палачей второе столетие. Пора бы разглядеть: захват свободомыслящих в сумасшедшие дома есть *духовное убийство*, это вариант *газовой камеры*, и даже более жестокий: мучения убиваемых злей и протяжней. Как и газовые камеры, эти преступления не забудутся никогда, и все причастные к ним будут судимы без срока давности, пожизненно и посмертно.

И в беззакониях, и в злодеяниях надо же помнить предел, где человек переступает в людоеда!

Это — куцый расчёт, что можно жить, постоянно опираясь только на силу, постоянно пренебрегая возражениями совести.

15 июня 1970

ПОМИНАЛЬНОЕ СЛОВО О ТВАРДОВСКОМ

Есть много способов убить поэта.

Для Твардовского было избрано: отнять его детище — его страсть — его журнал.

Мало было шестнадцатилетних унижений, смиренно сносимых этим богатырём, — только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди! Мало! — и добавили жжение от разгона, от разгрома, от несправедливости. Это жжение прожгло его в полгода, через по́лгода он уже был смертельно болен и только по привычной выносливости жил до сих пор — до последнего часа в сознании. В страдании.

Третий день. Над гробом портрет, где покойному близ сорока, и желанно-горькими тяготами журнала ещё не бороздён лоб, и во всё сиянье — та детски-озарённая доверчивость, которую пронёс он черезо всю жизнь, и даже к обречённому она возвращалась к нему.

Под лучшую музыку несут венки, несут венки... «От советских воинов»... Достойно. Помню, как на фронте солдаты все сплошь отличали чудо чистозвонного «Тёркина» от прочих военных книг. Но помним и: как армейским библиотекам запретили подписываться на «Новый мир». И совсем недавно за голубенькую книжку в казарме тягали на допрос.

А вот вся нечётная дюжина *Секретариата* вывалила на сцену. В почётном карауле те самые мёртвообрюзгшие, кто с улюлюканьем травили его. (Это давно у нас так, это — с Пушкина: именно в руки недругов попадает умерший поэт.) И расторопно

распоряжаются телом, вывёртываются в бойких речах.

Обстали гроб каменной группой и думают — отгородили. Разогнали наш единственный журнал и думают — победили.

Надо совсем не знать, не понимать последнего века русской истории, чтобы видеть в этом свою победу, а не просчёт непоправимый.

Безумные! Когда раздадутся голоса молодые, резкие, — вы ещё как пожалеете, что с вами нет этого терпеливого критика, чей мягкий увещательный голос слышали все. Вам впору будет землю руками разгребать, чтобы Трифоныча вернуть. Да поздно.

К девятому дню

27 декабря 1971

ШВЕДСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ

12 апреля 1972

Многоуважаемые господа!

Я осмеливаюсь писать это письмо лишь потому, что, по моим сведениям, бывшие нобелевские лауреаты имеют право выдвижения кандидатов на текущий год и выдвижение начинается с февраля. Если я такого права не имею, прошу простить меня и считать моё письмо недействительным.

Как сказал г-н К. Р. Гиров в речи при несостоявшемся вручении мне нобелевских знаков, Нобелевская премия не есть акт вежливости по отношению к какой-либо стране. Беру на себя смелость более широко понять и истолковать так: не есть акт вежливости или очерёдности по отношению к национальным литературам или к художественным или идеологическим направлениям. Поэтому я не поддамся национальному эгоизму и не буду аргументировать тем, что русская литература представлена в нобелевских лауреатах непропорционально мало своему истинному мировому весу.

Но, именно основываясь на правильной и широкой точке зрения г-на Гирова, а вероятно и других членов Академии, я обращаюсь к вам с просьбой не поддаться рутине «очерёдности» ни в национальном отношении, ни в лично-биографическом, ни в каком-либо ином. Именно эти соображения могли бы помешать вам в 1972 году объективно рассмотреть кандидатуру **Владимира Владимировича Набокова** — из-за того, что лишь два года назад вашей премии удостоен русский и лишь три года назад —

писатель сходной двуязыковой судьбы, прославившийся даже главным образом не в своей родной литературе.

Я не буду пространно аргументировать и выскажу о В. Набокове только своё личное мнение. Это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, которое мы зовём гениальностью. Он достиг вершин в тончайших психологических наблюдениях, в изощрённой игре языка (двух выдающихся языков мира!), в блистательной композиции. Он совершенно своеобразен, узнаётся с одного абзаца — признак истинной яркости, неповторимости таланта. В развитой литературе XX века он занимает особое, высокое и несравнимое положение.

Всего этого, мне кажется, с избытком достаточно, чтобы присудить В. В. Набокову Нобелевскую премию по литературе и поспешить с этим актом в 1972 году, так как автору столько же лет, сколько и нашему веку. Обиднее всего бывает осознать с опозданием непоправимость ошибки.

Присуждение премии Набокову, по моему уверенному убеждению, укрепит и возвысит сам институт Нобелевских премий.

С самым глубоким уважением
к вашему литературному суду
ваш
А. Солженицын

ОТВЕТ о. СЕРГИЮ ЖЕЛУДКОВУ

28 апреля 1972

Глубокоуважаемый о. Сергий!

Удивили и Вы меня. «Если будет будущее...» — а мы сами ничего не будем делать? — тому ли учил Христос? Именно *внутреннего-то* отстаивания веры и нет: что женщины после 50 лет приходят в церковь — это свойство женщин, а не заслуга Церкви. Именно *внутренняя-то* стойкость и потеряна, вот что гибельно. Потеряна больше всего — иерархами, чем выше — тем безвозвратней.

В дилемме Вы пропустили главный выход, к которому я и призываю: через *личные жертвы* зримо перевоспитывать окружающий мир. «Один ничего не может»? — каждый может, один может, неправда. Вы девять лет назад знали что-нибудь обо мне? А сейчас перегибаете уже в другую сторону — что мне всё «безопасно»? Как же это получилось? Значит, есть путь? Вы скажете: меня окружало молчаливое сочувствие многих соотечественников? А разве у Церкви оно меньше? у Патриарха нет миллионов ещё верующих?

Приневоливать к жертвам — конечно нельзя. Но *звать-то* можно? Уж почему и *звать* запрещаете?

С уважением

Солженицын

ИЗ ИНТЕРВЬЮ

агентству «Ассошиэйтед пресс» и газете «Монд»

Москва, 23 августа 1973

Как вы оцениваете положение своё и других авторов в связи с присоединением СССР ко всемирной конвенции по авторским правам? Были полуофициальные сообщения, что отныне самый вывоз за границу литературных произведений, вовсе не квалифицируемых как «антисоветские», будет рассматриваться как уголовное преступление — нарушение монополии внешней торговли?

Николай I никогда не высказывал себя хозяином пушкинских стихов. Тем более при Александре II не были государственной собственностью романы Толстого, Тургенева или Гончарова. Никогда Александр III не указывал Чехову, где ему печататься. Никакие купцы и финансисты так называемого капитализма никогда не догадывались торговать произведениями ума и искусства прежде, чем сам автор уступит им такие права. И если при первом осуществлённом социализме низкие меркантильные умы додумаются, что продукт духовного творчества, едва отделясь от груди, от головы своего создателя, автоматически становится товаром и собственностью министерства внешней торговли, — такая затея не может вызвать ничего, кроме презрения.

Я, покуда мне закрыты пути печатания на родине, буду продолжать печатать свои книги в западных издательствах, совершенно игнорируя подобную финансово-политическую затею бездарностей.

С другой стороны — я усматриваю, что участие нашей страны в конвенции даже увеличивает в одном частном отношении свободу наших авторов.

Например, я последнее время ничего не давал из своих вещей в Самиздат, опасаясь, что их подхватит пиратская перепечатка где-нибудь на Западе. Теперь же, как говорят, права советских авторов надёжно защищены, и, стало быть, можно без опасения отдавать в Самиздат и знакомить наших читателей с произведениями, ещё не удостоенными публичного напечатания.

Что вы скажете о сегодняшней советской литературе?

Могу сказать о сегодняшней русской прозе. Она есть, и очень серьёзная. А если учесть ту невероятную цензурную мясорубку, через которую авторам приходится пропускать свои вещи, то надо удивляться их растущему мастерству: малыми художественными деталями сохранять и передавать нам огромную область жизни, запрещённую к изображению. Имена назову, но с затруднением и, вероятно, с пропусками: одни авторы, как Ю. Казаков, необъяснимо вдруг уклоняются от большой работы и лишают нас возможности наслаждаться их прозой; к другим, как Залыгин, чья повесть о Степане Чаузове — из лучших вещей советской литературы за 50 лет, могу оказаться необъективным, испытывая чужесть из-за разного понимания путей, как может служить сегодняшняя наша литература сегодняшнему нашему обществу; третьи — несомненно и ярко талантливы, но творчество их сторонне или поверхностно по отношению к главным течениям нашей жизни. Со всеми этими оговорками вот ядро современной русской прозы, как я его вижу: Абрамов, Астафьев, Белов, Быков, Владимов, Войнович, Максимов, Можаев, Носов, Окуджава, Солоухин, Тендряков, Трифонов, Шукшин.

Что вы скажете по поводу исключения Владимира Максимова из Союза писателей?

О Союзе писателей я бы не хотел говорить серьёзно: какой это *союз писателей*, если им руководят

генералы госбезопасности вроде Виктора Ильина?

Владимир же Максимов — честный мужественный писатель, бескорыстно и жертвенно преданный правде, и много преуспел в поисках её. Поэтому исключение его из лживого Союза писателей — вполне закономерно.

Что вы скажете по поводу лишения Ж. Медведева советского гражданства?

Не один этот случай, но уже несколько позволяют увидеть некоторые закономерности.

1. Гражданство в нашей стране не является неотъемлемым правом всякого рождённого на этой земле, а есть как бы некий купон, который хранится у замкнутой кучки лиц, вовсе ничем не доказавших своё большее право на русскую землю. И эта кучка, не одобряя убеждений подданного, может объявить его лишённым родины. Как такой государственный строй назвать — подберите слово сами.

2. Что в тех случаях, когда упущено расправиться с человеком, по его безызвестности, *закрытым* методом, находят самым безболезненным выбросить его на Запад, лучше всего в форме добровольного соглашения — под видом временной командировки или бесповоротного отъезда.

3. И надо признать, увы, что они не ошибаются в расчётах. Наша страна подобна густой вязкой среде: даже малые движения произвести здесь невероятно трудно, зато эти движения тотчас увлекают за собой среду. Демократический Запад подобен разреженному газу или почти пустоте: легко можно размахивать руками, прыгать, бегать, кувыркаться, — но это ни на кого не действует, все остальные хаотически делают то же.

Что вы думаете об ожидаемом процессе Якира и Красина?

Даже если на процесс допустят западных корреспондентов, то, очевидно, это будет лишь унылым повторением недаровитых фарсов Сталина-Вышин-

ского. Впрочем, в 30-е годы эти фарсы при всей их топорной драматургии, мазне грима и громкости суфлёра имели большой успех у *мыслящей* западной интеллигенции: так велика была её жажда верить «передовому строю». Таких *мыслящих* достаёт и в сегодняшнем поколении.

Если же корреспонденты не будут допущены на процесс, значит, он удался ещё двумя классами ниже.

Самим же Якиру и Красину, насколько мне известно, во время очных ставок никто не выразил в лицо, так я по праву старого зэка говорю им это сегодня здесь: что они повели себя слабодушно, низко и даже смехотворно, повторяя с 40-летним опозданием и в неуместной обстановке бесславный опыт растерянного поколения, тех дутых фигур истории, капитулянтов 30-х годов.

Что вы скажете по поводу последних нападок на академика Сахарова в советской печати?

Вместе с тем — и о сочлене его по Комитету прав человека, моём друге Игоре Ростиславовиче Шафаревиче. Шафаревич, президент Московского математического общества, хорошо известный в мировых математических кругах как выдающийся алгебраист, обратясь к общественной деятельности, тем самым закрыл себе научные мировые контакты и полное звание академика. Притеснение и слежка за ним усилились после его доклада о преследовании религии в нашей стране и активных настояний перед психиатрическими конгрессами по поводу античеловеческого использования психиатрии в нашей стране. Конгресс психиатров предпочёл дипломатично уклониться от защиты страдающих, Шафаревич же не только вытесняется ныне из Московского университета, где преподаёт 30 лет, но даже всем его аспирантам и ученикам (докторам наук) также закрываются пути научной деятельности.

Неутомимая общественная деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова до последнего времени за-

малчивалась нашей печатью, теперь начинает облыгаться. Вот объявлен он «поставщиком клеветы», «невеждой» (крупнейшие научные умы всегда приравниваются у нас к невежественным, коль скоро отказываются повторять всеобщую попугайщину), наивным прожектёром, а главное — критиком злопыхательским, ненавидящим свою страну и... не конструктивным.

Трудно солгать кряду более неудачно: что ни обвинение — то промах. Тот, кто проследил несколько лет за статьями Сахарова, его социальными предложениями, его поисками путей спасения планеты, его письмами правительству, его дружелюбными уговорами, не может не увидеть его глубокой осведомлённости в процессах советской жизни, его боли за свою страну, его муки за ошибки, не им совершаемые, его доброй примирительной позиции, приемлемой для весьма противоположных группировок (этим он напоминает Твардовского). Я — не сторонник многого того конкретного, что предлагает Андрей Дмитриевич для нашей страны, но именно *конструктивность* его предложений несомненна: каждое предложение не есть отрывчатая грёза «как хотелось бы», а путь к тому неизвестен, — нет: каждое предложение инженерно сцеплено с тем, что сегодня есть, и даёт плавный невзрывчатый переход.

ТАСС отвечает Сахарову, что «критику... даже самую острую» у нас «рассматривают как дело полезное». Это — дремучая неправда. Никакая вообще серьёзная критика ни на каком уровне и никакой степени конструктивности не разрешена в нашей стране *никому*, кроме узкого кружка людей, достигших своего положения многолетним послушанием, что как раз мало воспитало в них критические способности. Сахаров, увы, слишком известен, и вот приходится сокрушать его публично (как сокрушён и «Новый мир», ведший ту же примирительную конституционную линию). А критиков неизвестных во множестве сокрушают в безмолвии, в провинции, в глуши, и сколько их, никем никогда не названных,

томится и гибнет в областных психиатрических больницах!

Проверьте за последние хоть 10, хоть 20, хоть 30 лет: против кого из инакомыслящих выставили *аргументы?* Ни против кого, потому что их нет. Отвечают всегда ругательствами и клеветой. Таков «ответ» Сахарову. Таков же пустой «ответ» Генриху Бёллю. А чаще бывало — полное молчание, как на сахаровские ходатайства и обращения, на мои открытые письма, на письма Ростроповича, Владимова, Максимова, на холмы групповых ходатайств об амнистии, о спасении невинных, или древнего русского лика Москвы, или русской природы, или незакрытии храмов. Всегда: или административная, судебная кара, или брань, или молчание — три выхода для тех, кому *нечего* ответить *по существу*.

Теперь вот и против Сахарова вытягивают затасканный замусоленный козырь 30-х годов — помощь иностранным разведкам!.. Какая дикость! Человек, вооруживший их страшнейшим оружием, на чём стояла и стоит их мощь десятилетиями, — и помощь иностранным разведкам? Грань последнего бесстыдства и последней неблагодарности.

А ведь кроется глубокий смысл и высокий символ, и личная закономерность судьбы, в том, что изобретатель самого страшного уничтожающего оружия нашего века, подчинённый властному движению Мировой Совести и исконной страдательной русской совести, под тяжестью грехов наших общих и каждого отдельного из нас, — покинул то избыточное благополучие, которое было обеспечено ему, и которое так многих губит сегодня в мире, и вышел пред пасть могущественного насилия.

Как вы оцениваете нынешнюю общественную обстановку в СССР? Имеет ли влияние на её развитие позиция и выступления деятелей культуры на Западе?

Истинная история нашей страны давно не регистрируется, не пишется, не выставляется напоказ.

И если из целой армии историков увенчанных, маститых, средних и молодых найдётся один (вот как Амальрик), кто не станет жевать общую жвачку, не будет облепляться цитатами из Отцов Передового Учения, но осмелится дать самостоятельный анализ нынешней структуры общества и предсказать о будущем, что в самом деле может произойти с нашей страной, то, вместо того чтобы проанализировать его работу и взять оттуда верное и практически полезное, — его просто сажают в тюрьму.

И когда из череды блистательно-орденоносных наших генералов нашёлся единственный Григоренко, кто осмелился высказать *своё* нестандартное мнение о ходе минувшей войны и о сегодняшнем советском обществе, мнение, кстати, цельно марксистско-ленинское, — то и оно объявляется психическим безумием.

Несколько лет самоотверженная «Хроника» утоляла всеобщую естественную человеческую жажду: знать, что происходит. Она сообщала, хотя и в очень неполной мере, фамилии, даты, места, тюремные сроки, формы преследований, она выносила из пучины незнания на поверхность хоть малую-малую долю нашей ужасной истории — и за то разгромлена и растоптана с методичностью, с какой... подберём любимый западный пример... в Греции не преследуют и государственных заговорщиков.

Теперь, без «Хроники», нам, может быть, не сразу придётся узнать о последующих жертвах тюремно-лагерного режима, убивающего одною своей жестокостью, растянутой во времени, как убил он больного Галанскова, старого Талантова, старика Якова Одобеску (голодовка против лагерных притеснений). О *вторых* и *третьих* осуждениях уже осуждённых людей, как были возвращены досиживать свои однажды «прощённые» 25-летние сроки Святослав Караванский, Степан Сорока (25 лет получивший за то, что учеником 10 класса прочёл несколько националистических брошюр), латышский пастор Ионас Штагерс; как Юрий Шухевич получил вто-

рые 10 лет уже в пункте освобождения по показаниям человека, не знавшего его и суток, — а вот недавно взят и на третьи 10 лет; как за религию третий раз осуждён Борис Здоровец, но с первого раза получил 25 лет Пётр Токарь (и ныне сидит 24-й год!); или кто ещё, подобно Зиновию Красивскому и Юрию Белову, по окончании срока будет переведен из Владимирской тюрьмы в Смоленскую психтюрьму на срок уже не считаемый. Скроются от нашего зрения и знания дальнейшей судьбы сидящих Светличного, Сверстюка, Огурцова, Бориса Быкова (алма-атинская группа «Молодой рабочий»), Олега Воробьёва (пермский Самиздат), Гершуни, Вячеслава Платонова, Евгения Вагина, Нины Строкатой, Стефании Шабатуры, Ирины Стасив и многих, многих, многих, не известных дальше своих семей, сослуживцев и соседей.

Именно благодаря сплошной закрытости почти всего, что у нас происходит, когда и выплыли на Западе свидетельства Марченко, они показались там «преувеличением». И мало кто вдумался в такое, например, его показание, что режим царского Владимирского централа в советское время по одному лишь свету ухудшен в четыре раза (заложены окна до $^1/_4$), а в другом и ещё холодней, и ещё жесточе, чем в четыре.

И уже привыкнув, что о нас всё равно никогда ничего не узнать, пренебрегает мир и самой явной открытой информацией: что в поразительной этой стране с самым передовым социальным строем *за полвека не было ни одной амнистии для политических*! Когда наши сроки были 25 и 10, когда 8 лет у нас без улыбки считались «детским сроком», — знаменитая сталинская амнистия (7 июля 1945) отпускала политических... до 3 лет, то есть *никого*. И немногим более (до 5 лет) «ворошиловская» амнистия марта 1953, только наводнившая страну уголовниками. В сентябре 1955, отпуская Аденауэру немцев, отбывающих тюремные сроки в СССР, Хрущёв вынужден был амнистировать и тех, кто со-

трудничал с немцами. Но *инакомыслящим* не было амнистии *никогда* за полстолетия! — кто укажет на планете другой пример государственного строя, столь уверенного в своей прочности? Любители сравнивать с Грецией пусть сравнивают.

Когда в конце 40-х годов мы были завалены 25-летними сроками, мы в газетах только и читали о небывалых преследованиях в Греции. И сегодня многие высказывания западной печати и западных деятелей, даже наиболее чутких к угнетениям и преследованиям, происходящим на Востоке, для искусственного равновесия перед «левыми» кругами обязательно продолжаются оговоркой: «впрочем, *как и* в Греции, Испании, Турции...» И пока пристраивается этот искусственный ряд *как и*, сочувствие к нам теряет своё значение, свою глубину, даже оскорбляет нас, а сами сочувствователи не видят грозного предупреждения.

Осмелюсь выразить, что *не как и*! Осмелюсь заметить, что во всех тех странах насилие не достигает уровня сегодняшних газовых камер, то есть тюремных психдомов. Что Греция не опоясана бетонной стеной и электронными убивателями на границе, и молодые греки не идут сотнями через смертную черту со слабой надеждой вырваться на свободу. И нигде восточнее Греции не может министр-изгнанник (Караманлис) напечатать в газетах свою антиправительственную программу. И в Турции не могут (как в Албании) расстрелять священника за то, что тот окрестил ребёнка. И из Турции не бросаются в море по 100 человек в день (как китайцы под Гонконгом), чтобы между акул испытать жребий «свобода или смерть». И в Испании не глушат радиопередач ни с Кубы, ни из Чили. И Португалия допустила иностранных корреспондентов расследовать возникшие подозрения, какого приглашения на другом конце Европы эти корреспонденты никогда не получали, никогда не получат — и *останутся вполне довольны*, не посмеют даже протестовать! — вот что самое типичное.

Первая черта по одной шкале может означать 10, а первая черта по другой шкале — 10^6, то есть миллион. И только ли неграмотностью наблюдателей или свёрнутостью их головы можно объяснить их вывод: «и там и здесь перейдена первая черта»?

Тщетно я пытался год назад в своей Нобелевской лекции сдержанно обратить внимание на эти две несравнимых шкалы оценки объёма и нравственного смысла событий. И что нельзя допустить считать «внутренними делами» события в странах, определяющих мировые судьбы.

Так же тщетно я указал там, что глушение западных передач на Востоке создаёт ситуацию накануне всеобщей катастрофы, сводит к нулю международные договоры и гарантии, ибо они таким образом не существуют в сознании половины человечества, их поверхностный след может быть легко стёрт в течении нескольких дней или даже часов. Я полагал тогда, что также и угрожаемое положение автора лекции, произносимой не с укреплённой трибуны, а с тех самых скал, откуда рождаются и ползут мировые ледники, несколько увеличит внимание развлечённого мира к его предупреждениям.

Я ошибся. Что сказано, что не сказано. И, может быть, так же бесполезно повторять это сегодня.

Что́ такое глушение радиопередач, нельзя объяснить тем, кто не испытывал его на себе, не жил под ним годами. Это — ежедневные плевки в уши и в глаза, это оскорбление и унижение человека до робота, глушат ли способом «полной немоты» диапазона, или способом «ржавой пилы», или пошлой музыкой. Это низведение взрослых до младенцев: глотай только пережёванное мамой. Даже самые благожелательные передачи во дни самых дружественных государственных визитов глушатся так же сплошь: не должно быть ни малейших уклонений в оценке события, в оттенках, в акцентах, все должны воспринять и запомнить событие 100 %-но одинаково. А многие мировые факты и вообще не должны быть известны нашему населению. Москва и

Ленинград, парадоксально, стали самыми неинформированными столицами мира: жители расспрашивают о новостях приезжих из сельских районов. Там для экономии (очень не бесплатно обходятся нашему населению эти *услуги* по заглушке) глушат слабей. Однако, по наблюдению жителей разных мест, именно за последние месяцы глушение расширилось, захватило новые районы, увеличилось в интенсивности. (Вспоминается судьба Сергея Ханженкова, отсидевшего к 1973 году 7 лет за попытку — или даже только намерение — взорвать глушитель в Минске. А ведь исходя из общечеловеческих забот нельзя понять этого «преступника» иначе как борца за всеобщий мир.)

Общую цель нынешнего зажима мысли в нашей стране можно было бы назвать китаизацией, достижением китайского идеала, — если б этот идеал не существовал прежде того у нас в 30-е годы, да вот упущен. В 30-е годы много ли знали на Западе о Михаиле Булгакове, Платонове, Флоренском? Так и в Китае сегодня есть тысячи инакомыслящих, есть тайные писатели и философы, но мир узна́ет о них лишь целой эпохою позже, лет через 50—100, и то лишь о тех немногих, кто сумеет сохранить своё творчество между неумолимыми жерновами. К этому идеалу и хотят нас вернуть сейчас.

Однако я уверенно заявляю, что в нашей стране вернуться к такому режиму уже невозможно.

Первая причина тому: международная информация, всё-таки просачивание и влияние идей, фактов и человеческих протестов. Надо понять, что Восток отнюдь не равнодушен к протестам западной общественности, наоборот, — он смертельно боится их — и *только* их! — но когда это слитный мощный голос сотен выдающихся лиц, общественного мнения целого континента, от чего может зашататься авторитет *передового* строя. Когда же раздаются робкие единичные протесты безо всякой веры в успех и с обязательными реверансами «*как, впрочем, и* в Греции, Турции, Испании», то это вызывает только смех

насильников. Когда расовый состав баскетбольной команды оказывается бо́льшим мировым событием, чем ежедневные уколы узникам психтюрем, разрушающие мозг, — то что́ и можно испытать, кроме презрения, к эгоистической, недальновидной и беззащитной цивилизации?

Перед светом всемирной огласки наша тюрьма отступает и прячется. Амальрику, расправа над которым была спланирована вдаль уже в 70-м году, сперва пришлось дать «бытовую» статью и 3 года, чтобы оторвать от политических лагерей в Мордовии, загнать на Колыму, а теперь из-за новой всемирной огласки опять ограничиться «всего лишь» тремя годами, было бы больше.

Западный мир своей публичностью уже очень помог и спас многих наших гонимых. Но для себя он взял в этом неполный урок, не на той силе чувства, чтоб и себе перенять, что наши гонимые не только благодарны за защиту, но и дают высокий пример стойкости духа и жертвенности на самой черте смерти и под шприцем убийцы-психиатра.

И вот это — вторая и главная причина, почему я уверен, что китайский идеал уже недостижим для нашей страны.

Несгибаемому генералу Григоренко надобится мужество несравненно большее, чем требуют поля сражений, когда он уже четыре года, в аду тюремной психбольницы, каждый день отвергает соблазн купить свободу от пыток ценою своих убеждений, принять неправоту за правоту.

Владимир Буковский, всю свою молодую жизнь перемалываемый попеременными мясорубными ножами психиатрических тюрем, обычных тюрем и лагерей, не сломился, не предпочёл уже возможного существования на воле, но положил свою жизнь сознательной жертвой за других. В этом году он был привезен в Москву, и ему предложили: выйти на волю и уехать за границу, только до отъезда не заниматься политической деятельностью. Всего-то! — и он мог беспрепятственно ехать за границу поправ-

лять своё здоровье. По нынешним западным стандартам смелости, за свою свободу, за освобождение от мук можно платить и гораздо больше: иные американские военнопленные считали возможным подписывать любые бумаги против своей страны, ставя свою драгоценную жизнь конечно выше убеждений. А вот Буковский счёл убеждения дороже жизни. Яркий урок его сверстникам на Западе, хотя скорее всего бесполезный. Буковский в ответ поставил условие: чтобы были выпущены из тюремно-психиатрических больниц все те, о ком он писал. Освобождение без всякой личной подлости оказалось ему не достаточным: он не хотел бежать, покидая в беде других. И отправлен в лагерь досиживать свои 12 лет.

Сходный выбор был весной этого года и перед Амальриком: мог и он подтвердить показания Красина и Якира, и за это предлагали ему свободу. И он тоже отказался и был послан на Колыму за вторым сроком. И во всех случаях, о которых мы сегодня ещё не знаем подробностей, где пытки и муки скрываются от нас охраняемой «государственной тайной», — по одному тому, что человека *не* выпускают, не облегчают ему режима, мы можем с несомненностью судить: этот человек продолжает быть стойко верен своим убеждениям.

Сходный выбор нередко представляется и людям, живущим более обычной жизнью, не заключённым, но от того выбор не намного легче. Вот Горлов, который застиг в моём садовом домике налётчиков из госбезопасности 2 года назад. В те минуты его не убили лишь благодаря его активному сопротивлению, собравшему людей. Но затем от него требовали молчания, грозя прервать всю его служебную и научную карьеру, и было понятно, что это не пустая угроза, что он жертвует и благополучием семьи, — и всё же он не поддался искушению смолчать — всего лишь только *смолчать*.

Вот эта линия жертвенных решений одиночек — свет для нашего будущего.

Всегда поражает эта психологическая особенность человеческого существа: в благополучии и беспечности опасаться даже малых беспокойств на периферии своего существования, стараться не знать чужих (и будущих своих) страданий, уступать во многом, даже важном, душевном, центральном, — только бы продлить своё благополучие. И вдруг, подходя к последним рубежам, когда человек уже нищ, гол и лишён всего, что, кажется, украшает жизнь, — найти в себе твёрдость упереться на последнем шаге, отдавая саму свою жизнь, но только не принцип!

Из-за первого свойства человечество не удерживалось ни на одном из достигнутых плоскогорий. Благодаря второму — выбиралось изо всех бездн.

Конечно, не худо бы: ещё находясь на плоскогорьи, предвидеть это своё будущее низвержение и цену будущей расплаты и проявить стойкость и мужество несколько ранее критического срока, пожертвовать меньшим, но раньше.

Нельзя согласиться, что гибельный ход истории непоправим и на самую могущественную в мире Силу не может воздействовать уверенный в себе Дух.

Из опыта последних поколений мне кажется совершенно доказанным, что только непреклонность человеческого духа, крепко ставшего на подвижной черте наступающего насилия и в готовности к жертве и смерти заявившего «ни шагу дальше!», — только эта непреклонность духа и есть подлинная защита частного мира, всеобщего мира и всего человечества.

ПИСЬМО А. Д. САХАРОВУ

28 октября 1973

Дорогой Андрей Дмитриевич!

Был в отъезде, когда узналось о нападении на Вас, и потому пишу только сейчас.

Низко же поставлена наша страна перед арабами, если нет у них оснований уважать нашу национальную честь. Только и не хватало нам, чтоб ещё арабский терроризм «поправлял» русскую историю.

Однако я утверждаю, что в нашем отечестве при условии сквозной слежки и подслушивания, какие установлены за Вами, такое покушение невозможно без ведома и поощрения властей. Если б оно было независимым и для властей нежелательным, многочисленным штатам не составляло никакого труда пресечь его перед началом, в полуторачасовом ходе или тотчас по окончании задержать преступников. Посмели б они у нас пошевельнуться, не получив разрешения! — нелепо и подумать знающему наши условия.

Но это — новейший приём. Свободному слову свободного человека — что противопоставить? Аргументов нет, ракеты неприменимы, решётка ущербна для репутации, остаётся наёмный убийца.

Если когда-нибудь нанесут Вам этот удар, а я ещё буду жив, заверяю Вас, что остатком своего пера и жизни послужу, чтоб убийцы не выиграли, а проиграли.

Крепко обнимаю Вас!

Ваш

А. Солженицын

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕССЕ

18 января 1974

Полная ярости кампания прессы скрывает от советского читателя главное: о чём эта книга? Что за странное слово «ГУЛаг» в названии её? «Правда» лжёт: автор «смотрит глазами тех, кто вешал революционных рабочих и крестьян». Нет! — глазами тех, кого расстреливало и мучило НКВД. «Правда» уверяет, что в нашей стране — «бескомпромиссная критика» периода до 1956 года. Ну вот, пусть и покажут свою бескомпромиссную критику, я дал им богатейший фактический материал.

Ещё сегодня — ещё сегодня! — этот путь не закрыт. И какое очищение было бы для страны!

Публикуя «Архипелаг», я всё же не ожидал, что до такой степени отрекутся даже от своих прежних слабых признаний. Линия, избранная органами нашей пропаганды, есть линия звериного страха перед разоблачениями. Она показывает, как цепко держатся у нас за кровавое прошлое и хотят нераскрытым мешком тащить его с собою в будущее, — лишь бы не произнести ни слова — не то что приговора, — но морального осуждения ни одному из палачей, следователей и доносчиков. Характерно: едва только «Немецкая Волна» объявила, что каждый день будет по полчаса читать «Архипелаг», — на неё накинулись глушить неистово: ни одно слово этой книги не должно прорваться в нашу страну.

Как будто это надолго! Я уверен, что скоро наступит время, когда эту книгу в нашей стране будут читать широко и даже свободно. И найдутся памятливые и любознательные, кто потянется проверить: а что писала советская пресса при появлении этой книги? и кто подписывал? И в потоке мутной брани

они не найдут имён собственных, ответственных, везде трусливая анонимность, псевдонимность.

Потому и врут так легко, что угодно: будто по моей книге «гитлеровцы снисходительны и милостивы к порабощённым народам», «сталинградская битва выиграна штрафными батальонами». Всё лжёте, товарищи правдисты. Прошу объявить точные страницы! (Увидите, что не объявят.) Или ТАСС: «в своей автобиографии Солженицын сам признался в ненависти к советскому строю и к советскому народу». Моя автобиография напечатана в Нобелевском сборнике, 1970, доступна всему миру, проверьте, как нагло лжёт Телеграфное Агентство Советского Союза. Да что о нём говорить, если оно имело бесстыдство плюнуть в смеженные глаза всем убитым: что написано об их муках и смерти только ради валюты (сообщение Кирилла Андреева, ТАСС. А *его* отец — жив? или расстрелян там же?).

Но и тут промахнулось ТАСС: продажная цена книги на всех языках будет предельна низка, чтоб читали её как можно шире. Цена такая, чтобы только оплатить работу переводчиков, типографии и расход материалов. А если останутся гонорары — они пойдут на увековечение погибших и на помощь семьям политзаключённых в Советском Союзе. И я призову издательства отдать и свой доход на ту же цель.

А вот ложь «Литгазеты»: будто у меня «советские люди — исчадия ада», сущность русской души «в том, что русский человек готов за пайку хлеба продать отца и мать». Назовите страницы, лгуны! Это для того так пишется, чтоб разъярить против меня моих неосведомлённых соотечественников: Солженицын «ставит знак равенства между советскими людьми и фашистскими убийцами». Маленькая подтасовка: между фашистскими убийцами и убийцами из ЧК-ГПУ-НКВД — да, ставлю. А «Литгазета» натягивает сюда «всех советских людей», чтобы среди них нашим палачам укрыться удобней.

Но *какие* страницы они будут указывать, из

какой книги? Ведь «Литгазета» попалась на мародёрстве, на раздевании трупа: она цитирует *захваченный экземпляр,* 4-ю и 5-ю части «Архипелага», которые ещё нигде не напечатаны, — *именно в Госбезопасности* делал выписки подозрительный «Литератор»! Вот выйдет 4-я часть, вы прочтёте и эту цитату: «я понял ложь всех революций истории» (конец главы 1-й), и эту оценку — не русского человека, но советской *воли* (глава 3-я, названия разделов): «Постоянный страх», «Скрытность и недоверчивость», «Тление души», «Ложь как форма существования»...

И ещё смеют обвинять, что момент печатания «Архипелага» выбран мировой реакцией, чтобы сорвать разрядку напряжённости. Он выбран — нашей Госбезопасностью (она и есть главная «мировая реакция» сегодняшнего дня), — выбран её жадностью хватать рукописи: зачем же она в августе 5 суток выдавливала, выжигала эту рукопись из бедной женщины? В произошедшем захвате я увидел Божий перст: значит, *пришли сроки.*

Как предсказано было Макбету: **Бирнамский лес пойдёт.**

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ТАЙМ»

19 января 1974

Братья Медведевы выражают веру, что реформы в СССР могут произойти лишь изнутри, притом сверху, и что западное общественное мнение мало чем может помочь. Сахаров выражает мнение, что лишь давление снизу и извне может быть эффективным. Раздавались упрёки, что он и вы обращались к западным правительствам и реакционным кругам на Западе. Что вы скажете об этом?

Ни к иностранным правительствам, ни к парламентам, ни к иностранным политическим кругам я лично не обращался никогда. Сахаров же, сколько знаю, единственный раз к американскому сенату и один раз, косвенным советом, к правительствам Западной Европы. Верно, это не адрес для нас и не путь. Мы обращались к мировой общественности, к деятелям культуры. Их поддержка для нас — бесценна, всегда эффективна, всегда помогает. Мы оба до сих пор целы и живы только благодаря ей. Однако и она не может быть бесконечной, призывами к этой поддержке мы не смеем злоупотреблять: во всех странах — свои заботы, и не обязаны они всё время заниматься нашими.

Но совсем смехотворно предложение Роя Медведева в его рыхлой статье, почти легальной по скучности: обращаться за помощью к западным коммунистическим кругам, — к тем, кто не имел желания и усердия защитить даже коммунистическое дело в Чехословакии, — так неужели *нас* они будут защищать? (За публикацию «Ивана Денисовича» Хрущёв получил выговор от Гомулки и Ульбрихта.)

Братья Медведевы предлагают терпеливо, на коленях, ждать, пока где-то «наверху», какие-то мифические «левые», которых никто не знает и не называет, одержат верх над какими-то «правыми», или вырастет «новое поколение руководителей», а мы все, живущие, все живые, должны — что? «развивать марксизм», хотя бы нас пока сажали в тюрьмы, хотя бы «временно» и усилилось угнетение. Чистый вздор.

Казалось бы, и естественно нам — обращаться к нашему правительству, к нашим вождям, предположив, допустив, что они не совсем безразличны к судьбам народа, из которого произошли? Такие письма писались не раз — Григоренко, Сахаровым, мною, сотнями людей, с конструктивными выходами из сложностей и опасностей для нашей страны, — но никогда не были приняты даже к обсуждению, ответов не было, только карательные.

И остаётся наше право и наш прямой путь — обращаться к своим читателям, к своим соотечественникам, и особенно к нашей молодёжи. И если она, всё узнав и всё поняв, не поддержит нас, то это уже будет от недостатка мужества. И тогда она и мы заслужили нашу жалкую участь, и не на кого нам жаловаться, только — на своё внутреннее рабство.

Каким же образом ваши соотечественники, ваша молодёжь могут оказать вам поддержку?

Никакими физическими действиями, всего-навсего: отказом ото лжи, *личным неучастием во лжи*. Каждому перестать сотрудничать с ложью решительно везде, где он сам видит её: вынуждают ли говорить, писать, цитировать или подписывать, или только голосовать, или только читать. У нас ложь стала не просто нравственной категорией, но и государственным столпом. Отшатываясь ото лжи, мы совершаем поступок нравственный, не политический, не судимый уголовно, — но это тотчас сказалось бы на всей нашей жизни.

ТАСС заявляет, что издание вашей книги «Архипелаг ГУЛаг» создаёт опасность возврата атмосферы «холодной войны» и наносит ущерб разрядке напряжённости между Востоком и Западом.

Вред миру и добрым отношениям между людьми и народами приносит не тот, кто рассказывает о совершённых преступлениях, а тот, кто делал или делает их. Раскаяние личное, общественное и национальное всегда только очищает атмосферу. Если мы открыто признаем наше страшное прошлое и сурово, не в пустых словах, осудим его — это только укрепит во всём мире доверие к нашей стране.

Ваша новая книга не будет напечатана здесь, но многие русские услышат её по радио. Как вы себе представляете их реакцию, в особенности реакцию молодого поколения, знающего мало о событиях, которые вы описываете?

Услышат ли по радио — неизвестно. По «Немецкой Волне» «Архипелаг» уже глушат. Но всё равно правда дойдёт, узнается. Десятилетиями она настолько была скрыта, что её появление во весь рост потрясает всякого незнающего, — но и воспитывает его сердце, но и даёт ему свет и силу на будущее.

Как, вы предполагаете, поступят власти в отношении вас?

Совершенно не берусь прогнозировать. Я и моя семья готовы ко всему.

Я выполнил свой долг перед погибшими, это даёт мне облегчение и спокойствие. Эта правда обречена была изничтожиться, её забивали, топили, сжигали, растирали в порошок. Но вот она соединилась, жива, напечатана — и этого уже никому никогда не стереть.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕССЕ

2 февраля 1974

В декабре, ещё не публиковался «Архипелаг», лекторы московского горкома КПСС (например, Капица в Госплане) заявляли дословно: «Солженицыну мы долго ходить не дадим». Эти обещания властей вполне совпадали с псевдобандитскими письмами, в которых добавлялись только череп и скрещенные кости. Вышел в свет «Архипелаг» — и любимый знак бандитов перешёл из анонимных писем на витрину Союза художников, а угрозы убить — в телефонную атаку («приговор приведём в исполнение!»). Эту телефонную атаку на мою семью — двух женщин и четырёх детей — хулигански вели агенты госбезопасности в две смены — с 8 утра до 12 ночи, кроме суббот и воскресений, когда у них законные выходные.

А визгливая кампания газет направлена, собственно, не на меня: заполняй они бранью хоть целые полосы, они все вместе не испортят мне одного рабочего дня. Газетная кампания направлена против нашего народа, против нашего общества: оглушить, ошеломить, испугом и отвращением откинуть соотечественников от моей книги, затоптать в советских людях *знание*, если оно прорвётся через глушилки. Сыграть и на низких инстинктах — у Солженицына три автомашины, буржуй! — кто ж и где опровергнет всевластных лгунов, что никаких трёх машин нет и не было, а передвигаюсь двумя ногами да троллейбусом, как не унизится самый последний корреспондент ТАССа. Сыграть и на высоком возмущении: он оскверняет могилы павших в Отечественной войне! Через башни газетной лжи кто ж доберётся, что моя книга — совсем не об этой войне и

не о двадцати миллионах наших павших, но о других *шестидесяти* миллионах, истреблённых войною внутренней за 40 лет, — замученных тайно, замороженных на безлюдьи, выморенных голодом целых республиках?

Недели назад ещё был честный путь: признать правду о минувшем и так очиститься от старых преступлений. Но судорожно, но в страхе животном решились стоять за ложь до конца, обороняясь газетными бастионами.

Защита мирового общественного мнения пока не даёт ни убить автора, ни даже арестовать: то было бы лучшим подтверждением книги. Но остаётся путь клеветы и личной дискредитации, за это теперь и принимаются дружно. Вот вызван из провинции мой бывший одноделец Виткевич, и, сохраняя свою научную карьеру, он через АПН, этот испытанный филиал КГБ (они ему «дружески показали» протоколы следствия 1945 года, пошёл бы кто добился другой!), похваливает следствие тех времён: «следователь не нуждался искажать истину». 29 лет он не ставил упрёков моему поведению на следствии — и до чего же вовремя попадает теперь в общий хор. Отлично знает он, что от моих показаний не пострадал никто, а наше с ним дело было решено независимо от следствия и ещё до ареста: обвинения взяты из нашей подцензурной переписки (она фотографировалась целый год) с бранью по адресу Сталина, и потом — из «Резолюции № 1», изъятой из наших полевых сумок, составленной нами совместно на фронте и осуждавшей наш государственный строй. Вспоминает мои «показания на суде», а надо мной и суда не было, заочное ОСО. Верно пишет он, что мы «принадлежим к разным людским категориям»: настаивал он на забвении всех смертей и мук, своих и чужих. Да это только начало. Вот выловят, заставят лгать свидетелей, попутчиков, встречных моей полувековой жизни. Вот и из бывших зэков, недостреленных, недомученных, выжмут

заявления, что они не страдали, что их не пытали, что не было Архипелага.

У ЦК, КГБ и у наших газетных издательств, сегодня тайком нарасхват читающих «Архипелаг», нет уровня понять, что я о себе самом рассказал в этой книге сокровенное, много худшее, чем всё плохое, что могут сочинить их угодники. В этом — и книга моя: не памфлет, но зов к раскаянию.

Вся сегодняшняя газетная свистопляска, в которую вкружились именитые деятели искусств (а другие с твёрдостью отреклись, и идёт молва об их мужестве), — вся эта кампания есть бой против совести народа, против правды для народа. Перегораживая её чёрными фалдами, взмахами крыльев, решилась рогатая нечисть на этот безнадёжный бой перед заутреней, чтобы протянуть свою власть над человеческими душами. Но чем отчаянней они мажут чёрным, тем полней им отдастся, когда узнается правда.

Наш народ уже полвека добывает её только разгребаньем ото лжи. Научились люди, уже знают, зачем и когда так избыточно вопят. Притекает ко мне поддержка — в телефонных же звонках, в достигших письмах, записках от названных и неизвестных людей, —

> «От уральцев. Всё понимаем. Так держать, браток! Группа рабочих.»

Пишут одиночные протесты в газеты, предвидя все гибельные последствия для себя. Вот и публично выступили бесстрашные трое молодых — Борис Михайлов, Вадим Борисов, Евгений Барабанов (у каждого — малые дети), ничем не защищённые, кроме правоты. Быть может, раздавят и их и меня, но не раздавят правду, сколько б ещё знаменитых жалких имён ни подцепили к чёрному хороводу.

Я никогда не сомневался, что правда вернётся к моему народу. Я верю в наше раскаяние, в наше душевное очищение, в национальное возрождение России.

НА СЛУЧАЙ АРЕСТА

**Написано в августе 1973,
опубликовано 13 февраля 1974**

Я заранее объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской литературой, над единой книгой её, над любым русским автором. Если такой суд будет назначен надо мной — я не пойду на него своими ногами, меня доставят со скрученными руками в воронке́. Такому суду я не отвечу ни на один его вопрос. Приговорённый к заключению, не подчинюсь приговору иначе как в наручниках. В самом заключении, — уже отдав свои лучшие восемь лет принудительной казённой работе и заработав там рак, — я не буду работать на угнетателей больше ни получаса.

Таким образом я оставляю за ними простую возможность открытых насильников: вкоротке убить меня за то, что я пишу правду о русской истории.

НА ЗАПАДЕ

1974-1981

НЕ СТАЛИНСКИЕ ВРЕМЕНА

Да, у нас — не сталинские времена. Сталин был слишком груб, слишком мясник: он не понимал, что для страха и покорности совсем не нужно так много крови, так много ужасов. А нужна всего только методичность.

Сейчас это с успехом понимают. Чтобы люди боялись сказать и дохнуть — достаточно даже *нескольких* примеров удушения, но — методических, но — неотвратных, но — до конца. Один такой пример — Пётр Григоренко. Второй — Владимир Буковский. Вот взяли — и не выпустим! Схватили — и до конца додушим, хоть от протестов разорвись весь мир! А *ты*, каждый маленький, понимай: раз этот жребий существует, он — и *для тебя*. Там кого-то отпустили в гости, кого-то вышибли, кого-то в ссылку, а как раз *ты* и можешь стать третьим (десятым) в страшном списке удушенных до конца.

И обеспечена покорность миллионов.

Деятельный, твёрдый, неподкупный генерал Григоренко, именно здоровьем духа так выделенный из нашей усреднённой хилости и трусости, схвачен пять лет назад как умалишённый, — кажется, бездарное повторение устаревшей грибоедовской комедии или чаадаевской истории, — а нет, прихватило! Весь мир знает, вся страна знает: вот держат глумливо нашего честного защитника как умалишённого, — и интеллигенция примирилась, и страна примирилась, и тем более весь мир. Ни администрация *психушек*, ни врачи, ни в Черняховске, ни в Столбах даже и не делают вида, что считают Григоренко больным, за 5 лет в истории болезни жалобы — только на зубы и на ногу, но (жене): «мадам, пойми-

те, *всем жить хочется...»* На каждой экспертизе открыто наглое требование одно: отказаться от своих взглядов, дать обязательство больше не действовать! (Всего только! Из благоразумия, ради детишек, — кто из нас не уступает в этом каждый день?) А Григоренко не уступил *ни пяди!!* И после каждого отказа его карают — низменно, по уровню тюремной своей душонки: то окно забьют намордником до конца; то лишат параши и два замка навесят на камеру, чтобы дольше собирать отпирающих; то — держали в камере с убийцей; то на прогулку — с агрессивными больными, те бросаются, сбивают с ног хромого старика. Уже так много зла совершили над ним, что и сами трусят отступить: а ну-ка расскажет, напишет о них, палачах, для будущего Второго Нюрнберга? Старик не сдаётся (душой! а сам — ослеп на один глаз, ослаб, голову ломят боли, но именно на головные боли нельзя жаловаться убийцам из школы Снежневского-Лунца!), — старик не сдаётся, так — детей давить: уволим, судебное преследование начнём против жены и детей! старика *излечим* уколами!..

А чтобы мир усумнился, обмяк, не вступался — на то существует скользкий угодник «Штерн»: как всегда проник, куда в СССР иностранцы не проникают, и даже в тюремный глазок фотографировал, как видит один вертухай, — а кого врасплох не снимешь и со странным выражением лица? И вот распубликовано сомнение через вертухайские фотографии.

Мир обмяк, народ безмолвствует, интеллигенция спокойно кушает любительскую колбасу.

Нет, у нас не сталинские времена.

А. Солженицын
И. Шафаревич

Март 1974

РЕПЛИКА

Жить, не теряя достоинства, ставит целью себе и другим соотечественным интеллигентам анонимный автор X. Y. И программу он видит в таком разделении: зарубежный журнал должен измениться, улучшиться, исправиться — и тем доставить бездействующему и не рискующему читателю в метрополии достойное возвышающее чтение. А поруководить этим исправлением журнала из своей норки автор не прочь. Именно — *не* так, как «сурово выговаривали» другие, себя назвавшие, а эдак: отказаться от традиционных читателей, этот журнал создавших и передержавших несколько десятилетий; для того развалить православную тенденцию журнала (до сих пор мы слышали, что народ виноват перед интеллигенцией; теперь читаем, что и православная церковь ещё должна *вернуть себе доверие* интеллигенции); продолжить «свежую насущную» линию № 97 (зло и невежественно исказившую смысл недавней русской истории); добавить экономическое и социологическое направление; неизвестными силами издаваться на 2—3 языках параллельно; привлечь к себе европейских авторов; упаси Бог не давать оснований обвинениям в «антисоветизме» — для безопасности читателей в метрополии (да и западных либералов не отпугнуть). И ещё допустимо, очевидно, продолжить и «переходные интенции» Л. Венцова и С. Телегина...

Неведомый X. Y.! Да и есть ли у Вас действительно страстная потребность в журнале? Если да — не проще ли Вам самому рискнуть, да поработать, да создать другой мечтаемый журнал? Был бы хорош — пошёл бы и в Самиздат. Вот и пополнялся бы наш *плюрализм*. Жить, не теряя достоинства, — это может быть прежде всего: подписываться своим именем и не тупить глаз перед парторгом.

Март 1974

ОТВЕТ КОРРЕСПОНДЕНТУ «АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС» РОДЖЕРУ ЛЕДДИНГТОНУ

30 марта 1974

Есть ли у вас всё же планы посетить Соединённые Штаты?

Недавно я вынужден был отказаться от дружелюбных приглашений г-на Джорджа Мини и сенатора Хелмса и объяснил свой отказ. Но это отказ не принципиальный, а лишь по ограниченности моих физических возможностей. Я сознаю, что взаимопонимание между общественностью моей страны и Соединённых Штатов исключительно необходимо, а его очень трудно составить издали, пользуясь главным образом поверхностными и часто недостаточно обдуманными суждениями ежедневной прессы.

Вот недавний пример: моё «Письмо вождям Советского Союза» еще *до* его опубликования в Соединённых Штатах подверглось в печати, начиная с «Нью-Йорк Таймс», примитивному и даже ложному истолкованию, в противоречии с его истинным смыслом. Изложенная в «Письме» моя программа выведена из того общего положения, что и целые нации, как отдельные люди, могут достичь своих высших духовных результатов только ценой добровольного *самоограничения* во внешней области, сосредотачиваясь исключительно на своём *внутреннем* развитии. Поэтому я предложил моей стране односторонне отказаться ото всех внешних завоеваний, от насилия над всеми близкими и далёкими нациями, от всех мировых претензий, от всякого мирового соперничества, и в частности — от гонки вооружений. Всё это я предложил сделать в масштабах, далеко превосходящих то, как это мечтают достичь

обоюдной «разрядкой напряжённости». И *такая* программа истолкована американскими газетными комментаторами как национализм, как идеология воинственного расширения своей нации!.. Предложение же следовать новейшим технологическим рекомендациям Римского Клуба охарактеризовано как «утопичность» и «призыв вернуться к прошлому». Так расхожая поверхностная оценка становится фундаментом для общественного мнения. Так пресса способна вместо взаимного разъяснения вносить взаимное непонимание между далёкими частями планеты.

Да, контакты между общественностью наших двух огромных стран совершенно необходимы. Я очень сожалею, что в настоящее время могу участвовать в них только в форме писем.

В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ

Подкомиссии по делам Европы,
г-ну Бенжамину С. Розенталю

Подкомиссии по делам
международных организаций,
г-ну Дональду М. Фрейзеру

3 апреля 1974

Я высоко признателен двум вашим подкомиссиям за приглашение принять участие в их работе по вопросам, имеющим международную и неотлагаемую важность. Я считаю в высшей степени полезным и необходимым ваше, как вы пишете, сперва историко-аналитическое, а затем и современное практическое обсуждение этих проблем. Вместе с тем, к моему сожалению, я никак не смогу принять в этих обсуждениях участие личное — по мотивам, которые уже изложил в письмах к некоторым деятелям вашей страны. Но, пользуясь тем, что темы заседаний ваших подкомиссий смежны, а в какой-то области и перекрываются, я осмелюсь в этом едином совместном ответе высказать самым кратким образом своё понимание *разрядки напряжённости*, о чём, как пишете вы, существует большое разнообразие мнений.

Сперва: что́ я *не* понимаю под разрядкой международной напряжённости, что́ является *лже*-разрядкой. Такое положение, когда из послушных газет снята ругань против партнёра, но по единому приказу может быть возобновлена с любого утра. Когда придаётся сакраментальное значение подписям или даже устным обещаниям правителей, которые и в

своей-то стране никогда не выполняли даже собственной конституции. Когда с одной стороны допущено известное число улыбок и даже подписей под договорами, ничем реально не гарантируемыми, за что другая сторона совершает непрерывный ряд реальных уступок и услуг к укреплению первой стороны. Когда с поздним изумлением обнаруживается, что предыдущие договоры *не так* истолкованы и осуществлены, как мечталось и понималось, и шлются новые и новые делегации, чтобы новыми и новыми уступками склонить к восстановлению прежней трактовки. Когда обнаруживается, что принятые, кажется, меры ограничить вооружения лишь прикрыли их новый и успешный рост. Когда не для прочного замирения, но для одного лишь устранения тягостного слова «война» заключается перемирие, не обеспеченное н и ч е м, даже без реальных прав наблюдательной комиссии, без третейского голоса в ней, с реальной возможностью для агрессора как угодно нарушать перемирие в любые сроки и в выгодных условиях беспрепятственно готовить новую агрессию. Когда любое проявление жестокости и даже зверства одной стороны по отношению к своим гражданам или соседним народам — с другой стороны глашатаями лжеразрядки поспешно и близоруко оценивается как «нисколько не препятствующее разрядке», — и так высказывается приглашение к новым зверствам и преследованиям (ведь сегодня — ещё не к н а ш и м сыновьям и братьям, сегодня — ещё к чужим, далёким). И я не думаю, что я слишком парадоксально выражусь или слишком далеко шагну к абсурду, предположив, что если в некие ненастные 10—14 дней остаток Европы будет без больших усилий оккупирован победоносными армиями — то гнев вашей заокеанской страны и даже крутые решения вашего правительства прекратить тогда культурный обмен балетными и оперными спектаклями будут вскоре опротестованы негодующими и рассудительными голосами в прессе и в Сенате: что надо считаться с *реальностью,* что

происшедшему нельзя придавать значения большего, чем прежним эпизодам в Восточной Европе, что противостояние агрессору может только ожесточить его и укрепить реакционные силы, — а надо вдвойне и втройне приложить усилия к новой «разрядке напряжённости». Той разрядке, которую, оказывается, допустимо и морально было вести со Сталиным в его злейшие времена, как недавно высказано одним очень ответственным деятелем (и тогда отчего ж и не с Гитлером?..).

После сказанного уже немного займёт определение разрядки позитивное: такое *несомненно контролируемое* обезоруживание всех средств насилия и войны с любой стороны — против граждан не только чужеземных, но и своих, ещё недосягаемых или уже досягаемых, которое делало бы каждый шаг, каждый этап разрядки *практически необратимым* и лишало бы любую из властей по прихоти или злой воле внезапно вернуться к политике насилия.

Да, разрядка напряжённости не только нужна, но это единственный путь спасения человечества, это настоятельное требование современности, более сильное, чем намерения и волевые решения отдельных политических деятелей, — но разрядка *истинно гарантируемая*. Нельзя этому понятию и этому действию дать покатиться по ложному пути самообмана.

Подобную (и даже более сильную) программу снятия насилия для собственной страны я выдвинул в «Письме вождям Советского Союза». И был очень удивлён, что прессою вашей страны эта программа была принята поверхностно и неверно. В том «Письме» как раз и изложен тот путь морального очищения и практического самоограничения, без которого СССР и не может внести реального вклада в истинную разрядку мировой напряжённости.

С уважением

А. Солженицын

ЗАЯВЛЕНИЕ

5 апреля 1974

В Советском Союзе царит *крепостное право.* Я об этом заявлял уже не раз, но, кажется, это воспринимается более как художественный образ. А это — полная реальность, однако в миллионах случаев отдалённостью, провинциальностью, беззвучностью умело скрытая от чужого поверхностного взора. Лишь когда крепостное право применяют ко всемирно известным людям, доступно разглядеть его всем. Так, недавно писателя *Виктора Некрасова,* лауреата советских же премий, схватили как провинившегося раба и швырнули по месту полицейской прописки, чтобы не мешал в Москве. А сегодня так же точно схватили, оторвали от семьи и отправили на расправу в глушь местного произвола тяжело больного *Александра Гинзбурга,* неутомимого защитника советских заключённых, уполномоченного Русского Общественного Фонда.

В этом и ключ советского крепостного права: постоянная приписанность к месту жительства, невозможность никуда уехать из-под местного начальства без его разрешения. Поэтому крепостное право — не только в лагерях и в колхозах, где прямой принудительный труд, не оплачиваемый по своей стоимости. Крепостное право разлито по просторам нашей страны: *вольные* граждане совсем не свободны ни в выборе труда, ни в защите достойной оплаты его и даже в общем жизненном поведении должны приноравливаться к местным мелким партийным сатрапам и их капризам: вызвавши их гнев, могут быть теснимы вне всяких законов.

Советские люди не смеют выбрать, где им жить в своём отечестве. Насколько же нестерпимей этот гнёт, чем несвобода эмиграции, которая вызвала столь справедливое волнение во всём мире.

4—617

ОТВЕТЫ ЖУРНАЛУ «ТАЙМ»

3 мая 1974

Что вы можете сказать по поводу критики Сахаровым вашего «Письма вождям»?

В Соединённых Штатах и в Великобритании «Письмо» напечатано почему-то без моего вступительного слова к читателям, сопровождавшего публикацию во всех остальных изданиях (русском, французском, немецком и т. д.). Я прошу журнал «Тайм» хотя бы теперь опубликовать это вступление также и на английском.

Как видите, я пишу здесь, что не настаиваю на единственности предлагаемого мною выхода и даже готов тотчас снять мои предложения, если мне противопоставят не просто критику (я, и когда писал, понимал слабые места этого «Письма»), но предложат *выход лучший, реальный, конструктивный*. Сахаров же в своих возражениях не указывает иного практического пути к свободе, кроме свободы эмиграции. Но это — свобода производная, а не производящая. Непонятно, как она может решить проблемы остающихся миллионов. Например, в последние годы в эмиграции произошли несомненные облегчения, но крепостное право («паспортный режим») для остальных миллионов нисколько не послабело.

Я пишу, что предложения мои были выдвинуты в прошлом году с весьма-весьма малою надеждой, да. Но и нельзя было не испробовать этот совет. В своё время и Сахаров, и Григоренко, и другие, с разными обоснованиями, предлагали советскому правительству мирные пути развития нашей страны. Это делалось всегда не без надежды — увы, не

оправдавшейся никогда. Пожалуй, можно и подытожить: последовательно и решительно отвергая *всякие* благожелательные предложения, *всякие* реформы, *всякие* мирные пути, советские вожди не смогут сослаться, что они не знали ситуации, что им не предлагалось альтернатив: своей упрямой косностью они взяли на себя ответственность за самые тяжёлые варианты развития нашей страны.

Расхождения мои с Сахаровым не новы: о них я написал статью ещё 5 лет назад, в 1969 году. Но тогда я не пустил её в Самиздат, дал прочесть только ему самому. За последний год в развитие и обоснование моих взглядов на желательное будущее России у меня написаны три большие статьи, и они были бы уже опубликованы в марте-апреле, да помешала моя высылка из Советского Союза. Однако скоро я намерен их опубликовать.

Как вы себя чувствуете в эмиграции? Сохранили ли вы способность писать? К чему может повести массовый выезд из страны интеллектуальных сил?

Я себя никак не считаю эмигрантом и надеюсь долго удержать это ощущение. Физически я выброшен с родины, но своей работой остаюсь повседневно и навсегда связан с нею. Конечно, условия разительно другие, привыкнуть очень трудно, всё ещё не верится в происшедшее, будто сон. Но мой жизненный опыт в России так протяжен, что, я думаю, ещё много лет смогу работать, используя его. А тем более для исторического романа большую роль играют архивы и библиотеки, на Западе они мне гораздо доступнее, чем на родине. Многие художники-изгнанники до меня за много веков доказали, что и в изгнании можно писать успешно.

Вообще же смысл всякого эмигранта — возврат на родину. Тот, кто не хочет этого и не работает для этого, — потерянный чужеземец. Но и помимо эмигрантов судьбы страны всегда решатся самой метрополией. Расчёт советских властей, что, столкнув

в эмиграцию интеллектуально активные силы, они добьются в метрополии подавленности и тишины, — ложный расчёт. Доктрина марксизма, державшая их несколько десятилетий, — сгнила. Умы молодёжи открыты сомнению и поиску, сердца протестуют против насилий и глупости — и этого процесса уже не остановить. Разумнее всего было пойти ему навстречу, но этого разума не обнаруживается.

В ГАЗЕТУ «АФТЕНПОСТЕН»

Именно в вашей газете в прошлом году я имел честь выразить ту предупреждающую мысль, что устранение открытых военных угроз далеко не обеспечивает мира. Что антитезою мира является не только горячая война, но и душащее насилие. Если в могущественных и динамичных странах насилию нет контроля и границ — это делает совершенно иллюзорными все кажущиеся достижения всеземного мира. Если общественность этих стран не только не может контролировать действий своих правительств, но даже иметь о них мнение, — то все внешние договоры могут быть смахнуты и разорваны в пять минут на рассвете любого дня. Подавление инакомыслящих в Советском Союзе не есть «внутреннее дело» Советского Союза и не есть просто дальние проявления жестокости, против которых протестуют благородные чуткие люди на Западе. Беспрепятственное подавление инакомыслящих в Восточной Европе создаёт смертельную реальную угрозу всеобщему миру, подготавливает возможность новой мировой войны гораздо реальнее, чем её отодвигает торговля.

Вот последние примеры. Габриэль Суперфин — физически слабый, измождённый человек, однако с несгибаемым жертвенным духом. Он устоял перед страшным следствием в глухой провинции, отверг капитулянтский позорный путь Якира, не стал губить других для своего спасения — и за то обречён на смерть, ибо ничем другим не могут быть пять лет *строгого* лагерного режима при его нездоровьи. Суперфин не признал недоказанного обвинения в том, что он изготовлял «Хронику текущих событий».

Но я предлагаю вдуматься: а если бы изготовлял? *Только за беспристрастное беспартийное фактическое перечисление гонений свободной мысли,* то есть повседневную рутинную обязанность прессы на Западе, человека на Востоке обрекают на смерть! И в этих условиях вершители западной политики полагают, что строят прочный мир?

Вот профессор Ефим Эткинд. В один день растоптаны четверть века его научной и писательской деятельности, преподавания, воспитания молодых. На всё обширное институтское собрание, чтобы подавить его, достаточно завораживающей гробовой «Справки из КГБ» (сравните эту обстановку с любым западным университетом!). «Справка» ссылается на «протоколы допросов КГБ», — но кто когдалибо докажет подлинность единого листа этих протоколов, если КГБ не затрудняется подделывать даже документы свободного внешнего обращения (я недавно дал пример в журнале «Тайм»)? Воронянская *не могла* добровольно и со смыслом показать, что Эткинд в 1971 году получил на хранение два экземпляра «Архипелага», по той простой причине, что, законченная тремя годами раньше, книга с тех пор покоилась безо всякого движения. Но допустим и тут самое ужасное: что Эткинд касался пальцами прежде или прочёл сегодня эту непростительную книгу, повествующую опять-таки о гибели миллионов невинных. В сегодняшнем Советском Союзе это считается достаточным официальным основанием, чтобы человека растоптать. И в этом случае многочисленные западные оптимисты снова поспешат с заявлением, что и эта расправа «нисколько не нарушает» международную разрядку?

Но нельзя превращать разрядку напряжённости в растянутый поступенчатый Мюнхен. Сегодня хрустят н а ш и косточки — это верный залог, что завтра будут хрустеть в а ш и.

Мои предупреждения исходят из многолетнего советского опыта, вся жизнь моя была посвящена изучению этой системы. От кого зависят судьбы

Запада, могут и сегодня пренебречь моими предупреждениями. Они вспомнят их, когда клочок вот этого листа «Афтенпостен» нельзя будет достать иначе как под угрозой тюремного срока.

25 мая 1974

ИЗ ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ КОМПАНИИ CBS

(Интервью ведёт Уолтер Кронкайт)

Цюрих, 17 июня 1974

После четырёх месяцев в Западной Европе пересмотрели ли вы какие-то из ваших мнений о западном мире, сформировавшихся ранее в Советском Союзе?

Четыре месяца — это, конечно, срок небольшой, а особенно при моём образе жизни: я не езжу, мало встречаюсь, я стараюсь наладить свою работу. Так что опыт у меня ещё короткий в Западной Европе. Но, должен сказать, — нет, основные мои представления, как они сложились в Советском Союзе, так они и остались. Более того, я смел бы сказать, что мой взгляд выработался не индивидуально, это не мой только взгляд оттуда, он — и многих людей, находящихся в Советском Союзе, и, знаете, даже шире, — в Восточной Европе. Такая ситуация сложилась, которая не бывала веками: жители Восточной Европы — русские, венгры, поляки, чехи, литовцы, немцы, румыны — теперь, в результате одинакового жизненного опыта, одинаково испытанного угнетения, имеют какие-то общие взгляды, общие воззрения на то, что делается в мире, и в частности на Западе. И я должен сказать, что я не раз уже встречал совпадение своих собственных взглядов со взглядами многих восточноевропейцев. И может быть, вот этот диалог — *Восточная Европа — Западная Европа* — как-то упускается. Мне кажется, что исключительно полезно было бы Западу прислушиваться к слитному голосу Восточной Европы, ибо вся Восточная Европа вместе может сказать очень много важного и полезного.

Вы можете сказать, что жизнь на Западе — такая, какой вы её ожидали увидеть?

Да. В общем, мне кажется, я так и представлял себе западную жизнь.

Испытываете ли вы трудности в вашей работе в изгнании по сравнению с тем, как вам работалось в Советском Союзе?

Ещё месяца два назад я не мог бы вам уверенно ответить, не мог бы сказать, как пойдёт, но сейчас я могу с облегчением и радостью сказать, что работа моя здесь идёт так же, как в России, с теми же привычками, на том же уровне, в том же темпе. Я работаю совершенно нормально. И это главное содержание моей жизни сейчас.

Ваша жизнь в Советском Союзе, по-видимому, была трудна во многих отношениях. То, что вы оказались теперь на свободе, меняет ли как-то образ вашей работы?

Вы знаете, я никогда не работал в Советском Союзе скованно. Давление, которое было вокруг меня, это давление было на мою жизнь, но не мою работу. Я начал серьёзно писать в лагере, в 1948. Это, значит, 25 лет назад. И вот все эти 25 лет я работал внутренне совершенно свободно. Когда я сижу над листом бумаги и пишу — нет никакой разницы: то, что я делал в лагере, то, что я делал в ссылке, в Советском Союзе вообще, и сегодня. Разница, может быть, другая, что там я должен был каждый день думать: вот это, что я написал, куда я должен спрятать? а вдруг ночью придут? А тут я спокойно — написал, положил и спать ложусь.

Над чем вы сейчас работаете?

Не только сейчас, я, собственно, всю жизнь работаю над одним: написать историю русской революции. С 1936, этому уже сорок лет, работе этой. Но меня всё время что-то отвлекало и мешало,

перебивало. Я и сейчас работаю над своими Узлами, очередным Узлом Третьим, кончаю Второй Узел. Если бы сегодня в нашей стране не было бы режима постоянного угнетения, не страдали бы каждый день люди, не уничтожали бы за инакомыслие, и если б эта система не старалась распространиться на весь земной шар, то я бы мог себе разрешить вообще не писать публицистических статей, не давать интервью, никаких общественных выступлений, а только писать мою книгу. Но вот горькая необходимость. Мне моей жизни всей, вероятно, не хватит кончить мою работу, я так думаю. Так что надо было бы заниматься одной ею. Вообще из-за угнетённости и секретности моего положения в Советском Союзе у меня создался изрядный запас вещей уже написанных, но ещё не напечатанных. Сейчас я буду больше, чем раньше, публиковать.

Насколько трудно вашей семье привыкнуть к новой жизни?

Конечно, трудно. Для тех, кто никогда не собирался покидать родину, привыкнуть очень трудно. Но мы и не настроены привыкать. Я по горло занят работой, жена помогает мне, а впереди у нас цель — возврат в Россию, чувствуем себя повседневно связанными с ней и поэтому, собственно, привыкать по-настоящему и не хотим. Мы верим, что вернёмся. И для этого работаем.

Когда?

Ах, когда? К сожалению, люди никогда не могут этого предсказать.

Для этого надо было бы, чтоб произошли изменения в политической системе, в нынешнем правительстве?

Я бы даже сказал, для меня — простой ключ: настолько изменилась бы система, чтобы весь «Архипелаг ГУЛаг» можно было напечатать свободно, широко в России. Не так обманно, как у нас умеют

печатать, напечатают маленький тираж, продадут в Москве, иностранным корреспондентам, на Запад пошлют — и известие: «опубликовали Булгакова». На самом деле никто этой книжки не видел, — опубликовали! Нет, не так, а чтобы в любом русском магазине можно было купить «Архипелаг ГУЛаг».

Значит, в тот день, когда ваши книги будут свободно продаваться в книжных лавках Советского Союза, — вы сможете вернуться?

В этот момент я мог бы быть полезен там, я мог бы быть действительно к месту, да.

Иначе не была бы обеспечена ваша безопасность?

Нет, ну, видите, я там был до последнего дня, и я никогда бы сам не уехал, я не собирался уезжать. Более того, если б я заботился о своей безопасности, я бы не осмелился напечатать «Архипелага», находясь в Советском Союзе. Я понимал, что́ значит для меня напечатать «Архипелаг» — или просто смерть или смерть через тюрьму, и ничего другого. Но я давно к этой судьбе был готов, — как Бог даст. И так оно, собственно, и было: арестовали меня и предъявили «измену Родине», которая дает высшую меру — расстрел, так что мне в первый же вечер ареста предъявили расстрел. Нет, я к этому был готов, иначе нельзя было выйти из положения; уезжать нельзя, и бесконечно держать «Архипелаг» — тоже нельзя. «Архипелаг» надо было печатать. Так что я клал голову под топор. Но вот обошлось. Пока.

Читаете ли вы западные газеты?

Всё свободное время я занят чтением для моего романа, исторического. Исторический роман требует такого количества чтения — ведь это эпоха, пропущенная в нашей стране. Трудно представить, но вот об этой эпохе, о 14-м, 15-м, 18-м, 20-м годе, у нас в стране знают меньше, чем о пушкинском времени, о

Екатерине II. Но это надо много читать, поэтому для чтения западной прессы у меня времени мало, я читаю вырезки, которые мне дают. И радио слушаю западное на русском языке. Конечно, мои сведения поэтому ограничены, ясно. Я не могу читать столько, сколько читаете вы здесь, да и языки надо знать хорошо.

Хотелось бы знать ваше мнение о западных средствах получать и передавать информацию, как оно сложилось после вашей высылки.

Ну, что сказать? Надо сразу сказать: западная пресса помогла мне, Сахарову, всем нам выстаивать годами, а особенно помогла в августе-сентябре прошлого года. Так что я, конечно, могу быть западной прессе только благодарен. Но свежими глазами иногда можно увидеть то, чего люди, живущие постоянно, — не видят. Вот, я с этим кусочком хлеба, из Лефортова, из последнего недоеденного лефортовского обеда, внезапно приезжаю в Западную Европу, ещё три часа назад я ожидал расстрела, три часа назад. Вдруг мне объявляют, что я высылаюсь — куда? — и неожиданно во Франкфурте-на-Майне высаживают. И почти с этого момента начинается штурм, западная пресса обрушивается на меня. Я ещё не могу в голову вместить того, что произошло, я сотрясён происшедшим, я не имею расположения что-либо заявлять. А они требуют, чтоб я высказывался, будто я приехал с готовыми высказываниями. Я нахожусь на единственную фразу, что я «достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу». Но вот день за днём пресса от меня не отстаёт, она преследует меня всюду: дежурит около дома Бёлля, потом около дома адвоката, в осаде я нахожусь. Хочу выйти, хоть подышать, хоть ночью, когда никого нет. Выхожу на задний балкон, где корреспондентов нет, — вдруг два прожектора, вот таких вот прожектора на меня, и фотографируют, ночью! Я иду со спутниками, разговариваю, подсовывают микрофон, несколько микрофонов,

узнать — что я говорю своим спутникам? и передать своим агентствам, — ну, я в такую минуту раздосадовался, говорю: «да вы хуже кагебистов!» — подхватили! первое высказывание: Солженицын приехал на Запад и заявил: «Западная пресса хуже КГБ», — как будто я собрал пресс-конференцию и так заявил. Я думал, скажу: «Господа, поймите, я сейчас не в состоянии с вами разговаривать, дайте мне отдышаться, я хочу побыть один», — и оставят в покое. Нет! И это потом продолжалось долго, когда я ездил в Норвегию, когда вернулся, когда приехала моя семья, семья приехала бессонная, измученная, — нет, позируйте, выходите, позируйте нам! Отказались. Тогда прорвались тут, вокруг нашего дома, топчут всё, что соседи насадили, как стадо бизонов, — чтобы что-нибудь сфотографировать. Им говорю: «Ну почему так? раз я вас прошу: я сейчас не буду говорить; пожалуйста, оставьте нас.» Отвечают, милые молодые люди, откровенно: «Никак не можем. Нам приказано, если мы не выполним, нас уволят.» Знаете, вот это очень скользкая, опасная формулировка: если я не выполню — меня уволят. Так это сейчас любой угнетатель в Советском Союзе скажет: а я выполняю приказ, а если я не выполню — меня уволят. Видите, каждая профессия, если она начинает разрушать нравственные нормы жизни, должна сама себя ограничить. Действительно, западную прессу здесь не связывает, не останавливает ничто, никакая полиция, ни власти. Ну, тогда надо ограничить самим себя. Надо сказать: вот тут есть порог, нравственный, вот сейчас нужно отказаться. Всякие достоинства, если предела им не поставить, если не ограничить, переходят в недостатки.

Хорошо. Можно было бы даже восхититься: как западная пресса в натиске таком — добыть истину — ничего не жалеет: ни себя, ни других, ну, как военные корреспонденты, лезут под самый обстрел, пусть меня убьют, но я сейчас сфотографирую и что-то такое сообщу. Но вот странное явление: ока-

зывается, западная пресса далеко не всегда так необузданно стремится к истине. Я наблюдал эту же самую прессу у нас в Москве, да так и везде в Восточной Европе, и в Китае особенно. Вот поразительно: там западная пресса совершенно меняется. К счастью, не все, есть замечательные исключения, есть великолепные корреспонденты, которые себя не щадят, так их обычно и высылают. А большинство? — а большинство вдруг становятся такими скромными, такими осторожными, такими осмотрительными. Здесь, на Западе, они могут президента трясти, сенат, военные секреты, военное министерство, — всё они разнесут, т а м — последний болгарский полицейский говорит: «Стоп, вот эту церковь не снимать.» — «Хорошо, не буду снимать.» Хунвейбин вывешивает листовку на стене для своих китайцев, подходит корреспондент читать — и хунвейбин, сопливый мальчишка, говорит: «Не читать, это не для вас!» Корреспондент поворачивается и уходит. Позвольте, что ж это? Зачем же такая разница? Вот Амальрик незадолго перед своим арестом написал небольшую статью о том, как ведут себя иностранные корреспонденты в Москве, я очень рекомендую прочесть. Могу добавить свой опыт, небольшой, но собственный. В 67-м году пишу письмо съезду писателей. Оно появляется в газете «Монд», в Париже. Московский корреспондент «Монд» разворачивает газету, свою собственную газету, и видит моё письмо там. Что естественно испытать корреспонденту? Радоваться, что это помещено, жалеть, что не он сделал. Корреспондент «Монд» в 67-м году п о б л е д н е л и сказал: «Какой ужас! подумают, что это я передал, меня вышлют из Москвы!» Ещё один корреспондент уважаемой немецкой газеты, не буду называть, — я ответил на статью в «Штерне», передал ему, чтоб он опубликовал, — а он побоялся: а вдруг советские власти вышлют? Но посмотрите, тут уже мы выходим за пределы прессы, это гораздо шире вопрос: вот мы, советские люди, — мы рабы по рождению, мы рождены в рабстве, нам

очень трудно освобождаться, но каким-то порывом мы пытаемся подняться. А вот приезжает независимый западный человек, привыкший к полной свободе, — и вдруг мгновенно, без необходимости, без подлинной опасности, усваивает дух подчинения и становится добровольным рабом. Вот это страшно. Когда задают вопрос: «Да как это может быть, неужели свободные народы, попав под угнетение, вот как Восточная Европа, могут так быстро стать в рабское положение?» Конечно. Если свободный корреспондент, который ничем не рискует, кроме того, что ему разобьют ветровое стекло машины или вышлют из Москвы, ведёт себя рабски? — конечно. Но отсюда другой страшный вывод: две стороны Земли по-разному освещены, ну так, как вот Солнце освещает: половина Земли всегда под солнцем, а половина Земли — ночь, в тени. Вот так и информация освещает наш земной шар. Половина Земли, Запад, — под ярким солнцем, видно всё насквозь, обо всём сообщает западная пресса, западные парламентарии, любой общественный деятель, сами государственные деятели отчитываются, — и советская, китайская, восточно-европейская разведка тоже прощупывает и проходит Запад насквозь, она видит всё, что хочет, очень легко, она знает, что её разведчикам даже ничего не грозит на Западе. Почему я, допустим, мог там, у себя, составить какое-то мнение о Западе, и вот оно вроде не ошибочно? — да потому что Запад весь освещён, о Западе всё решительно напечатано, написано, говорится. И почему советологи так называемые, почему они с таким трудом и так часто ошибочно судят о Востоке? Потому что Восток погружён в темноту. О Востоке западная пресса, которая туда приезжает, не даёт сколько-нибудь серьёзной информации. Если бы каждый корреспондент говорил так: я голову свою положу, пусть мне голову отрубят, но я одно известие, точное, важное, сообщу. Тогда хоть иногда бы что-то важное проходило. Но если каждый, почти каждый корреспондент боится или опасается,

если почти каждый корреспондент даёт поверхностные, скучные вещи, сидит, обрабатывает советскую прессу, из неё что-то возьмёт, на поверхности, а иногда и прямой обман, — откуда иметь информацию о Востоке? Ещё можно было бы от нашей прессы? — ну, тут смешно говорить. Наш парламент? — смешно говорить. Были бы в нашей стране свободные общественные дискуссии — так они и задушиваются у нас в первую очередь.

Вы критикуете манеру и поведение западной прессы, но вы не хотите этим сказать, что вам не нравится система свободы прессы?

Не только не критикую свободу прессы, наоборот, я считаю это величайшим благом, что она такая на Западе. Но я вот о чём: с одной стороны, не только пресса, но и всякая профессия, но и всякий человек должен уметь пользоваться своей свободой и сам себе находить остановку, нравственный предел. А с другой стороны, я настаиваю, что если пресса имеет такую свободу на Западе, то она должна отстаивать свою свободу, когда попадает на Восток. Какие бы на Востоке условия ни были, но если пресса привыкла к свободе — осуществляйте свободу и там. Тогда не будет таких поверхностных суждений, не будет так трудно объяснять советские поступки или предсказывать их, а ведь почти всегда ошибаются в предсказаниях, придумывают какие-то невероятные объяснения, будто бы в Кремле идёт борьба «правых и левых», и вот этой борьбой всё объясняют. Когда Сахарова и меня травили и вдруг кончили, в один день как оборвало, многие на Западе написали: «Почему остановилась травля? Загадка! Это, наверное, борьба правых и левых.» И не скажут самого простого: что испугались в ЦК и «правые» и «левые», а их и нет там никаких правых и левых. И никакой загадки нет. Западная пресса вместе с нами, западная общественность вместе с нами, — мы вот стали так крепко — и струсили просто в ЦК, струсили и отступили. И так они вся-

кий раз отступают перед всеобщей единой твёрдостью.

Вероятно, когда вы писали «Архипелаг» и ваши другие вещи, вы хотели, чтобы Запад узнал эту правду?

Я не могу сказать, что я писал свои вещи для того, чтобы «открыть Западу глаза на Восток». Я прежде всего все книги писал для своего собственного народа, для русских, потому что мы сами свою историю не знаем, вот что страшно, — не только Запад не знает нашей истории, мы сами свою историю потеряли: я вам говорил — недавние события, предреволюционные и революционные, у нас как провалились: сожжены документы, убиты свидетели, живые молчат. Я вообще восстанавливал правду, всякую правду о своей стране, прежде всего для своих. Я многие годы писал безо всякой надежды напечататься. Если бы не было чуда с «Иваном Денисовичем», — это просто чудо, что Твардовский мог убедить Хрущёва напечатать «Ивана Денисовича», — я представлял свою жизнь так: буду писать до самой смерти, вот так вот, всё напишу, и умру. А когда-нибудь всё опубликуют. А благодаря «Ивану Денисовичу»...

Значит, можно сказать, что поскольку ваши работы опубликованы при вашей жизни, то вы — продукт хрущёвского времени?

Продуктом Хрущёва меня назвать никак нельзя, потому что я писал независимо от его реформ, задолго до них, и писал в своих основных произведениях совсем не то, что Хрущёв хотел бы. Да, волей Хрущёва и стараниями Твардовского случилось так, что меня напечатали. Но если бы Хрущёв сам знал, что́ он делает, когда он меня печатал, и если бы остальные члены ЦК это знали, — никогда б они меня не напечатали. В этом состоит система наша. Система советская, ну, я исправляюсь, восточо-европейская, китайская, — она не терпит

правды нисколечко, вот маленькая капелька правды, «Иван Денисович», это — маленькая капелька, разве это вся правда? — а сколько она имеет последствий! Например, «Архипелаг» появился как следствие «Ивана Денисовича», — почему? потому что я ещё до «Ивана Денисовича» задумал «Архипелаг», я чувствовал, что нужна такая систематическая вещь, общий план всего того, что было, и во времени, как это произошло. Но моего личного опыта, сколько я ни расспрашивал о лагерях, все судьбы, все эпизоды, все истории, и опыта моих товарищей было мало для такой вещи. А когда напечатался «Иван Денисович», то со всей России как взорвались письма ко мне, и в письмах люди писали, что́ они пережили, что́ у кого было. Или настаивали встретиться со мной и рассказать, и я стал встречаться. Все просили меня, автора первой лагерной повести, писать ещё, ещё, описа́ть весь этот лагерный мир. Они не знали моего замысла и не знали, сколько у меня уже написано, но несли и несли мне недостающий материал. Вот так и составились показания 227 свидетелей этих. И я понял, что замысел мой был верен и вот ложится на меня святой долг выполнить это. Да если бы Хрущёв думал и знал, что я напишу такой «Архипелаг», или что я уже пишу историю революции, он бы и не напечатал «Ивана Денисовича». Хрущёв действовал совершенно бессознательно, ему нужен был «Иван Денисович» в тот момент, когда с Китаем он спорил, о Сталине. Ещё долго будут в Кремле подсчитывать — не подсчитают, сколько последствий от этого ничтожного эпизода.

Как вы представляли себе судьбу своих рукописей до того, как был напечатан «Иван Денисович»?

Я думал ещё много лет писать, не открывая себя. Возможно, я бы послал вещи напечатать на Западе. Но должен вам сказать, как я теперь узна́ю, например, об Архипелаге ещё до меня на Западе

книг 30 уже напечатали — в 20, 30, 40-е годы. Люди рассказывали, из России писали, приезжали — рассказывали, — не действует! 30 книг написано об Архипелаге — их не заметили! Нужна была такая ситуация, как произошла со мной, что меня напечатали *там,* и нужно было мне вот оттуда написать «Архипелаг», чтоб его заметили. Очень может быть, что я бы всю жизнь писал, кончил свои работы (или не кончил бы), и умер с этим, — как у нас говорится, писал бы «в стол».

Какое значение имеет западное общественное мнение для большей свободы эмиграции из Советского Союза? Оказывает ли оно давление? Например, в случае с Пановыми, которые выехали недавно?

Влияние западного мнения — огромно. Я ещё из Советского Союза писал, в интервью говорил, что Запад даже не понимает, как велико его мнение, но тогда, когда это слитный голос целого континента, когда не то что два-три интеллектуала говорят: «я протестую, но я не верю в силу моего протеста», а когда подымается слитный голос, *все* против. Вот вы приводите случай с Пановыми и с эмиграцией. Уж тогда, разрешите, скажу вам, что здесь происходит некоторый перекос внимания Запада к советским проблемам. А перекос этот, искажение, — от искажённой картины, от того, что Запад недостаточно понимает, что делается в Советском Союзе. Действительно, все успехи в эмиграции достигнуты благодаря западному общественному мнению, исключительно. Случай с Пановыми это показывает, и много других случаев. Но вот что здесь произошло. Как-то незаметным образом так получилось, что все лучшие усилия западного общественного мнения помочь положению в Советском Союзе — все направились на эмиграцию, только бы облегчить эмиграцию, и эмиграцию облегчили. Но если сравнить, сколько было западных протестов и волнений по поводу не выпускаемых в эмиграцию с протестами и волнениями

по поводу наших беззвучных страдальцев, героев, мучеников лагерей, психдомов и административного удушения, — то, я бы сказал, большая непропорциональность заслуг и отклика на них, даже предпочтение отдаётся тем, кто хочет спастись, уехать, перед теми, кто хочет остаться и исправить эту страну, рискуя собственной жизнью. Я напомню вам, в прошлом году, в сентябре, ваш председатель бюджетной комиссии Палаты Представителей господин Вильбор Милз внёс поправку к законопроекту о торговле с Советским Союзом более широкую, чем поправка сенатора Джексона, — она уже и тогда была, поправка Джексона. Милз потребовал не устанавливать торговых льгот до тех пор, пока в Советском Союзе не прекратятся вообще преследования инакомыслящих, нарушение элементарных гражданских прав, то есть постановка вопроса несравненно более мудрая, существенная, очень важная, и для самих Соединённых Штатов даже более важная, чем для нас. Но скоро опять всё сползло только к одной эмиграции. Я, конечно, считаю, что всякий человек, который хочет эмигрировать, должен иметь эту свободу, что всякое препятствие эмиграции есть варварство, дикость, не достойная цивилизованной страны. Однако эмигрируют, в общем, те, кто бегут, спасают себя от наших ужасных условий. Гораздо более мужественные стойкие люди остаются для того, чтобы исправить там положение, чтобы добиться улучшения условий. Почему-то они обделены вниманием Запада. Я отнюдь не прошу: «Пожалуйста, Запад, помогите нам!» Я считаю, что Запад не обязан нам помогать. Положение, в которое попали мы, народы Советского Союза, Восточной Европы, Китая, — из этого положения мы должны выйти сами, собственными руками, но: если уж Запад всё равно нами занимается, если уж тратятся силы, волнения сердца, участие, то я бы просил помнить, что здесь происходит нарушение пропорций, ибо один день в психиатрической больнице, когда уколы делают, один в лагере особого режи-

ма — гораздо тяжелее, чем три месяца ходить в ОВИР и получать отказ: нет, не пускаем; нет, не пускаем; нет, не пускаем. Тяжелей.

Находите ли вы, что отъезд из своей страны этически правилен со стороны тех, кто уезжает?

Я бы так сказал: если уезжает человек, который чувствует себя чужеземцем, который не считает эту страну своею, то это — совершенно естественный поступок, это естественное движение свободного человека. Он хочет уехать и жить в другом месте. И я никогда этого не осужу.

Более того, людей, которые едут в Израиль, — только, понимаете, действительно в Израиль, не тех, которые притворяются, говорят, мы поедем в Израиль, а сами едут в другое место, а тех, кто говорят: мы поедем в Израиль — и едут в Израиль, — я их глубоко уважаю. Потому что: они, в общем, избирают для себя более тяжёлую жизнь. В Израиле им будет и опасней, и больший долг на них будет висеть, тяжесть обязанностей; их движет религиозное чувство и чувство национального возрождения, я их глубоко уважаю.

И не буду говорить о тех, кто просто бежит куда-нибудь, спасаясь: восхищения это не вызывает, но и не упрекнёшь людей, что они измучены, устали, боятся.

Но мне кажется диким, когда, уехав, начинают рецепты давать, как нам быть *там*. Говорят так: вот это моя страна, это моя родина, Советский Союз или Россия. Но здесь плохо, поэтому я сейчас уеду; уеду, с вами не буду, а оттуда, с Запада, буду объяснять, что вам делать; потом, если будет лучше, я вернусь. Нет. Когда в доме плохо, болезни, несчастья, — из дома не уезжают. Из дома можно уехать, когда всё хорошо.

Если США, пользуясь торговлей или другими видами международных отношений, пы-

таются заставить Советский Союз изменить свою политику, вам не кажется, что это — вмешательство во внутренние дела страны? В «Письме вождям Советского Союза» вы высказывали мнение, что советские лидеры должны были бы сосредоточиться на своих собственных делах, не кажется ли вам, что мы должны были бы также считать, что и Соединённые Штаты должны сосредоточиться на своих собственных делах?

Я говорил уже в Нобелевской лекции: внутренних дел вообще не осталось на нашей планете, нет внутренних дел. Этим отгораживаются тоталитарные правительства: внутреннее дело, и Запад принимает. И в «Письме вождям» я призываю лечить нашу страну изнутри, а вовсе не спрятать наши внутренние дела от мирового обсуждения, такого я никогда не говорил. Вот у вас, в Америке, у вас же внутренних дел нет? вы открыто говорите на весь мир и предлагаете всем говорить о ваших делах, пусть все говорят, кто хочет — может говорить. А как Советский Союз — так стена: внутренние дела. Это — не внутренние дела, это — забор, стена, за которой всё прячется, и когда-нибудь откроется, но будет слишком поздно. Но разница в том, что вы свой внутренний порядок не навязываете всему миру. Советский Союз в этом отношении не идёт в сравнение с Соединёнными Штатами, только с Китаем. Только две державы — Советский Союз и Китай — желают распространить свою систему на весь мир. Соединённые Штаты такой не имеют цели, и это показал весь послевоенный период, тридцать лет после Второй мировой войны. Советский Союз каждый свой шаг сопровождает политическими условиями. И вот я обратился к правительству своей страны, но никогда не обращусь к американскому, я всё время оговариваю — я не призываю американское правительство ни к чему. Своё правительство я призываю — не распространять нашу жестокую систему на весь мир. Мы потому должны

уйти внутрь, что мы распространяем свою систему на весь мир, а у нас, внутри страны, творятся ужасные вещи. Но это не значит, что если я так призываю Советский Союз, то так надо призывать каждое государство.

Вы считаете, что советские репрессии создают угрозу международному миру?

Да, я считаю, что советские репрессии по своему значению совсем не есть внутреннее дело Советского Союза, советские репрессии представляют собой опасность для международного мира. ГУЛАГ продолжается, но продолжается в новых формах, которые ждут своего летописца. С Запада может казаться: вот, было страшно при Сталине, а сейчас как будто ничего страшного нет. Для того чтобы увидеть, что делается в Советском Союзе, нужно, к сожалению, иметь советский опыт. Как я сказал: освещены наши дела плохо, западные наблюдатели не видят в глубину, нужно иметь советский опыт. Объём Архипелага сейчас уменьшился: это, конечно, уже не те 15 миллионов, какие были, а вот, в оценке Сахарова, — 1,5 миллиона. Возможно, так. Объём уменьшился. Жестокость? — нет. Жестокость не уменьшилась. Есть очень тяжёлые режимы, так называемые *строгий* и *особый*. Они вполне на уровне самых страшных сталинских лагерей, где от голода умирают, от недостатка медицинской помощи умирают, — зверские режимы. А потом есть психдома, такого и при Сталине не было. Даже Сталин не мог догадаться до этого, до психдомов. Но сейчас есть ещё и другие формы репрессий, вот этого американцам и людям Запада почти нельзя себе представить, такой порядок в стране. Понимаете, у нас есть два института, две системы, которых на Западе нет, которые работают вместе и берут человека в о т т а к... Одна, что работодатель — только государство. Вы не можете получить работы ни у кого, кроме государства, где б вы ни работали, это всё решается государством. И если есть приказ вас не принимать на

работу — нигде не примут. А другая система — паспортный режим. Режим прикрепления к месту. Вы не можете никуда уехать из этого местечка, из этого маленького посёлка, или города, или деревни, и вы находитесь во власти не то что там центральных властей или советского аппарата, вы находитесь во власти — вот, здешнего начальника, и, если вы ему не нравитесь, вы пропали, и уехать никуда нельзя. Таким образом, эти две системы вот так вот берут и душат человека, а снаружи как будто ничего нет, его же не сажают в тюрьму. И в этот захват попадает сейчас гораздо больше людей, чем сидит в лагере. Сейчас много говорится о разрядке, будто эта разрядка — облегчение воздуха везде, в том числе и в Советском Союзе, и в Восточной Европе. Но нет, наоборот, в Советском Союзе обстановка сгущается, сбросили избыточный пар, чтоб давление было поменьше, а остальных будут душить, в глубине душить. Снаружи кажется — разрядка, мир, а у нас там внутри — сгущение чёрное.

Надо представить эту обстановку. У нас — подслушивание телефонных разговоров? — да мы об этом стыдимся говорить, потому что это как мухи, вот муха села — и муха улетела. Они всё время подслушиваются, все разговоры. У нас — взломать кабинет врача, чтобы посмотреть историю болезни? — никто никогда не будет, потому что не надо взламывать, а врач обязан представить, любая власть говорит: «Ну-ка, дай-ка мне лечебное дело такого-то!» — «Пожалуйста.» Понимаете, у нас совсем другой масштаб.

Но есть у нас и страшнее способ удушения. Вот видите, международная пресса, международные организации справедливо говорят: политзаключённые есть не только в Советском Союзе. Да, не только. Не говоря уже о том, что наши тюремные сроки длинней, что наши лагерные режимы жёстче, жесточе, что у нас и после срока человек виноват, всю жизнь виноват, если он сидел в тюрьме, — кроме того, у нас в Советском Союзе и Восточ-

ной Европе в положение виновных и преследуемых ставится семья заключённого, его жена, дети, так было всегда при Сталине, но так осталось и сейчас. Если я — диссидент, если против меня преследование, то чтобы я знал, что моя семья будет голодная, босая, и тоже не будет работать, и её будут преследовать. Вот это есть особый тотальный способ политического устрашения: чтобы каждый думал не только — рисковать ли ему собой? но — рисковать ли ему семьёй? И вот мы сейчас предприняли легальные действия, которые во всякой стране естественны, как воздух: помощь семьям политзаключённых и преследуемых по политическим убеждениям. Помощь семьям — это всюду, в каждой стране делается, в самых страшных режимах, никто никогда не упрекает. А у нас это считается — подрыв режима, и власти не стесняются в мерах подавить эту помощь. Если Александр Гинзбург такой, он хорошо известен, он в своё время издал «Белую книгу» о Синявском и Даниеле, за это получил пять лет, — это был процесс Галанскова — Гинзбурга, Галансков погиб в лагере, Гинзбург жив. Как вы смотрите с Запада, при малой информации, вам все инакомыслящие кажутся почти одних убеждений, на одно лицо, и одинаковой смелости: и те, кто хотят только вырваться, спасти свою жизнь, и те, кто, стиснув зубы, ежедневно рискуют и свободой, и семьёй, отстаивают человеческое достоинство и лучшее будущее своей страны. Так вот Гинзбург — подлинный и настоящий герой, самоотверженный. Я пишу в «Архипелаге»: есть люди, которые, отбывши заключение, стараются только наладить свою разрушенную жизнь, а заключение забыть, как сон, никогда его не поминать. Не таков Александр Гинзбург. К чести для него, он воспринял своё заключение как глубокое явление подлинной жизни, Архипелаг — как область своей основной родины. Ни одна встреченная судьба не выпадает из его памяти, ни одно знакомство не расстраивается этапом. Он помнит все судьбы, жизнен-

ные обстоятельства, состав семей этих зэков и нужды их. А так как, выйдя на волю, он не поставил целью успешное построение собственной карьеры и не воспользовался предлогом эмигрировать, как ему предлагали, — то такой человек и избран для распределения помощи среди семей зэков. И вот мы организовали здесь, в Швейцарии, Русский Общественный Фонд. Все гонорары с «Архипелага ГУЛага» поступают в этот Русский Общественный Фонд, и ещё другие будут гонорары, от других моих произведений. Может быть, ещё кто-нибудь потом будет жертвовать, другие жертвователи. И вот эти деньги мы используем для помощи семьям политзаключённых в Советском Союзе. Мы не делаем ни одного нелегального, незаконного шага, только всё строго по советским законам. Тем не менее, как только властям это стало известно, они тотчас же применили к Гинзбургу методы чисто сталинские. После лагеря он отбыл так называемый срок надзора. Это значит, он должен сидеть в каком-то месте, очень строго себя вести, ну, как комендантский час, — не ходить вечером, не бывать в общественных местах и отмечаться в комендатуре. Он отбыл это, законно. Свободный человек. Так теперь его силой выбросили опять из Москвы в Тарусу, а в Тарусе ему объявили полицейский надзор, *без суда*. Вот это вы представьте себе, у нас так это устроено, что достаточно начальству решить снять тебя с работы, снизить твою квалификацию, без суда сказать: «ты прикреплён к этому месту», никакого суда, и проступка никакого, — всё, он теперь сидит там. Не пошёл отмечаться в полицию? — судить его за это. Был суд над ним, на днях был суд. Пока что он справку представил, что в этот день был в больнице, его и на суд вызвали из больницы, у нас это не помеха. А если не будет справки — его осудят. Душат возможность, уже не заключённых только душат, но самую возможность помогать семьям преследуемых, семьям политзаключённых.

Если работа вашего Фонда легальна, то как вы можете думать, что советские чиновники хотя бы на минуту допустят распределение ваших средств?

Да, вот на глазах всего мира Гинзбурга преследуют — и как личность, крайне неприятную властям, и особенно — как человека, через которого осуществляется помощь Русского Общественного Фонда. Преследуют — но он эту работу делает. И он не будет одинок, для этого дела всегда найдутся добрые руки. Власти же ещё раз показывают свою тотальную жестокость к заключённым и их семьям, к слабым и больным.

Почему вы думаете, что разрядка напряжённости не помогает положению в вашей стране?

Почему я думаю? — потому что это так и есть. Потому что я реально знаю, вот я имею советский опыт всей моей жизни, я наблюдаю Советский Союз изнутри, и сегодня я эту точку зрения не потерял, и прежде всего устанавливаю факт: это — так. Международная разрядка нисколько не помогает положению у нас в стране. Я уже сказал, что это помогло только эмиграции, и потому помогло, что международное общественное мнение было всё сосредоточено на ней. А положению инакомыслящих у нас это не помогло. Наоборот, когда идёт разрядка — вот тут-то и душить, чтоб не мешали. Но тут есть и обратная сторона: какая же прочность мирных надежд и обещаний, если в такой динамичной стране, как Советский Союз, нет никаких пределов насилию, общественность настолько подавлена и бесправна, что не только не контролирует своё правительство, как у вас, не только не может остановить его действий, но даже не может иметь о них мнение, шёпотом? Вы понимаете, ну вот, даже я вам задам вопрос, если вы разрешите. Ну вот, подписываются какие-то договора между западными дер-

жавами и Советским Союзом, идёт, как будто бы идёт, разрядка, закреплённая в ряде государственных документов. Скажите мне, пожалуйста, будем реалистами: а какие гарантии есть, что это вообще происходит, что договора сегодня выполняются и что они будут выполняться завтра? Какие гарантии? Ну, давайте просто перечислять. Первая гарантия — какая может быть? — контроль. То есть контроль за выполнением этих договоров. Заметьте: сколько было международных договоров у Советского Союза, в каждом договоре говорилось: «Только не контроль. Контроль нарушает наш суверенитет. Делайте что хотите, только чтобы контроля на месте не было.» Значит, я настаиваю, — контроля просто не существует, кроме там спутников, высокотехнического контроля. Но он недостаточен. Он может контролировать такие вещи, как ядерные взрывы, ракетные установки. Он не может контролировать намерений руководителей и не может контролировать подготовляемых замыслов. Второе основание для гарантий? — пресса. Пресса в Советском Союзе? Но вы сами понимаете, что пресса у нас пишет то, что надо правительству, никогда ничего другого. Значит, пресса не может предупредить ни о чём. Парламент? Вы понимаете также, что и парламент наш не контролирует правительства. Тогда, может быть, — западная пресса? Но я вам сказал, что западная пресса именно на Востоке в истинное положение вникнуть не может. Западная пресса не предупреждает вас о том, что делается в Советском Союзе. Остаётся, простите, доверие. Какое ж доверие можно оказать правительству, которое собственной конституции никогда не выполняло, и ни одного закона у себя в стране? Нарушает любой закон — какое может быть доверие? Доверия тоже нет. Поэтому, вот пять, вот пять я назвал пунктов, я не знаю, какой ещё? Договора заключаются, но они ничего не весят и не значат. В любое утро можно их порвать. Ах, торговля? Правильно, шестая — торговля. А что ж торговля? от чего она оберегает?

Да, пока нужно, пока выгодно — торговля идёт. В тот день, когда мы получим то, что нам нужно, тонкую технику получим, — ну и нет этой торговли, как когда-то русские государственные займы — не платило советское правительство? не платило: нету — и всё, конец. Торговлю можно пресечь в один день. И когда ваши бизнесмены в согласии с нашими вождями, в союзе с нашими вождями говорят, что торговля обеспечивает мир, — так это просто ребёнку видно, что — нет. Она ничего не обеспечивает. Наоборот: торговля течёт, пока есть мир. А в любой день на рассвете вы можете проснуться и узнать, что договора разорваны и торговли тоже нет. Не будет общественных предупреждений, признаков, дебатов, запросов, ничего не будет, а сразу проснётесь — нет договора и мира нет. Вот почему, когда вы защищаете свободомыслие в Советском Союзе, то вы не просто делаете доброе дело, но обеспечиваете собственную безопасность завтрашнего дня, вы помогаете сохранить у нас предупреждающие голоса, обсуждающие, что происходит в стране, — и если их будет не десять, как сейчас, а тысяча, а несколько тысяч, — вас бы не ждали неожиданности. Вот почему преследование диссидентов в нашей стране есть величайшая угроза для вашей.

Видимо, вы не возлагаете больших надежд на визит Никсона в Советский Союз?

Да получается так. Никсон недавно сказал такую фразу. Он так сказал, что уже давно не было ситуации, столь близкой к прочному, длительному миру. Вот что-то такое, что-то подобное он недавно сказал. Я должен сказать: оптимизм для меня — ну совершенно непонятный. Видите, здесь обманчиво то, можно ошибиться из-за того, что как будто бы два конфликта, которые угрожали миру, как будто бы затихли — вьетнамский и ближневосточый. Ну, ближневосточный, кажется, делается на серьёзных основаниях, дай Бог. Что касается Вьетнама, то кон-

фликт не прекращён, это иллюзия. Если за перемирие погибло вьетнамцев больше, чем американцев за всю войну, — ну что же это, где ж это прекращён конфликт? Он временно остановлен, и, когда нужно будет Северному Вьетнаму, он кончит этот конфликт, захватит Южный Вьетнам. Ну ладно, вот эти две точки остановлены. Но не ими определяются будущие события. Будущие события определяются общим положением дел. Никогда ещё, никогда перевес Советского Союза и Варшавского договора над странами НАТО не был так велик, как сейчас. Если до сих пор перевес был в наземных войсках, в танках, в артиллерии, то сейчас, по последним сведениям ваших специалистов, уже и в ракетно-ядерных установках мощь у Советского Союза больше. Вот первый фактор. Никогда ещё — второй фактор — Советский Союз и Восточная Европа не получали в таком обилии нужную тонкую технику, которую мы не можем себе сами сделать. Какая насмешка: грозная космическая держава, а в торговле выступаем как последняя неразвитая страна: в тонких вещах нуждаемся, а предложить ничего не можем, кроме сырья, и то подземного, даже хлеба не хватает. Только через торговлю имеем нужное. В-третьих, никогда ещё президент Соединённых Штатов не имел такой слабой позиции в переговорах, как сейчас. Он сейчас так слабо поставлен, что не имеет силы указать Советскому Союзу: вот вы не так выполняете старые договора. Ведь вскрылось за последнее время, что договор, общий договор о Западном Берлине, — нарушается восточной стороной? нарушается; несколько раз ездили, выясняли: а как же? а почему же? И — договор о гонке ядерных вооружений тоже каким-то образом нарушился. Ваш президент не имеет сейчас силы потребовать контроля и указать на невыполнение, у него нет сильной позиции для этого разговора.

Вы говорите, что разрядка не помогает положению в СССР, но как вы сочетаете это

с мнением Сахарова, что разрядка является как будто бы помощью инакомыслящим?

Я такой точки зрения у Сахарова не знаю. Как раз наоборот, в августе прошлого года Сахаров именно предупреждал западные правительства, чтоб они на разрядке не попались, что их обманывают, он так писал и говорил. Так что — нет, никакого противоречия с Сахаровым я сейчас не высказал.

В «Письме вождям Советского Союза» вы выражаете предпочтение авторитарной системе, и из этого возникла критика со стороны разных инакомыслящих в Советском Союзе, а также, может быть, некоторое разочарование со стороны либералов в западном мире. Что вы можете сказать по этому поводу?

Моё «Письмо вождям Советского Союза» было во многом неправильно понято. Дело в том, что нельзя решать вопрос об авторитарной системе или о демократической — вообще. У каждой страны есть своя история, свои традиции, свои возможности. Никогда в истории, сколько вот Земля стоит, не было по всей Земле одной системы, и я утверждаю — никогда и не будет. Всегда будут разные. В моём «Письме вождям» сказано только, что в сегодняшних условиях я не вижу сил таких и таких путей, которые могли бы привести Россию к демократии без новой революции. Я написал в преамбуле, что если мои предложения неудачны, то я готов в любую минуту их снять, только пусть мне кто-нибудь даст другой практический путь. Практический путь — как нам выйти из положения, в России? Вот сегодня, без революции, и так, чтоб можно было жить. Я обращался к вождям, которые власти не отдадут добровольно, и я им не предлагаю: «отдайте добровольно!» — это было бы утопично. Я искал путь, не можем ли мы у нас в России найти способ сейчас смягчить авторитарную систему, оставить авторитарную, но смягчить её, сделать более человечной. Так вот: для России сегодня ещё

одна революция была бы страшнее прошлой, чем 17-й год, столько вырежут людей и уничтожат производительных сил. У нас в России — другого выхода нет сейчас, так я понимаю. Но это не значит, что я в общем виде считаю, что авторитарная система должна быть везде и лучше она, чем демократическая. Правда, параллельно, я критиковал и демократическую систему на Западе, в этом «Письме» и в других местах. Вот, я её критиковал издали, как я её видел из Советского Союза. Сейчас я приехал в Швейцарию, конкретно, и должен вам сказать — нисколько я не снимаю своей критики западных демократий, но должен сделать поправку на швейцарскую демократию. Швейцария — маленькая страна, издали не присмотришься так внимательно, что здесь делается. Вот, швейцарская демократия, поразительные черты. Первое: совершенно бесшумная, работает — её не слышно. Второе: устойчивость. Никакая партия, никакой профсоюз забастовкой, резким движением, голосованием не могут здесь сотрясти систему, вызвать переворот, отставку правительства, — нет, устойчивая система. Третье: опрокинутая пирамида, то есть власть на местах, в общине, больше, чем в кантоне, а в кантоне — больше, чем у правительства. Это поразительно устойчиво. Потом — демократия всеобщей ответственности. Каждый лучше умерит свои требования, чем будет сотрясать конструкцию. Настолько высока ответственность здесь, у швейцарцев, что нет попытки какой-то группы захватить себе кусок, а остальных раздвинуть, понимаете? И потом, национальная проблема, посмотрите, как решена. Три нации, даже четыре, и столько же языков. Нет одного государственного языка, нет подавления нации нацией, и так идёт уже столетиями, и всё стоит. Конечно, можно только восхититься такой демократией. Но ни вы, ни они, ни я не скажем: давайте швейцарскую демократию распространим на весь мир, на Россию, на Соединённые Штаты. Не выйдет. В крупных странах, в Соединённых Штатах, в Анг-

лии, во Франции, демократия, конечно, не такая, и она идёт не к этой устойчивости, а *от* неё.

> Возможно ли, что, так как вы жили за железным занавесом, вы не заметили хороших сторон американской демократии? Вот, в «Письме вождям» вы критикуете демократию, например — выборы каждые четыре года, или что судья в деле Эльсберга потворствовал страстям общества, но американцы считают, что в том и состоит демократия, чтобы массы были довольны.

Во-первых, неверно, что я не заметил хороших сторон американской демократии. Я очень много хороших сторон заметил. Но когда мы разговариваем с вами, или публично, то без конца хвалить друг друга — что ж наполнять этим время? Хотя и видней нам ваши обстоятельства, чем вам наши, но серьёзно говорить об американских делах я не готов сейчас с вами. Для этого я должен был бы поехать в Соединённые Штаты, пожить там хотя бы год, посмотреть, тогда я буду с вами разговаривать конкретно. Я сказал лишь в общих словах, что в необузданном размахе страстей — большая опасность для демократий. Особенно когда правительства почти везде неустойчивы: один-два-три голоса решают направление целой политики, какая партия придёт к власти. То есть, буквально, половина страны — за, половина — против, и вот чуть-чуть-чуть перевешивает, да? Решаются важнейшие вопросы таким вот образом? Это, как хотите, с точки зрения физики — не стабильно. Не стабильно.

> В чём вы видите роль Соединённых Штатов в сегодняшнем мире?

Я бы сказал так: не только сейчас, а посмотрим на весь послевоенный период, после Второй мировой войны. Что делала Америка? Даже больше того — от Первой мировой войны? Америка выиграла две мировых войны. Америка два раза подняла Европу

5—617

из разрухи. И она же отстояла Европу от Сталина после Второй мировой войны, несколько раз. 25 лет непрерывно останавливала коммунистический натиск в Азии, отстояла многие страны, какие сегодня уже были бы в рабстве. Вот что сделали Соединённые Штаты. При этом никогда не просили отдавать долгов, никогда не ставили условий. То есть проявляли исключительную щедрость, великодушие, бескорыстие. И как же отнёсся мир? что получила взамен Америка? Американское имя везде поносится. Американские культурные центры очень модно во всех местах громить и сжигать. Когда Америка терпит поражение в важном голосовании в Организации Объединённых Наций — деятели Третьего мира вскакивают на скамьи и торжествующе кричат. Самое модное, как может выделиться политический деятель в Третьем мире, а даже и в Европе, — это ругать Америку, обеспечен успех. Поносить Соединённые Штаты — самый хороший тон в прессе Восточной Европы и Третьего мира: империалисты, и какие только ни есть. То есть я бы сказал так: по крайней мере 30 послевоенных лет — это история, с одной стороны, бескорыстной щедрости Америки, с другой стороны — неблагодарности всего мира. У немцев есть такая пословица: Undankbarkeit ist Lohn der Welt (неблагодарность — награда мира), ну, это верно в применении вообще к человечеству и ко всей истории, но и поразительно верно здесь. Но тут хотел бы сказать об одной ободряющей особенности. На то, что пишет о вас советская пресса, по нашему с вами разговору ясно, что просто не надо обращать внимания. Было время, дали команду советской прессе — вас поносят как империалистов, готовящих завтра атомную войну. Дадут сейчас команду: разрядка, мы дружим. Приезжает американский деятель в Москву, есть команда — по какому разряду его встречать: с флажками или без флажков, гуще ставить учреждения по Ленинскому проспекту или реже, там ведь всё расположено: около какого столба какому учреждению

стать, и сколько людей вывести. Так что на это вы не обращайте внимания, это — команда правительства, и это ни о чём не говорит, это политика. Но поверьте мне, я хочу вам передать здесь, сказать, что существует, независимо от этой правительственной политики, устойчивая симпатия со стороны русского народа к американскому, которая родилась вопреки всей газетной лжи, газеты и та́к писали, и та́к писали, а независимо от всего этого есть какая-то внутренняя симпатия между народом русским и американским. Вот эта щедрость ваша, это ваше великодушие, оно очень хорошо понято русским народом, вероятно потому, что в этом пункте мы сходимся: русские тоже щедры и великодушны. Мне пришлось сидеть в тюрьме и встречаться в жизни со многими, кто был на Эльбе, встречался с американцами на Эльбе. Поразительное единодушие: все, кто там были, говорят с восторгом об американцах: «да это — как наши, да это совсем как наши!» Вот я хотел бы отметить, что хоть в мире и очень неблагодарно отнеслись к деятельности Америки, но так парадоксально, что ваша деятельность очень оценена и понята простыми русскими людьми. Хотя это не даёт нам очень больших радужных надежд на будущее, ибо мы не хозяева своей судьбы, пока. И кроме того, вообще — и у вашей страны, и у нашей страны — будущее нелёгкое, у больших великих стран не бывает лёгкой судьбы. Я так вижу, что и у вас, и у нас очень трудное будущее, могут ждать нас крупные ещё опасности, и главным образом — внутренние. Я не ожидаю международного конфликта, ядерного столкновения между нашими странами, но думаю, что внутренние ждут очень большие опасности и Соединённые Штаты, и Советский Союз.

Можем ли мы уже радоваться вашему скорому приезду в Америку?

Вы знаете, я очень бы охотно поехал, но мне сейчас, после того сотрясения, которое я пережил,

когда вся жизнь сломана была и снова надо ставить её, для меня сейчас первостепенную важность имеет писательская работа. Я не могу её прервать, я должен убедиться в том, что моя работа идёт без остановки. Когда я найду, что от такой поездки моя работа не пострадает, когда она уже так пойдёт, что не пострадает, я с большим бы удовольствием приехал, да.

Мы уже радуемся. Большое спасибо за интервью.

СЛОВО К ЖУРНАЛУ

Появление нового журнала «Континент» вызывает и новые надежды. С тех пор как в СССР были в зародыше удавлены попытки выпускать самиздатские журналы, никак не подчинённые и не согласованные с официальной идеологией, и был разгромлен единственный честный и глубокий журнал «Новый мир», — русская интеллигенция в первый раз пытается объединить свои мысли и произведения, пренебрегая и волею официальных лиц и своей разделённостью государственными границами. Не лучшая форма и не лучшая территория для появления свободного русского журнала, куда б на сердце было светлей, если бы и все авторы и само издательство располагались на коренной русской территории. Но по нынешним условиям, очевидно, это невозможно.

Однако проспект журнала открывает нам и новую сторону его задачи: для начала он будет выходить на русском и немецком языках, очевидно можно ожидать прибавления и других европейских. Так наша стеснённость и разбросанность оборачиваются новою надеждой: журнал хотел бы стать международным, объединить усилия писателей не только русских и внимание читателей не только русских. Сегодня, когда все общественные опасности и задачи не умещаются в национальных границах, такое направление естественно и плодотворно.

Вчитываясь же в проспект ещё внимательнее, мы видим там весьма почтенные и широко известные имена из Восточной Европы, так что по составу почётных членов или редакционного совета можно ожидать перевеса голосов и мнений из Восточной

Европы. Это открывает нам ещё более интересную перспективу журнала: он, может быть, станет истинным голосом Восточной Европы, обращённым к тем ушам Западной, которые не заткнуты от правды и хотят воспринять её. Ещё 40 лет назад было бы невозможно представить, что русские, польские, венгерские, чешские, румынские, немецкие, литовские писатели имеют сходный жизненный опыт, сходные горькие выводы из него и почти единые желания о будущем. Сегодня это чудо, столь дорого нам обошедшееся, свершилось. Интеллигенция Восточной Европы говорит слитным голосом страдания и знания. Почёт «Континенту», если он сумеет этот голос внушительно выразить. Горе (и близкое) Западной Европе, если слух её останется равнодушен.

Пожелания нередко превосходят то, что сбывается потом на самом деле. Пусть в этом случае произойдёт иначе.

Июнь 1974

ИНТЕРВЬЮ С НОРВЕЖСКИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ НИЛЬСОМ УДГОРДОМ

27 июля 1974

Что изменилось для вас с переездом на Запад: как влияет ощущение, что цензуры больше нет?

Ещё в письме съезду писателей в 1967 году я писал, что ни одно произведение советского автора не выходит в свет в том виде, как оно написано: для цензуры переделываются и изымаются персонажи, идеи, главы, абзацы, фразы — и всё это делает автор с а м, ещё до подачи в редакцию. Так что в истинном виде не только до читателя, но даже до редакции не доходит ни одна достойная вещь.

Но вот что на Западе не всем ясно: что эта опасность, висящая над каждым автором, распространяется и на произведения самиздатские: даже и в самиздате никакой автор не может высказаться вполне откровенно и до конца, опасаясь расправы. И даже анонимные авторы не застрахованы от разоблачений и последующей затем расправы. По той же причине и произведения советских авторов, печатаемые на Западе, тоже подвержены самоцензуре, смягчениям и изъятиям. Западный читатель и критик, держа в руках произведение *любого* самостоятельного советского автора, должен всегда помнить и ожидать, что в его руках *не весь* окончательный текст, и учитывать это при своих суждениях.

Так и со мной. Моя *первая* книга, где не произведено никаких намеренных смягчений, умолчаний, сокращений, — «Архипелаг». Все остальные мои книги, до сих пор появлявшиеся в советской печати, в Самиздате и за границей, были смягчены или укорочены мною самим. «Иван Денисович» был, хотя

и не кардинально, смягчён по настоянию редакции «Нового мира» и хрущёвского рецензента Лебедева. (Лишь в прошлом году истинный текст напечатан издательством ИМКА-пресс.) В «Матрёнином дворе», по настоянию Твардовского, было на три года изменено место действия: вместо истинного 1956 — якобы 1953 (причина: цензура не пропустит, что так плохо было в деревне после XX съезда партии, «это могло быть только сразу после Сталина»...). В театр «Современник» я не мог предложить истинного текста пьесы «Республика труда», но ослабил её до варианта «Олень и шалашовка». «Раковый корпус», подготовленный для легальной публикаций, был смягчён мною самим во многих местах. Ещё сложнее судьба «Круга первого». Когда я надумал показать его «Новому миру», то сразу выяснилось, что даже показать официальной советской редакции невозможно, не говоря уже — печатать. И я предпринял такую операцию: я развалил эту постройку из 96 глав на кирпичи, на главы, полуглавы, иногда абзацы, — и *заново построил* другой роман из того, что всё-таки можно показать. Так и получился вариант «Круга» из 87 глав, который был предложен «Новому миру», но даже и его не рискнули целиком показать рецензенту Хрущёва, а уж самому Хрущёву — ни главы. В таком-то виде роман и был напечатан за границей и стал известен. Сейчас некоторые из пропущенных глав я начинаю публиковать в русских журналах за рубежом.

Но даже и «Август Четырнадцатого», который я печатал открыто и сразу за границей, тоже не мог появиться в своём полном виде. Мне пришлось выпустить одну главу — 22-ю — и потом читать упрёки некоторых критиков, что Солженицын до того уже распустился, что печатает романы, не успев их окончить. Никто не высказал предположения: а может быть, глава опущена из предосторожности? Действительно так. В написанных Узлах есть главы, отведенные Ленину, в «Августе» такая глава — 22-я: в ней описывается, что именно делал Ленин в

день 13 августа, когда Самсонов переводил свой штаб в Найденбург, а Нечволодов держал оборону под Ротфлисом. Но, делая первый опыт открытого самовольного печатания на Западе, я исключил эту главу: я хотел, чтобы мой опыт прошёл в «чистом» виде: только без спроса властей, только в обход цензуры, но ни одного места, к которому можно было бы придраться как к «антисоветскому», любимый ярлык нашей пропаганды. Как известно, однако, это не помогло: из лютой ненависти к моему имени и потеряв рассудок, этот патриотический роман советская пресса объявила «клеветой на Россию» и даже — по материалам 1914 года! — «антисоветским». Что же было бы, если б там ещё была глава о Ленине?!

А в следующих Узлах?

...Во Втором Узле, «Октябрь Шестнадцатого», уже несколько глав о Ленине — что́ именно он делал — кстати, именно в Цюрихе, в некоторые дни того октября; что думал, чего добивался. Эти главы о Ленине в Цюрихе уже были у меня написаны в предварительной редакции, когда я ещё никак не предполагал сам в Цюрихе побывать. Но, очевидно, находясь в СССР и печатая Второй Узел в Париже, я опять пропустил бы эти главы. Сейчас я пишу Третий Узел, «Март Семнадцатого», в нём опять есть ленинские главы. Но так как в них он ещё не попадает в Россию, не вмешивается в русские события непосредственно, — я и Третий Узел предполагал печатать без ленинских глав. Лишь в Четвёртом Узле «Апрель Семнадцатого» Ленин — уже в Петрограде и в самой гуще событий, и дальше уже нельзя скрыть его участие в романе. Моё намерение и было: при печатании Четвёртого Узла опубликовать все пропущенные ленинские главы из Первого, Второго и Третьего Узлов. (Издательства должны были отпечатать их брошюрками того же формата, что и основная книга, и безвозмездно раздать прежним покупателям, чтоб западный покупатель не терпел

ущерба из-за советской цензуры). Таковы горькие особенности издательского дела для авторов, живущих в СССР и в Восточной Европе.

Сколько же всего Узлов в плане работы?

Четвёртый Узел заканчивает собой лишь первое Действие моего исторического исследования. Действие называется — РЕВОЛЮЦИЯ.

НЕ ДАДИМ ПОГИБНУТЬ СВЕТЛАНЕ ШРАМКО!

(Письмо в «Нью-Йорк Таймс»)

Я очень взволнован сообщением, полученным вашим московским корреспондентом от рязанской жительницы Светланы Шрамко о том, что она была схвачена в *психиатрическую больницу* за то, что пожаловалась на отравление окружающего воздуха Рязанским комбинатом искусственного волокна. Попасть под насильственное психиатрическое лечение за защиту окружающей среды? — западному читателю это может показаться невероятным, дурным вымыслом. А между тем всё именно так, до подробностей, *иначе и не может быть в советской провинции:* советская провинция живёт на 20 лет позади того, что достигнуто инакомыслящими в главных центрах, — непроницаемая железная кора тайны охватывает всё, что происходит в глубине Союза, и ни один факт и ни один голос не должен вырваться наружу.

Комбинат искусственного волокна был сооружён при мне в пригороде Рязани без промышленной целесообразности, без близкого сырья и энергии, одним волевым решением бывшего первого секретаря обкома КПСС Алексея Ларионова, его желанием быстро искусственно увеличить площадь и население маленькой Рязани до крупного промышленного центра и так возвысить своё значение в иерархии КПСС. Он соорудил несколько подобных заводов, затем совершил прославленный «рывок по мясу» — «утроил» производство мяса в один год, перерезав весь скот, и, разоблачённый, покончил самоубийством.

При таком хозяйственно не оправданном и спешном строительстве надо было на чём-то экономить — и, конечно, в первую очередь на очистных сооружениях. Комбинат стал постоянным отравителем окружной местности, вызывая болезни соседних

жителей, а когда дует юго-западный ветер — то отравленные отходы ползут полосою черезо всю Рязань, в воздухе появляется отравно-сладкий привкус, закрываются все окна и форточки.

Но надо знать глухую безнадёжную обстановку советской провинции: то, что решено даже местным начальством, не может быть поколеблено, оспорено населением, невозможно возразить в печати, а всякие жалобы *наверх* вернутся ударом по голове тому, кто жалуется. Возражать так опасно, что благоразумнее переносить все лишения, мучения и отраву — но молчать, меньше потеряешь. Всё население стынет в покорности и страхе. В этом болоте страха Светлана Шрамко вспыхнула искрою смелости, она пожаловалась не только в ЦК КПСС, но послала и копию в ООН — по советской почте, разумеется, то есть просто в КГБ.

За это она и была схвачена в психбольницу в конце июня — и могла бы не выйти оттуда никогда, и никто бы ничего не узнал. Но она нашла в себе способность бороться: сперва убедить своих мучителей в покорности, они освободили её 1-го августа под обещание никогда больше не делать попыток международной огласки, — и в тех же днях сумела прорваться (вероятно, из Москвы) телефонным звонком к вашему корреспонденту. Такой звонок, самый обычный в западных условиях, для рядового советского провинциала является самоубийственным. Светлана Шрамко этим звонком *пожертвовала своей жизнью* — и ведь не ради себя, не ради своих близких, но заботясь о сотнях тысяч людей вокруг и о нашей общей с вами Земле.

Не знаю, что с ней сегодня, скорее всего она уже снова схвачена, и её убивают «лекарствами». Я призываю: не забудем, не дадим забыть эту отважную самоотверженную женщину! Не дадим её забыть — и, значит, не дадим ей погибнуть: советское правительство тогда ответит мировой общественности за её жизнь!

23 августа 1974

ДОСТОЙНЫЙ ИСТОЛКОВАТЕЛЬ

Жорес Медведев неутомимо эксплуатирует на Западе доверие к нему как к надёжному свидетелю и истолкователю советской жизни. Летом 1973 года он заявил в радиоинтервью (даю на память, но почти буквально): не употребляйте выражение «советский режим»; режим — это всегда нечто предосудительное, *а у нас такое же избранное правительство, как в западных странах, и оно управляет нами на основании нашей конституции.* Нужды нет, что нам, радиослушателям в Советском Союзе, это глумление над истиной пршлось как плевок в лицо, — а на Западе как приятно поверить, что самой-то страшной диктатуры на Земле и вовсе нет.

Весной 1974 года, в своём турне по США, Жорес Медведев успокоительно рисовал прекращение политических преследований в СССР. Нужды нет, что такая ложь вызвала отвращение советских эмигрантов, что они вскакивали и кричали ему имена свежеарестованных, — а Западу как естественно поверить: ведь говорит сам недавний страдалец, не может же он изменить оставшимся и оболгать их? Не может же он дурачить ту самую мировую общественность, которая спасла от истязаний его самого?

И вот теперь в Норвегии благородный и благодушный свидетель заявляет, что посадками в психдома в СССР *больше пользоваться не будут; «за последний год я не знаю ни одного случая, который можно было бы сравнить с моим».* В чём — сравнить? По тому ли, как сердце сжималось страхом? Или по тому, как быстро и легко всё кончилось? Зачем ему теперь читать «Хроники», где десятки

имён названы, а тысячи подразумеваются, — тех непокорных, неподдавшихся, никому не известных, из глухой провинции? Вот недавно вырвался в мир случай, как была посажена в *психушку* (и мы не узнаем, как расправятся с ней теперь) Светлана Шрамко за самоотверженную попытку спасти воздух Рязани от отравы завода, преступно построенного обкомом КПСС. За защиту природы — в психиатрическую больницу! Но зачем Жоресу Медведеву теперь об этом читать и задумываться? Здесь-то нас не колют, здесь нас не запишут в сумасшедшие, — *вот как мы живём...*

Удивительным образом Жорес Медведев всегда знает, что́ сейчас приятно советскому правительству, и именно то говорит, так уместно и умно, как не умеет весь платный аппарат Агитпропа ЦК. И для вас, свободных, и для угнетённых лучше, чтобы вы не сердили могучего советского правительства, никогда ничего от него не требовали, ни в чём громко не упрекали, а только мягко униженно просили, да будет добрая воля его (которая не проявилась ни в одном великодушном жесте ни к одному человеку, а только вынужденно и по холодному расчёту). И нобелевские премии мира давали бы только такие, какие приятны советскому правительству, или уж тогда совсем никаких. И если требуется опорочить нашего национального героя, то избирается и самое удобное место — Нобелевский Институт. Напоминает Жорес Медведев: «Вы должны проанализировать и взвесить, насколько велик был вклад академика Сахарова — в дело *построения мира или разжигания войны?»* (обратный перевод с норвежского).

Или, спросим, — от кого пошла самая ранняя идея разрядки мировой напряжённости? Или — кто, себя не щадя, отталкивался около судов под дождями, изгонялся милицией, освобождал Жореса Медведева или голодал в защиту заключённых?

Пишу для того, чтобы напомнить: и в прошлом и в этом году я выражал в газете «Афтенпостен»,

что истинная борьба за мир сегодня гораздо глубже и сложней, чем только предотвращение уже идущей или подготавливаемой войны. Что глубочайшее нарушение сегодняшнего мира и угроза завтрашнему есть неограниченное насилие, особенно в Советском Союзе. «И пусть Нобелевский Комитет... не ощутит в том парадоксальности: в осознании человеческим духом своих прежних ошибок, в очищении от них, в искуплении их — как раз и содержится высший смысл пребывания человечества на Земле.» Самоотверженная, с потерею здоровья, борьба академика Сахарова против насилия есть вклад более ценный и более перспективный для благополучия всего человечества, чем, например, установление шаткого, обманного, ничем не гарантированного перемирия в Южном Вьетнаме, где и после деятельности лауреатов мира льётся кровь в объёме большой войны — именно потому, что не обуздано коммунистическое насилие.

11 сентября 1974

СЕНАТУ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

30 октября 1974

Я благодарно взволнован той необычайной честью, которую оказал мне Сенат, выразив — и даже единодушно — желание присвоить мне звание почётного гражданина вашей страны. Более, я потрясён таким решением, памятуя, что до сих пор в истории Соединённых Штатов были удостоены этого звания лишь два человека, оба — выдающиеся союзники вашей страны в тяжёлые годы испытаний.

Пытаясь осмыслить это решение, я понимаю так, что вы имели в виду не исключительно меня, а в моём лице награждаете признательностью то бесправное множество, лишённое голоса и ищущее его; тот суммированный опыт, накопленный в условиях, совсем непохожих на ваши, но по глубинному единству человечества направленный к тем же вершинам, что и ваши идеалы..

Мы все сознаём, что мир вступил в кризис неведомого рода, — кризис, когда перестают быть отчётливыми до сих пор устоявшиеся понятия и перестают помогать методы предыдущих столетий. Проблемы современной жизни вдруг открылись гораздо более сложными, чем они до сих пор укладывались и регулировались в двух измерениях политической плоскости. И даже вовсе экономические явления обнажают корни свои в психологии и мировоззрении. Только объединяя все наши усилия и столь несхожие разнообразные переживания, мы можем надеяться вырасти и разгадать: чего же требует от нас История?

В этом большом охвате трудный опыт, которому мне довелось быть наследником, действительно яв-

ляется союзником вашего опыта. Но, по удалённости, по неосведомлённости, по злонамеренным искажениям, их взаимодействие и взаимная проверка чрезвычайно затруднены.

В интервью CBS мне уже довелось воздать должное великодушию американского народа, так плохо отблагодарённому в мире. И отметить тревожную нелёгкость судеб, ожидающих вашу и нашу страну, — оттого что народы наши необлегчительно для себя оказались столь влиятельны в сегодняшнем мире.

В своё время я едва не встретился с молодой Америкой на Эльбе — в те самые недели был арестом выхвачен оттуда. Теперь, через 30 лет, изгнанием, я как бы возвращён для возможности такой встречи. И буду рад осуществить её.

С дружескими рукопожатиями
и признательностью

Александр Солженицын

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ О СБОРНИКЕ «ИЗ-ПОД ГЛЫБ»

Цюрих, 16 ноября 1974

Александр Солженицын. Позавчера в Москве вышел в свет, в Самиздат, Сборник мысли группы авторов. Коллективного сборника такого объёма, серьёзности основных поставленных проблем и решительности их трактовки, в полный разрез с официальной установкой, не было в Советском Союзе за 55 лет.

Все статьи Сборника, включая три моих, написаны на родной земле и решают вопросы не извне по отношению к своей стране, но изнутри. Наша пресс-конференция и посвящена выходу в свет этого Сборника статей. Сборник готовился давно, уже три года. Он должен был появиться этой весной в марте-апреле в Москве, и вот эта наша пресс-конференция должна была состояться в Москве. Но моя высылка затруднила окончание работы и затянула: вместо весны вот мы поздней осенью собрались. Позавчера часть этой конференции — половина её — прошла в Москве, а сегодня вторая половина проходит здесь, в Цюрихе.

Разумеется, московские участники этого Сборника ставят себя в положение большой опасности. Я хочу привлечь внимание ваше к этой опасности, грозящей мужественным людям за то, что они высказали своё мнение, в противоречие с мнением режима.

Участники Сборника. **Игорь Шафаревич** — математик-алгебраист мирового класса. Математики — узкая такая прослойка в мире, и у них своя замкнутая слава, только поэтому вам всем имя Шафаревича известно не из математики, а из общественной деятельности. Шафаревич, которому сейчас более

50 лет, стал профессором Московского университета в 21 год. Среди алгебраистов мира имя его хорошо известно, он почётный член Американской Академии наук, лауреат Геттингенской Академии наук, несколько лет председатель Московского математического общества, и только продвижение его в советской Академии наук из-за его свободных взглядов задержано, он остаётся членом-корреспондентом.

Вадим Борисов. Это молодой человек, ему ещё нет 30 лет. Он кончил аспирантуру Института истории Академии наук и дальше встретил ряд препятствий — как у нас это принято по отношению к инакомыслящим. Ему не дали защитить диссертацию и лишили всех видов заработка.

Михаил Агурский — кибернетик, последнее время много публиковал в Самиздате и на Западе, и поэтому имя его тоже уже достаточно известно. Его биография чрезвычайно характерна для того общественного поворота, который испытала Россия за послереволюционное время. Сын американского коммуниста, поехавшего в Советский Союз строить коммунизм и погибшего там в 1937 году, Агурский теперь стал религиозным человеком и сосредоточен на вопросах национального самосознания. Агурский — еврей, добивающийся выезда в Израиль. Но позавчера на пресс-конференции он подчеркнул, что его объединяет с группой русских авторов в первую очередь то большое значение, которое все они — вот, соавторы, — придают национальному самосознанию.

Евгений Барабанов. Имя его тоже широко известно с прошлого года, когда его привлекали... уже он был под следствием КГБ. Его обвиняли в том, что он передавал на Запад гибнущие материалы культуры и религиозной жизни. Он мужественно тогда открыто на весь мир заявил, что — да, он передавал, и перечислил, что́ он передавал, и сказал, что он считает это своим долгом, а не виной. Его заявление нашло широкий международный отклик, и в результате — как всегда при проявлении мужества и силы — КГБ отступило и не тронуло его.

Позавчера, представляя Сборник на пресс-конференции, академик Шафаревич сказал, что этот Сборник должен положить начало дискуссии о будущем России, дискуссии, не зависящей от марксизма-ленинизма. Как сказали мои друзья в Москве: «...мы сосредоточились на самых крупных вопросах, на тех вопросах, которые касаются десятков миллионов людей». Тут проблемы и чисто русские, и мировые. Удивительным образом наши чисто русские проблемы стали и мировыми; это из-за того, что наш горький опыт вобрал в себя важнейшие элементы XX века и поэтому имеет значение для всех стран. Сборник выражает некое направление русской общественной мысли.

Здесь я не называю ещё двух участников Сборника. Я могу их написать вот так, в стороне... Я пишу... один назвался **А. Б.**, второй **Ф. Корсаков.** По условиям советской жизни они не могли себя сейчас назвать.

Ну вот, здесь шесть авторов, а я седьмой. Наше направление, разумеется, не исчерпывается участниками этого Сборника, — к нашему направлению примыкают и те наши единомышленники, которые вообще не пишут статей, и те, которые не могли к нам примкнуть из-за того, что Сборник — как вы понимаете — не готовился открыто, но закрыто. Между авторами, конечно, есть индивидуальные расхождения по отдельным вопросам, иначе не бывает, но значительно больше общего.

Вот титульный лист этого Сборника. Он по-русски называется **«Из-под глыб»**, что не так легко перевести будет сейчас на языки. Я процитирую маленький отрывок из вступления к Сборнику:

«Много десятилетий ни один вопрос, ни одно крупное событие нашей жизни не было обсуждено свободно и всесторонне, так, чтобы мочь нам произнести истинную оценку происшедшего и путей выхода из него. Но всё подавлялось в самом начале, всё покидалось неосмысленным хаотическим хламом, без заботы о прошлом, а значит и о будущем.

А там валились новые и новые события, грудились такими же давящими глыбами. И теперь, подойдя снаружи, даже трудно найти силы для разбора этого всего наслоившегося.»

Вот этот образ задавленных мыслей, задавленных полвека (даже более), и дал нам название Сборника: «Из-под глыб». Наши мысли пытаются пробиться под этими глыбами вверх — к свету и к общению. Тем, кто не испытал подобного пятидесятилетия, даже трудно вообразить, насколько при постоянном подавлении разбредаются мысли соотечественников. Соотечественники как будто бы перестают понимать друг друга, как будто не говорят на одном языке. Насколько мучителен был процесс — обществу лишиться речи, когда речь была запрещена, — не менее мучительно обществу возвратиться к речи. После такого перерыва неудивительно, что сейчас среди инакомыслящих, ну, собственно, среди тех людей в России, кто высказывает свои мысли, возникают такие иногда резкие различия во мнениях. Мы отвыкли друг друга слышать и совершенно отвыкли вести дискуссии.

В нашем Сборнике 11 статей, и я сейчас попытаюсь сделать обзор состава его, не ставя себе задачей излагать содержание каждой статьи, а только отмечу кое-что из главного. Разумеется, мой обзор не заменит вам чтения ни в каком отношении.

Первая статья моя. Она самая старая из этого Сборника. Она написана ещё прежде, чем возникла идея Сборника. Она написана в 1969 году и посвящена ответу на брошюру академика Сахарова, напечатанную в 1968. Я в своё время не отдал её в Самиздат, поэтому она неизвестна. Я отдал её Сахарову только. Ну а сейчас, когда возник этот Сборник, я включил её сюда. Могут сказать, что это поздно, — прошло 5 лет, статья устарела. Но у нас в стране ничто не поздно. В нашей стране нисколько не поздно отвечать сегодня на какое-нибудь высказывание 1922 года. Это звучит совершенно свежо, в этом особенность подавленного, задушенного об-

щества. Можно признать, что сам Сахаров за эти 5 лет ушёл от своей точки зрения, развился. Поэтому к нему сегодня эта статья уже относится лишь частично, но, к сожалению, мысли эти, изложенные им в брошюре, и на Западе и в советском обществе ещё пользуются очень широкой поддержкой. И поэтому я считаю, что эта статья нужна сегодня всё равно.

Сахаровское выступление в 1968 году было крупным событием нашей новейшей истории; в этой статье я перечисляю всё, что там нахожу положительного (его много). Сахаров способствовал разрушению многих советских мифов. Особенно, в частности, я бы отметил, что он в 68-м году высказал призыв значительно более высокий, чем то, что стало сегодня расхожим термином — разрядка напряжённости. В 68-м году он предложил отказаться от эмпирико-конъюнктурной политики, перейти к щедрости и бескорыстию. Это типично для нравственной позиции Сахарова, но слишком высоко для деятелей сегодняшней разрядки со всех сторон.

Однако в брошюре 68-го года Сахаров, перечисляя опасные идеологии, угрожающие миру, совсем не назвал коммунистической идеологии. Можно было думать, что он это сделал из цензурных соображений, но, очевидно, нет; потому что сегодня, в этом году, возражая мне по поводу «Письма вождям», Сахаров снова настаивает, что коммунистическая идеология уже не имеет ни значения, ни силы, что суть советской системы уже не в идеологии.

Вот это одно из самых принципиальных разногласий между нами. Здесь можно много сказать. Правда, Сахаров называет в своей брошюре сталинизм. Тот, кто сказал бы слово «сталинизм» вслух в 1940 году или в 1950, — да, действительно, сделал бы очень решительный шаг в разоблачении советской системы. Но после 1956 года, но в 1968 уже говорить о сталинизме несерьёзно. Если мы беспристрастно посмотрим на развитие советского общества, мы должны будем признать, что никакого сталинизма вообще не было и нет. Это очень удоб-

ное понятие для тех, кто хочет выручить порочную идеологию. Это очень удобно для тех, кто с Запада аплодировал Сталину за его жестокости, а теперь надо свалить на Сталина то, в чём виновна идеология. Для всех коммунистов на Западе это совершенно необходимое понятие — сталинизм, для того чтобы спасти себя сегодня. И все компартии, которые не стоят у власти, употребляют этот термин. А те, которые стоят, те из осторожности не употребляют.

Я сам попал в тюрьму в своё время с убеждением, что якобы Сталин отошёл от Ленина. С тех пор я давно мог рассмотреть, как поверхностно и наивно такое объяснение.

Дальше, в брошюре 68-го года Сахаров ещё поддерживал в ограниченной мере насилие, употребляя вот эти термины расхожие: революционное движение и национально-освободительное движение. И ещё расточал дифирамбы социализму — якобы социализм чем-то отличается от «сталинского лжесоциализма». Именно здесь Сахаров наиболее изменил свои взгляды за минувшие 6 лет. Именно здесь мы с ним наиболее сходимся во взглядах сегодня, что я рад отметить.

Ну, трактат его всемирно известен; и именно поэтому я в своей статье разбираю отдельные его положения.

Вторая статья написана Шафаревичем. Она называется «Социализм». Эта статья из центральных в нашем Сборнике. Шафаревич — сильнейший математический ум. Это даёт ему свежий взгляд, не обременённый никакой социологической традицией, ни обязательными реверансами и поклонами идолам. Статья его в нашем Сборнике содержит 40 страниц, но и она является только отжимкой, экстрактом полной книги Шафаревича, с тем же названием «Социализм», которая скоро тоже выйдет на Западе.

Статья заслуживает самого вдумчивого чтения. Весь мир охотно пользуется словом «социализм», но с величайшим разнобоем — кто что понимает под этим словом. В основном все сходятся только на

том, что под этим словом понимается вообще справедливое общество. Но происходит какое-то инстинктивное отталкивание, когда предлагают разумно обсудить слово и выяснить его смысл.

Шафаревич последовательно рассматривает на протяжении веков отдельно: как двигались социалистические учения и как выглядели социалистические государства. В частности, он показывает, что социализм совсем не связан, как у нас принято говорить, с новейшей эпохой, совсем не возник якобы из кризиса капитализма, якобы из противоречия производительных сил и производственных отношений. Нет, социализм имеет устойчивые характеристики черезо все века; социализм так же стар, как само человечество.

Шафаревич приводит в рассмотрение многих классиков, в кавычках, и не классиков социализма от Платона до Маркузе. Свежими глазами смотрит он и на Коммунистический Манифест, — пример книги, которая находится во всеобщем почтительном уважении, но её либо не читали, либо читали когда-то в юности. А так вот, свежими глазами, протерев глаза, её не находят времени прочесть, что делает Шафаревич.

Этот вопрос невольно приводит нас к сопоставлению Маркса и Ленина. Потому что существует теперь и такая теория, что не только Сталин отошёл от Ленина, который всё вёл правильно и хорошо, но что Ленин отошёл от Маркса, а у Маркса всё было идеально и хорошо.

Шафаревич показывает, что созданная в СССР система и есть самый настоящий социализм, никакое не искажение его; это и есть осуществлённый социализм. Он выводит, что разрушение индивидуальных отношений людей и подавление индивидуальности — совсем не средства социализма, как часто говорят, для будущих светлых целей, — но это и есть его цели. Социализм разрушает те стороны жизни человечества и человека, которые составляют самую высшую и тонкую часть существа.

Шафаревич приходит к ошеломительному выводу о том, что движущей силой социализма на протяжении веков был инстинкт смерти человечества, который всегда присутствует во всём живом наряду с инстинктом жизни. И именно потому, что эта сила инстинктивная, — все теоретики и защитники социализма инстинктивно же уходят от рационального рассмотрения вопроса.

В *третьей* статье Агурский делает сравнительный разбор общественно-экономических систем Востока и Запада сегодня. Он проводит экономическое сравнение и неэкономическое, отмечает некоторые парадоксальные психологические явления, среди которых стоит отметить такое, что интеллигенция Востока жаждет западной системы, а интеллигенция Запада жаждет восточной. Иногда это не совсем явно выражено, но психологически так.

Агурский сравнивает, разбирает внутренние угрозы обеих систем. Он напоминает то, что сейчас свойственно забывать: что демократические системы возникли в своё время при высокой самодисциплине населения, основанной на религиозной этике. Но с веками эти религиозные основания размылись, забылись, самодисциплина пала, и это привело многие демократические системы в угрожающее положение.

И наконец, в заключительной части своей статьи Агурский разбирает некоторые черты будущих желательных общественных систем в аспектах техническом, экономическом и общественном.

Следующая, *четвёртая,* статья Сборника — снова Шафаревича. Эта статья посвящена взаимоотношениям наций в многонациональных государствах. Он отмечает жгучесть национальных проблем в Советском Союзе, да и во всём сегодняшнем мире. Национальные проблемы в современном Советском Союзе настолько острее, чем в старой России, что (это не сравнение автора, это моё сравнение, так сейчас пришлось), что если бы по 12-балльной шкале землетрясений отмечать накал национальных противоречий, то в старой России это было где-то на балле 2, а сейчас в СССР — на балле 10.

Шафаревич указывает нам одну из, может быть, самых важных причин этого всемирного процесса: обострение национальных проблем в мире вызвано отчасти искусственно, оно вызвано развитием социализма и коммунизма. Коммунизм для движения к власти должен усиленно разрушать национализм больших держав и при этом опираться на национализм малых. Когда же он приходит к власти, он меняет ориентировку и начинает подавлять малые нации, чтоб они не откололись. Так произошло, в частности, и в России. Но не только. Социалисты во многих странах используют национальный вопрос для своего движения к власти, особенно социалисты-экстремисты.

Шафаревич отмечает, что безусловно правы национальные окраины, говоря, что их грабят. Но, подчёркивает он, — ограбление происходит не в пользу русских, ограбление происходит в пользу коммунистической империи, поэтому положение окраин колониально, но не по отношению к России, а по отношению к социализму. Русские остаются такими же бедными, и даже более бедными. Я могу дать частный пример просто в скобках и так, скороговоркой: у нас в советской прессе публично поднимался вопрос о том, как искусственно высоко проводились сельскохозяйственные заготовки в Грузии — очень высокая цена за апельсины, — и, наоборот, искусственно низко за картофель, которым живут крестьяне России и Украины, что и привело к разорению деревни... (уж не говорим о хлебе), — к разорению русской, украинской деревни и белорусской. (В скобках, ещё во вторых скобках, — юмористический момент, как недавно Китай встал на защиту грузинского социализма... мол, Грузия была образцовой социалистической республикой при Сталине, а теперь её ревизионисты тянут к капитализму. Всё как раз наоборот: Грузия искусственно кормилась за счёт остальной страны раньше, а теперь её пытаются как-то ограничить.)

Шафаревич отмечает (Агурский в другом месте

тоже недавно отметил), что нашу страну уже нельзя поджечь классовой ненавистью, — столько пролито крови, и так уже обанкротилась теория классовой борьбы в нашей стране, — но национальной ненавистью нашу страну поджечь очень легко, она почти наготове к этому самовоспламенению; и поэтому наши заботы должны быть направлены к тому, как острейшую эту национальную проблему — особенно острую в СССР — не допустить до взрыва, не допустить до пожара, избежать междунациональных столкновений.

Эти вопросы естественно приводят нас к цепи таких проблем: патриотизм, национализм, шовинизм. Мы не избегаем обсуждать самые острые вопросы, те, которые стоят на лезвии и в нашей стране, и в мире. Те вопросы, которые при одном только их упоминании вызывают гнев со всех сторон.

Шафаревич озабочен тем, как дать возможность развиваться между нациями силам взаимного понимания, а не силам ненависти, и предлагает вынести на обсуждение, обдумать вопрос о возможностях дружеского кооперирования наций вообще, и в частности в Советском Союзе.

Разумеется, все участники Сборника единодушны в том, что никто никогда не должен быть удерживаем силой. Здесь вот, в Швейцарии, мы видим пример такого дружного кооперирования наций: при возможности каждому кантону в любой момент выйти из швейцарского союза — ни кантон и никакая нация не пользуются этим правом.

Пятая статья — «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», это моя. Первое, что хочется отметить, — во всём мире сейчас и в нашей стране усвоен такой общий тон: разоблачать *других* — других политических деятелей, другие партии, другие движения, другие нации. Это — памфлетное направление. Мы призываем всех вообще, во всех аспектах жизни, начать с признания собственных ошибок и несправедливостей. Мне уже

пришлось писать в «Архипелаге ГУЛаге» и в других местах о том, что линия добра и зла не проходит так примитивно, что вот по одну сторону те, кто правы, а по другую — те, кто не правы. Линия добра и зла в мире не разделяет партии на тех, кто прав или виноват. И людей даже так не разделяет. Линия разделения добра и зла проходит по сердцу каждого человека. В разное время, при разных обстоятельствах, и человек, и какая-то группа людей, и целое общественное движение, и целая нация — то занимает более светлое высокое положение, то, наоборот, опускается во мрак.

И вот я ставлю в своей статье вопрос: возможно ли говорить о раскаянии наций, можно ли это чувство отдельного человека перенести на нацию? Возможно ли говорить о грехе, который совершила целая нация? Конечно, никогда не бывает, чтобы все члены данной нации совершили какое-то преступление, или проступок, или грех. А с другой стороны, в каком-то смысле, в памяти истории, в человеческой памяти и в национальной памяти, именно так запечатлевается... Я думаю, что в памяти бывших колониальных народов осталось общее впечатление, что их бывшие колонизаторы виновны перед ними — целиком, как нации, хотя не каждый был колонизатором.

Мы видели в одной из частей Германии волну раскаяния за события Второй мировой войны. Это совершенно реальное общенародное чувство, оно было, даже и есть. Спросят: а при тоталитарных режимах разве виноват народ в том, что делают его правители? Кажется, менее всего виноват при тоталитарных режимах. А тем не менее, на чём же держатся тоталитарные режимы, как не на поддержке одних и пассивности других? Если сегодня в Уганде Амин реквизировал имущество азиатов и выбросил их из страны, то кто-то из угандийцев этим имуществом воспользовался. Кому-то передали это всё. Взяли, и очевидно с удовольствием.

Что же сказать о таком событии, когда страна

демократическая, с открытой общественностью, как Англия, предаёт более миллиона человек против их воли — в конце Второй мировой войны — на расправу в Советский Союз? Уж в Англии-то была полная возможность и публичности, и протестов, и разоблачений... Но их не было. С большим трудом сейчас вытягивается эта история на поверхность общественного обсуждения. И естественно, что в русской памяти остаётся это действие англичан каким-то общим обвинением против англичан.

Я, разумеется, не могу здесь подробно приводить аргументацию об этом всём — статья большая и её здесь трудно изложить. Я рассматриваю в статье историю русского раскаяния, в русском обществе, и затем провожу дискуссию с двумя антиподами раскаяния, с которыми мы встречаемся в России. Один антипод — это то, что я бы назвал «национал-большевизм». Есть такое течение в современном Советском Союзе, которое пытается теперь спасти гибнущий коммунизм, сливая его с русским национализмом. Вот это я называю «национал-большевизм». Это течение не признаёт никаких пятен в прошлом — ни за коммунизмом, ни за русским национализмом. Всё, что нашей страной сделано плохого, всё это характеризуется как хорошее.

Есть и другой антипод раскаяния — очень сейчас распространено это в советской общественности и в советской так называемой третьей эмиграции. Это — обвинять Россию, и даже поносить Россию, — без чувства совиновности, без признания своей собственной доли в этой вине. Чрезвычайно характерно недавно это прорвалось в первом номере «Континента». Синявский в своей статье буквально написал следующее: «Россия-сука, ты ещё ответишь и за это!» В данном случае речь идёт о еврейской эмиграции в наше время. Но это частный пример. А всё выражение — сын говорит матери: «Россия-сука, ты ещё ответишь и за это!» И за это, значит, и ещё за многое другое ты ответишь! Даже во всей истории русского самооплевания такого выражения я не помню.

Направление нашего Сборника в том, что, говоря о наших грехах, о наших преступлениях, мы никогда не должны отделять сами себя от этого. Мы до́лжны в первую очередь искать *свою* вину, *свою* долю участия в этом. В «Вестнике РСХД» № 97 тоже проявилось несколько лет назад такое целое направление — уроженцы России, живущие в России, обвиняют её так, будто сами они в этой грязи не варятся и чисты, ни к чему отношения не имеют; и даже выводят большевизм из православной традиции XIV века.

Я в своей статье провожу полемику с этими направлениями; а вообще постановка вопроса в понимании русской истории, новейшей, теперь такова: как понять — революция была следствием нравственной порчи народа, или наоборот: нравственная порча народа — следствие революции? Вот так стоит сейчас проблема. В чём была роль русских в 1917: в том ли, что они принесли миру коммунизм, подарили миру коммунизм, или первые приняли его на свои плечи? А значит, каковы перспективы других народов, если на них свалится коммунизм? Устаивал ли какой-нибудь народ против этого, устоит ли всякий в будущем?

Недостаток нашего недавнего Демократического движения в Советском Союзе был как раз, в частности, в том, что это движение разоблачило пороки социального строя, но не раскаивалось в грехах собственных и интеллигенции вообще. Но кто же держит сегодняшний режим — разве только танки и армия, а разве не советская интеллигенция? Больше-то всего и держит его советская интеллигенция.

Мы призываем всех — если ошибиться в раскаянии, то в бо́льшую сторону, то есть лучше признать за собой больше вины, чем меньше. Мы призываем всех пресечь счёт бесконечных обид между собой и соседями. Сейчас уже многие в мире разделяют ту точку зрения просту̀ю, что нельзя построить доброго общества из злых людей; что чисто социальные преобразования — это пустое направление. Но так

же точно нельзя построить доброго человечества при злых отношениях между нациями. Никакая прагматическая позитивная дипломатия не сделает ничего, пока между народами не установится добрых чувств; когда в Организации Объединённых Наций депутаты вскакивают на скамьи и ревут от злобной ненависти, такая Организация Объединённых Наций не построит доброго мира.

Мы считаем поэтому, что все межнациональные проблемы сегодняшнего мира не могут быть разрешены чисто политически; все их надо начинать с нравственного конца. А нравственный конец в отношениях между нациями — это раскаяние и признание своей вины. Это сразу меняет всю атмосферу — мы переходим из политической плоскости в нравственную.

А чтобы раскаяние не осталось на словах, следующим неизбежным шагом за ним является самоограничение, то есть мы должны сами себя ограничить, а не ждать, пока силой нас ограничат снаружи. Вот эта идея самоограничения в применении к России и была главной мыслью того самого письма вождям, которое было так неправильно понято во всём мире. С призывом самоограничиться я обратился прежде всего к себе и к своим, к своему народу, своему государству, — а это назвали почему-то изоляционизмом.

Наша страна вносит большую тревогу в сегодняшний мир, представляет большую опасность сегодняшнему миру. И это я сформулировал в призыве: что наш океан не Индийский, а Северо-Ледовитый.

Шестая статья Сборника написана нашим товарищем А. Б. Это светлый этюд небольшого объёма о духовной жизни нашей страны за несколько десятилетий; о процессе, который начался ещё в начале XX века, но был нарушен, подавлен и искажён революцией, гражданской войной и многолетней тиранией. Сегодня этот процесс опять пробивается, и мы видим восстановление религиозного чувства именно

в России, когда оно так ослабло в других частях земли.

Седьмая статья Сборника — Корсакова — это даже не статья, это художественно написанная исповедь, как современный русский интеллектуал приходит к церкви, — его колебания, петли, сомнения.

Восьмая статья — Евгения Барабанова. Он выступает на близкую ему тему о корнях социальной пассивности церкви и с призывом к социальной активности её.

Девятая статья — Вадима Борисова: «Личность и национальное самосознание». Это одна из центральных статей Сборника. Она большой философской и нравственной высоты. Она поднимается гораздо выше тех напряжённых споров по национальному вопросу, которые у нас сегодня в стране идут. Но я тем более затрудняюсь её вам пересказывать. Автор в самом общем виде исследует: является ли национальное самосознание атавизмом и нравственной неполноценностью, как это сейчас широко распространено понимать. Он исследует — откуда появилось вообще у человечества понятие личности? Оно появилось из христианства. Христианство знает иерархию личностей, начиная от личности Божества, и в этой иерархии нация есть тоже личность. И история народа есть как бы биография личности. В каждый данный момент никто из нас не есть весь «я» — мы себя проявляем как-то хуже, лучше, полнее или беднее, и только вся наша биография, вся наша жизнь выражает нашу личность. Так и народ в каждый данный момент не есть вся национальная личность, а только целой своей историей он выражает свою личность.

Все эти проблемы Борисов ставит в той обстановке, когда напряжённый вопрос перед всеми нами в Советском Союзе: в нынешнем своём упадке Россия умирает или не умирает?

Десятая, предпоследняя, статья Сборника — моя статья о нынешней советской интеллигенции, о том, как менялись в XX веке объём интеллигенции у

нас, границы её, содержание и её лицо... И здесь тоже невольно приходится вступать в дискуссию с теми, кто считает, что Россия умерла и что русского народа больше нет. Приходится мне разбирать ту ситуацию, как интеллигенция вросла в ложь и сроднилась с ложью государственной. И из этого выход я вижу вообще только единственный, путь духовного возрождения для нашей интеллигенции я вижу только один: отказ ото лжи, от идеологии, которую насильственно в нас вталкивают и которой заставляют служить.

Эту программу я предложил одновременно в двух документах, то есть программу, как отказаться нашей стране от идеологии. Это призыв к моим соотечественникам: «Жить не по лжи!» и «Письмо вождям Советского Союза». Оба документа были напечатаны почти одновременно, между ними была разница всего три недели. Не заметить их связи и того, что они направлены с двух сторон к одному и тому же, невозможно. Но — совершенно характерно: «Письмо вождям» вызвало живейшую критическую дискуссию (я уж не говорю — в мире, это понятно — в мире, но у нас в Советском Союзе, в советской интеллигенции); и живейшим образом мне указывали, как надо говорить было, — так или не так, э́то советовать вождям или не это... А о документе, который обращён прямо к советской интеллигенции, — о нём не было дискуссии, его не заметили, потому что обращено к *нам,* а не к *ним,* потому что легче всего говорить, как надо учить *их*, а труднее всего самим идти на жертву. Если мы *сами* откажемся от этой идеологии, так она упадёт без воли вождей, совсем не нужно ждать, пока вожди откажутся от идеологии. Это — в наших руках, мы сами можем отказаться.

Умерла Россия или жива и может возродиться — этот вопрос у нас идёт из статьи в статью. Известен ответ Амальрика, что Россия умерла. Он вывел это из классового анализа.Но авторы нашего Сборника, конечно, не пользуются классовым анализом.

В *одиннадцатой*, заключительной, статье — «Есть ли у России будущее?» — Шафаревич анализирует, как мы становимся рабами, как за мелкие выгоды и страхи мелких наказаний мы становимся рабами. Он пишет, что «наша свобода больше стиснута ложной иерархией предметов, чем пулемётами; мы сами поверили в реальность своих цепей и не смеем их разорвать там, где мы можем это сделать, где у нас есть на это силы». Шафаревич напоминает, как христианство когда-то победило мир тем, что отвергло иерархию ценностей античного мира, и считает, что и мы сегодня можем достичь свободы в Советском Союзе, если только отвергнем ту иерархию ценностей, которую государство нам навязывает.

Сам крупный учёный, Шафаревич авторитетно свидетельствует об одной из таких ложных ценностей в этой иерархии: одна из тех цепей, которые держат нас, это — необходимость проходить стандартный путь в науке. Он указывает, какие другие пути наука имела раньше и как она может ещё развиваться, чтобы не представлять собою гонку миллионной толпы. А за право участвовать в этой гонке научная интеллигенция отдаёт свою душу за ложь.

У нас в стране сейчас все так называемые «обычные пути» для развития общества завалены, преграждены. Выход возможен только не обычный, это выход через жертву. До сих пор распространено так считать: для того чтобы направить общество, для того чтобы им руководить, надо захватить власть. Шафаревич указывает, что есть более высокий тип руководства историей — руководство через жертву. Кто приносит себя в жертву, тот направляет историю, для этого не оказавшись у власти, а может быть и не оставшись в живых.

Мы снова с вами касаемся вопроса о нравственной революции. Кто знает сегодняшнюю советскую обстановку, я предлагаю тому вообразить, что́ мы слышим сегодня от Шафаревича, начиная с уничто-

жающей критики социализма и кончая вот этими последними утверждениями. Я предлагаю вам живо вообразить эту группу бесстрашных людей в центре Москвы, в самой пасти Левиафана, высказывающих своё мнение об этом Левиафане, и не защищённых ничем, кроме своего мужества и вашего общественного сочувствия.

Свою статью и весь Сборник Шафаревич заканчивает так:

«За последние полвека мы прошли через опыт, которого нет ни у кого в мире. По представлениям старинных сказок, для того чтобы приобрести сверхъестественные силы, надо пройти через смерть. Россия прошла через смерть и потому может надеяться услышать голос Бога.»

Александр Солженицын предлагает журналистам задавать сначала все вопросы, он запишет их, сгруппирует, а затем будет отвечать.

Господа, я начинаю отвечать с вопросов, которые прямо относятся к теме сегодняшней пресс-конференции. Это вопрос от «Дейли телеграф»: *«Есть ли у вас ясная политическая программа?»* Ну, у меня и, очевидно, у наших соавторов по Сборнику. И примыкающий сюда вопрос от «Немецкой Волны»: *«Если будет развиваться дискуссия, к которой вы призываете, не приведёт ли это к новому кровопролитию в Советском Союзе?»*

Я хотел бы подчеркнуть, что направление нашего Сборника и программа соавторов ни в коем случае не политические. Наша программа лежит в другой плоскости, не в той плоскости, где спорят демократы (у нас там направления: демократы, социал-демократы, либералы и коммунисты допотопные), а в плоскости нравственной. Сейчас во всём мире самое распространённое рассмотрение проблем — политическое или юридическое. В этой плоскости очень малые возможности, это бедная плоскость. Эта плоскость сводится к «левому» и к «правому». Но такая схема вообще бессмысленна — левые и пра-

вые. Достаточно поставить вопрос, кто такие большевики, стоящие у власти в Советском Союзе, чтобы понять бессмыслицу этого деления. Когда-то большевики были крайне левые в России. Но вот они захватили власть и утвердились на полвека. И кто они теперь — левые или правые? Тут на Западе осталось прежнее понимание левых и правых, а у нас оно перевернулось, у нас теперь, кто власть поддерживает, тот правый вроде, а кто против них, тот левый. Я думаю, что это бедное рассуждение, в политической плоскости. Вообще пора нам всем оставлять его и подниматься над ним. Вот то письмо Гюнтера Грасса, о котором меня просят ответить (я потом отвечу), оно в этой политической плоскости, оно всё лежит двухмерное — левое и правое. Смысл нашего Сборника состоит в том, что мы должны отказаться от примитивных политических решений. На днях в письме американскому Сенату я тоже высказал эту мысль, что кризис, в который вошло человечество, есть кризис неведомого рода, мы просто не знали таких кризисов, в которые входим сейчас — и Восток и Запад вместе, — а пытаемся применять старую методику, прошлых веков. Например, сейчас на Западе есть сложнейшие экономические проблемы, ну, как инфляция, которые (моё убеждение) имеют происхождение не экономическое, а глубоко психологическое, мировоззренческое.

Для того чтобы создать доброе справедливое общество, надо сперва стать людям хорошими. Для того чтобы создать доброе справедливое человечество, для этого надо установить сперва сердечные добрые отношения между нациями, что невозможно без национального раскаяния, без национального самоограничения. Вот почему программу, которую я предлагаю для моей страны, я называю нравственной революцией. Эту программу я изложил в документе «Жить не по лжи!».

Как я только что говорил вам, Шафаревич в своей последней статье указывает, что для России

все тривиальные пути завалены, и я своих соотечественников призывал не к политическим действиям, а к действиям чисто нравственным. Я не хочу физической революции в своей стране, и никому вообще не желаю физических революций в мире, об этом я много раз писал. Но, кроме того, я и выхода другого не вижу, как революция нравственная.

Различие между физической и нравственной революцией можно сформулировать, например, так. Физическая революция: пойдём резать других — и наверняка установится справедливость. Нравственная революция: пойдём жертвовать собой — и, может быть, установится справедливость.

Или в применении к жизни человека. Физическая революция: убивай другого; может быть, убьют и тебя при этом. Нравственная революция: ставь себя в такие положения, что тебя могут убить, но другого не убивай.

Я хотел бы подчеркнуть, что нравственная революция не есть революция в нравах. Нет, больше. Это революция в обществе, это революционное изменение общественного устройства, но не физическими методами, а духовными. Кому-то и когда-то надо выйти из этого обречённого ряда — что вот ещё один переворот, ещё один раз будем резать, а потом уже будет справедливость. Вот пришла пора поставить точку и сказать: эпоха физических революций должна быть закончена! Десятки физических революций прокатились по миру и ничего не решили, хотя все обещали.

Я нарочно здесь формулирую в таких общих выражениях, которые относятся и к Западу и к Востоку. А если говорить только о моей стране, то это совершенно конкретная задача: люди должны выполнить нравственный подвиг, не политический, нравственный, — прекратить поддерживать идеологическую ложь. И в результате этого нравственного шага десятков тысяч и сотен тысяч — даже не миллионов — идеология у нас упадёт, ей не на чем будет

держаться. А это приведёт к коренному изменению всего, что делается в Советском Союзе.

Меня спросили: *«Не будет ли бо́льшего кровопролития от дискуссии?»* Бо́льшего кровопролития, чем было от нашей покорности, не произойдёт никогда. Мы потеряли 40—45 миллионов только на Архипелаге ГУЛАГе, а вместе с голодами целых областей, как Поволжье или Украина, вместе с уничтожением вне лагерей, по подсчётам нашего статистика Курганова, мы потеряли 66 миллионов человек. Это — нехватка по статистике, обратный расчёт.

Да, конечно, для властей это крайне неприятно, если будут отталкиваться от идеологии. Да, конечно, они могут не остановиться перед тем, чтобы за идеологическую, так сказать, ересь (с точки зрения власти) и убивать, как они сегодня убивают, только не прямо на улицах, не прямо пулемётами...

То, что я предложил, — «Жить не по лжи!», моя программа предлагаемая — она так и построена: человеку не надо выходить на улицу, не надо брать оружия. Ему надо только отказаться от коммунистической лжи. Совсем недавно мне рассказывали московский эпизод: несколько человек поздно вечером ждут автобуса на остановке, там, на Профсоюзной улице. И какой-то чуть-чуть пьяный рабочий говорит: «А всего-навсего, сказал же Солженицын, надо не аплодировать.» Вот, не аплодировать надо, первое самое — не аплодировать, и это уже почти половина дела, потому что онемеют партийные руководители, когда им не будут аплодировать. Более бескровного пути не могу предложить.

Конечно, риск для тех, кто пойдёт на это. Наши соавторы Сборника, как видите, на это идут.

И спрашивают здесь: *«Является ли появление Сборника частью разрядки?»* Нет. Никакого отношения к ней не имеет. История развития нашей страны в течении более полувека показывает, что единственный путь нам делать историю — это самим стано-

виться на ноги. Что дожидаться того, что следующее поколение руководителей будет мягкое, как советуют допотопные коммунисты у нас, типа братьев Медведевых, безнадёжно.

Вот в нашем предисловии к Сборнику написано: «Ожидая от истории дара свободы и других даров, мы рискуем никогда их не дождаться. История — это сами мы, и не минуть нам самим взволочить на себя и вынести из глубин ожидаемое так жадно.»

Это мужественный поступок бесстрашных людей, которые рискуют высказать своё мнение, как оно сложилось независимо от марксизма-ленинизма.

Вопрос: *«Чем можем мы им помочь?»* Если под словом «мы» понимать живущих на Западе западных людей, то ответ очень ясный: нравственной поддержкой, публичностью, тем, что мы запомним имена, которые я здесь писал, и будем следить за их личной судьбой.

Вопрос «Экономиста»: *«Как вы оцениваете ваш Сборник относительно „Вех“?»* Было бы нескромно с моей стороны пытаться здесь производить сравнения. Я думаю, пройдёт время достаточное — и кто-то другой оценит на историческом расстоянии. Могу только напомнить, что, когда появились «Вехи», они были встречены бешеной атакой большинства русской интеллигенции. Я не говорю уже о большевиках, социал-демократах, эсерах, не говорю. Но кадеты, наши либералы, восприняли с гневом. Милюков, вождь кадетов, бросил все остальные занятия и несколько месяцев делал турне по России со страстными лекциями против «Вех». Большевики, по своему обычаю, поносили их последней площадной бранью.

Но вот, отошло то время, и «Вехи» через 60 с лишним лет и сегодня стоят как Вехи, действительно показывают нам путь.

Вопрос радиостанции «Свобода»: *«Почему вы назвали Демократическое движение „недавним“?»*

Если вы читали статью Житникова в Самиздате, статья эта называлась: «Закат Демократического движения». Она подводила итог, что Демократическое движение прошло какую-то фазу, какой-то этап. И вот пришло этому движению историческое окончание или какое-то изменение историческое. Во-первых, это выразилось в том, что почти половина деятелей его эмигрировала. Во-вторых, оно потеряло свои распространённые формы, в которых оно существовало, вот — письма-протесты. Демократическое движение было таким движением интеллигенции, ещё не расчленённой, когда вся задача была только говорить: «не можем жить под этим режимом», и это создавало видимое единство, так что с Запада казалось, что все инакомыслящие думают одинаково, одинаково друг с другом, и не так, как правительство...

И вот Житников, на которого я ссылаюсь, написал тогда, что такое впечатление, словно какая-то пауза наступила перед новым развитием русской общественной мысли. И действительно, за последние два года проявилось несколько направлений русской общественной мысли. Можно некоторые из них назвать, но я не берусь все перечислить. Во всяком случае, есть направление, как я называю, допотопных коммунистов; есть направление либерально-демократическое, которое отмечено именем Сахарова, ярким именем Сахарова... Сам Сахаров — ярко нравственный деятель, ярко нравственный.

Вопрос: *«А допотопные коммунисты — это Медведевы?»* В основном Медведевы, да. Знаете, Александр Галич недавно пошутил, что в Советском Союзе только осталось, говорит, два человека, которые придерживаются этого мнения, — два брата Медведевых. Ну, он несколько приуменьшил — не два, но действительно не намного больше. Это всё направление тех коммунистов, которые ничему не научились от всей истории нашей страны, которые считают

величайшим преступлением Сталина только то, что он опорочил социализм и разгромил свою партию, больше ничего. Они искусственно создают видимость какой-то массовости движения коммунистического у нас, преувеличивают число своих сторонников. Но это всё бывшие партийные функционеры... ну, не братья Медведевы, а те старики, которые к ним примыкают и кого они выражают, которые вот оплакивают разгром коммунистической идеи в глазах русских людей.

Я могу сказать, что нигде в мире коммунистическая идеология не потерпела такого поражения в глазах людей, как у нас в стране. Рой Медведев недавно заявил, что, по его мнению, у православной Церкви нет будущего. Посмотрим. А вот у марксизма в нашей стране, действительно, на десять поколений нет будущего.

Потом вот — наше направление, которое сегодня я здесь представляю как направление нравственное и с опорой на религию, и с большим уважением к национальному самосознанию, и с желанием национального возрождения всякому народу, который населяет нашу страну. Ну, и потом я называл национал-большевиков. (Этим не исчерпываются, конечно, направления, ну вот некоторые.)

Так, я возвращаюсь к ответу на вопрос: *почему я говорю, что не было до сих пор раскаяния? Мол, были статьи об этом.* Вы знаете, я настаиваю, что эти статьи как раз и были больны отсутствием соновности, это самый тяжёлый порог — говорить: виноваты «мы», а не «они». Легче всего говорить «они». Этой памфлетностью полна не только публицистика, и у нас в стране, и в мире, но часто даже художественная литература.

Если вернуться к моему личному опыту, то вот, например, мои оппоненты используют то, что я пишу о себе в «Архипелаге ГУЛаге». Я считаю, что и я, и каждый должен по мере возможности всегда указывать на вины и пороки *свои*, своей нации, своего общества, своей партии. И я буду так делать и

дальше. Но, конечно, для лёгких оппонентов это представляет большую находку. Они могут говорить: смотрите, вот какие они, сами о себе пишут! Надо иметь мужество перешагнуть и идти дальше. Пусть используют.

Я бы не хотел отвечать на вопрос *об оторванности интеллигенции от народа* вот почему: это один из любимых русских вопросов, ему посвящено в моей статье, здесь в Сборнике, страниц 15, — просто это будет там...

И прилегающий вопрос: *«Есть ли у вас сведения, как читают «ГУЛаг» в России?»* Ну, что слушают передачи «Архипелага» по радио, по «Свободе», «Немецкой Волне» и Би-Би-Си, это вы и сами знаете и не сомневаетесь в этом. Особенно «Свободу» слушают, — не в столицах, но её слушают десятки миллионов по глухим углам.

Однако у меня есть сведения, что и читают гораздо больше, чем я предполагал. Рассказывают такие эпизоды: шофёр, не помню — такси не такси, говорит: «Эту книгу надо вместе с паспортом выдавать в Советском Союзе.» Рассказывают: лежало в палате шесть женщин. Из них четыре читали «Архипелаг». Ну, одна — благодаря близости к таможне; одна — с Запада получила; а две — вообще загадочным образом: читали, и всё.

Я-то, собственно, всегда только и хотел, чтобы три тома «Архипелага» прочли в нашей стране; я думаю, многое бы изменилось совершенно необратимо.

Тут есть вопросы *об эмиграции*. Я, господа, конечно, не отказываюсь на них ответить, но обидно, что позавчера на московской пресс-конференции, в связи с каким-то там пунктом, начались вопросы об эмиграции и заняли половину пресс-конференции. Я не знаю, что они там сказали и какие были вопросы. Но из-за этого... понимаете, уже там, на той пресс-конференции, обсуждение кардинальных вопросов было заброшено для вопросов об эмигра-

ции. Я нисколько не отказывался бы, я мог бы ответить на все эти вопросы и даже больше их, но вообще сейчас так получилось, что смысл общественного процесса в Советском Союзе скрыт и подменён вопросом об эмиграции; как будто бы главный вопрос — это: скольким людям удастся или не удастся уехать из этой страны? А мне кажется, главный вопрос: как жить тем двумстам пятидесяти миллионам, которые остаются на месте? И наш Сборник ставит себе целью найти путь для тех, кто остаётся в стране, а не для тех, кто уезжает.

Андрей Дмитриевич Сахаров недавно сказал, что эмиграция есть первая среди равных свобод — из свобод первая. Я никогда с этим не соглашусь. Я просто не понимаю, почему право уехать или бежать важнее права стоять, иметь свободу совести, свободу слова и свободу печати у себя на месте. Никогда не признáю этого. Это случайно создалось, и на короткое время. Этот акцент на эмиграции создался потому, что сейчас реально хотят уехать из СССР какое-то число евреев и какое-то число немцев Поволжья (может быть, и все; зная их многих по ссылке, я думаю, что, да, все). Это естественно. Оба эти народа едут к себе на историческую родину. Но заслонять этим вопросом смысл жизни двухсотпятидесятимиллионного народа — нельзя.

И когда Сахаров говорит: «Я подчёркиваю, что я также за свободный выезд литовцев, украинцев», — то я ушами литовцев и украинцев слушаю и скажу: по-моему, литовцам и украинцам хочется остаться у себя на родине и иметь её свободной, а не уехать куда-то и мыкать горе десятилетиями.

Я начал сегодняшнюю пресс-конференцию с того, что этот Сборник в машинописном виде вышел позавчера в Самиздат. Я не знаю, конечно, сколько экземпляров, но думаю... Видите, преимущество Самиздата в том, что это новый вид литературы. Он не нуждается в книжной торговле, не нуждается ни в западной рекламе, ни в восточной пропаганде. На Западе иногда эти два сильных рычага — рек-

лама и торговля — проталкивают книгу, не имеющую истинной духовной цены. А у нас Самиздат — или берёт или не берёт. Понравилось, интересно — берёт. Без рекламы, без торговли и не платя никто никому ничего.

Я думаю, что за короткое время мы узнаем; начнутся споры вокруг этого Сборника, — значит, его читают. А на Западе в конце ноября будет книга. Она выглядит приблизительно вот так, — здесь без начала, без конца, ещё не сброшюрованная, — вот она, уже есть.

(Напоминают о вопросах, ещё оставшихся без ответа.)

Я пока откладывал их, думая, что мы продолжим направление нашей пресс-конференции, очень мне не хотелось ломать, понимаете... Я хочу остаться в нравственной плоскости — меня усиленно поворачивают к политической... Я как раз и оставил такие вопросы, которые поворачивают меня в политическую плоскость. *О разрядке?* — я уже высказывался, это не первое моё высказывание. В прошлом году я написал статью «Мир и насилие». В той статье я высказал свою главную мысль об этом. Главная мысль состоит в том, что у нас понимается такое только противопоставление: мир — война. Антиподами считаются мир и война. Если нет войны — значит мир. Увы, вопрос стоит гораздо тяжелее и глубже. Война — это только частный случай того, что противостоит миру. Выше этого стоит насилие. Война — это частный случай насилия, и вот в чём состоит ложное политическое направление тех, кто проводит разрядку поверхностно.

Они считают, что если задержана война, — я употребляю слово «задержана», ибо то, что произошло на Ближнем Востоке и на Дальнем Востоке — во Вьетнаме и в Лаосе, — это совсем не конец войны, не устранение её... это временная задержка, шаткая. Так вот, считают, что если задержана война, то вот уже и мир. Но существуют в наше время такие

средства насилия беззвучные, когда душат миллионы, а внешне никакого стона не слышно. Так вот, я отказываюсь назвать эту ситуацию миром.

Я понимаю так: если добиваться мира, то мира, который противоположен насилию, а не войне только. Не только войне, но и всякому насилию. Настоящая разрядка — не в том только, что не стреляют пушки, а в том, что сердца не озлоблены и горло не сжато ни у кого. Настоящая разрядка только тогда будет иметь место, когда нигде в мире не будет насилия, особенно массового. Целые народы подавлены, а говорят — разрядка. Вот это опять беда нашего сегодняшнего дня: мы близоруко смотрим, и всё в политической плоскости. Если сегодня стон не слышен миллионный, то на этом мы можем строить якобы разрядку.

Под властью самой страшной в мире идеологии, самой страшной потому, что она маскируется замечательно, и вот держится уже более полувека, когда другие сваливались за десять лет, за двенадцать... Под этой идеологией стонут десятки народов, а деятели поверхностной разрядки считают: вот она и разрядка!

Я не перестану изумляться высказываниям двух лейбористских лидеров и действиям их. Один из них — Вильсон. Он приехал в Прагу несколько лет назад и сказал: «Пора простить оккупацию. Пора нам забыть её.» Он не спросил: как думают чехи? Он с точки зрения разрядки решил, что пора это простить и переходить дальше.

Его лейбористский брат в Австралии, новый премьер-министр Австралии, заявил: «Пора простить оккупацию Прибалтики.» Его никто за язык не тянул. Но он хотел создать хорошие отношения с советским правительством, поэтому сказано было: «Австралийский представитель поедет в Эстонию, Латвию и Литву и там объяснит новую позицию австралийского правительства.» То есть это совершенно невозможно понять: *кому* он объяснит? Он приедет к ведущим коммунистам, которые оккупи-

ровали, держат эту страну под насилием, и им «объяснит». Это уровень премьер-министра материка — Австралии!

Вот почему о разрядке приходится говорить в другом освещении. И я, и мои единомышленники в России, и не наши единомышленники — всё направление Сахарова, — мы, конечно, все за разрядку. Я уже сказал, что Сахаров предложил нечто гораздо более высокое, чем разрядка: щедрые, великодушные отношения между мирами. Но мы за разрядку *необратимую,* за такую разрядку, которую нельзя было бы тоталитарному правительству развалить в одну ночь; а разрядку, которая опирается только на улыбки и на подписи, можно развалить в одну ночь.

Разрядка часто выглядит как односторонняя уступка Запада Советскому Союзу, и все подразумевают, что Советский Союз может продолжать угнетение и дальше. Тут вселяются ложные надежды, что просто перестанут угнетать в советской сфере и народы и людей. Образцом такой дезинформации является выступление Жореса Медведева в иностранной комиссии Сената, у Фулбрайта. Там, что ни слово, то всё дезинформация, совершенно ложное вселение ложных надежд.

Недавно Людек Пахман, чешский эмигрант, написал в «Континенте»: «Единственный шанс свободы устоять — это самой добиться своего распространения.» Если свобода не распространится, а более чем над половиной человечества будет царить насилие, это не разрядка.

Спросили от «Экспресса»: *«Как такая разрядка отзовётся на судьбе русской интеллигенции?»* Беспрепятственное признание права угнетать, как оно сейчас имеет место, поможет дальнейшему угнетению советской интеллигенции и удушению у нас людей. Вот так отзовётся, и никак не иначе.

«Ассошиэйтед пресс»: *«Вы сказали, Александр Исаевич, что в России уже кончена марксистская идеология, что её уже больше нет. И вы как бы при-*

зываете к пассивному сопротивлению, моральному подходу и к возрождению моральному. Как вы думаете, сколько лет для этого понадобится? Сколько поколений?»

Я, вероятно, неудачно выразился, если меня поняли так, что в Советском Союзе идеология кончена, её больше нет. Я сказал только, что она потеряла сторонников в русской общественности, но она нисколько не кончена. И я благодарю спрашивающего. Я с удовольствием сейчас более подробно отвечу на этот, мне кажется, центральный вопрос, если вы не возражаете.

Об этой идеологии несколько наших русских авторов за рубежом высказались так. Один: «Именно идеологией в Союзе оправдывается всё, что делается.» Второй: «У этой мёртвой идеологии мёртвая хватка.» Третий: «В окостеневших формулах эта идеология держит всю жизнь.» Четвёртый: «Да, идеология мертва, но она распространяет трупный яд.»

Я сказал сегодня, что это одно из существенных расхождений между Сахаровым и мною: представляет ли идеология главную злую силу в сегодняшнем СССР или она уже обветшала, никто ею никого не направляет, и к жизни страны и к политике она не имеет отношения, а только все притворяются? Андрей Дмитриевич мне возразил: зачем я призываю руководителей страны отказаться от идеологии? Они и сами, мол, в неё не верят! И общество не верит. И в общем, это не серьёзно, идеология... правительство держится только за власть.

Но я настаиваю, что это не похоже на то, как держались за власть Цезарь Борджиа или Наполеон. Властолюбцами полна человеческая история, но никто не устраивал такого тоталитарного ужаса, как у нас в стране. Это мещанский примитив сегодня — сводить вождей к одному инстинкту власти. Это кажется так со стороны, и они могут сами себя понимать лишь как власть. Но они — рабы идеологии. Идеология направляет их. Подумайте вот: если на-

роды вынуждены праздновать день своей оккупации как национальный праздник?! Какой просто власти это нужно, чтоб удержать власть? Это не нужно. Это нужно идеологии! Вспомним страшную так называемую «самокритику» 30-х годов в Советском Союзе — человек выходит на трибуну и оплёвывает себя и своих близких. Разве это нужно для власти? Власть и без этого держится. Или покаяние, такое же направление казённого покаяния в Китае?

Вспомним государственные займы. Всего-навсего десять процентов зарплаты брали эти займы, и можно было эти десять процентов взять любым способом. Нет, заставляли выйти и самому, как бы от избытка, отдать то, что необходимо, то есть душу искривить!

Идеология страшна тем, что она искривляет душу. Заставляли публично отрекаться от родителей, от друзей! А уничтожение целых классов, произведенное в Советском Союзе, — разве это для власти нужно? Или сегодня — юмористический пример: происходит международная конференция по народонаселению. Выходит советский представитель и говорит: «Голод в мире от капитализма.» Он сам так не думает, и кто послали его — так не думают. Но он выставляет себя как чучело на посмешку, на обсмеяние, только по службе идеологической. Американский представитель, или какой-то другой, ловит его: «Позвольте, а почему же Советский Союз всё время покупает у нас зерно?» Конечно, разумнее было такой глупости не говорить, но идеология гонит всех, как рабов, и они вынуждены говорить эту глупость, чтобы служить идеологии. У нас идеология имеет именно мистическое значение, потому что именно она кривит души и заставляет быть покорной каждую душу. И сам Сталин не был бы таким абсолютным диктатором, если б он не был как бы обожествлённой истиной. И наконец, чем же заворожен Запад десятилетиями? Просто грубой кучкой властолюбцев, — захватили власть? Откуда же такое сочувствие к нашей сис-

теме у западной интеллигенции полвека? Где же, когда сочувствовали просто властолюбцам?! Сочувствуют идеологии, настолько сочувствуют идеологии, что предлагали не раз забыть об Архипелаге ГУЛАГе, простить ГУЛАГ! Настолько, что полтора миллиона человек отдали на расправу англичане — чтоб идеология торжествовала.

Такая напряжённость идеологическая заложена в наш строй Лениным. В тайном письме его о разгроме Церкви вы можете ощутить её. Разве там желание захватить или держать власть? Там одержимая идеологическая ненависть. И вот с тех пор полвека она прошла как стержень; держит всё наше государство и общество. Никакие бы властолюбцы не удержались, а идеология держит!

И главный вывод «Архипелага»: такие злодейства массовые возможны только благодаря идеологии, потому что просто люди не могут... где-то граница есть людская, — не могут этого делать.

Так вот, главное, что мешает нам всем жить, — это именно идеология. И именно от идеологии мы должны отклониться, отстраниться.

Спрашивают меня: *«Что ж, вы предлагаете пассивное сопротивление?»* Знаете, за словами «пассивное сопротивление» скрывается неясность. Не очень-то пассивное, оно в том смысле пассивное, что не надо брать в руки винтовки, не надо стрелять и убивать. Но оно очень активное. При нашей 50-летней подавленности надо совершить большое нравственное, моральное напряжение, решиться на очень смелый шаг: чтобы только не аплодировать, только всего... только не подписывать того, что не думаешь, и не голосовать, за кого не хочешь.

Спрашивают меня: *«Сколько понадобится на это поколений?»* Вот знаете, когда в нашем Самиздате выходы указывали такие: развивать культуру, думать, — вот на это нужно тысячу лет, чтобы таким образом сбыть советский режим. И когда братья Медведевы, или Рой Медведев предлагает, в об-

щем, ждать смягчения, которое, наверное, наступит при следующем поколении руководителей, — вот там идёт действительно счёт на поколения. В том пути, который предлагаю я, счёта на поколения нет, и не столетиями это измеряется. Тут так вопрос: или начнётся это нравственное движение, или не начнётся. Если оно в ближайшие годы не начнётся, я признаю, что я предложил неосуществимый путь, и нечего его и ждать. А если оно начнётся, хотя бы в десятках тысяч, то оно преобразит нашу страну в месяцы, а не в годы. Оно произведёт лавинное движение, и будет именно не эволюцией, а революцией.

Тут вопрос: *«Влияние западных идей — положительное или отрицательное?»* Будто бы я предлагал... то есть создалось такое ложное впечатление на Западе, будто бы я предлагал Советской России отойти от Запада. Я должен сказать, я просто не помню случая, сам я не помню случая ни со мной, ни с другими, чтобы так ложно был понят документ, который напечатан чёрным по белому и можно его прочесть... Ну, буквально, и на Западе, и многие у нас в Союзе (тут я уже объяснил почему — потому что удобнее обсуждать *это*, чем «Жить не по лжи!») читают — и другое совсем видят, чем там написано. Можно же прочесть! Ещё раз прочесть, проверить! Можно набрать в любой критике, хотя бы у Андрея Дмитриевича Сахарова, — мест десять, как будто он не читал, или просто так вот пробежал, скорей-скорей... Ну, просто ничего подобного нет, а он критикует то место. И не только он, а и другие. Видите как: обоснование моему «Письму вождям» — здесь, в этом Сборнике, теоретическая часть вся здесь. Вождям Советского Союза я не мог обосновать на высоком уровне; в зависимости от моего адресата, я должен был снизить аргументацию всю.

Исходя из принципа самоограничения наций, я считаю необходимым каждой стране, и в частности нашей, — в первую очередь все силы направить на внутреннее развитие. Для этого прежде всего

уйти со всех оккупированных территорий, прекратить угрожать всему миру агрессией и распространением; уйти в себя для лечения нравственных своих болезней и физических.

Но поразительно — сейчас же присутствующая здесь «Нью-Йорк Таймс» даёт заголовок: «Националист, шовинист». Я предлагаю уйти со всех оккупированных территорий, никому не грозить, никого не завоёвывать, всех освободить и заняться своими внутренними делами, — шовинист! А если бы я предложил наоборот — наступать, бить, давить?! Так разница есть? Надо осторожней пользоваться словами! «Нью-Йорк Таймс» поручила комментировать «Письмо» своей парижской корреспондентке, которая, может быть, не была специалисткой по философским и общественно-политическим вопросам. Так же точно вот и этот изоляционизм. Меня обвиняет Сахаров: я хочу прервать научные и культурные связи, отказаться от западной мысли и западной культуры... Да ничего подобного у меня нет! У меня сказано: наши силы бросить на наше лечение; мы тяжело больны. Нигде не сказано о пресечении культурных связей. Я и не имел этого в виду. Наоборот, я в моей Нобелевской лекции сказал о том, как связан мир и как всё взаимовлияет.

Я ещё один юмористический случай приведу. «Немецкая Волна» любезно прислала мне свои бюллетени... В бюллетене, который комментирует моё «Письмо вождям», написано так: «Советские руководители стремятся к агрессии и расширению своего владычества.» И потом от руки вписано вашим же комментатором: «Наверно, об этом мечтает и Солженицын.» И передают в Россию: «Солженицын мечтает о расширении империи.» Ну как же можно так комментировать? Ну всё-таки, ответственность должна быть?!

Кому я должен ещё ответить? *О выступлении Гюнтера Грасса против «Континента».* Я считаю Гюнтера Грасса честным благородным человеком,

но, к сожалению, лишённым глубины зрения на Восток. Увы, как и почти все на Западе. Когда западные люди обращаются на Восток — я имею в виду массовый случай конечно, есть очень проницательные люди на Западе, ну в массовом, в среднем — тут им зрение отказывает, они не видят в глубину. Синявский уже ответил Гюнтеру Грассу совершенно верно. Но он член редакции «Континента». Я не член редакции и поэтому могу защищать «Континент» ещё более объективно. Задавленной Восточной Европе, этим четырёмстам (а может быть и больше, не знаю, если нас всех посчитать) миллионам человек, вся жизнь которых раздавлена, неужели перебирать издательства, чтобы найти голос выразить свои страдания? У нас не просто посажено 40 человек, как в бывшей Греции, или 100 человек, как в бывшей Португалии, — сегодня, я думаю, там больше сидит. У нас 60, а где 30 лет разрушается вся физическая и духовная жизнь народа и сламывается физически хребет одной нации за другой. И всё это на глазах западной интеллигенции, которая аплодировала нашим палачам полвека!

Я напоминаю: мы с Востока никогда не аплодировали палачам, которые появлялись на Западе. А западная интеллигенция десятилетиями аплодировала нашим палачам. И вот сейчас стало модно такое «равновесие»... Это такой был советский анекдот в 30-х годах, что предприниматель один, ловкий деятель, продавал пирожки и говорил, что там только половина мяса, а половина дичи. Его спросили: как же ему удаётся достать, ведь ничего же нет нигде? Он говорит: «Ну, между нами говоря, я кладу в котёл одного коня и одного рябчика. 50 процентов — 50 процентов: один рябчик — один конь, один рябчик — один конь.» И вот сейчас распространён этот принцип мнимого равновесия. Например, в такой уважаемой организации, как «Эмнести Интернейшнл», — они строго следят, что если они помогут одному рябчику, то всё равно что и

коню, — и как будто ровно у них получается. И так же мыслят многие в западной интеллигенции, в том числе, очевидно, и Гюнтер Грасс, увы!

Я тоже могу задать вопрос Гюнтеру Грассу и другим левым западным писателям: а как они допустили, чтобы приказчики и помощники наших палачей их печатали? Ведь западные писатели допускали, одобряли и счастливы были, что их печатают в Советском Союзе! А кто печатал их, хоть одно свободное издательство? У нас их нет. У нас все издатели — это помощники палачей, а они — печатались десятилетиями, приезжали туда и общались с палачами, встречались, дружили. И мы им ничего не говорили об этом, не упрекнули ни разу. И мы не писали им открытых писем по этому поводу. А теперь спрашивает Гюнтер Грасс: как мы можем печататься в издательстве, которое входит в концерн Акселя Шпрингера, который всё равно что... что кто? Я не изучал этого вопроса и не знаю ничего об Акселе Шпрингере. Но я совершенно уверен, что Аксель Шпрингер не уничтожил 30—40 миллионов на Архипелаге ГУЛАГе. Я уверен, что он не сослал 10 миллионов или 15 миллионов крестьян в тайгу. Я уверен, что несколько миллионов безжалостно выморенных голодом на Волге и много миллионов на Украине не по вине Акселя Шпрингера погибли. И не Аксель Шпрингер расстреливал в Катыни. И не Аксель Шпрингер предал Варшавское восстание 44-го года. И не он подавил восстание в Берлине в 53-м. И не он подавил Будапешт в 56-м. И не он оккупировал Прагу в 68-м. Но с теми, кто так делал, западные писатели охотно сотрудничают.

Я бы ответил так: если Восточная Европа, прежде раздираемая противоречиями, наконец нашла единый дружный голос, то стыдно в этот момент нас упрекать: где мы печатаемся. Это бессовестно! Кто желает, чтобы мы печатались в хорошем месте (как они понимают), устройте нам это, сделайте!

Мы все подавлены, у нас нет на родине мест. Мы бы печатались на родине — нет мест!

Я сказал в моём письме в «Континент», что вот наконец произносится, звучит слитный голос Восточной Европы и обращён к Западной. Если Западная Европа этого голоса не услышит, она уже никогда, ничего больше не услышит. Это последняя возможность.

«Монд»: *«Изменилось ли мнение Солженицына о Западе за время его пребывания здесь?»* В основных чертах — нет, и вот, видно, почему: потому что западное общество открыто и его можно рассмотреть даже с Востока; а вот восточное общество закрыто, и его с Запада не рассмотришь, оно всё в темноте.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В СТОКГОЛЬМЕ

12 декабря 1974

Александр Солженицын. Итак, здравствуйте, господа. Мы с вами давно, давно не виделись. Собственно, никогда не виделись... Очень долгое время избегали вы меня, а потом избегал я вас. Только сегодня вот нам естественно встретиться и досыта наговориться. Вы избегали меня тогда, когда я сидел в лагере, жил в ссылке, был никому не известным рязанским учителем; и тогда, однако, я провёл главную свою работу.

А с момента, когда был напечатан «Один день Ивана Денисовича», корреспонденты хотели видеть меня и беседовать со мной. Однако тут я стал решительно, очень упорно избегать встреч с корреспондентами, и 9 лет вообще не встречался, не давал ни одного интервью, не так много дал и с тех пор. Это не просто образ, когда я говорю, что вы меня избегали многие годы; я хочу сказать, что сегодня в Советском Союзе существует много людей, которые могли бы чрезвычайно важные дать интервью. Однако эти люди, ещё неизвестные, не интересуют западных корреспондентов. Иногда бывает, как вот недавно: Леонид Бородин дал интервью западным корреспондентам (это было агентство, кажется, «Рейтер»), а само агентство говорит: «Не нужно нам этого вашего интервью, кто он такой?» Так и не напечатали. Или вот случай со Светланой Шрамко из Рязани — я писал о ней в «Нью-Йорк Таймс»; она была посажена в психиатрическую больницу за то, что боролась против загрязнения рязанского воздуха. Ей удалось обмануть тюремщиков, она притворилась покорной, раскаянной... Её выпустили. Тогда она поехала в Москву и позвонила по телефону корреспонденту

«Нью-Йорк Таймс». И вот мы услышали крик горла, которое душат. А с тех пор она канула в неизвестность, и где её сейчас мучат, что с ней делают — мы не знаем, и может быть не скоро узнаем.

Я хочу сказать, что сейчас в Советском Союзе вы упускаете, может быть, самые интересные интервью, может быть, более интересные, чем со мной. А почему я избегал корреспондентов, я тоже вам объясню, хотя многие понимают и так. Ну, не успели напечатать «Один день Ивана Денисовича», как ко мне какое-то агентство обратилось с таким вопросом: что я скажу по поводу того, как Хрущёв вышел из кубинского кризиса? Это я, рязанский учитель, за день до того неизвестный, еле держусь на ногах, — должен ответить скорей на такой вопрос!.. Ну, я, конечно, избегнул ответить на этот вопрос, и потом на множество таких других.

Я не давал интервью потому, что, хотя слишком много я мог сказать, всё это пошло бы в западной прессе только для удовлетворения любопытства читателей, а у нас в Советском Союзе пошло бы против меня, то есть помешало бы моей литературной работе и той борьбе, которую мне навязали в Советском Союзе преследованиями.

Странно, что некоторые западные корреспонденты и по сегодняшний день не понимают этой ситуации. Вот, например, летом этого года, когда Никсон был в Москве, слушаю по «Голосу Америки», корреспонденты говорят: «мы пошли по улице и стали спрашивать простых советских людей, что они думают о визите Никсона и о разрядке напряжённости»! Я не знаю, что́ это — наивность или цинизм? Вы можете идти по улицам западных городов и спрашивать мнение простых людей, вам ответят; но советский человек, идя по улице, когда к нему подошёл иностранный корреспондент и задаёт вопрос, прекрасно знает, что тут сзади идут гебисты, и только корреспондент отойдёт, — если он не так ответил, человек, его тут же и схватят... Вот я и говорю, что́ же это — наивность корреспондентов или цинизм?

Лишь бы собрать мнения, хотя они понимают, что никто им своих мнений не выражает и они не получают истины.

Конечно, у нас в Советском Союзе постоянно один за другим люди, которых называют тут инакомыслящими, переходят ту черту, когда надо скрываться, и начинают говорить открыто. Ну, у таких людей, конечно, вы можете, задав вопрос, получить истинное мнение. Но позволительно только у тех людей спрашивать, за которых вы уверены, что они переступили запретную черту, что они взяли себе право и возможность говорить.

Ну, это вступление невольно получилось, чтоб объяснить обстоятельства интервью с советскими людьми. К сегодняшней нашей встрече это не имеет никакого отношения. Я пришёл отвечать на ваши вопросы, я не буду делать никакого предварительного заявления поэтому.

Что вы можете сказать о судьбе Рауля Валленберга? Слышали ли вы о нём, когда находились на Архипелаге?

Нет. Я, когда сидел в заключении, и даже многие годы после того, не слышал о нём. Это только показывает, однако, величину Архипелага ГУЛАГа и сколько в нём потаённых, скрытых мест. Есть много таких тайных мест, куда изолируют навсегда, чтобы слух оттуда не потёк, чтобы не знали о таких людях.

Мне пришлось встречаться с другим скандинавом, который назвал себя Эриком Арвидом Андерсеном (я об этом пишу в «Архипелаге»), и вот когда уже я пытался запрашивать, сообщить о нём в Швецию и узнать, кто тут его родственники, что́ о нём знают, то при этом я выяснил историю с Валленбергом. Случай с Андерсеном тоже вот... Заведомо я не мог ошибиться в его национальном типе, это скандинав, живой человек, которого я ясно представляю, но который, видимо, по каким-то причинам рассказывал о себе неточную историю, и вот сейчас не мо-

жем найти его следов, а ведь он сидит там, он скандинав.

Вчера я видел мать Валленберга. Очень больно смотреть на эту старушку, которая ждёт своего сына 29 лет. Я прошу вас измерить и оценить эти сроки — 29 лет. Валленберг был арестован почти одновременно со мной. Я просидел весь свой срок, одну ссылку, много лет был на воле, с тех пор 29 лет сидит человек, и сидит посегодня! И в Советском Союзе это не единственный такой человек. Очень многие, кто получил 25 лет в конце войны, сидят до сих пор, — с 1947 года продолжают сидеть, и даже им добавляют сроки.

За это время прошла целая эпоха. Люди, об аресте которых, о тяжёлом состоянии в тюрьме, где-нибудь в Африке, писали в своё время, руководители национальных движений, давным-давно освободились, стали президентами своих государств, помногу лет правили своими государствами, сдали дела или их свергли... Проходили на Западе и в так называемом Третьем мире поколения сопротивленцев, о которых пресса писала: вот сидит такой-то, вот пытают такого-то, мучают такого-то... Они все давно освободились, а наши *сидят*.

У матери Рауля Валленберга регистрированы данные о том, кто когда сидел с Валленбергом. Они у меня вызывают чувство полной достоверности, никакого сомнения. На Архипелаге ГУЛАГе — если человек говорит, что он сидел с таким, так он сидел. Здесь перечислено около 14 свидетельств, и видно, что его держали потаённо, но иногда на короткое время с кем-то он встречался, и так вытекала информация.

Однако вот в этом разница: если человек сидит на Западе или в Третьем мире, то это совершенно достоверно; известно, в какой тюрьме, на каком режиме его содержат. Даже мы можем видеть сфотографированным его за решёткой, это часто не запрещается. А вот о Валленберге, поскольку он сидит в советской тюрьме, можно иметь только такие косвен-

ные свидетельства людей, да ещё некоторые из них скрывают свои имена, потому что или сами ещё остаются в Восточной Европе, или родственники там... И вот потому, что так хорошо у нас прячут, что так хорошо у нас, глухо держат узников, именно поэтому их и освобождать никто не берётся; и я слышал, что ваш премьер-министр считает, что мало данных для того, чтобы из-за Валленберга портить отношения с Советским Союзом.

Мне в Швеции тут рассказали и другие случаи — исчезновение шведских моряков или рыбаков, уже вот в послевоенное время в Балтийском море. Они пропали, видимо, в Советском Союзе, глухо, бесследно, и тоже никто их не защищает и не пытается вызволить.

Такая тактика западных правительств, она и указывает: держите крепко, тайно; кого не слишком крепко держат, тех мы освободим, а кто схвачен за глотку окончательно, ну и душите их, мы их освобождать не будем! Поразительная история: мать Валленберга сейчас находится в переписке с неким Ефимом Мошинским, который был капитаном КГБ и арестовал Валленберга. Он теперь в Израиле и рассказывает о том, какой был милый Валленберг, которого ему приказали арестовать. Шведского дипломата приказали арестовать! Ну что ж, очень хорошо. Капитан ГБ вызвал его из посольства дружески, повёз его в машине, а там схватил, арестовал. Потом Валленберга отправили в Москву, и он пошёл по советским тайным тюрьмам.

Для того чтобы избежать неприятностей с Валленбергом, советские органы учинили такую фальшивку: будто бы нашли на Лубянке бумагу, удостоверяющую, что он умер в 1947 году, а открыли её будто бы в 1957, и пытались таким образом прекратить дело.

Однако многие свидетельства, которыми обладает мать Валленберга, относятся к более позднему времени, и самое последнее, что с ним сидели и он был жив — ещё в 70-м году. Ему сейчас 62 года! Надо

спешить с его освобождением, спешить. Для этого нужно сильное общественное мнение, которое могло бы заставить ваше правительство и другие правительства спасти этого человека. И я думаю, что здесь очень бы могло помочь международное еврейское общественное мнение. Вот почему я это говорю: вам, вероятно, известно, что Валленберг, будучи сотрудником шведского посольства в Будапеште, занимался тем, что спасал евреев от гибели и переправлял их из зоны Германии на Запад. По данным, он таким образом спас более 20 тысяч евреев, и я думаю, что еврейское общественное мнение сейчас, сумевшее очень хорошо защищать своих недавних узников в Советском Союзе, которые сидят год, три, пять лет, могло бы сильно вступиться за Валленберга и спасти его.

Как вы относитесь к деятельности организации «Эмнести Интернейшнл»?

Видите, «Эмнести Интернейшнл» задумана благородно и как будто бы в равновесии с истиной. Однако именно из-за того, что существует полное неравенство в количестве арестованных и в режиме содержания их на Востоке и в остальном мире, из-за этого равенство, которое хочет соблюсти «Эмнести Интернейшнл», есть ошибочное, мнимое равенство. Им кажется... они хотят никого не обидеть. Каждая группа защищает одного с Запада, одного с Востока, одного из Третьего мира. Но исходные условия настолько не равные, что это равенство по сути — обман. О тех немногих узниках Запада или Третьего мира они знают всё, режим содержания каждого, как у него в камере — свет горит или не горит. Это всё известно. Об узниках Востока они не знают ничего, а именно их в сотни раз больше. Какое ж тут равенство, как же это можно уравновесить? Вот вчера я зашёл здесь на выставку «Эмнести Интернейшнл» в читальне. Выставлено как будто много портретов советских инакомыслящих, которые в тюрьмах. Оказывается, эти портреты повторяются,

ну как узор. Там сорок портретов, а по-настоящему их шесть или пять. А они повторяются как узор. Стали смотреть: чьи ж фотографии? Да всё большинство людей, которые уже отсидели и освободились: Марченко, Гинзбург, Синявский, Григоренко. Потому что эти имена уже известны. Их фотографии можно достать. А тех, кто сегодня там сидит, а тех, кого сегодня душат, фотографий почти нет. Система мнимого равенства, которое хочет провести «Эмнести Интернейшнл», на самом деле является жестоким самообманом.

В мире создаётся впечатление, что вот есть организация, которая обо всех заботится. А практически она не может заботиться о заключённых Востока, потому что она о них почти ничего не знает, охватывает ничтожную долю их.

Русско-еврейская проблема в СССР. Могут ли Советы позволить эмиграцию 60 тысяч евреев из СССР?

Первая половина вопроса очень общая, а на вторую я сразу могу ответить.

Видите ли, у нас в Советском Союзе многое делается совершенно иррационально и даже бессмысленно. Наше правительство может себе позволить хоть 60 тысяч выпускать в год, хоть 120 тысяч. От этого ни оно не пострадает, ни Советский Союз. Но в какой-то момент решили держаться за это крепко и получить за это больше. Собственно, проблема эмиграции из Советского Союза, о которой сейчас очень много говорится и пишется, она, по сути, сводится к эмиграции евреев да немцев, то есть таких двух национальностей, которые имеют свою историческую родину вне Советского Союза. Когда же настаивают, что и народы прибалтийских стран должны иметь свободу эмиграции, и украинцы должны иметь свободу эмиграции, то это — перевёрнуто, это — повышенное, неправильное внимание к проблеме эмиграции. Какая же радость эмигрировать из собственного дома? Кто же в нормальных

условиях должен бежать из собственного дома и так получить свободу? Каждому хочется иметь свободу у себя на своей земле. Эстонцам, латышам, литовцам и украинцам, живущим за границей, — напротив, им надо вернуться к себе на родину. Им хочется иметь свободу дома, проблемы эмиграции для них просто ничего не решают, им нужна свобода на своей земле.

> Почему вы так тепло пишете о народах прибалтийских стран?

Потому что я с ними очень хорошо и много познакомился в заключении. И там я полюбил многих, подружился с ними.

> Нам кажется, что вы об эстонцах и литовцах очень хорошо пишете, а о латышах нет. Нет ли здесь каких-то психологических или исторических причин?

Может быть, что-то в книгах моих так получилось — вот почему, пожалуй. Литовцы изо всех из них мужественней всего, упорнее всего боролись в лагерях. И поэтому они вызывали особое восхищение. С эстонцами у меня лично просто сложилось больше знакомств, больше дружбы. И поэтому у меня было много впечатлений, которые попали в книги. Корреспондент, который задал этот вопрос, вероятно, имел в виду, не накладывает ли тень на моё отношение к латышам то особое участие их в революции, когда некоторые месяцы ЧК и вся защита Кремля держались на латышских штыках. Но те латыши, с которыми я сидел, ни в чём том повинны не были, и не только никакого отношения к тому не имели, но так же гневно говорили об участии латышей как иностранных отрядов в чужой революции. Согласно моим взглядам, которые я излагаю в сборнике «Из-под глыб», в статье «Раскаяние и самоограничение», каждая нация должна сама найти дурное в своём прошлом и сама о нём публично сказать, не другие должны это делать.

Западная демократия, по вашему мнению, не годится для России, — почему?

Вот, господа, это как раз один из примеров того, как пресса поспешно и поверхностно упрощает взгляды людей или даже напечатанное. Я очень просил бы вас, чтобы сегодня, когда мы будем касаться серьёзных вопросов, чтобы вы, если не имеете возможности сказать точно и объёмно об этом, лучше вообще не говорили. Я в своём «Письме вождям», которое было почти исключительно неверно понято на Западе, хотя можно легко перечитать его, совсем не говорил, что западная демократия вообще не годится для России, там нет этого. Там сказано только, что мы сейчас, именно мы вот, Россия, и именно сейчас, мы к ней не только не готовы, но менее готовы, чем в 17-м году. А в 17-м году, когда мы были более готовы, когда у нас было уже всё-таки 12 лет общественной жизни, парламента... в 17-м году мы настолько ещё были не готовы, что это привело к изнурительной гражданской войне и возникновению тоталитарного государства.

Для нашей страны, испытавшей такие потрясения, всякое развитие должно быть плавным, не должно быть взрыва, потому что мы уничтожим у себя ещё десятки миллионов людей. Михаил Агурский правильно пишет, что переход, дальнейшее развитие в сторону демократии должны происходить в России в условиях сильной власти. Если же объявить демократию внезапно, то у нас начнётся истребительная межнациональная война, которая смоет эту демократию вообще в один миг, и миллионы лягут совсем не за демократию, а просто будет межнациональная война.

Я думаю, что наше сегодняшнее собрание и темп, который мы должны развить, не дают возможности читать лекцию серьёзно о проблемах демократии в России и проблемах демократии вообще. Я только хочу, чтобы не было неправильных представлений: я не против демократии вообще, и не против демократии у нас в России, но я за хорошую демократию

и за то, чтобы в России шли мы к ней плавным, осторожным, медленным путём.

Верите ли вы в возможность какого-либо коммунизма вообще?

Тут надо сказать, что, по мере того как на Западе узнавали истинную картину, что происходит в Советском Союзе, по мере того западные, особенно близкие к коммунистам, круги создавали встречные мифы и легенды. И вот первая такая встречная легенда создалась после XX съезда; надо было как-то спасать своё положение тем кругам, которые десятилетиями аплодировали нашим палачам и всем нашим уничтожениям. И тогда выдумали такую теорию, что Сталин всё испортил. Всё было бы хорошо, но всё испортил Сталин. Он якобы построил какой-то лжесоциализм, а вот был бы истинный! надо было его строить!

Сегодня есть в Советском Союзе небольшая группа старых большевиков, которая пытается тоже эту точку зрения отстоять. Выразителем этой группы является молодой сравнительно Рой Медведев, отец которого тоже погиб в лагерях вот в этом самом коммунизме, нет, будто бы в сталинском лжесоциализме. Они не говорят, в чем должен был состоять истинный социализм, они только говорят, что это был лжесоциализм, а нужно бы хороший.

Рой Медведев написал огромнейший толстый том «К суду истории», исследующий сталинские времена, ну, в основном, что происходило в партии и с большевиками. В этом томе чего только нет, каких только поразительных утверждений! О нём в западной печати по принципу симпатии говорят как о научном труде. Я не вижу там никаких признаков научности. Это публицистическая, политическая и узкопартийная книга. На стр. 905 (цитирую по русскому самиздатскому изданию, фотографически воспроизведенному на Западе) Рой Медведев пишет: «Великие цели социалистической революции оправдывают применение насилия.» Стр. 916: «Исторически

оправданные формы революционного насилия.» Так чем же им не угодил сталинизм? О палачах ЧК-ГПУ о многих говорит, что они были «*субъективно-честные* люди», «сохраняли в основном верность народу и партии», и даже когда гнались за обогащением и властью — *объективно* служили целям социализма. К чему же, оказывается, не был готов так называемый «научный» социализм или «научный» марксизм? Оказывается, они только не могли предвидеть, что возникнет опасность для деятелей и членов коммунистической партии! Пока они уничтожали беспартийных, всё шло закономерно. И эсеров, и меньшевиков: «их агитация не имела успеха в народе... их агитаторы легко вылавливались органами ОГПУ» (стр. 878), всё нормально. Но вот коммунисты не знали опасностей с неожиданной стороны — для самих себя, от руководства своей же партии! На стр. 961: «У нашей партии... не было ещё в те годы необходимого опыта диктатуры пролетариата... Поэтому партия была застигнута врасплох. Удар по партии (а по народу не в счёт. — *А. С.*) пришёл совсем не с той стороны...» Партия «не могла знать тех опасностей, которые подстерегали советских людей» на пути к светлому обществу. И в чём же тогда научность марксизма?.. Вполне в русле официальной пропаганды Рой Медведев заявляет в своей прославленной книге (стр. 880): «...в СССР сейчас переход к какой-либо многопартийной системе мы не считаем возможным и целесообразным». Сейчас Рой Медведев будет новое издание этой книги печатать; вероятно, он эти места исправит и уже не будет так явно оправдывать насилия, но так было все эти десять лет. Сейчас (рецензия на «Письмо вождям») он, пытаясь спасти положение советских марксистов, придумал такой выход: в СССР «нужна новая социалистическая партия, свободная от ответственности за преступления прошлого». То есть одна партия уже зарезала 60 миллионов человек, её рук уже не отмыть, так переформируемся в другую и начнём заново. «Воз-

7—617

рождение марксизма» у Роя Медведева примерно такое, как если бы в Германии появился сейчас публицист, который бы доказывал, что у Гитлера теория была правильная, а только исполнение неудачное. Чем повторять юмористические у нас слова вроде «социалистическая демократия» да предлагать, как и в советских газетах, «расширение прав местных органов», надо бы ему публично честно ответить: а с е й ч а с в С С С Р н а д о или н е н а д о рвать систему лжи, опутывающую жизнь и души всех в Союзе? Но нашу унылую пропаганду марксисты не могут признать за ложь.

Книга Медведева претендует быть «очищенно марксистской», но на 1400 страницах излагается там такая теория, что всё шло бы правильно, да попался плохой характер Сталина, и из-за плохого характера Сталина история пошла не так.

Так может сказать автор немарксистского направления, который большое значение придаёт роли личности. Но марксист если так сказал — то он зачёркивает весь свой труд с начала и до конца.

По принципу симпатии западная левая печать называет Роя Медведева не иначе как учёным-историком. Для того чтобы эта книга была работой учёного, она должна построена быть иначе: автор должен взять исходные положения Ленина, с которыми начинали октябрьскую революцию. Я напомню вам, с какими положениями Ленин начинал, — есть такие «Уроки Парижской коммуны», Ленин говорит там, что Парижская коммуна погибла потому, что не уничтожала массами своих врагов. Что победить пролетариат может только — уничтожая своих врагов массовым образом.

Ну, таких положений у Ленина много. А кроме того, была конкретная русская ситуация 1917 года. Тот, кто хочет доказать, что это не социализм в Советском Союзе, а сталинский лжесоциализм, тот должен доказать, что исходя из ленинских положений и исходя из конкретной русской ситуации 1917 года можно было построить социализм *не* мас-

совым ограблением крестьянства, *не* закабалением рабочего класса, *не* введением массового рабовладения и *не* террором. Вот тогда я сниму шапку и поклонюсь такому научному труду. Но такого не докажет ни Рой Медведев и ни один коммунистический теоретик в мире.

Более того, я боюсь занять ваше время, легко заметить, что все главные мероприятия против народа успел провести Ленин, а не Сталин. Насилие и террор Ленин никогда не снимал с программы как главные методы. «Диктатура есть государственная власть, опирающаяся непосредственно на насилие» (Собр. соч., 4-е изд., т. 23, с. 84). Землю у крестьян отобрал Ленин (Земельный устав 1922), а не Сталин. И Ленин же обманул рабочих, не дав заводов в рабочее управление. И концентрационные лагеря и бессудную расправу ЧК установил Ленин. Он применил и военную силу для подавления окраин и крестьянских массовых восстаний, он уничтожил *целиком* дворянство, духовенство, купечество, он поставил профсоюзы на службу государству. И всё атеистическое напряжение, которое было, как показал Агурский, главным стержнем коллективизации, дали Ленин и Троцкий. Так же и Троцкий обогатил Сталина главными идеями: насильственными трудармиями (прообраз ГУЛАГа), сверхиндустриализацией (подавлением жизненных нужд населения), угнетением крестьянства как главного внутреннего врага, «завинчиванием гаек» в профсоюзах. Единственно, что Сталин сделал самостоятельно, — расправился с собственной партией, за что одно его и клянут. А Сталин шёл именно тем путём, чтобы выполнить ленинские заветы.

Слабое место тех, кто доказывает, что при Сталине был лжесоциализм, их слабое место вообще, — они молчат: а *сейчас*, вот сегодня, при *нынешнем* руководстве, — лжесоциализм или социализм? — тут они молчат.

Но, впрочем, последние годы, когда обнаружилось слишком многое о Ленине, я наблюдаю новую

теорию, новую легенду на Западе: сперва отдали Сталина, защищали Ленина. Теперь уже трудно защищать Ленина — отдают Ленина, отступают в следующую линию окопов, защищают Маркса. Однако, кто внимательно почитает Маркса, тот найдёт совершенно ленинские формулировки и ленинскую тактику, и непрерывные призывы к террору, к насилию, к власти, захваченной силой. Я буду цитировать русское первое издание 1929-30 года. Маркс пишет: «Реформы — признак слабости. Движение за реформы в Англии было ошибкой» (т. 23, с. 339—340); «Политическая свобода есть ложная свобода, хуже, чем самое худшее рабство» (т. 2, с. 394); «При всеобщем избирательном праве о революции нечего и думать» (т. 21, с. 290).

Маркс пишет Энгельсу: «Looking in the future (так по-английски там и есть. — *А. С.*), я вижу нечто такое, что будет сильно отдавать изменой отечеству. Вот это для нас фатально» (т. 22, с. 138). И очень часто пишут: «После прихода к власти — террор. Придётся разыграть, повторить 1793 год.» После прихода к власти «нас станут считать чудовищами, на что нам, конечно, наплевать» (т. 25, с. 187).

А что такое 1793 год? Мы сейчас не задумываемся, потому что это давно. То, что восхищало Маркса и Энгельса в 1793 годе, я могу процитировать в двух фразах: Марат, «Проект декларации прав человека и гражданина» (его собственный проект): «Человек имеет право присваивать себе всё, что ему требуется для пищи, для содержания себя и счастья... Человек имеет право вырвать у другого не только излишек, но и необходимое... Человек имеет право зарезать другого и пожрать его трепещущее тело!» Не случайно Ленин восхищался Марксом и Энгельсом постоянно до самой смерти, не случайно Маркс и Энгельс восхищались французской революцией! Между французской революцией и октябрьской есть то глубокое сходство, что они обе *идеологические*, и уничтожали людей не просто как-нибудь, а на основе идеологии.

Так вот, на вопрос, который мне задали, я должен был так много ответить потому, что от Сталина мы должны отступать назад чрезвычайно далеко. В нашем сборнике «Из-под глыб» есть статья академика Шафаревича о социализме. Эта статья просматривает движение социалистических государств и социалистических идей от Платона до Маркузе. Сейчас здесь напечатана его статья, которая является экстрактом из книги. Скоро на Западе выходит книга его, «Социализм». Там можно будет всё это прочесть подробно.

Так вот, когда Ленина отдали или начинают отдавать, создали такой миф, что Ленин стал жертвой русской традиции, — мол, такая Россия, что иначе получиться не могло, а у нас будет иначе. Так вот — нет! Всё дело в самом *корне* этого учения, это учение не может дать других плодов, чем оно дало реально.

Как вы оцениваете рецензии Роя Медведева на «Архипелаг ГУЛаг»?

Рой Медведев спешит в короткой рецензии, которая сразу переводится на несколько языков, предупредить появление моей книги, которая в переводах появится нескоро, — и таким образом нейтрализовать её. В советской традиции всегда так: о книге, в которую вложена жизнь или десятилетия работы, высказывается какой-нибудь публицист, который пишет за два дня статью и бьёт дубиной по голове. Но удивительно, что на Западе это тоже называют «диалогом»! Написана книга, где свидетельства сотен людей, где вложен труд художника, и на это отвечается публицистически: «Нет, не так, он недопонимает, он ещё не дорос до понимания великих идей...»

Собственно говоря, Рой Медведев потому выступил, по сути, против «Архипелага» (хотя высказывается и в пользу его), что ему надо спасти Ленина, идею коммунизма и защитить вот тех самых большевиков старых, которые до самого последнего дня ареста помогали угнетательской машине уничто-

жать других; потом неожиданно их хватали и тоже сажали. Он называет их теперь жертвами — и носителями общественной справедливости. Но спрашивается: если жертва до последнего момента помогала палачу, и подавала ему других на убой, и топор держала, — насколько это жертва или уж тоже палач? Рой Медведев и сегодня хвалит палачей: Петерса, Лациса, Дзержинского, Менжинского. Он называет «легендой» расстрел одного мальчика на зверских Соловках, когда у нас годами *по кодексу,* «законно», расстреливали с 12-летнего возраста. В главе 2-й Третьей Части я последовательно разбираю принципы поведения этих «благонамеренных» в лагерях и показываю, что, сохраняя марксистскую идеологию, они н е м о г л и вести себя никак иначе, никак достойнее. На эти бесспорные доводы Рой Медведев и не пытается отвечать, он просто обходит их.

У нас в СССР по отношению к тем, кто высказывается не в официальной прессе, принят термин «инакомыслящие», или «диссиденты». Так вот, надо быть осторожным в употреблении этого термина, более точно употреблять его. Рой Медведев в более точном смысле слова не относится к инакомыслящим в СССР, ему ничто не угрожает лично, потому что он, в общем, наилучшим образом защищает режим — более умно и более гибко, чем это может сделать официальная печать.

Так же, когда мы читаем выступление Жореса Медведева в Сенате Соединённых Штатов, в Иностранной комиссии у Фулбрайта, то мы видим, что никакой советский пропагандист и агитатор не мог бы так смело оправдывать репрессии в СССР или говорить, что их нет, как это делает Жорес Медведев.

> Скажите, пожалуйста, в 40-м году депортирован один с половиной миллион поляков в Советский Союз... Встречали ли вы в лагерях польских друзей, и что вы думаете, что нужно делать, чтобы не только евреи и германцы, но даже поляки могли вернуться на родину?

Этот вопрос примыкает к тому, что я говорил. Да, я сидел со многими поляками, я сегодня не назвал их рядом с прибалтийцами лишь потому, что Польша (ну, формально) независимое государство. У меня много впечатлений от того, как они хорошо держались в лагерях и боролись; в частности, это будет у меня в кинофильме «Знают истину танки»... Кто уцелел, были многие репатриированы, возвращены в Польшу, был такой момент, что поляков *отпускали*, как у нас говорят. Но, конечно, многие по разным личным причинам не могли попасть в эту волну и остались в Советском Союзе. Я понимаю, что вопрос относится к ним. Да, вот они в первую очередь, конечно, имеют право на эмиграцию к себе на родину, и мы должны в каждом случае, когда узнаём о нём, помогать полякам уезжать, против воли не жить...

Видели ли вы кинофильмы по «Ивану Денисовичу» и «Кругу первому»? Что вы о них скажете?

Да, я видел оба фильма, поставленные по «Ивану Денисовичу» и «Кругу первому». Фильм по «Кругу первому» — искажённый фильм. Он построен — лишь бы что-нибудь скорей поставить, не считаясь с волей автора. Мои произведения долгие годы были здесь совершенно не защищены; каждый расправлялся и делал, что хотел, и поживлялся, как хотел. Ну и вот, в частности, этот фильм, — его запретили в Израиле ставить, защищая мои интересы... то есть израильские власти запретили. Тогда Александр Форд уехал из Израиля в Данию и там поставил второпях. Смешаны функции персонажей, существенно искажены — главных героев. Смазана основная моральная проблема о тяготении идеологии над человеком. Много ненужных огрублений, особенно эротических, чего в романе совсем нет.

А что касается фильма по «Ивану Денисовичу», то это честный, хороший фильм, но просто в нём не хватает русского колорита. И поэтому фильм, конечно, не отвечает полностью своему источнику.

Что вы скажете по поводу защиты Симоновым шолоховского авторства «Тихого Дона»?

Когда опубликовалась книга о «Тихом Доне», умершего литературоведа, я в приложениях поместил, что́ относило́сь к этой теме. В частности, я поместил письмо пяти советских писателей в 1929 году, в котором было так сказано: «Врагами пролетарской диктатуры распространяется злостная клевета, что Шолохов не автор «Тихого Дона». Просим сообщать нам фамилии, мы примем меры через ГПУ.» Это был самый сильный ответ, который только был в защиту авторства Шолохова.

Но произошёл анекдотический случай: я это опубликовал, в Париже, а советское АПН решило ответить. Но, видимо, книжку там не посмотрели как следует и напечатали ответ в советской прессе такой: «Ну что этому Солженицыну отвечать, когда ещё в 1929 году наши пять товарищей ответили!» То есть опять тот же самый ответ: говорите, кто против, мы сейчас его посадим.

Ну, потом они поняли свой конфуз и сейчас готовят разные ответы, в том числе вот это интервью Симонова. Я удивляюсь, как Симонов мог опуститься до такой роли. Собственно, у нас в Советском Союзе ни один мало-мальски понимающий человек никогда Шолохова автором «Тихого Дона» не считал. Поэтому было очень тоскливое и обиженное чувство в нашей общественности, когда мы видели, как Шолохов премируется вот за эту книгу. Симонов, я уверен, и сам в это не верит, но выполняет заказ, — так надо, так ему велят. Но я обращаю ваше внимание, что Симонов и другие защитники Шолохова обходят все основные вопросы, поставленные в книге «Стремя „Тихого Дона"». Я для простоты напишу эти аргументы сейчас и предлагаю советской прессе и советским учёным ответить на эти аргументы, а не ругаться.

Первое: «Тихий Дон» написан в чужом ключе по отношению к собственному автору. Автор (не будем

говорить Шолохов) посвящает всю книгу защите донского казачества против иногородних и его сепаратизму от России. Шолохов же — как раз иногородний и всей своей деятельностью проводит линию, прямо противоположную автору этого романа.

Второе: кто-то в книге уничтожает любимых героев автора, едва дав высказаться им, что они думают, при первых же намёках их уничтожает. Ни один автор так не делает, потому что вся задача автора выразить себя через своих любимых героев.

Третье: Шолохов систематически от издания к изданию уничтожал язык «Тихого Дона», то есть стирал всё яркое, всё сильное, всё художественное выглаживал, как тракторами под ровное поле. Разве может так делать подлинный автор?

Четвёртое: наряду с высочайшей художественной тканью в романе помещены грубые пропагандистские вставки, которые читать нельзя, глаз и ухо не принимают. Эти пропагандистские вставки идут прямо против романа, прямо против автора, прямо против всего художественного замысла, композиции... Просто вот вырезано из газет и вставлено в нескольких местах. Причём языком этих пропагандистских вставок Шолохов и выступал всю жизнь: на съездах партии, на съездах писателей, в газетах... Вот это язык Шолохова, вот это.

Пятое: богатейшее знание того, чего Шолохов знать не мог, — не свой опыт. Автор описывает дореволюционное казачество с такой тонкостью, с такой глубиной, что надо было там десятилетиями жить, чтоб это всё видеть. Но в момент революции Шолохову было 12 лет. Он описывает Первую мировую войну, в которую был совсем мальчиком, десятилетним. Описывает гражданскую войну — к её концу ему было 15 лет.

Может, конечно, человек написать из чужого опыта и из чужого времени, но для этого он должен многие годы этот материал изучать. Шолохов, это шестое, показывает темп работы: он начинает своё произведение якобы двадцати лет, и потом в течении

трёх лет всё выдаёт, в течении трёх лет появляется почти весь роман! Что же, и так может быть! Невероятный гений! Ничего не изучал, просто каким-то чудом и духом всё понял. Но после этого, седьмое, он замолкает на 45 лет, 45 лет мы ничего от него не слышим сравнимого, такого художественного уровня. А за последние 35 лет так вообще ничего. Была «Поднятая целина» раньше, несравнимый уровень, но что-то было, а сейчас совсем ничего. Ну, те, кто Шолохова знают, — знают, что, собственно, весь его уровень развития... даже не об уровне нужно говорить, образованный или необразованный, а — грамотный или неграмотный?..

Тут есть ещё одна фигура, о которой я в книге не сказал, я, пожалуй, сейчас её назову: это Пётр Громославский или Гремиславский (от местного произношения зависит, как эти буквы писать). Этот Пётр Гремиславский был третьестепенным литератором из станицы Вёшенской. Годы 1918 и 1919 он находился в Новочеркасске около журнала «Донская волна», который издавал Крюков; ну, пытался сотрудничать, но ничем особенно не прославился. Однако ремесленную работу литературную он мог делать вполне.

В 1920 он отступал вместе с Крюковым до станицы Новокорсунской, в которой Крюков умер. После чего вернулся на советскую территорию. Сам, как участник белого отступления, он никак не мог печататься, но он выдал дочь свою замуж за Шолохова. Я дальше не сопоставляю, дальше так добавить можно: Пётр Гремиславский — ремесленный литератор, и книжку такого уровня, как «Поднятая целина», он вполне мог написать.

Я, однако, в книге сказал, что на сто процентов не утверждаю, что автор «Тихого Дона» именно Фёдор Крюков. Только всё больше сходится к тому, что он. Спорят о том — художественная высота, такая, как в «Тихом Доне», доступна ли была Крюкову? Я очень много прочёл Крюкова и считаю, что он до революции не имел, может быть, ровного уровня, то

есть у него были выше уровни и ниже, но в момент революции, работая в Новочеркасске над романом, под грозными впечатлениями донских событий, ему достижимо было мастерство такой высоты, которую мы видим в «Тихом Доне». Уровень мастерства Крюкова я ещё надеюсь представить публике.

Я знаю, что в Советском Союзе будут сейчас появляться даже научные труды, доказывающие, что именно Шолохов автор «Тихого Дона», я предлагаю им открыто ответить на эти все перечисленные семь пунктов.

Известны ли архивы Шолохова?

Архива у Шолохова нет, и он говорит, что не мог его спасти из станицы в момент войны, хотя он там был главней секретаря райкома и ему любую машину бы подали. И Симонов сейчас говорит: «Я, конечно, никогда не осмелюсь спросить Шолохова, где его черновики. Кто вообще смеет кого-нибудь спрашивать об этом...»

Какое у Шолохова образование? Когда он был у нас в Швеции, он говорил, что кончил гимназию.

Никакой гимназии он не кончал, вы можете тут прочесть, что он кончал. Он кончил четырёхклассное училище, а потом дальше он был чернорабочим и мелким служащим. Когда начали его травить в советской прессе, он вступил в партию, и травля прекратилась.

Какую роль могут сыграть западные радиовещания на русском языке для помощи инакомыслящим? Каким образом (словом и делом) помочь преследуемым в Советском Союзе? Какие силы у оппозиции в сегодняшнем СССР и какие возможности у неё изменить систему в близком будущем?

Ну, я отвечаю на все эти вопросы вместе. Там, в Советском Союзе, для нас огромной поддержкой яв-

ляется каждое слово западного радио на русском языке, каждое сообщение в западной прессе. Но всё затруднение в том, что надо информации больше получать, потому что, повторяю, у нас о большинстве угнетённых даже узнать нельзя, их — в провинции давят. А иногда фамилии и известны, но начинают как бы от них уже утомляться корреспонденты, и начинают их забывать. Например, Огурцов после 8 лет тюрьмы помещён в психиатрическую больницу, но уже устали все говорить, и этого человека уничтожают с ведома всего мира. Украинцы — Караванский, Шухевич, Сверстюк, многие другие, — из них некоторые уже сидят близко к 25 годам. Вот сейчас арестовали Осипова за попытку издавать легальный, не против правительства, журнал. И вот как раз его друг Бородин дал интервью о преследованиях — и агентство не заинтересовалось такой информацией.

Тут происходит опасная подмена внутренних событий в Советском Союзе, от которых будет зависеть жизнь страны, подмена единственным вопросом — об эмиграции. Эмиграция сама собой будет происходить, будут советские власти и выталкивать насильно людей, да. В результате этого происходит эмиграция культуры. Об этом мой друг Шафаревич сказал в ноябре на пресс-конференции в Москве. Этим была сделана попытка остановить эмиграцию культуры, потому что истинное развитие русской культуры может происходить только в метрополии, только на главной нашей земле. Те, кто уезжают, могут пытаться участвовать в этом, могут дать свой вклад, но главная судьба русской культуры решится всё равно в метрополии.

Я думаю, что советские власти насильственной эмиграцией не освободятся от инакомыслящих и не решат этой проблемы к выгоде для себя. А какими путями может быть изменена общественная ситуация у нас в Советском Союзе, об этом, конечно, существуют разные мнения. Я считаю наиболее пер-

спективной нравственную революцию, о которой я говорил.

Тут корреспондент говорит: «Этот метод не понят на Западе.» Я считаю, что вообще эпоха физических насильственных революций должна бы кончиться во всём мире. Потому что физические революции никогда никаких проблем не решили, они только запутывали и ухудшали ситуацию. Поэтому нравственная революция — это выход, я думаю, не только для Востока, но и для Запада. Но я не могу ничего конкретного сказать в применении к Западу, а к своей стране я сказал в обращении «Жить не по лжи!». И я думаю, что этот метод, если только он распространится, он убьёт идеологию в Советском Союзе и тем изменит всю ситуацию.

Тут были вопросы итальянских журналистов, и не одного (итальянское радио ещё), относительно книги Решетовской, напечатанной в Италии и которая выйдет в других странах.

Я сейчас имел возможность прочесть её по-русски и могу сказать, что эта книга просто не обо мне. Она о некотором персонаже, которого на моём месте желательно видеть КГБ. Для этого факты большей частью извращены, а мотивировки — просто вообще ни одной подлинной мотивировки нет. Все мотивировки придуманы со стороны. Эта книга является частью кампании против меня, начатой после издания «Архипелага», чтобы как-нибудь снизить, смазать значение «Архипелага». Но надо удивляться, как мало на этом пути КГБ достигло. Они организовали ещё выступление моего школьного друга, а кроме того, мне известно, что они обрабатывают и других, чтобы как-нибудь выступили против меня, в связи с моей прошлой жизнью. Но вот, ничего не достигли за всё время. Вот я пишу на доске: *Рожаш Янош*, просто чтобы сделать известным на всякий случай это имя одного венгра. Это очень хороший милый венгерский молодой человек (теперь уж не молодой), который со мной сидел в Особом лагере, о нём я пишу в 3-м томе «Архипелага». Он живёт в

беззвестной венгерской провинции, и его уже два года давят, чтобы он дал против меня какие-нибудь показания. Для этого сперва посылали мою бывшую жену к нему, потом от АПН-КГБ представителя, потом давили местные тамошние власти. Но вот, никакого заявления до сих пор нет.

Представим себе тяжёлое положение таких одиноких людей, которые могут облегчить свою жизнь, дав нужные показания КГБ, — и не дают.

Рассчитываете ли вы, что будете жить на Западе постоянно?

Нет, не рассчитываю. Я живу в устойчивом ощущении того, что я и хочу, и должен, и вернусь в Россию. Мы испытываем здесь постоянно тоскливое ощущение, что мы не на месте и что над нами совершено насилие. И даже маленькие мои сыновья с ранним сознанием уже начинают это понимать.

Когда в Швеции был министр юстиции Теребилов, он сказал, что для Солженицына, если он подаст заявление, нет препятствий к возвращению в СССР.

Вот такие заявления советских представителей часто ошеломляют и задают загадки здесь на Западе. Например, в своё время Фурцева в Нью-Йорке. «Почему вы не печатаете Солженицына?» — спросили. «А вот мы ждём, когда он напишет хорошую книгу, я сама вам с удовольствием всем подарю.» Надо понять, почему это происходит, — потому что приезжает сюда советский представитель, любой, даже в чине министра, с определённой инструкцией: надо вести себя та́к, говорить та́к. Но всего не предусмотришь, что спросят. И тогда каждый этот представитель на ходу врёт здесь что-нибудь, как-нибудь солгать, но так, чтоб это всё-таки не противоречило общей линии по возможности. А иногда получаются ответы анекдотические.

Какое же заявление я могу послать туда, если за последние два-три месяца даже письма моей семьи с

детскими фотографиями перехватываются, вообще письма не идут, простые письма. Всё захватывает советская почта. И моему другу и соавтору по сборнику «Из-под глыб» Вадиму Борисову поставлено в вину, что он поддерживает со мной то телефонную, то письменную связь, что за это он должен, уже за это одно, сесть в тюрьму или быть выброшен из Советского Союза.

Очень просто, я уже говорил: если хотело бы советское правительство, чтобы я вернулся, то писатель — это его книги, надо начинать печатать мои книги, вот я и вернусь.

Что вы считаете своим наибольшим успехом за время пребывания на Западе?

Я считаю самым большим своим успехом то, что начиная с весны и до осени я работал и успешно писал. Этому мешали в основном все те, кто хотел меня видеть или со мной переписываться. В Советском Союзе, когда я находился под большой опасностью, только близкие друзья ко мне ходили. А так просто любопытные и кто просто хотел бы со мной поговорить — не писали и не ходили, и обходили по улице за километр. А здесь никому ничего не грозит, почему бы мне не написать и не требовать ответа? Почему бы не послать книгу, чтобы я прочёл её и сказал, что я думаю об этой книге?

И практически положение такое: у нас в семье мы не успеваем писем распечатывать и систематизировать — о чём, какого рода корреспондент? Если бы я бросил всю остальную работу и занимался бы только перепиской, то я бы не мог справиться с ней, не мог...

А что же говорить о книгах! Первое время книги присылали просто сотнями. Потом десятками. В каждой книге сопроводительное письмо. Книги на всех иностранных языках. Я читаю лишь на двух. Если я начал бы эти присланные книги читать, то утонул бы, — там у меня сейчас лежит огромный, огрóмный холм книг, просто вот так набросаны.

Почему вы изолируете себя в Цюрихе? Дверь закрыта, на звонок не отвечают, по телефону тоже не отвечают?

Когда я приехал в Цюрих, ко мне повалили просто все, кто хотели (не цюрихские жители, цюрихские жители уважают мой покой), все, кто хотят ехать через Цюрих или специально едут, почему бы не зайти, со мной часок поговорить?.. Это — самозащита. Если я хочу остаться писателем, я не могу встречаться и переписываться, отдать этому жизнь. Первое время подсылали и провокаторов от КГБ ко мне. Но большинство искренне, честно хотят просто побеседовать, потом рассказать, как они были, о чём мы говорили. Итак, мне ничего не остаётся, как защитить свою работу и создать те условия, к которым я привык. Я работаю 14 часов в сутки, и у меня времени не остаётся ни на разговоры, ни на письма, а вечером только подготовиться к тому, что завтра мне нужно утром, почитать то, что нужно. И нет ни на что больше времени, физически.

Как вы относитесь к поддержке коммунистической шведской печатью вашей работы и к защите ею инакомыслящих?

Я могу сказать только так: от плохой жизни этой печати. Потому что у них выхода нет. Они должны хоть что-нибудь защищать, иначе как они будут выглядеть? Но после «Архипелага» тон всей коммунистической печати в мире окончательно изменился против меня.

После неполного года на Западе — что вы думаете о свободе писателя в капиталистическом обществе?

Я бы сказал так. Для писателя, который имеет в виду только свой материал и создать задуманную адекватную вещь, для такого писателя несвободы нет нигде на земле. Он всегда свободен, даже и в тюрьме.

Если смотреть с Востока, как представляется Запад, — конечно, не рассмотришь несвободу писателя здесь. Но за то короткое время, что я здесь немного общался с издательским делом, не с писателями столько, а вот с издателями, — за это время моё первое впечатление: когда в прежние века писатель, художник творил для узкого круга ценителей, он был, пожалуй, более свободен, потому что он соразмерял свою свободу с очень высоким уровнем требований. А то, как поставлено сейчас книгоиздательское и книготорговое дело на Западе, равняясь на низкий уровень, действительно ущемляет свободу писателя и угрожает ему... то есть препятствует ему достигать нужной высоты.

Здесь какое-то я нашёл обёрнутое положение. Самая главная сила — в продвижении книги — это книготорговцы. Книготорговцы имеют столько прав на книгу, будто бы авторы они, а не писатели. Книгоиздательства некоторые просто угождают, стараются задобрить книготорговцев, чтобы те продвигали книгу. В таком случае положение писателя, если он попадёт в эту струю, стараться убедить издательство напечатать книгу, а издательство будет убеждать торговцев её продавать, да поставить на витрину, с этого момента писатель действительно становится несвободен. Но и тут у него остаётся, в его распоряжении душевном, остаётся свобода не стараться этого всего делать, а удовлетвориться тем, что он написал книгу по своему замыслу. Он не должен сам просить и желать применения форсированного проталкивания книги рекламой. И тогда получается, что с двух сторон, на краях, писатель всегда может достичь себе полной свободы. То, что я посоветовал, не является слишком большой жертвой, не больше чем у нас в Советском Союзе: не нести в издательство, писать лишь как душа велит. Не стараться книгу усиленно продвигать.

Вы высказывали острую критику советского строя. А что вы находите положительного там?

Действительно, в тех условиях, в которых я находился, да и каждому человеку в своих условиях, прежде всего бросаются в глаза и мучат недостатки своего общественного строя. Я бы всё-таки разделил, что можно говорить о *системе* и что можно говорить об *обществе*. Система — сверху и давит на общество. О системе мне трудно сказать что-нибудь положительное. Система, если и даёт что-нибудь своим гражданам, то только потому, что уже стыдно этого не дать. Что нельзя уже совсем быть последними в ряду человечества. Конечно, у нас есть так называемое бесплатное народное образование и бесплатное лечение, медицина, но это всё до такой степени казённо, задавлено и до такой степени невысокого качества, потому что плохо оплачиваются работники в этих системах. Народное здравоохранение действительно бесплатное, всем открытое, но так устроено, что, начиная с Кремля, каждая организация, каждая, все партийные мелкие вожди, областные, районные, все свою медицину стараются отделить, чтоб их обслуживали особым образом. И всякий человек, который имеет возможность лечиться частным образом, обязательно постарается частно лечиться, потому что в общественных условиях ему окажут помощь самого плохого качества. Не потому что врачи плохие, но потому что у них условий нет. Надо девять больных за один час пропустить. Иногда с мелкими операциями, с серьёзным осмотром. Но так и должно быть в системе, потому что система — и направлена *против* человека. Она направлена на то, чтобы всё самое тонкое и высшее в человечестве, в человеке — срезать. Но вот, интересно, приехав на Запад, я обнаружил следующее... У меня есть такое наблюдение: у нас *в обществе* отношения между людьми, может быть вам удивительно будет... — сердечнее, душевнее, бескорыстнее, чем здесь. И тут есть, очевидно, закономерность. Я думаю, здесь вот отчасти в чём дело: на Западе существует всеобщая свобода устраивать свою жизнь. И при падении религиозных принципов, на которых было основано

западное общество несколько столетий назад, это приводит к усиленной активной деятельности каждого человека в свою пользу. Западный человек поставлен в тревожную обстановку. Вот буквально всё время, каждый день, можно попасть в такое состояние, что ты что-то упускаешь. Какие-то возможности ты упустишь — и не добудешь нужного успеха лично для себя, или какая-то группа, профессиональная группа людей что-то упускает. И вот в этой напряженной борьбе и конкуренции люди иногда слишком много занимаются материальными делами, слишком много думают о своих узких интересах, а не обо всех... не об обществе. Существует всеобщая поверхностная высшая любезность, но под этой любезностью часто, не всегда, кроется большая сухость. У нас же в обществе ситуация такая. Забастовок не устроишь. Зарплаты себе не повысишь, хоть бы ты разбил лоб об стенку. Жизнь течёт почти... мала роль человека в ней, в своей собственной жизни. Гораздо меньше возможностей, и нет этой тревоги, что ты... из-за того, что слабо деятелен, упускаешь что-то. Как-то течёт эта жизнь через твою голову, и можно от неё даже наполовину отключиться. И от этого создаётся пространство времени и души для каких-то других, совсем не материальных забот. ...Для того чтобы мысль была ясней, я укажу на самый край этого общества — на тюрьму, где совсем от тебя ничего не зависит. Вот сейчас я здесь, а через две минуты меня отправят за пять тысяч километров. И тогда все эти заботы, они отходят, и остаётся больше времени для души и для сочувствия к другому. Как раз в сборнике «Из-под глыб» Агурский пишет о так называемых «преимуществах» (кавычки) социалистической тоталитарной системы.

Как вы относитесь к переводчикам?

Это одна из моих главных забот на Западе. Я нашёл состояние переводов своих книг, в некоторых странах, ужасным. Иногда не было хороших переводчиков, а иногда дело в том, что переводчик по-

ставлен в плохие условия на Западе. Кстати, опять будет один пример «преимущества» советской системы. У нас настолько подавлено свободное творчество, что все лучшие литературные силы ушли в перевод. И, кроме того, оплачивается эта работа хорошо. Поэтому в мире нет таких хороших переводов, как в советское время на языки Советского Союза с западных. А здесь хороший переводчик, чтобы хорошо получить за работу, должен торопиться, спешить, ведь жить ему надо как-то. Из-за этого книги, написанные на родном языке плохо, средне, — почти не теряют в переводе. А книги, написанные своеобразно и трудно, — они всё теряют. Я сейчас пытаюсь ввести такую систему, чтобы защитить интересы переводчиков перед издателями.

Судя по высказываниям в ваших произведениях, вы придерживаетесь социалистического мировоззрения?

Это — ошибка. Если внимательно проанализировать, что у меня написано в моих книгах, — нигде там социалистического мировоззрения автора нет. Это особенность автора, который печатается, хотя бы в Самиздате, у нас в Союзе. Разумеется, я должен был выражаться осторожно и прямо от автора, по возможности, говорить меньше. Но западная критика и пресса, когда год за годом там появлялись мои книги, — жадно хотела, чтоб я был социалистом, во спасение социалистической идеи. И вот, например, в «Раковом корпусе» Костоглотов и Шулубин разговаривают. Шулубин, который всю жизнь отступал, и гнул спину, и сотрудничал с режимом, выражает как последнюю надежду, что, может быть, существует нравственный социализм. И это место критика отметила как: вот, Солженицын выражает социалистическое мировоззрение. Но Шулубин совершенно противоположен автору и не выражает ни с какой стороны автора. Костоглотов, который гораздо ближе к автору, на это пожимает плечами и говорит: «Ну, у нас в лагере *по-разному* говорили.» Ин-

тересно, что советская критика, Союза советских писателей, это место с другой стороны критиковала: как я смел придумать какой-то глупый «нравственный социализм», которого быть на земле, нравственного социализма, — не может! И они были правы. Потому что нравственные принципы имманентно не содержатся в социализме, а даже противоположны ему.

Изменился ли ваш взгляд на Запад с тех пор, как вы сюда попали, и в каком отношении?

Видите, я уже отвечал на этот вопрос, что в основном видно было оттуда верно, в основном — не изменился, серьёзно. Потом, я веду замкнутую жизнь, мало изучаю Запад. Но в той мере, как соприкасаюсь постепенно, я кое-что вижу, и вы сейчас в моих ответах слышали. Кое-что я здесь начинаю по-новому видеть, может быть.

Марксистские и антимарксистские инакомыслящие в СССР. Не влияет ли их спор отрицательно на борьбу за свободу в СССР?

В Советском Союзе сейчас такая ситуация, что просто одним отрицанием мы уже не можем двигаться вперёд... Пришло время как раз размышлять о том, что же положительно, конструктивно, что надо для нашей страны. И поэтому эти споры плодотворны и нужны. Дело в том, что марксистские инакомыслящие, я уже здесь говорил, это очень условное выражение, у них, собственно, почти нельзя понять — что же надо делать. В основном, надо одобрять всё то, что есть, не бороться с этим режимом и терпеливо ждать улучшений.

Вы, бывало, защищали царскую Россию. Считаете ли вы, что тот режим превосходил советский?

Я в «Архипелаге ГУЛаге» не раз сопоставляю эти два режима, эти два государственных строя. Они вообще несравнимы, потому что они из двух разных

рядов. Царский режим был в ряду авторитарных систем, которыми полны много столетий во всех странах. А советский режим — в ряду тоталитарных идеологических систем, которые в XX веке появились, которые представляют собой несравнимое давление и ужас для человека. Потому что они уничтожают людей в огромных количествах и, кроме того, вырывают душу нашу. Они хотят душу нашу подчинить, не только тело.

Каковы ваши идеи о религиозном обновлении современного мира (Востока и Запада)? Возможно — в виде идейного «крестового похода», подобно тому, который ведёт доктор Грэхем?

Дело в том, что главные проблемы Запада, какие существуют, я настаиваю, — не политические, они не лежат в политической плоскости, они гораздо сложнее, — психологические и нравственные. И в тех странах, где недовольны какими-то особенностями своего государственного устройства, надо понимать, что речь идёт не о политической неудаче, а о том, что выветрилось религиозно-нравственное основание современных систем. И когда мы встречаемся с экономическими проблемами вроде инфляции, инфляции не в таких условиях, как было после гражданской войны в России, или после Первой мировой войны в Германии, когда голод, а инфляции при всеобщем изобилии, — это ясно, проблема не экономическая, это ясно, что проблема психологическая и моральная. Я убеждён, что и для спасения Востока, и для спасения Запада, который тоже в очень опасном положении, нет другого пути, кроме возрождения религиозно-нравственного.

Я, например, могу указать вот на то, что с Генрихом Бёллем, с которым мы дружны, по многим конкретным вопросам современной обстановки мы расходимся, а вот в этом пункте совершенно сходимся.

Что вы думаете о продаже Советскому Союзу американской аппаратуры, при помощи которой КГБ удалось разыскать баптиста Георгия Винса и открыть подпольную группу в Риге?

Ну, эта ситуация настолько ясна, она вызывает только отвращение и ужас. Действительно, в погоне за рынками, в погоне за сбытом американские компании готовы были продать и, кажется, что-то даже уже успели сделать, во всяком случае, демонстрировали в Москве на выставке, а там это легко можно скопировать, — аппаратуру по подслушиванию, подсматриванию, фотографированию и ловле, ловле людей. На Западе это против уголовников, для криминалистов, а у нас против инакомыслящих, для КГБ.

Что вы скажете о преследовании инакомыслящих в других социалистических странах? Например, Михайло Михайлов в Югославии. Какие есть возможности им помочь?

Случай с Михайловым разоблачает миф о том, что Югославия идёт каким-то своим особым путём. Многие годы Тито изображал, якобы он идёт «третьим путём», и всё встречался с руководителями нейтральных государств. На самом деле он у себя в стране, как и Чаушеску у себя в стране, установил самый настоящий коммунистический жестокий, бессердечный и нетерпимый режим. И вот Михайло Михайлов находится в таком же положении, как и узники в Советском Союзе. И нуждается в такой же помощи западной общественности.

Сахаров в письме по случаю 26-летия Всеобщей декларации прав человека говорит и о нравственных аспектах вашей борьбы. Можно ли это рассматривать как сближение его позиции с вашей?

Действительно, хотя между Андреем Дмитриевичем Сахаровым и мной возникла общественная дискуссия по поводу моего «Письма вождям», у нас с

ним чрезвычайно много общего. Я не отвечал ему на его возражения, потому что я ждал появления нашего сборника «Из-под глыб», все основные вопросы изложены в нём на гораздо большей высоте, чем это можно было сделать в «Письме вождям». Сейчас в «Континенте» № 2 я отвечаю Андрею Дмитриевичу на его критику. Я там выражаю надежду, что наши позиции будут сближаться больше.

Кстати, скажу, что в этом же журнале я даю одну уникальную публикацию. Это вот к вопросу о коммунизме в мире и в нашей стране. Это брошюрка, изданная в Петрограде уполномоченными петроградских заводов в марте 1918 года. То, что мы называем «петроградским пролетариатом», который «сделал Великую Октябрьскую революцию», через 3 месяца после неё собравшись — проклинает большевиков, говорит, что партия коммунистов обманула петроградский пролетариат и даже расстреливала его из пулемётов на тех заводах, где хотели избрать независимые фабрично-заводские комитеты.

Содержат ли высказывания ваши о «Тихом Доне» подспудную критику Шведской академии?

Нет. «Стремя „Тихого Дона"» начата автором — литературоведом — давно, без какой-либо связи с Нобелевской премией, и проблема эта существует у нас, у русских людей, уже 40 лет.

Господин Солженицын, являетесь ли вы сами христианином?

Я думаю, что это ясно из моих книг.

Если можно, дополнительный вопрос к тому, что вы сказали о Михайле Михайлове. Михайлов некоторое время тому назад написал большую статью с критикой вашего «Письма вождям». Вы до сих пор на эту статью не ответили. Почему? И что вы вообще думаете о Михайлове как о публицисте?

Потому я и не ответил, что, едва я прочёл его статью, с которой резко не согласен, как его арестовали, и, стало быть, невозможна всякая дискуссия с ним. Это смелый человек и сильный публицист, социалистического направления, с которым у нас очень много расхождений.

В ПОЛИЦИЮ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ ЦЮРИХСКОГО КАНТОНА

Цюрих, 7 января 1975

Многоуважаемый д-р Цеентнер!

Я благодарю Вас за разъяснение, данное мне через д-ра Хееба (Ваше письмо от 3.12.74), относительно швейцарских правил, о которых я не знал. Я, разумеется, покорно готов выполнять требование об извещении швейцарской полиции не позже как за 10 дней о моих предполагаемых высказываниях политического характера как на открытых, так и закрытых (то есть, очевидно, также и в беседе с друзьями?) собраниях.

Однако я не могу взять в толк, почему мою критику социализма и коммунизма как социальных теорий и систем, проведенную на пресс-конференции 14 ноября, Вы расцениваете как политическое выступление. Я ни словом не высказывался о советском *правительстве,* ни — об одном члене его, и не только не призывал к насильственному изменению советского *режима,* но, напротив, предостерегал от таких действий.

Поучительно сопоставить, что в этом же самом городе Цюрихе в 1916—1917 годах Владимир Ленин, так же не имевший «разрешения осесть» (Niederlassungbewilligung), как и я, — многократно на собраниях открытых и закрытых призывал к вооружённому свержению не только русского правительства, но и всех правительств Европы, в том числе и самого швейцарского, путём открытия гражданской войны в этой стране (во время войны, через неповиновение армии), — и полицией для иностранцев Цюрихского кантона это никогда не

было сочтено ни нарушением швейцарского нейтралитета, ни вмешательством в швейцарские внутренние дела. Ленин и его единомышленники не получили никогда ни одного замечания за свою разрушительную работу (и были оставлены без внимания протесты тогдашнего русского посланника Бибикова против террористических эсеровских групп на территории Швейцарии). Более того — содействием швейцарского правительства Ленин и его единомышленники были отправлены через Германию в Россию для скорейшего осуществления государственного переворота там, и это тоже не трактовалось как нарушение швейцарского нейтралитета.

Если же теперь для теоретического обсуждения социальных проблем я должен получать предварительное разрешение швейцарской полиции — мне остаётся констатировать, что с тех пор, и особенно решением Бундесрата от 24.2.1948, швейцарская демократия сильно эволюционировала.

Я резервирую за собой право при необходимости сделать нашу с Вами переписку публично известной.

С глубоким уважением

А. Солженицын

КОНЕЦ ОДНОГО СОВЕТСКОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

«Нойе Цюрхер цайтунг», 15 января 1975

Пока иностранные обозреватели гадают, что проистечёт из болезни Брежнева, не изменится ли вследствие неё обстановка в Советском Союзе, — эта обстановка, незаметно для поверхностного взгляда, *уже* коренным образом изменилась — совсем без связи с болезнью Брежнева, скорей — после успешного завершения владивостокской встречи, около полутора месяцев назад. Внешняя отметка о том была — снятие П. Демичева с секретаря ЦК по агитации и пропаганде. Как большинство важных перемещений в СССР, оно не сопровождалось ни шумом, ни комментариями и было замаскировано под перевод его на должность министра культуры. На самом же деле это несомненно был важнейший акт: признание краха всей стратегии борьбы против инакомыслящих в течении целого десятилетия — с весны 1965 года, когда Демичев занял этот пост и стал тем лицом, через которое проводилась эта политика. Теперь, стало быть, признан поражением, неудачей допуск некоей «четверть-открытости» в советском государстве, когда иностранным корреспондентам разрешалось брать интервью у советских граждан, столичным гражданам (не провинциальным, конечно) — самим звонить по телефону на Запад или письменно сообщать о преследованиях. Теперь признано, что эта игра в открытость слишком дорого обходится: при ней для подавления нужны чрезмерные усилия и даже целые дипломатические манёвры. Гораздо эффективнее душить все протесты в зародыше, пресекать человеческое горло прежде, чем оно выскажет одну полную связную фразу. Новое лицо вместо

Демичева не объявлено, но новую стратегию можно наблюдать. Мы уже слышали, даже транслируемый по западному радио, подавленный и пресекаемый голос Сахарова. Кто связан с Советским Союзом — знает, что начисто прервана переписка с инакомыслящими, им самим не дают никаких звонков за границу. Телефонные звонки из-за границы нельзя просто запретить (автоматический набор), но можно систематически (10, 20, 30 раз подряд, советским служащим не жалко усилий) прерывать на начале фразы. (Некоторые цюрихские телефонистки уже убедились в этой советской методике.) Приезжающие из советской провинции рассказывают, что за дружелюбные разговоры с иностранцами (при выставках) советских граждан открыто избивают тут же, для поучения публики.

Новая стратегия в том, чтобы *отучить* мир узнавать, что происходит в Советском Союзе. Наблюдатели и комментаторы, не находя новых фактов, перенесут своё внимание в те области Земли, где информация достаётся легче. Советский Союз хотят вернуть в его натуральное сталински-закрытое состояние, тогда в беззвестности можно будет расправиться с кем угодно. Тем и надеются достичь основного условия внешней «разрядки» — внутреннего глухого молчания.

Такова новая стратегия против мысли, которая, видимо, и обещает стать ожидаемым «новым периодом» в СССР.

ОТВЕТ П. ЛИТВИНОВУ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК РХД»

Многоуважаемый Павел Михайлович!

В Вашем письме ко мне смешаны очень разнородные и разномасштабные вопросы. Я отвечу на них раздельно.

К сожалению, Ваши комментарии к моим печатным заявлениям не опираются на цитаты и не обнаруживают стремления точно понять смысл написанного.

1. Авторы «Вех» развенчивали *культ героизма* — именно: революционную экзальтацию и взвинченность, жертву для жертвы, жизнь — только для революции. Но они же и противопоставили тому — не самоотдачу человеческим слабостям, не приятный спокойный быт, не «рыба ищет где глубже, а человек где лучше», а: христианское подвижничество, самоограничение, а то и самоотречение как форму нравственного существования.

2. Я не предлагал и никогда не осмелился бы предложить никакой «системы нормативной этики». Но, вместе со всеми изживая эпоху сплошной критики и всеобширного отрицания («мы — *против!*», «только — *не так!*»), я тоже пытался искать хоть какой-то конструктивный путь. Я не раз высказывал, что нереально и непорядочно ждать нашего освобождения от внешних сил — от западной прессы, от «левых», от бизнесменов или западных правительств. Так же решительно отказавшись от всяких вооружённых путей и не призывая соотечественников к безумной смелости гражданского неповиновения по-индийски (выйти и сесть на мостовую, на рельсы), — какое же ещё меньшее средство предло-

жить, ещё скромней и безопасней? Только — идеологическое неповиновение, иначе мы опускаемся ниже порога слышимости и чувствительности. По несчастной (но и счастливой) органической связи коммунистической идеологии и коммунистического государства, мы, совершая простой отказ от участия в казённой лжи, наносим одновременно крушащий удар по самой системе угнетения. Я убеждён, что это путь — минимальный, но и оптимальный: ощетиненное ракетами и огнемётами, наше государство совершенно беспомощно против стойкого человеческого духа: в своей прожжённой материалистичности марксизм забыл к нему приготовиться. Если же мы не способны и на *эту* минимальную форму борьбы — значит, нам не на что надеяться, мы до погибели останемся игрушкою злых сил.

Этот шаг особенно легко дался бы, особенно ждётся — от именитых, от «академиков, народных артистов или генералов», — и именно к *ним,* а не к рядовым гражданам, перечтите добросовестней, я применил «быдло и трус». Мы уже знаем двух академиков, перешедших все барьеры смелости, — и вот они живы, храни их Бог! Как же остаётся судить о двух тысячах, не пошевельнувшихся на страдания своего народа? или о маршалах в их поместьях, как бы ни плакали потом по ним русские военные трубы?

3. О статьях в «Вестнике» № 97 я теперь сказал в сборнике «Из-под глыб» более развёрнуто, чем это можно было в «реплике», — но, чтоб не впасть в избыток полемичности, ещё и теперь сжатее и беглей, чем надо бы. Я не вижу других оценок, только между ними можно колебаться: искажена ли там наша новейшая история по невежеству? или по тенденции? Но, как ни взгляни, это — попытка навязать будущему ложную оценку прошлого, при свободе, что оппоненты уже все в земле.

И вот т а к о е сверхответственное выступление, как № 97, требует открытости авторов, а не анонимности.

4. Я никогда не говорил, что использование псевдонимов вообще недопустимо или позорно. Сколько угодно, они помогли нашему Самиздату. У нас в «Из-под глыб» тоже два автора анонимны, но с чем они выступают? С этюдами о своих душевных восприятиях. А вот если б мы анонимно пустили «Социализм» или «Образованщину» — как бы Вы на это посмотрели? Неэтично подписываться псевдонимом, когда берёшь на себя груз учительства и направительства, как взял XY. Ведь целая программа, как перекорёжить журнал, существующий уже 40 лет, — и вдруг анонимно! (Кто он лично — я тогда не знал. Позже — узнал и рад: это — мужественный человек, открыто выступавший в СССР, я всегда его искренне уважал. Но реплика анониму от этого не может изменить ни смысла, ни формы: ответ — самим претензиям по сути их, а сверку с личностью XY устранил своею волей.)

По сути: ведение журнала с ясным направлением и духовным богатством — дело очень непростое. И если «Вестник» перекинулся мостом через наши чёрные десятилетия, имеет свой уровень, линию, круг читателей, — почему может прийти в голову переломать его, а не сделать другой желаемый журнал? На наших глазах родился «Континент», задуманный как журнал о проблемах материка (а может быть и всемирных), как голос Восточной Европы — к Западной, как голос опыта, страдания и предупреждения, и какой обещан состав участников, какое общественное сочувствие, сколько ожиданий у читателей! — а: на вершинах мысли мы с этим журналом пока не побывали, что происходит с материком — не много прояснело, местами же искипает гнилопузырная пена. Так — трудно ставить журнал, и сколько ещё понадобится труда и поисков.

5. Эмиграция. Первая и вторая русские эмиграции измерялись миллионами и были результатами больших народных движений, потерпевших поражение; но они почти не удостоились внимания

Запада (впрочем, вторую массами выдавали на убой). Громко обсуждаемая ныне третья эмиграция, как раз и вызвавшая всю разность оценок, не есть эмиграция в упомянутом выше смысле и объёме, она в основном — отбившийся отструек массовой эмиграции в Израиль. Однако обсуждение эмиграционной проблемы черезмерно раздулось и собой заслонило все остальные события нашей страны. Весь двухлетний советско-американский торг только и шёл вокруг нынешней эмиграции, тем только и были заняты мировая печать, парламенты и общественные деятели, — а об остальных 250 миллионах кто вспоминал?

Ответ мой о третьей эмиграции в интервью CBS, который обидел так многих. «Отказывать в праве называться русским» — такого там нет, это Вы сочинили, Павел Михайлович. Есть эмигранты вон уже кто по 55 лет, кто по 30, — и неискоренимо русские, с чем же тут спорить? Там было сказано: «Я, конечно, считаю, что всякий человек, который хочет эмигрировать, должен иметь эту свободу, что всякое препятствие эмиграции есть варварство, дикость.» Я вообще там не осуждал. Я подчеркнул своё глубокое уважение к евреям, уезжающим в Израиль: они движимы сильным религиозным и национальным чувством, и едут на опасность, на тяготы, может быть на смерть, — но едут в то место, куда тянет их сердце. И я нисколько не осудил усталых, измученных, желающих личного спасения. И не осудил, повторяю, я только обошёл уважением тех людей, кто говорят, что сердце их тянет к России — и поэтому они едут в противоположную сторону, — да не жить простой жизнью, Павел Михайлович, — кто ж им отказывает в этом? кто же их обделяет «обыкновенной человеческой добротой», кроме ОВИРа? — они уезжают из горячо любимой, но опасной России (пользуясь для того отнюдь не всеобщей возможностью), а тут, перед Западом, начинают однобоко объяснять, полномочно представлять необъятное, лишённое собственной речи. Вот

8—617

здесь, Павел Михайлович, Вы не находите некоей фальшивой претензии? Никто не упрекает за «простую человеческую жизнь» — но не надо при этом делать вид, что эмиграция — лучший способ спасения остающихся. Всё-таки помнить бы, как дома сжимаются тоской сердца при каждом новом уезжающем имени. А к *ним,* кто никуда не едет или у кого нет спасательных лодок в запасе, — к тем надо быть добрыми?

Эмиграция — всегда и везде слабость, отдача родной земли насильникам, — и не будем выставлять это подвигом. Суть не в том, чтобы ревностно оправдывать перед Западом на всех языках свой уход в эмиграцию, и стыдно тратить упасённые годы на толчею и пересуды, — но неразгибной работой, но незабывчивым служением помочь бы нашей стране вернуть больше чем политическую свободу — духовное выздоровление, и влиться в него самим. Нас может поддержать опыт первой эмиграции, встреченной на чужбине пренебрежительно, а то и презрительно, не так, как встречают третью, — и через 40 чернорабочих и беспросветных лет вынесшей для России немало духовных ценностей.

Февраль 1975

БЕСЕДА СО СТУДЕНТАМИ-СЛАВИСТАМИ В ЦЮРИХСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

20 февраля 1975

Почему в «Архипелаге ГУЛаге» подзаголовок — «опыт художественного исследования»?

Когда я начинал эту книгу писать, я уже тогда почувствовал, что так можно определить жанр. Совершенно исключительны те условия, в которых приходится исследовать сейчас проблемы тюрем и лагерей Советского Союза. Думаю, что условия эти, может быть, даже труднее археологических в некотором смысле. Все прямые документы или уничтожены, или так тайно хранятся, что к ним проникнуть нельзя, или будут уничтожены к тому моменту, когда можно было бы проникнуть. Большинство свидетелей убито или умерло. Итак, писать обыкновенное научное исследование, опирающееся на документы, на цифры, на статистику, не только невозможно мне сегодня, или кому-либо сегодня, но боюсь, что и никогда никому. Настолько основательно уничтожены все фактические данные, что невозможно кому-нибудь когда-нибудь написать такое исследование, где будут сплошные колонки цифр, сколько арестованных по каждой области, по каждому городу, в какое время, сколько умерло, на каком году заключения... Метод научного исследования в системе Советского Союза почти закрыт. Вот это с одной стороны. Почему я сказал, что даже труднее археологических? потому что в археологии никто не мешает копать, искать, определять глубину слоя, а в СССР... как я мог собрать материалы, я вам сейчас расскажу. (Кстати, никогда нигде не рассказывал, это вот только первый раз.) А с другой

стороны, художественное исследование выступает не просто как эрзац научного, не просто потому, что научное невозможно — так будем искать нечто другое. Но потому, что (это моё глубокое убеждение) — художественное исследование по своим возможностям и по уровню в некоторых отношениях выше научного. Художественное исследование обладает так называемым тоннельным эффектом, интуицией. Там, где научному исследованию надо преодолеть перевал, там художественное исследование тоннелем интуиции проходит иногда короче и вернее. О соотношении художественного поиска и научного много писалось и говорилось. Вы знаете, что Эйнштейн сказал, что он не мог бы без Достоевского и таких художников существовать и работать. Эта связь безусловно есть.

Как приходится мне действовать в «Архипелаге»? Мне помогал мой личный опыт. Конечно, написать такую вещь стороннему человеку, кто сам не сидел, я думаю, невозможно, потому что я могу отобрать факты, проверить, насколько эти факты служат достаточной основой для вывода. И там, где научное исследование требовало бы сто фактов, двести, — а у меня их — два! три! и между ними бездна, прорыв. И вот этот мост, в который нужно было бы уложить ещё сто девяносто восемь фактов, — мы художественным прыжком делаем, образом, рассказом, иногда пословицей. Я считаю, что я провёл самое добросовестное исследование, но оно местами не научное. Местами — да, вы там видите, я обрабатываю кое-какие книги, цитирую, цифры привожу, где можно. Но очень во многих местах я должен был сопоставить показания одного-двух человек по совершенно неосвещённой области и соединить их моим собственным опытом, иногда догадкой, — однако догадкой не произвольной, не догадкой игры, а ответственной догадкой, — почему я и пишу в посвящении, что я прошу простить меня, что я, может быть, не всё увидел, не всё вспомнил, не обо всём догадался. Конечно, кое о чём надо было и

догадаться... Вот почему «опыт художественного исследования», такой подзаголовок. Я считаю, что в наше время, когда всюду и везде на границах наук возникают новые науки, на границах методов — новые методы, это не будет единственный случай, и, вероятно, можем сейчас найти и другие примеры таких художественных исследований, может не названных прямо. Я думаю, это очень плодотворный метод исследования, а, как я уже сказал, в случае советской лагерной системы и необходимый, без него и нельзя было этой задачи решить.

Этот термин, «художественное исследование», вы сами изобрели?

Я не скажу, что я его изобрёл... То, что я делал, я естественно так назвал. Я не считал, что это открытие. Я думаю, если поискать, то мы сейчас можем найти в литературе XX века, наверно, ещё другие примеры художественных исследований, но просто не названных так.

Где и когда возник замысел вашего «Архипелага»?

«Архипелаг ГУЛаг» я так писал. В 1958 году, как математик, склонный к систематизации, я хотел написать нечто систематическое. В 58-м году у меня «Круг первый» уже был написан, ещё кое-что о лагерях, несколько пьес: «Республика труда», «Пленники», «Пир победителей», ещё не было «Ивана Денисовича». Я решил: попробую я создать систематический обзор вопросов, и начал писать план, что́ надо было бы осветить. И начал писать некоторые главы. Но в 58-м году я сидел совершенно как мышь в норе, обо мне решительно никто не знал, наоборот, я тщательно скрывал всё о себе. Так вот: собрать материал этот — я увидел, что не могу. Я мог только вспоминать, что я сам видел, что мне рассказывали. Я мог встречаться, ну, с десятком лагерных друзей, остальные разбросаны, где их найдешь? после освобождения некоторые уезжали

в Польшу, в Венгрию, в другие страны... кто в Сибири, кто на Севере. Я встретил человек десять, мы ещё кое-что повспоминали — нет, не пишется, мало материала! — я бросил. А в 1963 году, когда уже был напечатан «Иван Денисович», произошёл взрыв писем. Со всей России такое количество писем ко мне пошло, представить себе невозможно! И вот начал я их обрабатывать, систематизировать и выбирать те, которые мне или прямо дают материал, или предлагают дать. Письма приходили даже прямо из лагерей. С трибун Москвы объявлялось: «Этого никогда больше не будет!», а мне пишут из лагерей бледным карандашом по 24 страницы вот мелко-мелко: как сейчас в лагерях то же самое, и хуже. Конечно, в лагерях кипели, и многие писали мне из лагерей огромные письма, которые я тоже в седьмой части «Архипелага» потом использовал (после Сталина, «Сталина нет» — называется седьмая часть). А другие рассказывали о прошлом. Естественно, многие говорили: «Что вы там в «Иване Денисовиче» написали? да так ли мало и так ли мягко надо писать?» Я и сам знал, что там очень мало, но попробуй больше сказать сразу. И так постепенно я начал встречаться с этими людьми. Моё положение было в тот год еще открытым, и как будто не было никакого криминала в том, что люди встречались и мне рассказывали. И в 1963 году я много записей принял. Я пытался направить, что мне надо, что бы я хотел узнать: начнёшь разговаривать с бывшим заключённым — и пробежишь его биографию, что он может мне свежего дать, а что — мне уже давно известно, не надо, — а он-то хочет своё рассказывать... И так получался поток необработанного материала, хаотическая гора, которую, кажется, систематизировать невозможно. Я увидел, что раздвинулись рамки моего повествования. И уже тогда я собрал эти 64 главы, какие есть в «Архипелаге». И потом сидел и долго обрабатывал все свои записи. Каждую отдельную запись я раздробил. Совершенно невозможно было бы чи-

тать «Архипелаг», если бы я делал так: вот показания такого-то, вот показания такого-то, вот мои собственные... Я всё это резал и разбрасывал в разные места. Вот поговорил с человеком, беру это, режу и разбрасываю в разные главы, слежу, куда это пойдёт. Следующий... следующий... Так же и собственная жизнь, если бы кто-нибудь попробовал мою биографию понять по «Архипелагу», это довольно трудно: долго надо искать и переставанавливать, потому что подчинено другому плану. Потом, когда я это всё разбросал на 64 главы, можно было главу за главой писать. Но и там материал очень разнородный, значит, уже внутри главы тоже надо систематизировать. Я бы это сравнил с тем, как из кирпича-то просто класть здание, из ровных параллелепипедов, а вот из дикого камня, набитого, неопределённых форм, с острыми углами, с ямами какими-то, — тоже ведь клали раньше. На стеночку посмотришь, почти ровная. И трудно себе представить, сколько ж каменщик крутит каждый камень, чтобы понять, как его поставить в стену. Вот примерно так я эти все показания внутри главы долго переставлял, связывал, чтобы было естественно, что как будто вот именно эти показания только мне нужны, а другие не нужны, а они все идут одно за другим. Вот так 1963 год помог мне собрать материалы, тут дальше на меня началось гонение. А в 1965, как раз я развернулся и уже углубился в «Архипелаг», а в этот момент мой архив арестовали в другом месте. И я должен был немедленно, в несколько часов, весь материал «Архипелага» спасти, отправить его в безопасное место. А через некоторое время сам — исчезнуть (я бороду при этом сбривал), и уехал туда. Там меня ждал материал, и там я скрылся безо всякой связи с внешним миром: ни мне не писали, ни я не писал — ничего, и там сидел работал. Основную работу сделал в одну зиму, потом ещё вторую зиму так скрывался... Вот так я дорабатывал «Архипелаг». И в 1968 году я его кончил. Так что десять лет я над ним работал.

Было ли время, когда вы считали возможным его опубликование в СССР?

Нет. В реальных советских условиях, конечно, невозможно было его опубликовать. Я мог опубликовать его на Западе, либо пустить в Самиздат, — а опубликовать его открыто в нынешних условиях нельзя. Если бы «Архипелаг ГУЛаг» был напечатан в Советском Союзе совершенно открытым тиражом и в неограниченном количестве, — я всегда считал, что Советский Союз бы изменился. Потому что после этой книги, в неограниченных количествах, жизнь не может продолжаться так же. В другом виде? — нет, я ни в каком другом виде не собирался его публиковать. У меня был план печатать его на Западе. Вначале даже раньше намечал, потом откладывал по разным соображениям, а потом события заставили меня ускоренно его напечатать. Но крайний срок напечатания «Архипелага» был май 1975 года. Значит, при всех обстоятельствах, если бы даже его не взяло КГБ, в этом мае появился бы первый том. А теперь, видите, уже скоро третий.

Как создался язык «Архипелага»?

Я для себя представляю так, что язык — это душа не только национальной жизни, но, в частности, и литературы. Если не владеешь тем языком, на котором пишешь, — вообще никакая литература настоящая невозможна. «Владеть» — я называю не то, что вот в конце курса лучшие из вас, отлично научившись, сдав всё на высшую оценку, будут отлично говорить, — не так, а «владея», ну совершенно сливаясь с языком. Не то что знаешь его, а сливаешься с ним, — только так должно быть. У меня был опыт написания одного произведения без языка, это «Свеча на ветру». Я написал эту пьесу — в предположении, для некоего международного общества, для некой неизвестной страны, описать нечто общее, что присуще высокоразвитым нынешним странам. Для этого я там отказался от

всех национальных признаков, дал интернациональные имена, непонятные, и на этом, конечно, я сразу потерял русский язык, потому что я написал на каком-то, не знаю, эсперанто не эсперанто... И я почувствовал, что не хватает силы эту вещь взять: нет яркости, нет силы — а в чём дело? — языка нет! Нельзя не опираться на язык. «Архипелаг» в этом отношении имеет очень глубокие языковые корни. Вы можете видеть там множество пословиц, причём пословиц, почти не употребляемых в обычной жизни, ушедших из обычного употребления. Кроме того, я обычно пользуюсь всё время, в каждой вещи, тем, что я называю «лексическое расширение». Ну, грубо говоря, вот я вычерчиваю область языка, в которой сегодня говорят русские. Большинство людей пользуются словами, взятыми из этой лексической области, изнутри её. Возможно обогащать язык разными методами. Например, Лесков (я думаю, старшекурсники уже знакомы с Лесковым) выхватывал словечки такие далёкие от всеобщего употребления, которые поражают как бриллианты, смотришь — какое слово! ну и слово!.. Но эти слова не имеют никакой надежды войти в употребление, они далеки от этой общей области, а жизнь, к сожалению, так идёт, что каждое человеческое общество и каждый народ всё время (при нашей цивилизации высокой) сужает эту языковую область. Веками эта область не менялась, веками — в России, во всяком случае, — язык стоял богатый, обширный, и не терял своих краёв. А сейчас всё время идёт сужение, как шагреневая кожа, уменьшается вот эта вся область. И люди, самые культурные, интеллигентные, пользуются всё меньшими, меньшими богатствами своего языка. И я стараюсь во всех книгах производить лексическое расширение этой области за счёт ближайшего слоя. Я стараюсь употреблять слова — вот отсюда. Они совсем близки к употреблению, к границам области, они всем понятны. Когда их употребил — все понимают, ну иногда некоторые поспо-

рят: такое-то слово не хорошо; может быть, оно чуть дальше стоит, а может быть, этому человеку не нравится, — тут много споров было. А некоторые слова — даже не замечают, что никто их не употребляет, а просто принимают: съели и не заметили. Потому что это законное расширение. Тут много есть самых простых приёмов — такой, например: почти все приставки почти со всеми глагольными основами соединяются. Существуют, допустим, двенадцать приставок, а глагольных основ много. Допустим «стлать». Говорят по-стлать, вы-стлать, за-стлать — но есть и во-стлать (половицу в пол), на-достлать с краю, при-стлать к стене. Примеров — тысячи, и получаются изумительные слова. И так с каждым глаголом можно соединять, не только с глаголом — со многими корнями можно соединять все приставки. Простой способ! — но как он обогащает язык. Ну и много разных других приёмов... Мне жаловались, кстати, даже не русские, а люди, которые со мной в лагерях сидели, других национальностей, что вот очень трудно выговаривать наши причастные обороты на «щиеся». И правда, не украшают язык эти «щиеся», «щаяся», «щуюся», действительно тяжелы. И я почти изгнал их, вы в «Архипелаге» почти не найдёте таких слов, хотя, в общем, в русской литературе сейчас на каждой странице одно такое слово есть, а то и больше. Их все можно заменять прилагательными великолепными, которые не употребляются ежедневно, но которые так и ложатся, — лёгкие, хорошие прилагательные. Так вот — языковое расширение. Потом (ну, этого у меня в «Архипелаге», пожалуй, меньше) — синтаксис. Над этим я позже работал, когда уже кончил «Архипелаг». Вот в «Августе», в последних главах «Телёнка», которого сейчас издали... Также и в синтаксисе, я считаю, русский язык требует и допускает очень большое облегчение. Наш синтаксис может стать ещё более свободным. Он и так свободен, он и так просторен. Каждый из вас может сравнить с другими языками, например с немецким: у немец-

кого всё-таки очень твёрдый и со многими требованиями синтаксис. А наш синтаксис довольно развязанный, но можно ещё свободнее его сделать, ещё более гибким. Ну вот, всё это входит в то, что я называю «связь с языком». Язык сам знает, как сокращать и чего он хочет.

Возможности исторического романа как жанра. Трудней или легче вам писать его, чем «Архипелаг ГУЛаг»?

Трудней, конечно. Архипелаг ГУЛАГ — для меня настолько знакомая вся стихия, что, хотя каждый давал мне показания о тех лагерях, где я не был, и о периодах, когда я не сидел, почти ни одно показание не выходило за рамки того, во что я сразу могу поверить, почувствовать, и даже детали воспринять, и увидеть. Почему и думаю, что невозможно написать «Архипелаг ГУЛаг» человеку, который совсем не сидел сам. Как бы он честно ни сопоставлял показания, а какой-то спайки, какого-то чувства не получишь. Думаю, что здесь — и очень серьезная опасность, угроза для исторического романиста. Собственно говоря, долгое время в разных странах исторические романисты были отчасти фантазёрами, хотя они могли изучить очень подробно быт (некоторые были очень честные в смысле изучения быта и подробностей, другие менее). Отдалённая эпоха, описывается Карфаген, Египет, Месопотамия... Вся надежда исторического романиста на верность чувств, поскольку человечество за такой срок в общем биологически мало изменилось, и психологически тоже уж не так сильно, — вот на эту верность. Но при этом думаю, что всегда исторический романист, чем дальше он берёт эпоху, тем больше он подпадает под возможность ошибки, и совершает эту ошибку. Он не может вот этой спайки событий взять, верно передать то, что я называю «воздух эпохи», — воздух, которым там дышат... очень трудно. Ну что ж тогда делать? Посчитать, что вообще нельзя писать исторических романов?

ну, может быть. Но тогда мы приходим к тому, что человек должен писать только о том, что он видел. Но ведь, описывая современность, автор описывает места, где он не был, и события, которых он не видел, — иногда удаётся, и даже очень. Нельзя так низко оценить возможности воображения, не воображения даже, а угадки интуитивной, что человек только то способен писать, что он видел своими глазами. Когда сам пережил и видел — задача бывает не в том, чтобы увидеть, угадать, а в том, чтобы отбиться от лишнего материала. Вот когда я писал «Круг первый», так задача была только... ну как будто лезут со всех сторон ко мне все эти факты, лица, случаи, реплики, кто что говорит, все наши, кто со мной на шарашке сидел, только отбиваешься: этого не надо, не надо, не надо, не влезает уже в главу, — такое обилие материала. Так, конечно, с историческим романистом не будет. Но я обрёк себя этой доле, ещё не зная всей трудности задачи, ещё в 18 лет. Я только-только кончил среднюю школу-десятилетку — и задумал этот исторический роман. Просто потому, что очень остро в сердце стояли недавние события революции, которые я ещё по взрослым ощущал. Я родился прямо в гражданскую войну, а первые детские впечатления — ранние годы советской власти. Очень много было впечатлений детских, и вот почему-то это запало. Потом всю жизнь мне многое мешало, я никак не мог заняться своим замыслом. Я тогда же начал работать (19 лет мне было, студентом), изучал мировую войну, я так понимал, что надо начать с мировой войны... изучил, посмотрел её историю, — у нас её в Советском Союзе скрывали, и считалось, что только от революции начинается история, а до революции ничего не было. Посмотрел, выбрал изо всей войны самсоновскую катастрофу, почувствовал что-то в ней особенное, изучил книжки, какие были, законспектировал... и всё, и потом бросил: война началась. А во время войны (вот рок!) наши войска шли совершенно мимо, вдруг повернули и пошли

точно по следам самсоновской армии, — наша армия. И я попал в те самые места, которые я уже знал по своим учебникам. Ну это на меня подействовало как перст судьбы, значит, действительно, правильно, надо писать! — почему меня Бог привёл в это самое место в эту войну? Прямо в те деревни, в те города, в этот Найденбург горящий... Затем тюрьма, лагерь — писать было некогда. И вот когда я начал над «Августом» работать, после всего, что я писал о лагерях, о современной советской жизни, о «раковом корпусе», об Архипелаге, — увидеть оказалось гораздо легче, боевой опыт помог. Действительно, разглядеть очень тяжело! робость брала много раз. Вот такое впечатление — как будто бы темно, и ты всматриваешься, вот всматриваешься... всматриваешься... вдруг рука становится видна, плечо, голова, — так постепенно-постепенно проступает что-то из тумана. Большое напряжение зрения художественного, вначале очень тяжело, просто руки опускаются, ну невозможно, кажется, взять эту задачу. А потом постепенно как-то привык и стало легче, легче, легче, — и я их увидел! Да в общем, в русской эмигрантской печати много обсуждался мой «Август», и, в основном военные люди, которые должны верней всего судить, потому что большинство глав военные, — говорят: «схвачено верно, было так». Но задача, конечно, очень трудная, и она будет всё время трудна. Когда пишется исторический роман через 50 лет спокойной жизни (как, например, «Война и мир» писался), то многоемногое в быту осталось — людские обычаи, представления, среда... Но когда пишется роман через 50 лет советской жизни, когда сотряслось всё, перевернулась Россия, новая вселенная создалась, как в Советском Союзе, — очень тяжело. Ну не так трудно, как о Карфагене, но, в общем, это задача очень тяжёлая.

Употребление в «Августе» различных шрифтов, расстояний. Есть ли тут преемственность с модернистами?

Вы знаете, тут есть ещё некоторое недоразумение: я сидел себе в своём подпольи, готовил эти книги, была у меня пишущая машинка, и, когда я хотел курсивом написать что-нибудь, я не знал, что это надо волнистой линией подчёркивать, что так принято у корректоров, я большими буквами набирал курсив. А потом, посылая на Запад, забыл предупредить, что большие буквы — это курсив. Я думал, что они поймут и сделают курсив, а они большие буквы и поставили. И в переводах. И критики западные пишут: «ну это же без вкуса, зачем же большие буквы?» Много таких недоразумений... Иногда совсем не понимают. Нет, с модернистами... я от них наследственно не иду. Я понимаю, что каждую вещь надо стараться создавать наименьшими средствами, как можно меньше средств использовать. Об этом хорошо Фаворский когда-то сказал (график такой был, не так давно умер, Фаворский). Он имел возможность когда-либо за долгую жизнь расширить круг своих средств: цвет ли ввести, другую ли манеру резки, — нет, он сузил себя предельно! то есть как будто бы почти нет инструментов, почти нет средств. Тогда он вынужден искать за счёт художественной догадки и образов то, чего ему не хватает в средствах. Конечно, если взять богатый инструмент, много набрать инструментов, то легче как будто бы. Но обманчивая лёгкость. Однако что делать вот в историческом романе? Когда допросить свидетелей уже нельзя, потеряно, но лежат первоклассные свидетельства в виде прессы того времени. Мне говорили, что у Дос Пассоса я заимствовал и повторил его приём. Не совсем так. Он применил отрывки из газет вот с какой целью — как будто вихрь, метёт ветер эти газеты, выхватывает оттуда бессвязные фразы, неначатые, неоконченные, — и вот, мол, насколько газеты не отражают жизни. Это — один приём, не тот, как я применил газеты в историческом романе и буду применять дальше. А у нас в стране газеты очень даже отвечали жизни. У нас в стране так:

сегодня написано в газете, а завтра стреляют в затылок, сегодня сказано «надо уничтожать классового врага», и в эту же ночь берут тысячами. Поэтому у меня совсем другая функция газет, у меня расположения законченные, связанные и вместе сюжетные. Я просто как бы даю ещё одному свидетелю — газете — помочь мне там, где мне не хватает свидетелей.

Киноэкран. Человек утомляется, читая долго, непрерывно изложение от автора. А некоторые места сами... настолько зрительно я их вижу, очень ясно вижу в деталях, что просто показываю их, как на киноэкране. У того же Дос Пассоса называется «киноглаз», но там никакого кино нет. Дайте кинооператору, и он не может снять по этому сценарию, по «киноглазу»... ничего снять нельзя, это лирические отступления. А мои сценарные главы, экранные, так сделаны, что просто можно или снимать или видеть, без экрана. Это самое настоящее кино, но написанное на бумаге. Я его применяю в тех местах, где уж очень ярко и не хочется обременять лишними деталями, если начнёшь писать это простой прозой, будет нужно собрать и передать автору больше информации ненужной, а вот если картинку показать — всё передаёт! Я себе на будущее представляю, что, скажем, была у нас такая полоса: солдаты бросали фронт и ехали на забитых поездах, на крышах. Маленький экран дать, только вот, как ногами они друг по другу лезут на крышу, как они туда взбираются, и как на крыше сидят. Эти полстраницы передают гораздо больше, чем если описывать прозой.

Неравного расстояния между строками у меня нет, у меня просветы есть. То есть идут-идут-идут строки, потом просвет, но это законно, это вообще всегда было так в литературе. Звёздочки у меня очень редко. Вот в «экране» у меня есть разные вертикали: отсюда начинается звук, отсюда начинается вид съёмки, а отсюда начинается — что́ на экране, а отсюда — что́ говорится... Чуть-чуть человек по-

читает, привыкает, и уже понимает, зачем это. Вот, собственно, и все приёмы. Нет, я старался бы меньше пользоваться такими приёмами, но иногда просто не обойтись.

Какое у вас мнение о так называемых писателях-деревенщиках?

Вам, может быть, издали не совсем видно, кто из советских писателей вышел из деревни и связан с нею плотью, кровью — всем, что есть, — и кто из советских писателей только пишет на деревенскую тему. Это несколько разное... Недавно умер Шукшин. Это был замечательный писатель, огромного таланта. Он был коренной житель деревни, связан с деревней совершенно естественно. Это был из первых бытописателей деревни и деревенского человека в советском городе. Наша литература много потеряла из-за этой внезапной смерти. Он очень много сил отдал и кино, был режиссёром и сценаристом. Потом — Можаев, Борис Можаев, один из лучших знатоков деревни, он знает её и дореволюционную, и после. Я считаю это всё направление — да, пожалуй, самым ценным, что есть в современной советской литературе, и мне по духу наиболее близким. Тут называют Абрамова, совершенно правильно. Сильный писатель и тоже с большими корнями в деревне, хотя дальше у него жизнь была очень сложная: он уходил от деревни, сейчас вернулся к этой теме. Затем — Василий Белов. Он написал, собственно, пока немного и больше в манере лирической прозы. Но очень хорошо знает деревню, все ждут, что он напишет дальше. А может быть, у него есть, да нельзя напечатать. Потом... Солоухин. Хотя от собственно деревенской темы он отошёл, обращён вовне... так, в общем, национальную линию проводит в советской литературе. Потом Евгений Носов, может быть вы почти его не встречали, в «Новом мире» он бывал. Хорошие у него есть рассказы. И в том же «Новом мире» — Виктор Астафьев. Я бы хотел сказать: вот это вот — истинное направление

нашей литературы. А что значит «деревенское направление» советской литературы? это не просто люди, которые пишут о деревне. В старой России крестьянство составляло 80—85 % населения страны — это собственно и был русский народ. Затем в советские годы крестьянство подверглось массовому уничтожению. В наше время истинный писатель-деревенщик — есть истинно национальный писатель. Это тот, который придерживается повреждённых, погибших или еле сохраняющихся корней русской жизни. Вот почему я так специально выделяю их. Вы тут спросили о Ефиме Дороше, теперь покойном, и надо добавить Тендрякова. Они оба пришли к деревне как бы со стороны, с очень честным чувством, желая заняться этой темой, серьёзно о ней написать. Тендряков — он жил в деревне; насколько я помню, он был сыном секретаря райкома. И вот таким образом: отца послали в деревню, ну и он туда в детстве попал. Много наблюдал, очень честный он, очень пытливый, всегда хочет истину узнать. Но всё-таки он со стороны туда пришёл, хотя у него есть прекрасные вещи. И Дорош честно академически изучал по многим книгам и ездил специально, выбрал себе такое место в деревне, где жить, под Ростовом Великим (есть такой Ростов, не на Дону, внизу там, а на севере, Ростов Великий), он около этого места купил домик, и ездил каждое лето, и там всё время наблюдал колхоз соседний и писал, приезжал туда и изучал, смотрел, расспрашивал... Но всё-таки у этих двух авторов настоящей слитости с деревенским материалом нет. Вот ещё Залыгин. Залыгин тоже человек больше городской, он кандидат наук, геологических кажется. Но он великолепную вещь написал, «На Иртыше», — может быть, вы читали? если не читали — прочтите. Название это совершенно ничего не отражает. В «Новом мире» существовал такой закон, что так как цензура рубит вещь сразу по названию, то надо название сглаживать. Когда я принёс «Раковый корпус», Твардовский замахал руками: «Нет, нет! это

невозможно, меняем! «Корпус в конце аллеи»?.. а с раком напечатать нельзя.» Когда я принёс «Щ-854» (так назывался у меня «Иван Денисович»), это даже не обсуждалось, и разговора не может быть. Надо так назвать, чтобы начальству это не ударило сразу в ноздри, чтобы дальше читали, а то по названию зарубят, и всё. «Новый мир» так много лет находился под этим давлением, у них тактика правильная была. Но из-за этого они названия некоторые обкатывали и портили: как-нибудь так назвать, чтобы даже и вообще ничего там не было, чтоб и запомнить почти было нельзя. И вот я сам даже напрягаюсь, вспоминаю, как это называется? хотя бы по имени героя назвали... «На Иртыше» — великолепная повесть! Вообще это шедевр Залыгина, самое лучшее, что у него написано. Это повесть о раскулачивании, когда под раскулачивание попадал всякий, кто яркий, кто имеет голос, смелость, личность, — вот тому и рубят голову! Потом Залыгин попробовал написать историческое исследование о сибирских партизанах, довольно длинное, и ему попались богатые материалы. Но уже там сторонность его сказалась больше, и поэтому удача была значительно меньше.

Имеет ли литературное подполье серьёзные шансы воздействовать на умы так называемой советской интеллигенции и широких слоёв русского народа?

Вы видите, в чём дело, почти никто из советских писателей художественные произведения в самиздат не давал. Исключения, пожалуй, — мы с Максимовым. Стихи шли, но я о прозе говорю. Я многих уговаривал: «давай в самиздат! давай в самиздат!» — нет! Тут ряд причин: как бы книга теряется, становится бесхозной, нет у неё хозяина, кто-то на Западе напечатает... Надо бы напечатать в нашем журнале, пытаются, уступают, чтобы напечатали, поэтому видите как... Большинство прозаиков либо пыталось печататься в журналах, либо, вот как сей-

час, начинают печатать прямо на Западе, вот как Корнилов, Войнович. Большинство прозаиков так пошло. Я когда первый раз давал в самиздат «Раковый корпус», думали — не пойдёт: ну куда? толстая книга — в самиздат... какой дурак будет сидеть, её перепечатывать? Пошло! Пошли два романа моих, таким образом произошёл прорыв. И «Семь дней творения» Максимова. Ну а потом я тоже в самиздат больше не давал. Вы меня спрашиваете о литературном подпольи, не вообще о самиздате, не об инакомыслящих. Боюсь, что литературное подполье — нельзя сказать, что широко существует. То есть оно существует, люди пишут, — но этого мы не знаем, а то, что идёт в самиздат, оно по объёму невелико. Если бы начали шире давать, может быть... У нас в России могут быть ещё очень большие неожиданности, у нас такие могут быть повороты, которые вас тут удивят, и я очень рад, что вот так много всё-таки для Цюриха людей, занимающихся серьёзно русским языком. Я думаю, вы не пожалеете об этом, потому что очень богатые возможности у России и очень большие возможности у русской истории ещё. И может быть, мы станем свидетелями в ближайшие годы и больших литературных явлений там, вот таких же внезапных... Очень я допускаю это. И вы будете одними из первых читателей этого, когда оно будет приходить на Запад, ещё не переведённое. Надеюсь, что жизнь за меня ответит вам богаче, чем я сейчас мог.

Какова роль Союза советских писателей в современной советской литературе?

Ну, я думаю, что вам и самим понятно, — убивающая, губительная. Это просто — смирительная рубашка, которая должна убить литературу и дать жить членам Союза писателей, лично им. Самая вредная затея, какую можно было придумать, чтоб убить литературу в СССР.

Какое влияние на сочинения советских писателей имеет предварительная цензура? сама

по себе? в сравнении с XIX столетием? в отношении вашего собственного творчества?

В XIX столетии, честно говоря, какая уж там была цензура?! Если Гончаров был цензором, то какая это была цензура? Ну, конечно, у Толстого несколько книг вышли в Европе, так не художественных же. Да и вообще в XIX веке — я в третьем томе «Архипелага» специально это сравниваю: глава о степени давлений и преследований — это сравнивать невозможно, невозможно! Я вот взял литературную энциклопедию, открыл на произвольном месте и подряд выписывал фамилии, как их преследовали. Ну обхохотаться можно: что это за преследование?! У нас бы только расстреливали, убивали, больше ничего! а там все они процветали. По нашим советским масштабам в XIX веке цензуры не было, это не цензура. Самоцензура: о ней замечательно написал Твардовский в поэме «За далью даль». Вы помните, там сам поэт разговаривает со своим невидимым критиком. И вот я недавно одному корреспонденту норвежскому рассказал, что и я ведь, уж, кажется, меньше всего считался с цензурой, и то я должен был такие шаги делать. Например, печатая на Западе «Август», исключить главу о Ленине.

Какова, по-вашему, роль литературы в человеческой жизни и жизни народа?

Вы знаете, у нас в России этот вопрос звучит совершенно особенно. Я думаю, что это вам настолько уже известно из лекций, из вашего опыта, из чтения, что мне даже не надо об этом говорить. У нас в России особенным образом литература всегда стояла, заменяла другие области человеческого духа. К ней особенно прислушивались, и писатели решали общественные задачи, к чему западные писатели не привыкли (и может быть хотели, чтоб так было, но не стоит так литература). У нас роль литературы несравненно велика, но, конечно,

при этом приходится ей принимать на себя другие функции, общественные. Вот так и мне пришлось, когда я свои романы пускал в жизнь, принять функции общественного борца. Мне нужно было бы писать свои книги, а затягивает, иначе нельзя. Так особенным образом литература стоит, и так она ещё может и удивить нас в будущем, ещё может много чудес показать наша литература. Когда всё зажато, всё задавлено, а литература может прорвать внезапно эту немоту.

Профессиональное литературное образование.

Я уже говорил, что лучше бы художественное творчество было побочным занятием. Я имел в виду конкретные наши советские условия. В советских условиях не то что Литературный институт Союза писателей, нет, в советских условиях даже литературу-то опасно брать основным своим делом — преподавание литературы, изучение литературы, потому что на каждом шагу будешь сталкиваться с ложью, с необходимостью лгать, и что тогда делать? Я в том смысле слова сказал — «побочным занятием», что я вот стал математиком и спокоен. И хлеб мой был — математика. И так я действительно этим в лагерях выжил, потому что был математиком. А был бы я с литературным образованием, я бы погиб. Это — частные советские условия. А нужно ли — вообще профессиональное образование в литературе? Думаю, что нет! Об этом Толстой очень ясно писал в своё время. Профессиональное образование для того, чтобы стать писателем? — я думаю, что нет. Нет, этому нельзя научить. Ка́к можно готовить мастеров?! Писателю можно иметь литературное образование, но оно не всегда помогает, оно иногда нагружает... Ну, в зависимости от того, какой у него талант, в какую сторону направлен, — некоторым нужно быть нагруженными всем богатством литературы перед темой, а другим это будет мешать развивать свою собственную индивидуальность. Литературное образование чрезвычайно нужно литературо-

ведам, критикам, просто для общего образования тем, кто изучает историю страны, публицистам, — а для художников, писателей-художников? — специальное писательское образование вообще не имеет смысла. Это вообще чушь, которую придумал Союз писателей. И вот Лев Толстой специально возражал против всяких художественных школ очень резко, высмеивал едко. Но и даже само общее литературное образование, я не уверен, насколько нужно писателю. Я раньше этого не понимал, перед войной я, продолжая физмат, поступил на литературный факультет в Москву, два курса кончил и думал дальше — война помешала. Не кончил. Так у меня нет литературного образования, и в общем думаю, что ничего особенно не потерял. Вы знаете, слишком когда много знаешь в этом направлении, когда всех уже перечитал и все эти традиции давят, это до некоторой степени лишает собственной свободы или заставляет быть бунтовщиком нарочито, специально: а я вот не так буду писать, я всё переверну и буду иначе! Так иногда рождаются новаторские, но пустые направления. Лишь бы всё разметать, сказать: до сих пор не было ни литературы, ни искусства — начинается с нашей группы. Вот такая-то группа, «изм» очередной, мы будем развивать. Это тоже неправильно. Иными западными критиками было высказано мнение, что некоторые из моих сочинений, например «Раковый корпус», по своему характеру недалеки от соцреализма. Удивляюсь этому суждению, потому что никакого соцреализма вообще на свете нет! Я считаю, что нет его и никогда не было, а просто нужно было в начале 30-х годов придумать такую словесную формулу, под которой оправдать ложь литературы, и придумали: «соцреализм — это такое направление, которое описывает жизнь не просто как она есть, а угадывает то, что должно в ней быть завтра». А откуда? А как партия скажет. Партия говорит: будет вот так. И надо вот это «угадывать» и брать. Вот это и

есть — соцреализм. Поэтому я никак не могу с соцреализмом ничего общего иметь.

Какие русские писатели XIX и XX века влияли на вас больше всего?

Из писателей XIX века — Пушкин, Лермонтов, Толстой и Достоевский. А из писателей XX века — Евгений Замятин. (Я не знаю, насколько он вам известен.) Я очень люблю Евгения Замятина, и очень он повлиял на меня. Что я у него замечательным считаю? Я уж не говорю, что он мог написать в 20-м году «Мы». К счастью, вы, живя на Западе, легко можете эту книгу достать, прочтите! Совершенно блестящее описание социализма уже в 1920 году, но я не об этом. Замятин в двух отношениях является для меня образцом, в одном отношении совершенно недостижимым. Недостижимый образец он вот в чём: как он описывает наружность! вы прочитайте внимательно его, любую вещь, посмотрите, как он описывает наружность. Он мгновенным, художническим глазом сравнивает с чем-то таким... это у Чехова было, но не в такой резкой степени. Замятин с каким-то предметом или с чем-то таким сравнит — строчки не занял, и уже готово, нарисовано лицо. Это шедевр! А в каком смысле я у него учился? — в синтаксисе. Вам, тем, кто слабо ещё знает русский, вам не понять у него особенного этого синтаксиса, но кто уже знает хорошо, почитайте внимательно-внимательно, посмотрите, что за синтаксис?! Какая свобода расстановки и согласования слов, какие сжатые выражения с пропуском лишних слов! Замятин — очень яркий писатель. А потом его стали преследовать, преследовать, преследовать, но благодаря ходатайствам выпустили за границу, и он здесь тихо умер, ничего больше не написав. Вообще, жизнь была трагическая. Яркий человек!

Я, наверно, утомил вас. Но должен вам сказать, что для меня сегодняшняя встреча необычна во многих отношениях тоже. Я раньше этого всего никому

не рассказывал, но так получилось, что мы встретились, и мне очень приятно видеть людей здесь, за границей, систематически изучающих русский язык, — и я хочу увеличить ваши представления о современной русской литературе, и может быть помочь вашей охоте к чтению русских книг и изучению русского языка.

А какие у вас есть литературные планы, не связанные с вашей нынешней исторической работой?

Был бы я помоложе, может быть. Но сейчас у меня никакой жизни уже не хватит кончить только эту единственную книгу, которую я пишу. Так что мне даже просто ставить себе таких задач нельзя. Многое бы хотелось написать, иногда вдруг: ах, вот об этом бы написать книгу! Я всё давно от себя отрезаю, отсекаю, чтобы только заниматься главной книгой. А ещё всё время... борьба мешает... очень бурная жизнь. Нет, я мечтаю написать только эту книгу, но я боюсь, что я её не кончу.

Какая из ваших книг — ваша любимая?

Потрудней вопрос... Обычно бывает так, что увлечение книгой связано с работой над ней. Когда работаешь, то захвачен ею, и она кажется самой главной, а потом, когда проходят многие годы, — отдаляется, отдаляется... и уже даже как новое читаешь. Я помню, что есть в воспоминаниях о Толстом такой случай: у них чтение домашнее по вечерам было, а он там где-то гулял... вошёл, стоит в дверях... и долго слушал, говорит: «Что это вы читаете?» — «Как? это — твоё!» Знаете, есть какое-то отдаление от написанных вещей, а связь живая, коренная — с тем, что пишешь сейчас.

Согласны ли вы с тем, как критики интерпретируют ваши произведения?

Тут надо бы разделить на критиков отечественных и западных, и на критиков истинных, то есть

литературных, и критиков газетных. Газетные критики (в Советском Союзе газетные критики — это партийные чиновники, там не будем говорить) ... здесь газетные критики — это, в общем, поверхностные люди. У меня не было много времени всё прочитывать, что писали, да ещё на языках, да и не всё ко мне туда приходило, но я поражался иногда, то есть читал и не находил в рецензии решительно ничего. Поэтому о газетных критиках скажу: редко, очень редко бывают серьёзные, глубокие замечания. Отечественная критика, к сожалению, задавлена. Она была бы очень интересная, но настолько задавлена, если в Самиздат не пустят, то и не узнаешь, ничего не напечатается. Значит, остаются серьёзные критики на Западе, которые ограничены и связаны тем, что переводов моих хороших почти нет. То есть на английский язык, кроме «Матрёниного двора» и «Крохоток», вообще нет сколько-нибудь похожего, переведенного. На английском языке меня просто вообще нет! Не понимаю, почему такие тиражи и так читают... А критики — пишут, а как же без языка можно судить? Истинный критик — это очень редкий и высокий талант. Истинный критик — это тоже художник, только в другом повороте. Вот почему так глубоки бывают статьи больших художников о больших художниках. Как, например, Ахматова о Пушкине — невероятно глубоко, потому что она, художник, приняла на себя роль критика. У нас был момент, когда в Советском Союзе хотели выпускать журнал такой, нелегальный, и мы уже прозу набирали, поэзию набирали, но кто же у нас критик-то будет там? — нету! — не могли найти критиков для нового журнала... Это такое должно быть глубокое чувствование, а вместе с тем — почему же он не стал писателем сам, этот критик? Очевидно, потому, что у него некоторые другие свойства дара. Он в другом смысле как-то анализирует, может быть бóльшая роль анализа, обобщений... Истинную критику читать — наслаждение! просто наслаждение! Но, к сожалению, мне это редко доставалось.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАРИЖЕ

10 апреля 1975

... Наша с вами встреча обязана тому совпадению, что сейчас, в момент моего приезда в Париж, в издательстве «Seuil» вышла моя новая книга*. Вероятно, некоторые из вас её уже читали, другие прочтут, нет необходимости мне поэтому её как-то представлять. Однако особенности жизни в Советском Союзе таковы, что некоторые дополнения остались за пределами этой книги. Я просто приведу примеры, это передаёт атмосферу нашей жизни. Эта книга могла быть значительно полней — больше случаев и больше имён. Есть несколько разрядов фактов или событий, которые не могли быть включены в неё. Одни эпизоды — потому что записи о них я годами не мог при себе хранить. И поэтому, когда я писал эту книгу, всякий раз оказывалось, что эти записи я не могу достать и посмотреть, использовать. Примером из такого ряда является подробная запись знаменитых кремлёвских встреч вождей партии и правительства с писателями и художниками в декабре 1962 и марте 1963. Я, сидя на этой встрече два дня, подробно всё записывал. Накал заседания на второй день был таков, что это приходилось делать за спиной сидящего впереди. Хрущёв непосредственно кричал, не мне, а другому, кого заметил: «А вы что записываете? Отберите у него карандаш!» Эта встреча сама по себе достойна подробного описания. Западному человеку нельзя вместить в голову, чтобы всё высшее руководство огромной страны, забросив все остальные государственные дела, два дня сидело с художниками, скульпторами, актёрами и писате-

---

* Французское издание «Бодался телёнок с дубом».

лями и учило их, как надо писать. Ну, я надеюсь когда-нибудь восполнить этот пробел, но, к сожалению, из этого издания выпало.

Есть второй разряд фактов, которых я тоже не мог включить в эту книгу: раньше нельзя было назвать некоторые имена. Сегодня я с благодарностью назову одно такое имя. Это имя Генриха Бёлля. Я должен открыть сейчас, что Генрих Бёлль — мой добрый друг — оказал неоценимые услуги всему нашему Самиздату, вывозя не раз важные рукописи, которые потом оказывались напечатанными здесь, на Западе. В том числе он вывозил и мои некоторые книги. И если остановиться именно на случае со мной, поскольку я в других случаях не уполномочен подробно освещать, я должен сказать, что Генрих Бёлль чрезвычайно укрепил меня перед главными годами нашего сражения, вот каким образом. Я понимал, что наша схватка, описанная в этой книге, она всё время была на лезвии жизни и смерти, но вступает в самую серьёзную, смертельную часть. А в этом случае оборона моя на Западе, которую я построил против КГБ в форме доверенности адвокату на ведение защиты моей, — эта оборона рушилась, потому что, если я умер, то адвокат больше не имеет никаких доверенностей, и стало бы можно опять делать всё что угодно с моими книгами. Итак, мне нужно было написать завещание. Перед входом в этот бой написать завещание на случай моей смерти или исчезновения. Мне надо было, чтобы существовал законный документ, по которому остаётся вся оборона и все права у адвоката. Опять-таки западному человеку почти нельзя представить, что нотариус, казалось бы такое нейтральное лицо, которое обязано всё заверять, никогда бы в СССР не заверил моего документа. Наоборот, я бы открыл свои замыслы, что готовлюсь к чему-то серьёзному. Итак, нужно было содействие какого-то человека с мировым именем, чья подпись всем известна, чья личность не вызывает сомнений, чтобы он заверил моё завещание. Это и сделал Генрих Бёлль. Каждый

лист завещания мы оба подписали — я и он, но и более того, он это завещание взял и увёз из Советского Союза. С этого момента положение моих книг стало исключительно твёрдо, и я мог разрешить себе уже идти в последний бой. Вот на этом примере наших отношений с Генрихом Бёллем, кстати, лишний раз можно показать, как примитивны слишком распространённые в наше время определения «правого» и «левого» и суждения в политической плоскости. Многие немецкие публицисты сегодня пытаются представить меня и Бёлля политическими противниками. На самом деле нас связывает и личная дружба, и вот такая помощь, бесценная помощь, которую он оказал мне и многим нашим русским в Самиздате, и сходство в основах общего мировоззрения, даже если мы действительно в отдельных политических оценках и расходимся.

Третий разряд фактов, которые не могли войти в эту книгу, это такие, о которых я сам в ходе написания или не знал, или знал не всё. Некоторые факты стали выплывать только сейчас, и мне самому становится понятно кое-что лишь теперь. Например, я не знал, что КГБ сумело выкрасть у меня рукопись «Августа» на несколько месяцев раньше того, чем я послал её за границу. Они сумели сфотографировать у кого-то из близких мне эту рукопись ещё в ноябре 70-го года, когда я ещё не вполне даже кончил её, я кончил её только к марту 71-го. Прочтя рукопись, очевидно, в КГБ приняли такой план действий: в этой книге нет ничего особенно опасного для Советского Союза и для советского правительства, вместе с тем, если её напечатать на Западе, Солженицына можно обвинять в том, что вот он самовольно печатается на Западе. Итак, они выбирали страну, естественно для этой книги, как им показалось, Германию. Не знаю, по каким соображениям они избрали издательство «Ланген Мюллер» и его руководителя господина Фляйснера. Но, во всяком случае, я до марта продолжал работать над книгой, а теперь из письма самого господина Фляйснера, полу-

ченного недавно, мы узнаём, что рукопись была предложена Фляйснеру ещё в неоконченном виде от моего имени в январе 1971. Объяснение господина Фляйснера носит характер фантастический. Он ссылается на то, что... некая особа (подразумевается вдова опереточного композитора Кальмана) была в Москве, якобы встречалась со мной (ложь), нашла меня с видом столетнего старика и при смерти, но я, право же, выглядел примерно так же, как и сейчас, и якобы моим последним желанием было, чтоб именно издательство «Ланген Мюллер» напечатало «Август» в Германии. Во всяком случае, издательство «Ланген Мюллер» от кого-то получило этот текст и стало готовить книгу. Здесь объяснения господина Фляйснера чрезвычайно странны, да это и не один случай, когда в момент моей смертной борьбы с КГБ крупные западные издательства вели себя недобросовестно. В тот самый момент ряд издательств просто пользовался случаем преследовать свою пользу. Доктор Фляйснер не может сейчас объяснить, почему он просто не позвонил моему адвокату в Швейцарию и не спросил, от меня ли пришла эта рукопись. Вместо того он отправил якобы пять писем по почте в Советский Союз, ни на одно не получил ответа, и это окончательно убедило его, что я именно хочу печатания и согласен. А потом события развивались так, как я уже описал в этой книге. КГБ не знало моего замысла, что я сам отдаю книгу на Запад. В марте я отправил её господину Струве, русскому издателю. И он в июне напечатал её по-русски. Так что это подобно тому, как, знаете, идут два подземных хода, копают, чтобы минный ход провести, и мины друг на друга идут.

Ну, и наконец четвёртый разряд фактов, которые не могли найти в этой книге места, связан с тем, что деятельность КГБ против меня не прекращается. Автор должен книгу окончить, а КГБ не обязано кончать свои действия, и таким образом всё новые и новые факты происходят уже после того,

как я отдал книгу в печать. Как пример можно привести довольно-таки сильное гнездо КГБ в Цюрихе, или, допустим, такие анекдотические попытки, как объявленный советским АПН кинофильм с рассказом Якубовича обо мне. Якубович — это старый меньшевик, практически примкнувший в 20-е годы к большевикам, который известен по своему участию в 1931 году в знаменитом открытом процессе. Мы с ним познакомились в 1967 году, то есть никогда не были знакомы в лагерях, он рассказал мне о своих переживаниях — просто в числе других двухсот двадцати семи человек дал показания о том, как было с ним, что я и включил в «Архипелаг ГУЛаг». Но он одинокий инвалид, живущий под Карагандою, без всяких родственников, без всякой помощи, без связей общественных. КГБ за это время обрабатывало одного за другим свидетелей моих, чтобы их обратить против меня. Но никого такого не нашли, кроме одного Якубовича, никто не согласился помогать КГБ. Якубович, никогда не сидевший со мною вместе в лагере, теперь свидетельствует о том, что я себя в лагере вёл плохо, как он хорошо помнит. Всё это характерно для соотношения в борьбе между художником и такими низкими организациями, как КГБ. Моё глубокое убеждение, что художественное произведение должно быть предельно открыто и должно быть... уж о ком говорить дурное, кого разоблачать — прежде всего себя, потом — других. Это, естественно, даёт лёгкое оружие в руки тех, кто хотел бы против меня дискутировать. Я написал в книге о том, что никто не любит рассказывать, как его вербовал оперуполномоченный, ну так, мол, я расскажу о себе сам. И вот, увидев это место, КГБ выпускает теперь Якубовича, чтобы разрабатывать эту тему, как если бы он был свидетелем.

Таким образом, как я сказал вам, много ещё могло бы войти в подобного рода книгу, написанную о свежих событиях и о борьбе, которая не прекрати-

лась посегодня. Я думаю, что на этом могу ваше внимание своим выступлением больше не занимать.

> Мы знаем, что версия «Круга первого», которая была опубликована, — неполная. В книге «Бодался телёнок с дубом» вы пишете, что были вынуждены сократить роман на девять глав. Мы прочли одну главу в «Континенте». Когда можно будет прочесть другие, ещё не опубликованные главы?

Я должен сказать, что версии «Круга» не просто различаются девятью главами. Я уже напечатал более чем одну главу, я напечатал — одну в «Континенте» и вот в «Вестнике Русского Христианского Движения» — три. Но на этом я должен печатание пока остановить. Это тоже пример, который невозможно представить себе в нормальных литературных условиях. Истинный роман, оконченный мною много лет назад, имел настолько взрывчатое содержание, его совершенно невозможно было даже пустить в Самиздат... и тем более предложить Твардовскому и «Новому миру». Так и лежал у меня роман, и вот я увидел, что часть глав можно было бы предложить, а часть — невозможно. Тогда я должен был разбить готовое здание на кирпичи и начать перебирать по кирпичам, как бы снова сложить другой роман. Для этого я должен был сменить основной сюжет. В основе моего романа лежит совершенно истинное и притом, я бы сказал, довольно-таки историческое происшествие. Но я не мог его дать. Мне нужно было его чем-нибудь заменить. И я открыто заменил его расхожим советским сюжетом того времени, 1949 года, времени действия романа. Как раз в 49-м году у нас, в Советском Союзе, шёл фильм, серьёзно обвинявший в измене родине врача, который дал французским врачам лекарство от рака. Шёл фильм, и все смотрели, серьёзно кивали головами. И так я подставил в замену своего истинного сюжета этот открытый сюжет, всем известный. Но из-за этого изменилась раз-

работка многих действующих лиц, многие сцены, так что изменился и сам сюжет. И вот такой «Круг», такой роман я предложил Твардовскому, и потом он пошёл в Самиздат и оказался на Западе. Поэтому мне теперь не только надо добавить девять глав, но мне надо вернуть истинный сюжет. Ну а кроме того, я с тех пор доработал его в художественном отношении, так что это во многом уже другой роман. Я надеюсь его через несколько лет в новом виде полностью опубликовать.

Вы неоднократно подчёркиваете, что западные люди не понимают советской реальности; и вы правы: мы очень многому от вас научились. Но вот вы сами, говоря о свободе на Западе, как будто ею пренебрегаете или даже её презираете. Не видите ли вы чего-нибудь положительного в опыте Запада за последние пять лет?

Здесь какое-то между нами непонимание. Я смею заявить, что я высказывался о западной жизни всегда чрезвычайно умеренно и даже малословно — уже хотя бы потому, что все мои художественные произведения, то есть главные мои высказывания, — исключительно о восточной системе. Высказывания мои о Западе совсем не состоят из одной критики, как, например, в предлагаемой книге, где я описываю Запад как мощного союзника, спасшего Сахарова и меня во время сильного боя в 1973 году. В этой книге я целыми страницами цитирую западную прессу. Я высказывался о западной жизни только, может быть, в двух-трёх ключевых вопросах. Я когда-то говорил в интервью с CBS, что восточный человек может рассмотреть в Западе больше, чем западный — в Востоке: западный мир сам себя просвечивает, западный мир открыт, ничего не скрывает. Так что, даже живя в Советском Союзе и не держа в руках западных газет, а только по русскому радио, идущему на СССР, — можно составить обильное впечатление. Западный человек этого ли-

шён. Большинство западных людей или получают поддельную информацию о Востоке или никакую. Полную информацию получают лишь те западные люди, которые побывали в советских тюрьмах, да не 15 дней, а 15 лет, скажем. Но, когда эти люди приезжают сюда, их показания кажутся тут настолько дикими, что им никто даже и не верит. Возвращаясь к заданному вопросу: я отвергаю обвинение в том, что я высказывался вот так мрачно о Западе, что я здесь ничего ценного не вижу, — такого подобного я не говорил никогда. Единственным моим основательным высказыванием по этому поводу была статья «Мир и насилие». Но там говорилось вовсе не о том, что свобода западная не нужна или досадлива. Там действительно об очень серьёзном вопросе говорилось, но я думаю, что мы сегодня чуть позже с какой-то стороны всё равно к нему подойдём. Я готов к нему вернуться в любой момент.

При чтении вашей последней книги у нас создалось впечатление, что вы считаете Запад очень хрупкой зоной, уязвимым, бессильным, или, вернее, с малой моральной и духовной силой, с весьма низкой моральной сопротивляемостью. Вкратце, что Запад в упадке. Продолжаете ли вы так считать?

Поскольку меня возвращают к вопросу предыдущего корреспондента, я был, значит, прав, что мы сейчас всё равно вернёмся к обсуждению этого вопроса. Я тогда осмелюсь утомить ваше внимание подробным ответом. Те десятилетия, когда советские жители не имели никакой информации о Западе, мы имели наивность, но, конечно, никакого нравственного основания, ждать, что Запад придёт нам на помощь и освободит нас от рабства. В 20, 30, 40-е годы, радио никакого нет, газет никаких нет, мы безусловно так представляли западную свободу. Мы — ну так, чтобы не бояться патетического слова, — мы «молились» на Запад. Мы считали, что

9—617

свободные и могучие западные люди не могут долго терпеть, чтобы соседний европейский народ угнетался — как почти обезьяны, как скот. Годы после войны, которые я провёл в лагере, и я и окружающие жили такими надеждами и верой такой. Это было время, когда мы не имели совершенно никакой информации об истинных западных делах. Но, оказывается, дело обстояло тут совершенно иначе. Практически Запад не имел о Советском Союзе истинной информации почти никакой с 20-х годов. Каждый иностранец, приезжавший в Советский Союз, обставлялся несколькими агентами, которые ловко вели его туда, куда и как им надо. Однако скажу хуже: дело было не только в том, что западных людей обманывали и они не получали истинной информации. Здесь психологическое основание человеческой натуры, это не свойство именно западных людей — французов, англичан или немцев, — это свойство человека вообще как существа.

Вот я приведу один только пример из 30-х годов, который вас, может быть, несколько убедит. Это не новый пример. О нём очень горячо говорил в своё время Оруэлл, но, может быть, Франция не читала Оруэлла тогда. Это пример украинского голода. В 1932—1933 годах на Украине большевики создали искусственный голод. Ни много ни мало, до всех ужасов Второй мировой войны, они искусственно задушили голодом 6 миллионов человек. Они умело скрывали это, но случившееся остаётся: 6 миллионов человек в самой Европе умирают от голода потому, что у крестьян, у тружеников, отняли зерно до последнего. Комсомольцы стоят в хате и не дают детям выпить воды, пусть ребёнок умирает, но отдай последнее зерно! Слух об этом дошёл до Европы. Советское правительство согласилось принять западных корреспондентов и показать им, что ничего подобного нет. И сделали всё, всё устроили, и большинство корреспондентов съездило и ничего страшного не увидело. Но некий американский студент, Томас Уокер, журналист, сумел от-

биться от этой группы, пройти по голодной зоне, сделать много фотографических снимков и с риском для своей головы вывезти их. Это было начало 1934 года. Если бы в этот момент весь мир грозно вмешался, ещё можно было бы спасти миллион-полтора миллиона человек. Но целый год Уокер не мог в Соединённых Штатах найти ни одной газеты, которая согласилась бы напечатать его фотографии. Многострадальная Украина продолжала умирать, а западные издательства считали неприличным информировать о неприятностях в СССР. И когда голод уже сделал своё дело, и все 6 миллионов умерли, тогда наконец появилось издание, которое любой из вас во время перерыва или позже может у меня посмотреть, эти наконец изданные снимки американского журналиста — умирающие деревни Украины. Вот тут много, я могу потом ещё показать. Здесь не просто отсутствие информации, здесь страшная человеческая особенность, которая русской пословицей выражается: сытый голодного не разумеет, — особенность, против которой нас предупреждают все религиозные книги и многие книги художественной литературы. Благополучие не понимает страдающего, и тот, кто сегодня благополучен, хочет любой ценой оттянуть своё благополучие сколько можно дальше. Оруэлл тогда написал: Европа заметила голод в Индии, потому что тот голод ни для кого не вызывал политических неприятностей. Он произошёл из-за стихийных условий, можно было о нём писать, и можно было помогать голодающим индийцам. А украинский голод вынуждал занять позицию против коммунистической России, то есть недостаточно политически приятную. Так Запад отдал эти 6 миллионов на смерть. Это было за несколько лет до Мюнхена, и вы можете видеть ясную связь между Мюнхеном и этим настроением.

Вот давайте совершенно холодно и беспристрастно сравним 1945 год и 1975. В 1945 основные западные державы были державы-победительницы во Второй мировой войне. Сила их была ни с чем не

сравнима, отмобилизованные армии западных союзников представляли силу, которой на Земле никогда ещё не было. И вот, начиная с 1945 года, без всякой крупной мировой войны, западные державы, под влиянием, естественно, западного общественного мнения, добровольно уступали позицию за позицией, страну за страной. Ещё в мощи своих вооружённых сил они отдали всю Восточную Европу страну за страной. Своих соседей и братьев отдали в рабство для того, чтобы продолжалось приятное общее спокойствие. Затем этот процесс шёл десятилетиями, почти тогда же начался Вьетнам, и Вьетнам занял почти весь тот период тридцатилетний. И сегодня, когда мы с вами присутствуем — увы! — при конце некоммунистического Вьетнама, мы можем сказать, что этот период совершенно явственно окончился. Во вьетнамской войне попытали свои силы две великие державы Запада — сначала Франция, потом Соединённые Штаты — и одна за другой отдали это поле.

Я не стану утомлять вас перечислением всех сданных позиций за 30 лет во всём мире. Но я не знаю, кто бы мог аргументировать, что западные державы стали сколько-нибудь сильнее, чем они были в 1945 году. Ослаб их дух сопротивления, ослабли все их позиции в мире, и ослабло доверие к ним со стороны остального нейтрального «третьего» мира. Напротив, коммунистическая система распространилась на огромные пространства, включая Китай и теперь Дальний Восток. Я думаю, этот процесс настолько ясен, это как линия, проведенная вот так! — и что ж тут спорить, никто не скажет, что она идёт иначе. И я даже не буду брать на себя труд убеждать вас. Вы сами можете убедиться, что державы-победительницы добровольно стали державами побеждёнными. Позиция западных держав-победительниц сегодня такова, как если бы они недавно проиграли мировую войну. Я возвращусь к своему психологическому объяснению, в статье «Мир и насилие», где я пытался объяснить одно за-

блуждение. Заблуждение состоит в том, что, если нет состояния открытой войны, это считается миром. То есть что антиподами считаются мир и война. Поэтому всё «движение за мир» всё время было направлено на то, чтоб только бы не начали стрелять пушки. А для этого, мол, надо часто уступать, и пушки не будут стрелять. Это мы можем видеть на примере, как Киссинджер устроил перемирие во Вьетнаме. Даже ребёнку ясно, что это карточный домик, а не перемирие, оно ничем не было гарантировано, там даже не было нейтрального члена в наблюдательной комиссии... Просто — двое с одной стороны, двое с другой, так что в любую минуту можно парализовать всякий контроль. И когда Киссинджер подписывал своё знаменитое перемирие, было ясно, что вот подписывается смертный приговор Южному Вьетнаму. Агония продолжалась два года. Это такой же Мюнхен, как подписанный с Гитлером, совершенно ничем не отличается. Так вот, здесь просто выявилась особенность человека: как-нибудь продлить внешне благополучное существование.

Так я отвечаю обоим задавшим мне вопросы господам: я не только не высказывался против западной свободы, повторяю, мы на неё молились, как на нашу надежду. Но теперь мы видим, что 30 лет западная свобода сама добровольно отдавала позицию за позицией насилию. Моя статья потому названа «Мир и насилие», что я считаю противоположностью миру не войну, а насилие. Мир истинный может быть лишь тогда, когда нет насилия. Но если каждый день происходит беззвучное насилие — избивают, душат людей, а пушки не стреляют — это не есть мир. Вот за этот обманный мир, за внешнее благополучие западный свободный мир отступал 30 лет. Восточный мир скрывает насилие. И это облегчает свободному западному миру не очень терзаться сердцем. Если каждый день не напоминает, то как будто этого нет. Что мы знаем про Китай? Кто знает, какой Архипелаг ГУЛАГ сего-

дня в Китае? Не знаю этого и я. Но вот о нашем Архипелаге вы сейчас узнали от меня. До меня, в 30-е годы, другие печатали такие книги, но западный мир не поверил, не захотел им поверить. Сегодня в Китае, может быть, существует такой же 20-миллионный Архипелаг, или даже больше. Но китайская книжка «Архипелаг» придёт к нам через 40 лет, когда уже будет поздно этому помочь. Сейчас коммунисты в Камбодже и Вьетнаме предупреждают: иностранцы, уезжайте скорей, мы не отвечаем за вашу жизнь. И иностранцы поспешно эвакуируются из Пномпеня, из Сайгона. Все уезжают, чтобы спасти себя и свои семьи. А замысел в том, что не останется свидетелей зверств. Это нужно восточному миру, чтобы иностранцы уехали до последнего, — и отсюда, из Парижа, из Лондона, из Нью-Йорка, будет казаться, что там ничего не происходит. Ведь если в Гуэ коммунисты убили за один день полторы тысячи человек, то можно понять, почему сейчас южные вьетнамцы, простые люди, хватаются пальцами за гладкое брюхо самолётов, чтоб улететь, почему они бросаются вплавь через воды, почему несут на себе старух восьмидесятилетних. Они знают, чего не знает западный мир, что там сейчас занавес опустится, полмиллиона вырежут, а 3—4 миллиона загонят в лагеря на 20 лет, и никто не будет знать, и опять некого обвинять.

Итак, господа, я освещаю вам только факты, я повторяю, мы, живя в рабстве, только мечтать можем о свободе, и не свободу критикуем мы, но как иногда распоряжаетесь вы свободой, слишком легко отдавая её шаг за шагом. Если этот процесс будет продолжаться — предоставляю вам прогноз.

В ваших выступлениях вы уделяете большое внимание тому, что всё неладно на Западе в области веры. С другой стороны, вы как будто утверждаете, что на Востоке развёртывается широкий процесс религиозного возрождения. Знаете ли вы, что и на Западе проис-

ходит в значительной мере эволюция человеческого духа?

Эволюция такая на Западе не может не происходить, но я сомневаюсь в её масштабах, во множестве её соучастников. Очень многое в человеке и человечестве иррационально. Вот почему все мы политически, экономически и рационально бываем беспомощны. Скажите, 50 лет назад, когда в Советском Союзе начали беспощадное истребление религии, разве кто-нибудь мог предвидеть, что она, перестояв полвека, станет возрождаться? Удивительная вещь, у нас среднее поколение, ну так, скажем, от 40 до 60 лет, это — атеисты и наиболее беспомощные люди против советской пропаганды, они как пустые мешки, набиты тем, что в этот мешок суют. Наоборот, молодёжь, и часто дети из большевицких коммунистических семей, настроены религиозно. Вы можете видеть состав нашего сборника «Из-под глыб», там почти все молодые люди. Да, этот процесс идёт, и он внушает мне и моим друзьям наибольшую надежду. Что происходит на Западе — я не берусь судить во всей широте. Но, приехав сюда, поразился религиозному равнодушию подавляющей части населения. Нормально празднуются все религиозные праздники, нормально в каждую субботу вечером и в воскресенье утром звонят все колокола, двери открыты, никто не мешает идти, — и почти никто не идёт. А у нас на праздники стоят дружинники с красными повязками и не пускают в храм — а люди прорываются на богослужение. Вот это лишняя иллюстрация того, что высшие духовные ценности открыты человечеству вовсе не в материальном изобилии и вовсе не в беспрепятственной свободе. Я надеюсь, что два предыдущих корреспондента не примут это за критику свободы. Вот иррациональность нашего бытия, что человек бывает наиболее свободен иногда, например, в тюрьме. Христианство пришло в мир через преследования, и какие! двухвековые! Я очень большие надежды

возлагаю на процесс, идущий на Востоке, вернее сказать, я уверен в его торжестве. Но, к сожалению, я боюсь, что скорость противоположного процесса на Западе может быть быстрее, и это не обещает человечеству хорошего. Я осмелюсь сказать, что очевидно в просветительских идеях Восемнадцатого века, которые родились и были построены как протест против чрезмерного церковного засилия в Средние Века, — в этих идеях, по контрасту, по противоречию, по бунту, был взят крен в другую сторону, придали чрезвычайное значение общественному благополучию и политическому устройству. На этом пути как-то потерялось значение духовной жизни отдельного человека.

Какие идеологические советы вы хотели бы дать западным интеллектуалам по поводу идеологической борьбы Запад—Восток?

Формулировка вашего вопроса несколько стесняет меня. Дело в том, что художник даёт свои советы в художественных произведениях. Я выступаю таким вот образом, как сегодня, — редко, потому что не могу вовсе избежать вот таких бесед или пресс-конференций. Но это совсем не значит, что я хотел бы сменить деятельность писателя на деятельность публициста или политика, наоборот, я только и живу надеждой на то, что мне можно будет продолжать дальше свои книги писать.

Я задал вам вопрос об идеологической борьбе, потому что вы для нас на Западе, да и в СССР, не только писатель, а в какой-то мере и политический борец.

У нас в стране, вы видите, для того чтобы быть просто писателем, я должен был непрерывно заниматься конспирацией, напряжённой, утомительной, просто разрушительной для меня. Это уж так поставлен нынешний русский писатель. Но и прежде, до всяких гонений, сознание русской литературы было — болеть общественными нуждами. С этим

ощущением я и вышел на Запад. Если бы у меня такого ощущения не было оттуда, из России, то я должен был бы здесь на Западе всем корреспондентам отвечать: «Спасибо, господа, я беседовать с вами не буду. Я пишу книги, читайте и оставьте меня в покое.» И я так говорил не раз. А сегодня у нас планировалась лёгкая встреча в связи с выходом «Телёнка», но, если ваши коллеги такие вопросы задают, что ж мне делать — перемолчать? Я отвечаю, но вовсе не с мотивом стать политическим деятелем. А дальше я опять сяду за книги. На мне лежит огромная задача литературная. По несчастным обстоятельствам жизни в нашей стране начисто уничтожена история целого пятидесятилетия, и писатели нескольких поколений не могли писать правду о нашей революции. И я пытаюсь теперь нагнать это, не потому, что я считаю свою работу своевременной, я считаю свою работу — запоздавшей, но следующие после меня поколения ещё более опоздают.

Если проследить влияние вашего творчества в социалистических странах, то оно особенно заметно в Чехословакии и, мне кажется, повело ко взрыву «Пражской весны». Парадоксально, что мы гораздо меньше знаем о влиянии вашего творчества в вашей собственной стране, особенно после опубликования писем, которые вы получили, когда увидел свет «Один день Ивана Денисовича». Нам хотелось бы больше знать об этом вашем влиянии — на народ, а не на власть, конечно.

Насколько я могу сказать по письмам оттуда, сейчас влияние моих книг в СССР ещё острее, чем на Западе. Вопрос исключительно только в технике, сколько книг пройдёт границу. Я потому и выслан советским правительством из СССР, что я гораздо страшнее им там, чем здесь. Не то важно, что я здесь мог бы говорить, я, в общем, и там свободно говорил, но там это очень легко распространялось,

а отсюда туда надо границу пересечь. Однако, к счастью, «Архипелаг» на родине читается... Вот недавно газета «Русская мысль» напечатала свидетельство, как читают «Архипелаг» в Москве: собирается полная комната и по страницам передают по кругу, молча, всю ночь. Я думаю, что если «Архипелагу» дать поработать некоторое время в СССР, то результаты будут заметны.

> Морис Надо. Я хотел бы подключиться к уже заданному вам вопросу о вашей роли и как вы её видите. За последние годы вы для нас на Западе больше интеллектуал, чем писатель. Хотя вы и не предлагаете политической программы, но в вашем творчестве есть политическая философия, такие политические идеи, как возврат к традиционным ценностям, например к религии, к внутреннему преображению индивидуума. Но в вашей смелой одинокой борьбе вы пользуетесь заржавевшим оружием. Несмотря на страшную картину коммунистических мировых замыслов, которую вы нарисовали, — впрочем, следует отметить, что во Вьетнаме сражаются не русские, — вы тратите ваше драгоценное время на «Письмо вождям Советского Союза», в котором доверяете им и не предлагаете изменить режим, пусть остаётся авторитарным, лишь бы не склонялся к произволу и беззаконию. Но как обеспечить, чтобы авторитарный режим не соскользнул в произвол, и как вы можете доверять хозяевам Архипелага ГУЛАГа?

Я подаю жалобу на господина Надо за то, что он, под предлогом одного вопроса, ставит сразу шесть. Но, если публика не возражает, я готов отвечать на все шесть. Вопрос первый, что я не писатель, а скорее интеллектуал. Решительно отвергаю. Художественный метод, которым написан хотя бы «Архипелаг», метод художественного исследования, это нечто иное, чем рациональное исследование.

Для рационального исследования уничтожено почти всё: свидетели погибли, документы уничтожены. То, что мне удалось сделать в «Архипелаге», который, к счастью, имеет влияние во всём мире, выполнено методом качественно другим, нежели метод рациональный и интеллектуальный. Что мне иногда приходится заниматься публицистикой, как в сборнике «Из-под глыб», — и тут я бы хотел спросить господина Надо, читал ли он сборник? — что мне приходится заниматься такой работой, — это беда России, где уничтожено 66 миллионов. Приходится работать не только за себя, но и за тех, кто умер рядом. Я бы решительно этим не занимался, если б не нужно было сказать за погибших.

Когда говорит господин Надо, что моя идея есть возврат к традиционным ценностям, я слово «возврат» отказываюсь принять. Я никогда не предлагал куда-то возвращаться, я только предлагаю идти вперёд с открытыми глазами, а не с завязанными. Заржавевшим оружием пользуется тот, кто некритически повторяет установившиеся идеи XVIII—XIX и первой половины XX века. Я предлагаю осмотреться более внимательно в ходе человеческой истории, охватить её глубже. Если бы мы были не люди, а боги, и не делали бы ошибок, то наш исторический путь мы, конечно, совершили бы коротко, не за 20 столетий, не за 25. Но из-за нашего несовершенства мы всё время переваливаемся то в эту сторону, то в другую. Так, в Средние Века католическая церковь начала совершать насилие над человеком, то есть она стала делать духовную жизнь насильственной и наклонила человечество в одну сторону. И вся реакция против этого — Возрождение и Просвещение — отталкивается от этого насилия, как будто бы вырываясь к свободе, но слишком наклонилась в другую сторону. И очень быстро идеи Возрождения и Просвещения привели нас к так называемым «великим», а на самом деле страшным революциям, вашей и нашей.

Итак, всё дело в том, чтобы найти наконец равно-

весие, то есть стать более совершенными существами, чем мы были в XIV, XVIII и в XX веке. Не подавлять наши материальные свойства духом и не утоплять наш дух в материи. Я смею заметить, что сегодняшняя западная жизнь — не с политической точки зрения, ибо я настаиваю, что я не политик, но с философской точки зрения, — западная жизнь сейчас состоит в том, что дух утоплен в материи, что материальные обстоятельства слишком диктуют побуждения.

Одной из таких догм, которую приняли все и ею клянутся, является социализм. А что такое социализм? Я почти уверен, что любые два социалиста, взятые произвольно в мире, не смогут договориться. Единое у всех представление, что социализм — это некое справедливое общество. Такая трактовка приятна и вам, и мне, и каждому. Но если мы начнём анализировать, что́ под социализмом понимают экономисты, политики, то мы очень быстро увидим, что там идёт сплошное распределение материальных благ и как его контролировать. Вот это одно из проявлений того, что дух утоплен в материи, и один из видов заржавевшего оружия.

Дальше господин Надо говорит относительно Вьетнама. Да, конечно, во Вьетнаме сражаются не русские, но чьи там танки, самолёты и оружие, данные бесплатно?

> Надо. Но это материя. Сражающиеся люди — не материя.

Я не знаю, сколько времени господин Надо был сам на войне; я же не вылезал из войны целых три года и могу сказать, что в наш век без танков, самолётов и снарядов никаким духом не возьмёшь. Так вот, в советском Верховном Совете никто никогда не спросил: а не пора ли кончить посылать оружие в Северный Вьетнам и сколько это стоит? Советская помощь Северному Вьетнаму, может быть, в пять, а может быть, в десять раз превосходит то, что дала Америка Южному Вьетнаму. Но об этом мы с вами

не узнаем никогда. За это заплатили наши колхозники, и они не протестовали, они и не знали.

Теперь совершенно другой вопрос, о «Письме вождям». Моё «Письмо вождям» во многих отношениях было неправильно истолковано здесь. Прежде всего то, что написано в «Письме вождям», не есть никакой универсальный совет для всего мира, это не есть теория: давайте в каждой стране вот такой путь изберём. Это только — с болью в сердце предвидение, что́ произойдёт в нашей стране, если нынешние правители Союза доведут до взрыва. У нас начнётся не социальная революция, у нас начнётся национальная резня, и целые народы лягут в могилы. До того довело советское правительство национальные отношения. Так что речь идёт не о том, что я нашёл блестящий путь, речь идёт о том, как спасти нас от полного уничтожения. По сравнению с полным уничтожением то, что я предлагал вождям Советского Союза, есть некоторый плавный выход без взрыва и без кровопролития. Никто из возражавших мне не предложил ничего практического: а как бы иначе? Андрей Дмитриевич Сахаров возражал: нет, нам нужно сразу демократию! Я жму руку, нам нужна демократия, но откуда мы её возьмём? Вы, Запад, — её нам не дадите. Вам лишь бы самим хоть целыми остаться в этом коммунистическом вихре. А если мы её будем вырывать силой, у нас начнётся полное уничтожение. Остаётся просто Бога молить: Господи, пошли нам завтра внезапно полную демократию! Но Бог не вмешивается так просто в человеческую историю, Он действует через нас и предлагает нам самим найти выход.

Наконец, слово «авторитарный» я очень прошу отличать от «тоталитарного». Авторитарные режимы существовали столетиями во многих странах, авторитарные режимы — совсем не значит беззаконные режимы. В них огромная гамма. И только на самом конце, только в XX веке, только в нескольких странах, родились тоталитарные режимы, причём всякий раз тоталитарный режим рождался не из мо-

нархии, не из авторитарного режима, а только из краха демократии. Так было в России, так было в Германии, так было в Италии, и так сейчас на наших глазах в Португалии. Мы получаем тоталитарный режим, который уже сегодня содержит в тюрьмах в пять раз больше людей, чем было при авторитарных Салазаре и Каэтано. Сегодня в пять, а завтра будет — в пятьдесят раз больше? Мы получаем тоталитарный режим из слабой, неподготовленной демократии.

То, что я предложил для нашей страны и на что правительство не обратило, конечно, никакого внимания, это был всё-таки гораздо лучший путь, чем то, что есть сегодня.

Когда появится последний том «Архипелага ГУЛага»?

Ваш вопрос касается моего больного места. В Америке «Архипелаг» мог быть издан раньше всех, там рукопись имелась на несколько лет раньше остальных стран. Но там потеряно всё время, и сейчас мы находимся в таком положении: третий том «Архипелага» мы могли бы издать по-русски, по-французски, по-немецки — ну, в любой день. Но так сейчас един мир, что как-то нехорошо слишком отрывать издание в одних странах от изданий в таких странах, как Англия и Соединённые Штаты. И мы вынуждены теперь подождать со всем изданием, пока подтянем английский перевод.

Вы называете 50—60 миллионов погибших русских, это — только в лагерях или включая военные потери? И ещё: вы пишете, как много было начальников лагерей, а почему не приводите фотографий и имён большинства, только немногие?

Более 60 миллионов погибших — это только внутренние потери в СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери. 7 миллионов в 21-22 году — голод на Волге, тоже вызванный комму-

нистической революцией. Коллективизация, ссылка в тайгу. Вот всё это вместе. В лагеря — мы думаем, что примерно в лагеря было посажено миллионов около 40.

И если так много людей сидело в лагерях, то, конечно, и много было возглавителей лагерной системы, и много следователей. Как когда-то говорила Анна Ахматова, мы, по крайней мере, наверное можем найти 10 или 5 миллионов виновых во всём этом. И я в своём исследовании пользуюсь каждой возможностью назвать доносчика, назвать следователя, описать отношения с охранниками. Во втором томе уже многие названы, в третьем ещё будут названы. Но, к сожалению, по понятным причинам, советская власть не печатала фотографий ни своих начальников лагерей, ни своих следователей, ни своих убийц, ни своих доносчиков. Стало быть, как же мне этот иллюстративный материал собирать? Например, расстрелянных у нас — несколько миллионов, просто убитых, но я смог только шесть фотографий поместить — только, из миллионов! Принесли мне шесть фотографий. А откуда брать фотографии начальников лагерей? Единственный советский источник был у меня, который я использовал, вот эта книга, вот это знаменитое «евангелие» на все века, «Беломорско-Балтийский канал», вы видите, чего стоит поднять его... кто-нибудь потом попробуйте, сколько весит, несколько килограммов. Вот металлический Сталин выдавлен, это сделано на все века — когда и солнце погаснет, а это должно остаться. Потом это всё, конечно, тщательно уничтожалось в Советском Союзе, но кое-какие экземпляры сохранились. Ну здесь, конечно, открывается Сталиным. А затем с гордостью... да, вот начинается дальше — с гордостью и почётом, когда убийцы думали, что их убийство есть их заслуга, они привели здесь фотографии: с одной стороны — своих начальников, а с другой стороны — рабов. Ну я, конечно, воспользовался этим материалом, я просто привёл всех, кто руководил в те годы всем

ГУЛАГом, и Беломорканалом, производством работ. Не моя вина, что они оказались евреи. Здесь нет никакой искусственной подборки моей, так показала история. В своём споре с коммунистической властью я всякий раз им отвечал: не тогда надо стыдиться преступлений, когда о них пишут, а — когда их делают, и дело историка — привести то, как оно было. Никаких выводов против евреев я сам из этого никогда не делал. Моя же общая точка зрения на отношения наций изложена в сборнике «Из-под глыб». Дело каждого человека — рассказывать о своей вине, и дело каждой нации — рассказывать о своём участии в грехах. И поэтому, если здесь было повышенное участие евреев, то я думаю, что сами евреи напишут об этом, и правильно сделают. История должна писаться объективно на каждом участке её развития.

> Жорж Нива. От русской эмиграции многого ожидают. Появились писатели Максимов, Синявский, Виктор Некрасов. Они избрали Париж центром своей деятельности. С другой стороны, мы знаем, что эта эмиграция старается объединиться, вот создала журнал «Континент». Какая у вас связь с ней и есть ли у вас общий язык?

Если говорить о связанности Парижа с русской эмиграцией — то он гораздо больше связан не с нынешней эмиграцией, которую мы называем «третья», а с эмиграцией «первой», то есть приехавшими сюда в 1920-21 году. Моя работа требует опроса уцелевших свидетелей тех лет, и всё свободное время здесь я провожу в разговорах со стариками по 80, а то и по 90 лет. К сожалению, в Советском Союзе я был лишён возможности, почти был лишён возможности ездить и опрашивать свободно. Мне чинили всяческие препятствия там. И сейчас мой приезд в Париж связан с эмиграцией, но не с новейшей, а с прежней. Что касается «Континента», я бы хотел только исправить несколько оттенок, который зву-

чал в вашем вопросе. В вашем вопросе так звучало, что «Континент» является органом русской эмиграции. Орган эмиграции — да. Я действительно приветствовал создание «Континента», выражая большие надежды на его развитие, и посильно помог «Континенту» создаться, и название ему предложил, которое вот принято,— но именно потому поддержал, что я понимаю его не как орган русской эмиграции, но как соединённый голос всей Восточной Европы. Десятилетиями Восточная Европа смотрела на СССР как на угнетателей. Это мешало взаимопониманию и сотрудничеству русских, с одной стороны, а с другой стороны — Прибалтики, поляков, венгров, чехословаков, югославов. «Континент» задуман как журнал дружбы этих народов и интеллигенции, в надежде, что соединённый голос всей Восточной Европы будет лучше замечен и понят Западной Европой. То, что можно в одной стране свести к национализму, к ошибкам, — нельзя, когда десять народов говорят одно и то же. Ну вот, я полон надежд, что «Континент» сумеет эту большую задачу выполнить. Это, конечно, на первых порах встречает большие трудности, а задача очень высока.

При чтении «Телёнка» меня поразило чувство беспредельного одиночества, которое вы испытывали в период до Нобелевской премии. Но тут же я отметил как будто противоречивое явление: вы пишете, что батальоны людей устанавливали контакты с иностранными корреспондентами, передавали им, без вашего ведома конечно, материалы о вас. Таким образом, мы всегда очень рано были информированы о событиях, связанных с вами. ... По случаю вашего пятидесятилетия, в 1968, достаточно было одной статьи французского журналиста, который узнал об этом через своих советских друзей, чтобы хлынул целый поток трогательных фотографий и поздравлений к вашему первому публичному юбилею.

Однако у меня создалось впечатление, что в вашей книге вы не отдаёте должного тем, кто помогал созданию вашей славы, того, что я, с вашего разрешения, назову «феноменом Солженицына». Мой вопрос сугубо субъективный: действительно ли это так?

Моей славы? — я не воспринимаю лично. Я писал в «Архипелаге», что это наш общий памятник всем замученным и убитым. В «Телёнке» много мест отведено тому, как эти вот записи совещаний и мои произведения подхватывались с молниеносной быстротой. Я там использую часто это выражение «самиздатские батальоны шагали». Эта мгновенность распространения по стране, в особенности по Москве, и передача на Запад, — она у меня очень широко в «Телёнке» отражена. Я думаю, тут какое-то недоразумение, что вы этого не заметили. А история моего пятидесятилетия и внезапная лавина поздравлений — я приношу им большую благодарность и пишу, что каждый из них рисковал. Но вы хотите от моей книги больше, чем я мог бы сделать. Я не пишу историю Самиздата, я очень осторожен в том, чтобы вскрыть какие-то связи с западными людьми, мне, конечно, были известны каналы, но я не имею права их называть. Такие мелочи, как продвижение моих фотографий, ну, это вообще не цель моей книги. Одиночества не было — в том смысле, что общественное сочувствие меня охватывало, но вслух отваживались единицы. На каждый бой я шёл в одиночку. А чем ближе дело касается конспиративных вопросов, тем более осторожным я должен быть. Я сегодня назвал Бёлля, чего раньше тоже не мог сделать. Ну, а кого-то же пока не называю: эта книга требует времени, чтобы появиться полностью. Ну а в самые опасные вещи я вообще никого не посвящал: у тайны есть такое свойство — лучше её никому не знать. Есть такая загадка: много для одного, достаточно для двух, мало для трёх, ничто для четырёх. Это — тайна.

Я хотела бы проникнуть в одну тайну господина Солженицына. Когда он почувствовал в себе впервые литературное призвание? Он мне ответил, что начал писать в 9 лет, но не помнит, какое самое раннее произведение.

И ещё. Мне пришлось бывать в Москве по работе. Я констатировала в ходе разных разговоров, что в Советском Союзе существует та же иерархия, что у нас, и что в некоторых случаях есть даже частная собственность. Ввиду сокращения свободы у нас, в капиталистических странах, не считаете ли вы, что произойдёт сближение условий Запада и Востока?

В перерыве мы отдыхали, но раз вы повторяете ваш вопрос, я могу ответить серьёзно. Я действительно начал писать, сам не зная для чего, с 9 лет. Но понять, понять, что же такое писатель в нашей стране и что я должен делать, я понял только попав в тюрьму. До этого мне всё казалось, что в нашей жизни как-то нет тем, нет сюжетов. В тюрьме я узнал, что сюжетов, наоборот, слишком много. Так вот, поэтому я серьёзную свою работу считаю только с момента того, когда меня арестовали. Поэтому первым моим произведением можно считать лагерные стихи и лагерную поэму. Я вынужденно писал в стихах только для того, чтобы запомнить как-нибудь, в голове проносить.

Теперь ваш второй вопрос. Вы говорите, что коммунизм обуржуазивается, через 50 лет после своего появления. Я должен сказать, что вокруг нашей страны так много легенд и так мало истины, что и здесь вы ошибаетесь на 50 лет. За времена Ленина, в самые первые годы советской власти, коммунистическая верхушка прекрасно устроилась: они имели привилегированное снабжение и условия тогда, когда страна воевала и голодала. Это явление не новое, таким образом, но опять-таки я должен сказать: не надо строить на этом социальную науку. Это всё привычка мыслить, как мы тут говорили, заржа-

вевшим оружием. Те люди, которые взялись установить справедливость уничтожением миллионов, не могли отказать себе в приятных благах материальных. А надежду, что произойдёт слияние, конвергенция двух миров, я советую вам оставить. Процесс, на самом деле идущий во всём мире, гораздо страшней и не обещает такого приятного мирного исхода.

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ В ПАРИЖЕ

11 апреля 1975

Бернар Пивó, ведущий. *Бывало, размечтаюсь: жив ещё Вольтер, или, скажем, Виктор Гюго, и согласились выступить в нашей программе «Апостроф». Увы! Не бывать этому... Ну, и приходило в голову: что, если вдруг согласился бы быть нашим гостем Солженицын... Но — нет, не бывать и этому. Всем известно: Солженицын, телевидение, да ещё в беседе с французскими писателями... Тщетные мечты. И вот сегодня вечером наши мечты сбылись. Солженицын — наш гость!*

Благодарим вас, Александр Исаевич, за ваше согласие почтить нас своим присутствием и принять участие в этой необычайной беседе. Я задам вам сначала вопрос достаточно тривиальный. Вы приехали в Париж в связи с выходом в свет вашей новейшей книги «Бодался телёнок с дубом». Это заглавие очень озадачивает французов. Пожалуйста, поясните нам, что это значит.

Есть такая пословица русская: бодался телёнок с дубом. Как многие пословицы, она иронична по замыслу. Бедный, слабый, глупый телёнок, тебе ли с твоим слабым лбом и с малыми рожками бодаться с могучим дубом, ничего из этого не выйдет. Я взял эту пословицу названием своей книги для того, чтобы выразить то истинное соотношение сил, которое было в моём невольном, навязанном мне поединке с властью за мою литературную работу. Ну, соответственно, если проводить аналогию к этой давнишней пословице, которая существует уже много сотен лет, мы, очевидно, должны представить «дубом» ту могучую власть, которая своими разбросанными ветвями нас давит, покрывает и лишает нас возможности

свободно действовать, а «телёнок» — всякий, кто осмеливается сопротивляться этой силе, пытается сопротивляться ей.

Ведущий представляет писателей, участников дискуссии: Жан д'Ормессон, директор газеты «Фигаро»; Жан Даниель, директор журнала «Нувель Обсерватор»; Жорж Нива, литературный критик, автор работ о творчестве Солженицына; Пьер Дэкс, известный своим отходом от коммунистических убеждений. Затем по просьбе ведущего Пьер Дэкс делает краткий обзор содержания книги, истории тайного писательства, публикации «Ивана Денисовича»; характеризует объём разоблачений «Архипелага». «Телёнка» он считает не менее взрывчатой книгой. Ведущий предлагает д'Ормессону задать первый вопрос.

Д'Ормессон. *Александр Солженицын, вы в первую очередь писатель, большой писатель, и мы вас приветствуем в этой роли. С вашего разрешения, я хотел бы задать несколько вопросов о том, как писатели пишут в вашей стране. Это настолько отличается от наших литературных приёмов, например Жида или Пруста. Когда вы в совершенном отрыве, изолированы... в этом одиночестве есть что-то душераздирающее. И для борьбы с этим одиночеством, для возможности писать вы развиваете свою память, чтобы выучивать наизусть то, что пишете. Можете ли вы нам рассказать, как именно вы это делали и как вам удалось создать ваш литературный труд?*

Вы знаете, меня всё время вела внутренняя пружина. Многие годы, теперь уже можно сказать — 40 лет, от первого замысла моего главного романа, в котором я сейчас немного продвинулся, внутренняя пружина всё время вела меня к тому, чтобы не покладая рук работать. Очевидно, в ней было первое условие. А второе условие, я думаю, если бы я не попал в тюрьму, я тоже стал бы каким-то писателем в Советском Союзе, но я не оценил бы ни истинных задач своих, ни истинной обстановки в стране, и я

не получил бы той закалки, тех особенных способностей к твёрдому стоянию и к конспирации, которые именно лагерная и тюремная жизнь вырабатывает. Так что меня писателем, тем, которым вы меня видите, именно сделали тюрьма и лагерь. Так ли я понял ваш вопрос?

Ведущий. *Думаю, что Жан д'Ормессон хотел бы узнать, как именно вам удалось запомнить целые тома, как вы развивали свою память...*

Видите, удивительное дело, оказывается, человек всякий недооценивает многие свои способности, в том числе память. Я в юности в университете учился, и даже в двух одновременно, учил много, запоминал много, и всё-таки я не представлял себе, какое же богатство в нашей памяти, какие резервы! Я хотел писать, ещё со школьного возраста я задумал роман о нашей революции и тогда же начал его. В 18—19 лет я начал его, и некоторые сцены «Августа Четырнадцатого» уже тогда были написаны. Но потом жизнь меня всё время бросала, мешала. Война, потом тюрьма, лагерь... Ясно было, что продолжать ту свою историческую работу я не могу, и потому что я не могу записать ничего, и потому что я лишён общения с источниками. В лагере что-то надо было делать другое, чтобы не погибнуть душевно, творчески. И я придумал писать в стихах и пытаться их запоминать. Я их писал очень маленькими кусками, ну не больше 20 строк, заучивал и сжигал. Но накопилось их постепенно к концу моего срока 12 тысяч строк. Это уже огромный объём, и мне приходилось, дважды в месяц повторяя, почти что десять дней в месяце повторять, не писать, а повторять. Для этого у меня было маленькое ожерелье, как вот у католика чётки, и он перебирает, значит, каждая следующая бусинка ему предписывает новую молитву. И я так перебирал, и у меня по счёту шло: десятая, двадцатая, тридцатая строка... так до сотой. Я носил чётки в рукавице. Если во время обыска находили у меня, я говорил, что я молюсь,

ну и так, уж ладно мол, пусть молится. Никому оно не мешает, не острое, не оружие, нельзя порезаться. А несколько раз в лагере я попадал так, что написанные отрывки у меня находили, несколько страшных было моментов. Один раз это был отрывок из «Прусских ночей», наше наступление по Германии. Меня спросили — «а что это?», но попался чистый фронтовой кусок, я говорю: «это Твардовский». Так первая наша встреча была с Твардовским. «Твардовский? А тебе зачем?» — «А я так, ну просто память развиваю, вспоминаю, что когда-то читал.» Отдали. А второй раз кусочек пьесы был, «Пир победителей». Я ещё не успел заучить и думал пронести через обыск. Там так — идёт пять человек нас, и пять надзирателей стоит, вернее — надзирателей несколько больше, и вот иногда есть возможность выбрать, смотришь на лица, к кому бы подойти, кто, может быть, тебя будет мягче обыскивать. Иногда угадаешь, а иногда вот ошибёшься: какой-то такой нашёлся, что очень ретиво меня обыскал и нашёл. Посмотрел — «а это что?» Я говорю: «Тут у нас будет драматический кружок, самодеятельность. Мы будем скоро тут выступать на сцене, вот пьеса, кусочек пьесы.» Он сказал: «Дурак ты, дурак!» Взял, порвал это слегка, не сильно, и я боялся, что он бросит на землю. А рядом стоял начальник режима, очень строгий, легко бы всё открыл, в одну минуту. Но, чтобы не намусорить на этом чистом плацу, где они обыск производят, надзиратель мне положил клочки в руку, как в урну, и отпустил. Вот такие случаи были.

Жан Даниель. *Я хотел бы отметить, что во вступлении эту передачу назвали «событием», и я полностью с такой оценкой согласен. Хотелось бы добавить, что это политическое событие. Напоминаю вам, Бернар Пиво, что в последний раз, когда ваша программа была посвящена книге Солженицына «Архипелаг ГУЛаг», вы привлекли к участию в ней политических деятелей... то есть врагов Солженицы-*

на, один из них был член Коммунистической партии, другой — писатель, один из моих друзей, Макс-Поль Фушэ; пользуюсь случаем высказать сожаление, что их нет среди нас, потому что, вы, может быть, помните, у нас был спор и мои доводы прозвучали бы с большей силой в устах Солженицына.

Ведущий. *Когда я вёл переговоры с издательством о выступлении Солженицына, я считал маловероятным, что Солженицын согласится выступать. Мне казалось, что шансы ещё уменьшатся, если будет присутствовать интеллектуал компартии. С другой стороны, мне казалось не более вероятным, что интеллектуал КП согласится участвовать в нашей программе совместно с Солженицыным. Наглядное доказательство — вчерашняя пресс-конференция, на которую был приглашен представитель «Юманите», но он и не думал появиться. Добавляю: поскольку это первое выступление Солженицына по нашему телевидению, слушатели, вероятно, предпочитают послушать самого Солженицына, познакомиться поближе с ним, а не быть свидетелями конфронтации, которая, по всей вероятности, была бы ужасной.*

Даниель. *Ну, знаете... конфронтация внутри каждого из нас, вы не можете её избежать. Я знаю, Солженицын не любит, чтобы о нём говорили как о политическом персонаже. То, что он нам только что рассказал, — совершенно невероятно. Это усилие памяти было возможным, в первую очередь, за счёт его личных свойств. Конечно, тут помогли обстоятельства, заключение, необходимость, этот секрет, тайна, которую он открыл позже, чтобы заговорить от имени миллионов мучеников, этих мучеников, которые без его голоса исчезли бы безымянно навеки. Однако эта тайна, этот секрет — политический факт. Здесь участвует политика: несправедливость, массовые убийства, тюрьмы — это ведь политические факты. Так что какая уж здесь конфронтация... Однако и я очень сомневался, участвовать ли сегодня вечером, и хотел бы сказать об этом Александру Солже-*

ницыну. Я читал вас с невероятной страстностью, получил от вас невероятно много, и я и многие из моих друзей считали вас своим, вы вошли в нашу жизнь, вы участвовали в наших спорах, в наших мыслях, потому что ваши мысли универсальны, и я решил, что, когда я встречусь с вами впервые, я выражу вам глубокую признательность. Но за последнюю неделю, за последние 48 часов, я нахожусь в любопытном положении, заставляющем меня выразить вам лишь свою благодарность. Поясню: не более часа тому назад французское телевидение представило вас не мучеником революции, а пророком контрреволюции. Было сказано — надеюсь, что цитирую правильно, — что вы обвиняете Запад в неумении защитить свою свободу, в частности во Вьетнаме и в Португалии.

И я смущён. Ведь моя борьба за вас, за Солженицына, была борьбой за свободу вьетнамцев и португальцев. С тех пор как вы прибыли на Запад, вы могли бы узнать, что здесь происходило, когда вы были там. И у нас были гулаги, и это — христианский Запад! Запад, «освободитель», осуществлял их. Были ужасные колониальные войны, мы были близки, мы переживали то же самое, а между тем вы, очевидно, не знаете этого. И вот сейчас я спрашиваю себя — перед вами, которому я стольким обязан, — как дальше вести борьбу? неужели вам не мешает, что ваши поклонники и ваши друзья задают себе по этому поводу вопросы, а вы, уверенный, что вы огромная сила, — неужели у вас не бывает сомнений?

Я не понимаю, о каком пророке контрреволюции говорит Жан Даниель. Мне вот эти соотношения — революция, контрреволюция — не нравятся потому, что и та и другая есть насилие одних над другими. В моих глазах тут разницы нет. Революция и контрреволюция для меня одинаково неприемлемы и даже отвратительны, обе, во всякой стране. Этими словами играют. Приходит революция, а следующая за ней, значит, контрреволюция. Но и первая рево-

люция была против прежнего состояния, это вечная игра «правого» и «левого». У меня было два серьёзных выступления этой зимой — в Цюрихе и Стокгольме; по-моему, оба раза я сказал, что не пожелаю даже врагам — революции, ну и контрреволюции. Потому что революция всякая — это вот что такое: пойдём убивать других — и будет хорошо, наступит справедливость. Но если нам действительно надо преобразовать мир, — свои задачи стоят у Востока, у Запада свои, — то ни тех ни других задач не надо решать оружием. Если под революцией понимать динамичное изменение социальной обстановки, такой революции я скажу «да», но при условии, что эта революция не будет физической революцией. То есть социальные условия преобразовать надо, но не насильственными методами. «Пойдём убивать других — и будет справедливость» — надо заменить так: поставим себя в угрожаемое, и может быть смертельное, положение, — и, может быть, тогда наступит справедливость, а может быть и нет. Это условие с самого начала более безнадёжное, но зато оно прекращает длинную эру насильственных революций. Эта эра разодрала у нас два столетия, на наших глазах, и нисколько не улучшила нигде положения, ни в одной стране, только ухудшила.

Даниель. *Я рад это слышать. Я рад, что дал вам возможность это сказать. Но давайте уточним вопрос, — может быть, вам ещё и удастся меня покорить. Вчера вас слушали около 40 моих собратьев, которые все, да, я сказал бы все, были на вашей стороне, но испытали недоумение от ваших слов. Что вы имели в виду, говоря о Вьетнаме? Вы сказали как будто даже с сожалением, что Парижские договоры всё равно будут нарушены. Что Запад, что Америка не используют своей свободы должным образом. Что Запад должен был бы проявить бóльшую твёрдость в переговорах и менее примиренчески принимать договор? Что следовало не уступать коммунистическим силам?*

То, о чём вы сейчас говорите, в моём понимании не имеет ничего общего с предыдущим нашим разговором о революции и контрреволюции. Война во Вьетнаме не носит характера революции или контрреволюции. Война во Вьетнаме уже много лет есть давление динамичного, сильного и неконтролируемого коммунизма, для того чтобы расширять свой объём и занимать новые территории. Мы вот, например, в Советском Союзе, мы благодарны, конечно, за всякую поддержку, которую нам оказывает западная общественность, но я считал бы нечестным с нашей стороны настаивать и просить, чтобы вы нам помогали. Было время, когда у нас было обманное представление, что западный мир так силён и так свободен, что не вытерпит нашего рабства. Но я давно ушёл от этих представлений, — нет, мы не должны просить ни о какой помощи, мы должны сами себя спасти. Распространяя это на Китай и на Вьетнам, я в большом историческом аспекте должен сказать: Запад не должен спасать ни китайцев, ни южных вьетнамцев, довольно будет, если вы сами себя не погубите. А поэтому, будучи последовательным, я не могу обращаться к Западу — помогайте Южному Вьетнаму, спасайте его! Мы обречены своей судьбе и должны с ней справиться сами. Своих соотечественников я к этому и призываю. Но те народы находятся в состоянии ещё более тяжёлом, чем советский. Голос оттуда, подобный моему, Запад услышит, может быть, через 20—30 лет, не раньше. Вы ничего не знаете, что делается в Китае, и мы знаем не больше. Но мы знаем по аналогии, догадываться можем. Это скрыто, вот как вы не знали о нашем Архипелаге, а теперь узнали с опозданием в 30—40 лет. Вот так, и вы не знали, и ваши отцы не знали.

Даниель. *Вы, значит, не знали, что гулаги существуют во всём мире... Разрешите вам сказать...*

Нет, во Франции их нет, позвольте... Во Франции их нет, и в Англии нет...

Д'Ормессон *(Даниелю). Надеюсь, вы об этом не жалеете!*

Даниель. *Кто же может сожалеть, бросьте, д'Ормессон! Я очень рад сегодняшней передаче и только подчёркиваю, что сожалею об отсутствии моих товарищей коммунистов, которые против Солженицына. ... Мы можем рассказать Солженицыну то, что мы знаем о Вьетнаме. С самого начала Индокитай был целью экспансии, и мы виноваты в колонизаторстве до американцев. Все, кто видел, что там происходило, были в ужасе! Запад ничего не сделал для этих вьетнамцев, но можно было поступить, как советовал генерал Леклерк в 1945 году, когда вы сидели в Гулаге, — он сказал, что необходимо договориться с этими коммунистами, которых он нашёл очень резонными и умеренными, и, если б его послушались, мы имели бы дело с Югославией, одинаково отдалённой и от китайских и от русских коммунистов. Вы ошибаетесь насчёт Вьетнама, Солженицын...*

Д'Ормессон. *Тот же вопрос был недавно задан Синявскому в Париже, но не о Вьетнаме, а о Чили. Синявский ответил, что не может ничего сказать о Чили, так как ничего об этой стране не знает. Значит, западная интеллигенция должна была ответить, что ничего не может сказать о России, ничего не зная об этой стране? Это было бы по тому же принципу.*

Жорж Нива. *Возвращаясь к книге «Телёнок»... Пьер Дэкс справедливо отметил, что огромный интерес представляет персонаж Твардовского в этой книге. Добавляю — очень интересно, как в этой книге раскрывается нам по-человечески, выступает из неизвестности «айсберг Солженицына». И между «Одним днём» и этой книгой перед нами появляется как чудо — человек и писатель. Говоря о Твардовском, — в этом писателе, в этом советском поэте, которого Солженицын так любил, есть одновременно интеллектуальная близорукость, неспособность видеть,— и широта. Но это характеризует и генерала*

Самсонова. Чувствуется, что в голове у Солженицына назревает обра́з главного героя Первого Узла. Существует ли связь между тем, что пишет автор о Твардовском, и романом, посвящённым русской революции?

Это очень важное замечание Жоржа Нива. Разные произведения автора скрещиваются в его душе. Конечно, если положить отдельно «Август Четырнадцатого» и отдельно «Телёнка» — между ними никакой нет связи. Но поскольку они написаны оба мною, то я и был связью... Да это с каждым из нас бывает, что вдруг какая-то ситуация или какой-то человек остро напоминает вам другую ситуацию и другого человека. Иногда вы сразу вспоминаете — кого, а иногда смутно, вас это мучит, томит — кого же, кого же?.. А у меня так ещё получилось, что я описывал прощание Самсонова с войсками, это удивительно трогательное прощание, сердечное, хотя оно заменяло его нужные распоряжения командующего, и полезнее было бы, если б он спасал, какую-то часть выводил. Но удивительно в душу проникающее вот это прощание я писал в те самые дни, когда громили «Новый мир» и когда Твардовский, может быть, тактически мог сделать что-то сильнее. Может быть, редакция «Нового мира» могла бы обороняться крепче, но зато душевная широта, которую Твардовский показал, душевная высота, была необыкновенна. И вот я просто вдруг увидел, что... мне стало Твардовского легче понять через Самсонова, а Самсонова через Твардовского, просто они перекрестились у меня в голове и в сердце. У них разное происхождение, воспитание, судьба... А вот не бесконечно разнообразны люди и ситуации, что-то повторяется. И какая-то национальная черта, черта национального характера, здесь повторилась, и нечто личное, и даже физическое — крупность фигуры, и мягкие свойства характера. Это меня потрясло. Только вот выражение «интеллектуально близорукий» я не употреблял бы даже и к Самсонову, и тем более к

Твардовскому. Тут что-то мягче... Вот мы всё время ведём здесь, сейчас... нас прервали острым политическим разговором, ну, может быть и хорошо, что прервали, потому что вот мы снова имеем возможность сравнить, подняться над политикой. Бывает так, как было в этих сходных случаях, замеченных господином Нива: оба деятеля могли действовать в политическом смысле острей, верней и эффективней, но в душевном отношении они поднялись выше этого. И может быть, в конечном счёте, как накопляется человеческая история, вот эти душевные шаги, они дороже, чем прямой физический успех.

Д'Ормессон. *В книге вы упоминаете — и меня это поразило — что вы никогда не чувствовали себя в опасности бесплодия, не испытывали трудности писать.*

Да, но, когда я попал на Запад, у меня очень было это опасение — а что, если я сейчас вдруг перестану писать? Не потому, что давления теперь нет — и я вдруг перестану писать, нет, не поэтому. Давление, — я в начале сказал о внутренней пружине, — внешнее давление не является теперь для меня необходимым, оно меня воспитало, и достаточно этого. Внутренняя пружина никогда меня не оставит, потому что, как из западной литературы известно, — пепел стучит в сердце. Все погибшие люди, все страдальцы, которые не смогли о себе рассказать, — и не только Архипелага, а всей предыдущей нашей истории за 50 лет, — все замолчавшие свидетели, все уничтоженные документы заставляют меня говорить до последней гробовой доски, до самой смерти, раз я имею возможность что-то выразить. Я боялся того, что просто расставание с родной средой, окружавшей меня, русской национальной, и совершенно новая обстановка окажут губительное разрушающее действие на работу. Вот это. И знаете, самой тяжёлой помехой в этом моём первом году была, если так можно выразиться, массовая доброжелательность. Множество людей хотели непремен-

но видеть меня на полчаса, множество людей писали мне письма, с тем чтобы я им ответил ну хоть что-нибудь, ну хоть два слова, присылали мне книги, чтобы я их посмотрел, написал предисловие или отзыв. Я вижу, что положение писателя в открытом обществе так же полно опасностей для работы, как и у нас, только другие опасности. У нас есть такая поговорка, я боюсь её употребить, может, переводчикам будет трудно найтись, — сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют. Всё это принять, всем пойти навстречу — съедят, и нет ни писателя уже, ни человека, ни времени — ничего. А всем отказать — всех обидел. Но если писатель XIX века мог себе разрешить отвечать каждому своему читателю, не было такой массовой грамотности, не было такой быстрой информации, то сейчас я не представляю такого писателя, который отвечал бы на все письма, это невозможно. И вот эта опасность действительно могла съесть мой год начисто, так что я всё бы потерял. Мне пришлось быть невежливым, письма и книги холмами лежат у меня в разных комнатах, мои домашние не справляются с физической работой открывать эти письма. Я уехал в горы и стал работать, но, к счастью, успешно. Я кончил эту книгу и начал следующую.

Д'Ормессон. *Какого мнения вы об этом Западе, в который вы окунулись после стольких злосчастий и который, мне кажется, вы теперь так хорошо узнали?*

Даниель. Вот именно, что — нет!.. Я могу только повторить, рискуя вызвать нетерпение, насколько мне и многим моим друзьям больно, — это не семантический оборот, мне именно больно, что вы, вызывавший в нас столь большое восхищение вашей одинокой борьбой, которую мы все глубоко переживали, — теперь ошибаетесь, не видя, вероятно из-за отсутствия информации, что происходит на Западе и что соответствует вашей борьбе. У нас имела место такая же борьба, как та, которую вы вели.

Это не была борьба с коммунизмом, но борьба с колониализмом, борьба с капитализмом. Но это такая же борьба, как ваша, и для создания общего будущего мы хотели включить вашу борьбу в наше строение. И вот теперь я от вас отчуждён, а ведь я жил вашими книгами и с вами...

Д'Ормессон. *...но ведь вы не побывали в Гулаге...*

Даниель. *... и не претендую на это...*

Ведущий *(умоляюще). Жан д'Ормессон, Жан Даниель, у вас другие возможности выступить вместе по телевидению... мы задали вопросы Александру Солженицыну...*

Даниель. *... в Чили, в Португалии люди вели такую же борьбу...*

Д'Ормессон. *...но всё же не во Франции...*

Даниель *(кричит). А кто говорит о Франции?.. Я говорил о колониализме в Индокитае!*

Д'Ормессон. *...и о капитализме...*

Ведущий. *Хватит, хватит, господа. Александр Сол...*

Даниель. *...Пьер Дэкс меня поддержит, он знает, что я был ближе многих друзей...*

Дэкс. *Вы прекрасно знаете, что в 1946-47 никто во Франции этого не сделал бы...*

Даниель. *Пьер Дэкс, вы меня разочаровываете...*

Ведущий. *Остается всего четверть часа...*

Господа, это так, как, знаете, мяч, надутый воздухом, невозможно утопить. Наш председатель пытался утопить мяч, и на минуту казалось, что мы его утопили, но теперь он снова выпрыгнул наверх. Если осталось несколько минут, вы разрешите? Здесь несколько вопросов всплыло, отчасти от прерванного спора раньше, отчасти от нововсплывшего. Я попробую чуть-чуть ответить; конечно, на всё невозможно.

В е д у щ и й. *На вопрос г-на д'Ормессона о Западе, пожалуйста.*

Да, я сейчас попробую ответить. Господа, конечно, я писатель русский. Моя судьба связана с моей страной, и если бы это был прежний век, то вообще бы мы с вами тут не сидели, и телевидения бы не было, и каждый из нас занимался бы своим, хотя, может быть, ваши французские споры так же бы горели. Разумеется, я никогда не посмею сказать, что мой опыт и понимание Востока в какой-либо мере сравнимы с моей возможностью судить о Западе. Не стану говорить, что знаю Запад глубоко. Но есть две особенности здесь. Первая: Запад с Востока виден лучше, чем Восток с Запада, просто потому, что Восток есть непрозрачная среда, там всё сделано, чтобы не видели вы. Наши корреспонденты никогда не проболтаются, наши «парламентарии» не откроют рта, а только руку поднимают. У нас никто не смеет сказать. Я — один из немногих, и вот вы видите, меня выбросили, а то могли бы колоть уколы... якобы я сумасшедший. Ваше общество освещено — парламент критикует правительство, корреспонденты сообщают всё, что они видят, писатели пишут совершенно свободно, и в результате вы сами себя ставите вот под такой яркий свет, как мы здесь с вами сидим. А Восток — вон в той темноте, вот ничего там сейчас нам не видно. Само собой, удалённость всегда влияет, отсутствие личного опыта всегда влияет, но — неравные у нас с вами условия освещения. Средний восточный человек — не я, и не уехавший сюда, а просто там сидящий где-нибудь — больше различает в Западе, чем средний западный человек различает в Востоке. Это — первое обстоятельство. А второе — что, несмотря на исключительную разность направлений развития Запада и Востока, есть общая огромная историческая закономерность во всём, что делается в мире. Запад и Восток будут дальше развиваться своими путями, и тем не менее это два варианта общечеловеческого

развития. И каждый человек, если ему кажется, что он увидел общую закономерность, может на неё опираться. То есть на основании своего понимания закономерности событий может судить о мире, менее знакомом ему. Вот эти два обстоятельства. Из них исходя, я и выносил суждения о Западе.

Здесь господин Даниель несколько раз упомянул колониализм прежних лет. Я безусловно считаю колониализм позором западной цивилизации, безусловно. И я ясно вижу, что есть, наступает время кары за то время лёгкого торжества, лёгкого господства, и я никогда не стал бы защищать ни одного колониального действия ни одной европейской страны. XX век поставил перед Западной Европой задачу, как не только освободиться от колоний и дать свободу им, но как в себе этот грех изжить. Да, Индокитай не должен был быть французской колонией ни одного дня никогда; да, уход французов из Индокитая после Второй мировой войны был частью всеобщей закономерности, надо было освободиться от этого позорного груза. Разные европейские страны в разных африканско-азиатских по-разному решили этот вопрос. Где это решилось легко и в год, а где 30 лет продолжалось. Колониальная проблема — главным образом моральная. Сейчас, и ещё долгое время, Запад будет страдать от того, что было сделано... расплачиваться за XVIII, XIX век. Никуда не деться. За всё приходится платить всем нам, каждому человеку и каждой нации, и каждому государству. Но в этом частном вьетнамском случае... В наш сумасшедший век процесс налагается на процесс. Наш век сумасшедшим я называю за его темпы. Темпы, которые человек, человеческое биологическое существо, почти не может освоить. Вот как у нас в России за эти пятьдесят лет ни одной проблемы мы не успели обсудить. Только бы обсудить! Одних убили, валится следующая проблема, следующая сверху, следующая... не успеваем осмыслить. Так и тут. Если бы дали Западу такую эпоху — XX век — вот это вам время, освободитесь от колониального на-

следства и приведите в порядок свои дела. Но такого времени Западу не дано. Передержали. Колонии передержали. А в этот момент началось страшное мировое явление распространения коммунизма — насилия, одного насилия — во все места, куда только можно. Итак, не произошло простого освобождения вьетнамского народа от колониализма ни на одну минуту, а сразу — один процесс на другой. Колониалисты должны уйти, а новая могучая сила — тут же схватить. Если Вьетнам освобождается как колония, то не будут восьмидесятилетних старух нести на себе, и не будут хвататься за пузо самолёта, и плыть в лодке по океану, — нет, здесь явление гораздо страшнее и сложнее.

Закончу мысль. Я не говорил — «Запад, помогайте Вьетнаму; Запад, спасайте Китай или Россию, или ещё кого-нибудь». У Запада много своих проблем. Дай Бог вам правильно свои проблемы решить! Но при этом разрешите быть реалистами. Да, Парижское соглашение было карточным домиком, вот как дети, маленькие дети, в карты даже не играя, складывают две карты так, две так, и пятая сверху. Я жил в то время в Советском Союзе — и не только я, ну просто все люди, с которыми я говорил, знал, все удивлялись, не понимали — что за великий дипломат Киссинджер? Ясно было, что если нет контрольной комиссии, если в ней нет одного нейтрального члена, который перевешивает голосование, это вообще не соглашение. И ясно, что если бы сегодня Южный Вьетнам наступал на Северный, то стоял бы гром в небе, что Южный Вьетнам нарушил перемирие, а теперь Северный наступает, — и английский «Нью Стейтсмен» пишет: «Скорей бы это кончалось, ну скорей бы это там умиротворилось и национально объединилось!» То есть скорей бы нам вообще этой проблемой не заниматься. Иностранцам предлагают скорей уезжать из Вьетнама и из Пномпеня — мы, мол, за вашу жизнь не ручаемся... И уезжают. Уезжают свидетели, уезжают те люди, которые могли бы увидеть, что будет после того, как

войдут войска-победители. И значит, на 30 лет откладывается рассказ о тех расстрелах, которые там произойдут, и о том, сколько миллионов человек загонят в коммунистические лагеря восстанавливать весь Вьетнам. Я говорю на основании нашего опыта, мы эту закономерность до того хорошо видим, что я осмеливаюсь утверждать это, господин Даниель! Я второй день уклоняюсь от вопросов г-на д'Ормессона — что я думаю о Западе, потому что я не изучением Запада занят главным образом. Но когда я вижу, что происходит процесс мне известный, а во Вьетнаме происходит процесс совершенно мне понятный, то я смею говорить с ответственностью о том, что там происходит.

Ведущий. *Приятная новость, дирекция продлила время на четверть часа.*

Даниель. *Я всё же хотел бы сказать вам, Александр Солженицын, что на самом деле женщины, старики и дети бегут от коммунизма по самым разным причинам: страх, нежелание — почему бы и нет — стать коммунистами. Но до этого, и до того, как будут созданы эти лагеря, о которых вы знаете только по аналогии, имели место страшные американские бомбардировки, и об этом стоит напомнить. Те, кто пережили бомбардировку, знают, что это такое.*

Но я хотел перейти к другому вопросу, это не будет полемика. В ваших книгах русский народ представляется окаменелым. Я не замечаю перемен, не вижу прогресса, который можно было бы считать пусть неадекватным, но всё же движением. Я не вижу перемен в России, русский народ как будто продолжает быть жертвой той же эксплуатации, как в начале революции. Разве промышленное производство не дало плодов, разве этот продукт не распределён хоть немного, разве нет надежды на постепенное освобождение? В ваших произведениях русский народ как будто немного застыл.

Второй вопрос касается вашей книги «Бодался

телёнок...». Здесь русский народ как-то начисто отсутствует, и трагедия происходит между интеллигенцией и властью. Может быть, я ошибаюсь...

Второй вопрос — это как-то не вопрос, по-моему. Ну, так построена вещь, что же я тут могу сказать. А первый я не совсем понял — почему русский народ представляется вам окаменелым? Вот, например, солдаты «Августа Четырнадцатого», вот, например, глава «Замордованная воля» из 4-й части «Архипелага» — тут просто неузнаваемо, это два разных народа. Я ещё не успел всего написать, но я думаю, ясно видно — вот два разных народа. Внутренняя жизнь Архипелага — это ещё особенная жизнь, я думаю, что описал её многогранно, и там даже есть, прослеживаются и отдельные судьбы, и обязательные этапы каждой судьбы, то есть тоже развитие, от ареста и через всё, что дальше с людьми случается. Так что я этого выражения вашего не понял. Или вы хотите спросить, как сказывается промышленное производство на сегодняшнем духовном состоянии нашего народа? Никак, по вложенным затратам народ получил ничтожно. Но вы сегодня несколько раз подчеркнули, что я вас огорчил, разрешите один раз сказать мне, что и вы меня огорчили, вот этим вопросом. Много ошибок наделано в истории всего мира с XVIII века именно потому, что чрезвычайное внимание придавалось распределению и использованию материальных благ, и считалось, что, как только мы накормим, напоим и разделим правильно, — начнётся рай на земле и самая лучшая жизнь. Весь дух моего «Архипелега» в том, что, лишённые не только еды, не только одежды, но даже почти надежды на жизнь, люди вдруг испытывают великий душевный подъём. И вот одно из моих мнений о Западе, которого добивается господин д'Ормессон, что, переполненные материальными благами, почти топча материальные блага, как это в основных странах Запада, — люди вдруг душевно слабеют. Вот я живу в Швейцарии, я обездоленных

не видел. Я вижу — каждый швейцарец, самый последний, по сравнению — ну, не с верхушкой советской, конечно, а со средним советским гражданином, — богач. Но я повторяю, мы никогда не выберемся из всеобщего кризиса нашей жизни, если будем молиться на этого идола — промышленное производство. Вот вам промышленное производство — сегодняшняя западная инфляция. Разве она имеет экономические основания? Понятна была инфляция в России после революции и в Германии после Первой мировой войны. Безумно взвинчивались цены — умрёт ребёнок, если не купишь куска хлеба и стакана молока. Сегодня Запад ходит по благам, топчет их — и инфляция. Разве под этой инфляцией экономическая причина? Нет — психологическая! Люди потеряли самоограничение и сдерживающий центр, людям всего хватает — вот так, а хочется больше. А вдруг у другого уже больше, а у третьего ещё больше? Нет, я их попробую оттолкнуть и постараюсь раньше захватить из общественного пирога! Инфляция — разве это не позор сегодняшнего западного мира? Быть сытыми — и чтобы все цены непрерывно росли, и чтобы шла драка. Это ужасно! Так вот я хочу сказать...

Даниель. *Прекрасная критика противоречий капитализма!*

Ведущий. *Я хотел бы задать очень краткий вопрос. Что мне бросается в глаза в «Телёнке» — как Солженицыну удалось в 60-е годы разрушить тот «золотой уют», которым власть окружила и удушила советскую литературу. Считаете ли вы, что со времени вашего изгнания круг возможностей советских писателей замкнулся еще плотней? Или ваши книги, напечатанные здесь, когда-нибудь вдохновят других писателей использовать подобные методы? Толкнут на открытое выражение своих мыслей?*

Я бы мечтал и надеялся, чтобы это было так. То есть я даже уверен, что многие могут повторить

подобный опыт борьбы, потому что, ну кто знал меня 13 лет назад? — никто, ничего, ноль. И от того ноля я сам рос и отстаивал себя; стало быть, и каждый может с ноля, а если он уже не на ноле, а уже стоит на уровне, тем более бороться! Я только должен сказать, что ослабления режима литературы официально, сверху, не произошло, как не ослабились и преследования других видов интеллектуальной деятельности. Недавно английские психиатры подсчитали, на основании каких-то данных, что у нас в стране, в Советском Союзе, 7 тысяч человек инакомыслящих насильственно лечат в психиатрических больницах. 7 тысяч человек! Это значит 7 тысяч раз утром, 7 тысяч раз днём и 7 тысяч раз вечером, каждый день, вкалывают вещества, разрушающие мозг и губящие человека. 7 тысяч газовых камер каждый день работают, пока мы здесь спорим о мировых проблемах. ...Вот видите, к счастью, иногда мы знаем имена... да, да, Плющ! Мы знаем нескольких человек, о которых, к счастью, можем говорить. Но помните, но помните, что мы должны и остальных не забывать, что речь идёт о 7 тысячах человек. Я написал в «Нью-Йорк Таймс» осенью об одной рязанке, ну просто тронула как землячка моё сердце, тоже из Рязани. Там ужасный у нас завод, который отравляет всю Рязань. Построили для быстроты... Отравляет всю Рязань, а потом же это распространяется по всему миру, так что в конце концов отравляется и Париж, и Нью-Йорк, и всё. И эта девушка написала письмо в Организацию Объединённых Наций о том, что надо что-то делать. Её посадили в сумасшедший дом. И никто бы никогда не узнал Светланы Шрамко. Но она притворилась, что полностью раскаялась, что она просто по дурости, ничего не понимала. Её отпустили. Она бросилась в Москву и позвонила по телефону корреспонденту «Нью-Йорк Таймс», и всё рассказала, за что и как её посадили. Ну всё, телефоны подслушиваются. С тех пор Светланы Шрамко на свете нет. Нет сомнений, что её сегодня так же колют, она

в этих 7 тысячах. Но вот она сумела хоть имя своё назвать, а остальных мы и имён не знаем. Вот почему я не говорю предположительно, а твёрдо знаю, что лагеря в Южном Вьетнаме — будут, и твёрдо знаю, что сегодня у нас разрушают, — меня особенно эта пытка поражает, — каждый день разрушают мозг, разрушают вообще человека. Плющ, прекрасный математик, молодой и честный человек, превращают его уже не в человека.

Ведущий. *Наша передача подходит к концу. Последний вопрос: какое слово в русском языке вам дороже всего? Какое слово — мир? счастье? Бог? свобода?*

Какое слово?.. Вы знаете, я думаю, что писателю задавать такого вопроса нельзя. Вся моя жизнь проходит среди слов, и когда мне удаётся минуту дохнуть свежим воздухом, то я беру выписки из русских словарей и перебираю эти слова как драгоценности, и каждое кажется мне таким прекрасным, что не хочется от него... До свиданья, до свиданья!

ПАСХАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КАНАДСКИМ УКРАИНЦАМ

3 мая 1975

Дорогие мои братья, канадские украинцы!
Христос Воскресе!

Привелось так, что я попал сюда на нашу с вами Страстную неделю и Светлое Воскресенье и могу обратиться к вам по канадскому радио в этот общий для нас великий день.

Я сказал — дорогие братья, здесь несколько смыслов: как все христиане мы братья, и ещё особенно как православные. Но, кроме того, во мне большая доля украинской крови, моя мать была почти полная украинка. Мой дед по матери — единственный мужчина в семье за смертью моего отца — был украинец, погиб в ГПУ. Его живая речь и жизненные наставления на украинском языке до сих пор живы в моих ушах. Я сам не говорю бегло на украинском, но понимаю всё.

Поэтому об украинской судьбе я не думаю как о посторонней, но как о собственной своей, — я никогда не забывал никаких страданий украинского народа, особенно страшный великий голод его, унесший 6 миллионов жизней.

Об этом голоде писал американский корреспондент Томас Уокер, но западные газеты отвергли его корреспонденции. Я недавно напомнил французской прессе о бесчувственности Европы к страданиям украинского народа.

Со многими украинцами из Галиции я сидел в каторжных лагерях и тем более сроднился с ними. Много моих друзей осталось там, на Западной Украине. Обо всём этом будет скоро в третьем томе

«Архипелага ГУЛага»; жаль, что его ещё не читают по-украински, надо переводить.

В наше страшное время, когда Запад потерял мужество, и разум, и трезвость, ослабел духом, отдаёт коммунизму и атеизму на погибель страну за страной, — будем крепиться в нашем горьком опыте, и в нашей христианской вере, будем поддерживать друг друга, этого ждут наши народы и весь мир.

Храни вас Бог на чужбине, пошли Он всем нам силы и веру.

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ КОМПАНИИ NBC

Программа «Встреча с прессой»

Нью-Йорк, 13 июля 1975

Лоуренс Спивак, ведущий.
Хедрик Смит, «The New York Times».
Норман Казенс, «The Saturday Review».
Питер Лисагор, «The Chicago Daily News».
Билл Монро, «NBC News».

Спивак. *Наш гость сегодня на «Встрече с прессой» — получивший в 1970 Нобелевскую премию по литературе Александр Солженицын.*

Господин Солженицын был выслан из родной ему России в феврале 1974, через два месяца после опубликования на Западе его книги «Архипелаг ГУЛаг». Господин Солженицын, живущий сейчас в Швейцарии, заканчивает теперь месяц пребывания в нашей стране.

Монро. *Господин Солженицын, вы критиковали американскую политику торговли и детанта с Советским Союзом. Что вы скажете о вероятности того, что именно эта политика торговых, политических и культурных контактов, ведущая к постепенному ослаблению напряжённости, сделала возможным внутри Советского Союза то, что вы назвали две недели назад* происходящим теперь там освобождением человеческого духа?*

Освобождение человеческого духа, молодых поколений от хлама коммунизма, это освобождение началось задолго до того, как вы стали употреблять

* Здесь и дальше ссылка на речи А. Солженицына, произнесенные в Вашингтоне и Нью-Йорке по приглашению американских профсоюзов АФТ—КПП, см. т. 1.

слово «разрядка», и не имеет к нему ровно никакого отношения. Это освобождение началось в результате внутренних процессов изживания коммунистической тирании, её духовного одряхления. А я в своих речах последних, на которые вы ссылаетесь, говорил, что вы невольно, — а может быть, кто-то и вольно, — не помогаете этому освобождению, но, наоборот, помогаете закапывать нас живыми в землю, ибо вы помогаете тем, кто нас угнетает. Вы создаёте им условия более безнаказанного угнетения там, внутри.

Монро. *Господин Солженицын, вы стояли за то, что можно назвать «жесткой» политикой с Советским Союзом, но, когда Конгресс США попытался воспользоваться торговыми ограничениями, чтобы добиться более свободной эмиграции евреев, это, по-видимому, произвело обратное действие, и теперь число евреев, которым разрешают эмигрировать, значительно уменьшилось. Возможно, вмешательство Соединённых Штатов в то, что Советы считают своими внутренними делами, принесло больше вреда, чем пользы?*

Нет, не так. Сказать, что эта политика, попытка повлиять на эмиграцию, принесла вред, — неверно. Я бы сказал, она не имела успеха потому, что она была, напротив, недостаточно настойчива и, главное, недостаточно широка. Разрешите вам напомнить, что в 1973 году, прежде поправки Джексона, готовилась поправка Вильбора Милза, которая была так сформулирована: не вести торговлю с Советским Союзом до тех пор, пока там не наступит свобод. Затем, по некоторым — мне не совсем понятным — обстоятельствам, она сузилась, сильно сузилась и свелась к поправке Джексона. Тем самым вопрос о 250 миллионах в Советском Союзе, или даже я бы сказал шире — о всех подкоммунистических подданных, о Восточной Европе, — был сведен к вопросу о десятках тысяч людей, желающих выехать. Оттого что оно так сузилось, это требование и стало

менее успешным и менее принципиальным. И кроме того, в ходе этих двух лет Советский Союз нашёл другие дополнительные источники займов и поддержки западных капиталистов, не именно американских, и обещанное соглашение уже не так много ему давало. Так что ошибочности не было в этой политике, но она была слишком узка, она должна была, наоборот, быть шире и настойчивее.

Смит. *Во время нашей последней встречи в Цюрихе вы сказали мне, что в России вы сами цензурировали некоторые из ваших главных произведений, чтоб иметь возможность опубликовать их в Советском Союзе. Могли бы вы сказать миллионам американцев, прочитавших ваш «Раковый корпус» и «В круге первом», что́ именно вы опустили, почему, и когда они смогут получить возможность прочесть те части, которые им не пришлось прочесть.*

«Раковый корпус» не подвергся никогда никаким изменениям. Он напечатан в истинном виде, только очень жалею, что это было в такое время, когда я не мог влиять на выбор переводчиков, он переведен плохо, вот в чём беда. А что касается «Круга первого», то — да, существует истинная редакция, с другим стержнем, с тем истинным сюжетом, который был в жизни. Этот истинный сюжет является даже историческим событием, но я не мог его представить в легальной редакции романа, который предложил «Новому миру». Если бы я принёс её Твардовскому, он совсем бы уже ничего не мог с ней делать. А так он всё-таки делал попытки напечатать «Круг первый» в Советском Союзе. Эту истинную редакцию я непременно представлю английскому читателю, но сейчас просто не успевают переводить и издавать все книги, которые у меня уже готовы. Так получилось, что переводчиков на английский — высокого класса и заинтересованных в этой работе — мало. Например, на французском уже намного больше напечатано моих книг, чем на английском.

Смит. *Мне кажется, вы говорили, что в «Августе Четырнадцатого» опущена глава о Ленине. Когда мы её увидим?*

Непременно. И я думаю — довольно скоро. Ленин — один из главных персонажей, да трудно даже так сказать, он почти стержень исторического произведения о русской революции. И непременно вы скоро познакомитесь с упущенным и с продолжением следующего Узла. Непременно.

Казенс. *Вы сказали в одном из ваших интервью, что страну и её народ можно наилучшим образом узнать через великую книгу. Какая великая книга, написанная в Соединённых Штатах, дала вам возможность понять Америку и американский народ?*

Я не совсем так сказал. Я говорил о том, что опыт исторических переживаний целых периодов лучше всего переносится от народа к народу при помощи искусства. Вы, очевидно, имеете в виду мою Нобелевскую лекцию? И поэтому, если какому-нибудь народу возможно избежать повторения тяжёлого опыта другого народа, то, вероятно, легче всего предупредить его, сказать ему — через искусство, в частности литературу. Я имел в виду в Нобелевской лекции совсем не личный опыт, не свой личный. Целиком передача опыта от народа к народу. Странным поворотом судьбы наша страна, Россия, несмотря на свою экономическую и техническую отсталость по сравнению с Западом, была ввергнута в такие духовные переживания, в такие духовные тяготы и рост, что имеет сейчас опыт — я твёрдо уверен — передовой в мире. То, что может сообщить наша страна Западу, это есть голос из будущего. Вот это я имел в виду в своей лекции.

Казенс. *С момента прибытия в Соединённые Штаты вы предостерегали американский народ относительно его связей с Советским Союзом. В вашем недавнем письме русскому народу вы также предо-*

стерегали его от западных идей, от связи с Западом, я полагаю, и с Соединёнными Штатами. Какие западные идеи, помимо марксизма, вы имели в виду, предостерегая русский народ?

Я очень огорчён, мистер Казенс, что вы, во-первых, неверно называете вещь, которую имеете в виду, и, во-вторых, неверно её истолковываете. Письма моему народу я не писал и даже бы не осмелился стать в такую позу — письмо народу! Я писал письмо группе вождей Советского Союза, — вероятно, вы имеете в виду это? Я ни словом не предостерегал против вообще западных идей. Всё письмо моё имело смысл по возможности вырвать их из плена марксизма. Я понимал, что шанс — не то что процент, а процент от процента от процента. Но такую попытку я хотел сделать. Письмо моё, к сожалению, на Западе было до такой степени неверно истолковано, с такой странной поверхностностью и поспешностью, что меня даже не удивляет, что сегодня, через полтора года, вы так говорите. Я маленький пример приведу. Главное, к чему я призывал наших вождей, — убраться со всех оккупированных территорий, освободить всё, что мы захватили. И тогда западная пресса вышла под заголовками: «Солженицын — империалист». Ну вот в таком духе истолковывают и всё моё письмо.

Лисагор. *Господин Солженицын, американские должностные лица, включая президента, говорят, что советское правительство не обманывало Соединённые Штаты в связи с соглашением о вооружении. Однако в вашем недавнем выступлении здесь, в Нью-Йорке, вы сказали, что правительство США постоянно обманывают, что Советы незаконно пользуются радаром и неправильно показывают размеры ракет и боевых головок. Какие у вас доказательства этому, которых нет у американских должностных лиц?*

Спросите у ваших ядерных специалистов. В частности, вот совсем недавно господин Лерд, бывший

военный министр Соединённых Штатов, опубликовал статью, из которой я взял эти данные. Если он не специалист, то странно, что он был вашим министром. Весь дух советских дипломатов, когда они ведут переговоры, есть дух — не допустить контроля, не допустить проверки, оставить простор для своих комбинаций. Это настолько известно, это так проверено десятилетиями, что здесь не надо и сомневаться. Я всё время подчёркиваю, что подписи наших руководителей не гарантированы решительно ничем, кроме улыбок. Не гарантированы ни общественным мнением, ни общественным контролем, ни прессой, ни парламентом, и в любую минуту их можно зачеркнуть. Стало быть, надо контролировать очень строго. Эти данные вы можете взять у господина Лерда, журнал только что вышел.

Лисагор. *Да, я знаю об этой статье. Я хотел бы задать вам вопрос в связи с вашим «Письмом вождям Советского Союза», в котором, как говорят, вы заявили, что западная демократия находится в большом упадке, возможно в последней степени упадка. Если это цитировано правильно и вы считаете, что демократия в упадке, — а нам известна ваша точка зрения на коммунизм, — за какого рода политическую систему стоите вы? Стоите ли вы за возврат в России чего-либо подобного благожелательному царю?*

Я подчёркиваю, что «упадок» было применено в моём «Письме вождям» по отношению к воле, к воле государственных деятелей и к воле целых государств. Если целые государства капитулируют перед группкой, двумя-тремя бандитами, я думаю, вы согласитесь, что это не к чести, не к достоинству таких государственных деятелей. Если не успевают террористы поставить требование — и канцлер Западной Германии спешит доставить им убийц на освобождение, я думаю, вы согласитесь, что это не может служить свидетельством крепости, воли у руководителей, да и расцвета строя. Если некоторые

европейские страны находятся в затяжных правительственных кризисах, когда судьба страны решается маленькой-маленькой партией, вот на какую чашку весов она ляжет, согласитесь, что это не может свидетельствовать о расцвете этих государственных устройств. Однако я неоднократно выставлял и пример Швейцарии. Демократия — самая старая на земле, насколько мне известно, она находится в полном расцвете, она великолепно функционирует, она, я бы сказал, бесшумно функционирует, без всяких попыток дать что-нибудь скандальное, сенсационное, почти даже неизвестно, кто и что там делает, а всё идёт своим порядком, отлично работающая машина! Таким образом, я не говорю, что демократии находятся при конце, а что они — в упадке воли, упадке духа и веры в себя. И цель моя — вдохнуть в них эту волю, вернуть им эту твёрдость или призвать их к этой твёрдости. Далее вы употребили слово «возврат» по отношению к тому, что я мог предложить. Речь вообще не идёт ни о каком возврате. Возвратов в истории не бывает. Речь идёт о том, что мы — всё человечество — подошли к важнейшему поворотному моменту истории, такому важному духовному повороту, который возвышается над всеми политическими вопросами, о которых мы здесь говорим. И этот духовный поворот не есть движение назад, а есть движение по спирали, это некое возвышение. Я мог бы развить эту мысль, но я боюсь нарушить ваш темп разговора.

Спивак. *Господин Солженицын, позвольте задать вам вопрос. Президент Форд выразил желание встретиться с вами, и я знаю, что многие американцы хотели бы слышать ваш ответ. Хотите ли вы повидаться с ним?*

Вы знаете, мистер Спивак, здесь какое-то вообще недоразумение со всей этой историей о моём посещении или непосещении Белого дома. Я — не гость американского правительства, я приглашён в Соединённые Штаты не американским правительством,

а Американской Федерацией Труда — Конгрессом Производственных Профсоюзов. И моя цель была — обратиться не к американскому правительству, а к возможно более широкой аудитории — к американской общественности. Я в высшей степени благодарен мистеру Мини за то, что он дал мне такую возможность. Правда, телевидение, в том числе и ваше, не очень эту возможность поддержало, но скоро Американская Федерация Труда напечатает эти речи, и я надеюсь, что их прочтёт американская общественность. Это и было моей целью, а вовсе не обращение к американскому правительству. Сейчас я имею приглашение от группы сенаторов. Сенат Соединённых Штатов проявил ко мне чрезвычайное внимание, особенно в последние полтора года, я с благодарностью это приглашение принял и во вторник должен встретиться с сенаторами в Капитолии.

Спивак. *Вы теперь пробыли в этой стране месяц. Изменило ли ваше пребывание здесь в какой-либо мере ваше общее впечатление от Соединённых Штатов?*

Да. Оно расширилось, углубилось, наполнилось соками. Я очень рад, что приехал не сразу в Вашингтон и не сразу в Нью-Йорк, что я сумел проехать три штата на дальнем западе и четыре штата на востоке. Вот на основании этих семи штатов, на основании того, что я видел в провинциальной Америке, я чрезвычайно воодушевился, я увидел силу вашего народа, щедрость, великодушие, большую уверенность в своих возможностях, и эти возможности, может быть, даже ещё больше, чем ваши люди думают. Да, я очень рад, что совершил эту поездку, она дала мне осязаемое представление о Соединённых Штатах.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»

21 июля 1975

С тех пор как я второй уже раз уехал из Вашингтона, в печати были сообщения, что Белый дом переменил намерение, меня хотят видеть.

Но среди многих противоречивых объяснений, почему эта встреча не состоялась раньше, было и такое: что президент Форд предпочитает «существенные» встречи, а не «символические». Я вполне разделяю эту точку зрения: символическая встреча никому не нужна.

На днях президент Форд уезжает в Европу, чтобы подписать (впрочем, заодно с руководителями западно-европейских государств) — предательство Восточной Европы: официально признать её рабство навсегда. Вот если бы я имел надежду отклонить его от этого договора — я и сам добивался бы встречи с ним. Однако такой надежды нет. Если 30-летний разгул мирового тоталитаризма президент приводит как образец *мирной* эпохи — то какова почва для разговора?

ПИСЬМО ИЗ АМЕРИКИ

В редакцию
«Вестника Русского Христианского Движения»

Ваш журнал в своём № 114 поместил большую сплотку статей и материалов, посвящённых церковным разногласиям в русской эмиграции — тем, которые так ускорили нынешнее безнадёжное раздробление и обезличение её. Эта сплотка статей много способствует прояснению проблемы и, ещё более, — намерений всех трёх церквей.

А за последние месяцы мне ещё досталось и много личных церковных встреч на американском континенте. И под слитным впечатлением моих встреч и вашей публикации я и пишу это письмо. (Особенно — для русских читателей в метрополии, лишённых возможности личных наблюдений.)

Тут, в Америке, с несомненностью (для меня неожиданной) узнаёшь: нынешняя Православная церковь Америки действительно стала церковью *этого континента*, а не — русской эмиграции, рассыпанной по нему. (Да, впрочем, частью Зарубежной Русской церкви она никогда и не была.) Прихожане этих храмов, даже и русские по происхождению, в большинстве считают себя устойчиво жителями этого континента, окончательно — гражданами Канады или Соединённых Штатов, и даже при благоприятном развитии судеб России вряд ли найдут в себе силы и желание возвратиться туда. И сперва непривычно, затем естественно кажется, что Россия и вообще не упоминается в ектеньях, и только у пожилых священнослужителей с немалым чисто русским опытом выплывает ещё:

«... и о страждущей земле Российской и верных чадах её, в отечестве и в рассеяньи сущих».

Если добавить, что всё чаще молитвословия и песнопения произносятся по-английски (для уха нашего необычайно, но и очень красиво), так что знакомая православная служба всё больше принимает звучание англицизированное, или, скажем, международное; если оглянуться, как много среди прихожан лиц разных наций, в разное время занесённых на этот континент, — то как бы ты ни был привержен к нашему привычному старославянскому (пусть не во всяком чтении понятному) возвышенному тексту и каким бы не подготовленным к этим новизнам ты ни вошёл в храм, — нельзя не порадоваться здешнему развитию, нельзя не признать за ним будущего. В западное христианство, которое застаёшь тут, на Западе, таким слабым, редеющим, таким робким перед духом развязного наступчивого века, — русское и южно-славянское изгнание, непредумысленно для людей, влило струю христианства, более жизнеуверенного, чем некоторые здешние ветви, и привлекает сердца многих западных людей, рождает и расширяет новую область православия — западную, и, видимо, с немалым будущим. Сюда уходят все главные и (со смертью старшего поколения эмигрантов-прихожан) молодые слои Православной церкви Америки. Быть может, они выполнят великую необъятную миссию (совсем неожиданный результат октябрьской революции...).

Силу этого сердцевластного укоренения православия на американском континенте ещё ярче видишь на Аляске. Вселенское разлитие православия, тот принцип, что «православие выше нации», который мы слышим сейчас в дискуссии, — здесь проявились несравненно. Они охватывают тебя в аляскинских храмах, где священник-алеут и дьякон-индеец ведут знакомую нам православную службу (по-английски, по-алеутски, по-индейски, по-русски или переходя с языка на язык) и такие же индейцы, эскимосы, алеуты сосредоточенно молятся. Силе

этого укоренения подивишься, узнав, что более четверти века — от русской революции и ещё после Второй мировой войны — весь этот край, все эти туземные приходы оставались без православных священников, без всякой связи с какой-либо церковной властью, и все эти четверть века испытывали на себе настойчивое миссионерство других церквей и сект — и никому не поддались, но терпеливо совершали сами возможные без священников моления, а на вопрос приезжего или начальства — «кто ты?» — не называли себя по нации, но всегда: «Russian Orthodox». (Именно на Аляске начинаешь понимать, как могла увлечь людей сердечность православия, так явная при сравнении, например, с протестантизмом.) И иначе: по глубине и долготе воздействия на жителей Северо-Запада Америки от конца XVIII века и до сегодняшнего дня приходится признать, что та культура, принесенная из «отсталой» России, оказалась духовно выше того «лучшего» из нынешней телевизионно-машинно-ширпотребной культуры, что могут предложить им современные Соединённые Штаты. Однако принесём дань уважения: американские федеральные и аляскинские штатные власти, ежегодным торжеством отмечая покупку Аляски, вместе с тем бережно и ревниво сохраняют все следы прежнего русского присутствия здесь, не глушат их нисколько, — и если был упадок в сохранении церковных и старорусских ценностей, распродажа книг, запустение старого архиерейского дома, то в значительной степени и по небрежению позднейших здешних епископов, не русских. Сейчас при содействии властей начато восстановление.

Именно на Аляске, куда православие притекло *двести* лет назад и никогда позже отсюда не уходило, чувствуешь историческую основательность его уже сроднённости с американским континентом — ещё задолго до второго входа, с восточного побережья Штатов, задолго до приезда сюда епископа Тихона, будущего всероссийского патриарха, задол-

го до революции и до возникшего в умах формалистического вопроса: о праве православия независимо существовать на этом континенте.

Но даже и для тех, для кого двухсотлетняя православная жизнь здесь — недостаточная каноничность (до 1917 на территории Америки и греки подчинялись русскому Синоду), — могло бы быть достаточным каноническим основанием то, что в 1922 митрополит Платон был назначен патриархом Тихоном управлять всею североамериканской Церковью. По известному затем трагическому пресечению реальной и канонической преемственности в Московской Патриархии — почему назначение 1922 года не было самодостаточно? Платон в своей американской митрополии был, во всяком случае, несомненнее каноничен, чем всероссийский патриарх 1943 года, избранный на псевдо-всероссийском соборе под дирижёрство того самого сталинского пальца, который указывал, каких епископов расстреливать. Так созданная Московская Патриархия никак не более канонична, и вся эта затея — именно из её рук получить автокефалию Американской церкви — с течением времени всё более будет выявляться как ошибка.

Но ещё большей ошибкой представляются формы, процесс получения этой автокефалии и последствия его. Первоначальный (составленный в США митрополитами обеих сторон) проект соглашения был затем (в Москве) изменён в пользу Московской Патриархии, ею удержан ряд приходов в Штатах и в Канаде (чем подрывается смысл полученной автокефалии), типичный коммунистический подмен-обман на переговорах, — и епископ без русского опыта подписал это подменённое соглашение. Автокефалия была получена — и не получена: ни возвышения каноничности, ни покрытия всей американской территории, ни даже полной независимости в действиях: если какой-либо приход в Америке сам желает вырваться и перейти в Американскую Православную церковь, то эта автокефальная по-

местная церковь запрашивает Московскую Патриархию о согласии! И вовсе уже не каноническим промахом, но духовным пороком видятся спросы о «совете», «дружеские связи», «духовный обмен» — не с подлинной русской Церковью метрополии, не с глубинами её, но — с присланными агентами в рясах, ибо, как можно бы понять давно, каждый посылаемый в такую поездку должен пройти одобрение КГБ. Если б это общение носило бы характер *обличения* — так ведь нет... Уж получив-то, худо ли, хорошо, автокефалию — начать и вести бы себя автокефально.

Но так или иначе, Американская Православная церковь очевидно и бесповоротно стала на свой путь, и будущее её — в той степени и силе, как сумеет она сохранять и распространять православие в наступающие смутные десятилетия американского континента, где много-много разных церквей — но и несомненный духовный вакуум.

«Православие выше нации» — повторяют её (и парижские) деятели в дискуссии с Зарубежной Русской церковью, — и положение это теоретически безупречно, хотя при нынешнем церковном состоянии непоследовательно проводится. Говоря об объединении не прямом, но через вселенскую полноту, и даже как бы о надмирном соединении в молитвах (а это уж не только православие, это и всё христианство, тут наше православное вопиющее разделение как бы затирается, забывается), — как же при взятом обещании вселенской полноты Американская Православная церковь закрывает глаза на неполноту у себя на континенте, как может забыть:

— о старообрядцах (именно на этом континенте теперь и собравшихся, о них ниже) и

— об Украинской Православной церкви?

Имея в виду вселенскую полноту в будущем — как же сегодня (десятилетние сегодня!) не искать сердечного пути к самым соседним братьям?

Об Украинской Православной церкви никто из спорящих трёх направлений даже и не вспоминает,

будто и на Земле её нет. Как раскол трёх церквей безнадёжно раздробил эмиграцию, так отчуждение от Украинской Православной церкви углубляет разъединение между русскими и украинцами во всём мире. Если искренне стремиться к мировому объединению православия — почему же так долго не сделать первого шага навстречу украинским братьям? — уже не тем униатам, которых в 1915 приводили к «правоте» едва ль не огнём и мечом. Распространяя православие на сотни англичан, французов, американцев — отчего ж даже не искать контактов с православными украинцами на этом же континенте, рядом?

Вспомним, как та Церковь родилась. Часть украинцев-униатов на американском континенте, тяготясь некомпетентным католическим (здесь — французским) руководством, вступила в 1918 году в переговоры с архиепископом Русской Православной церкви в Америке о *возврате* своём в православие — лишь с условием отдельного в Канаде епископа-украинца (подчинённого Русской церкви), священников-украинцев и богослужения по-украински. И соглашение уже налаживалось, но в 1919 было расстроено архиепископом Александром (Немоловским) по соображениям национального высокомерия. Тогда украинцы эти обратились за покровительством к митрополиту Сирийскому — и так создалась их отдельная нынешняя церковь. Так отвергнуты были украинцы по принципу «нация выше православия». Но настаивая сегодня на принципе противоположном — как же не пытаться тот прежний грех исправить?

(Высокомерием нашим, несоразмерным с наступившей горькой порой, мы и самой Украине в те годы отказали в автономной митрополии — и осиротелых растерянных украинцев толкнули на их сердечно-трогательный дособорный «александрийский», древний христианский способ всенародного избрания епископа: руки народа, положенные на плечи впереди стоящих, те — ещё вперёд, те — на

плечи священников, а священники — на плечи одного протоиерея, избираемого епископом. Как бы ни презирали этот способ формалисты-канонисты, но нельзя без душевного волнения представить себе эти выборы «соборно-правной» церкви: в них есть простота тех первых рыбаков с Галилейского озера, и я не могу в них почувствовать неправоты перед Христом. В такой же осиротелости и растерянности мы когда-то оставили и староверов, не заботясь, как они обойдутся веками без иерархии.)

И вот показательно: нынешние в Америке украинские церкви — православная и католическая — не только не состоят во взаимной вражде (как три наших русских православных), но даже в торжественных общественных случаях (заседания Світового Конгресса украинцев) устраивают сослужения. Они — разноверием не раскалывают своего народа. Возможно ли представить такое у нас?..

В противоположность Американской Православной церкви церковь «парижской» юрисдикции никогда не считала себя поместной. Она всегда была и есть — церковь русской эмиграции, до тех пор, пока эта эмиграция ещё жива, ещё сохраняется отдельной национальной группой. (Её расширение на европейцев за последние годы есть новый процесс.) В достижениях своих богословов и теоретиков она поднялась на большую общечеловеческую высоту, обогатила мысль не только русскую — но и поныне ей не оставалось другого жребия, как соотносить себя с матерью-родиной и ждать конечного слияния с ней. Это чувство корня, вероятно, содействовало и её ошибкам — преждевременному импульсу слиться, вернуться, когда такой возврат ещё невозможен и ложен. Так она ставила себя в положения, что её митрополита приезжал «отрешать» митрополит из Москвы, или, ещё хуже: вселенский патриарх отказывал ей в покровительстве и вгонял подчиняться Москве.

У Зарубежной Русской церкви при том же чувстве корня решение было всегда противоположное:

не уступать ни советской власти, ни подвластной Московской Патриархии ни в чём никогда ни на волос. И это многодесятилетнее, на Западе всё более одинокое, горькое твёрдое стояние не может не вызывать уважения в наш расслабленный век.

У сердца — свои законы. Не всё можно ему охватить по широте, не от всякой узости оторваться. И когда Зарубежная Русская церковь обвиняется в русской *узости*, я должен её защитить. Безо всякой теории: пока Россия измождена и распята, я, придя в храм, об этом забыть не могу, и даже тем более здесь, в эмиграции, не могу, и хочу приобщиться к молению о том, чтоб она воспряла. И когда в цюрихском церковном подвальчике перед неполным десятком прихожан престарелый о. Александр (Каргон) с задышкою и страданием в голосе — ежеразным страданием — произносит: «о еже избавити люди Твоя от горького мучительства безбожныя власти», — я вздрагиваю (потому ли, что невозможно услышать такое в московском храме?), вспоминаю реально, в тысячах лиц, наших людей под безбожной властью, и мне кажется, из этого немноголюдного подвальчика струится вверх немалая часть нашего будущего освобождения. Когда же в мощном просторном храме при многих русских и на русском языке я слышу прошение о королеве Елизавете, — я, при всём к ней сочувствии, не вздрагиваю, ибо знаю, что мало угроз на небе её.

В напечатанных «Вестником» статьях есть справедливые упрёки Зарубежной церкви, есть и несправедливые, как, например, что именно она — наследница иосифлян, или что она — последовательно политична, а с государством, де, не надо ни дружить, ни враждовать. (Из европейской безопасности так можно написать, но кто э т о государство на себе изведал, уверенно возразит вам: с *сатанинским* государством, когтящим наши души, н а д о враждовать, и т о л ь к о враждовать, ибо оно — центральное земное посольство Отца Зла, а другим оно и не было за 60 лет.) Ближе к истине укоряют За-

рубежную церковь, что она настаивает на неразрывной (и неестественной) связи своей с государством — бывшим российским и будущим, мыслимым лишь как прямое восстановление бывшего. Здесь накладывается демонстративная, за полстолетия уже и чересчурная, преданность Зарубежной церкви — династии Романовых, даже и той ветви её, чей родоначальник с красным бантом приветствовал Февральскую революцию. (Свидетельствую для тех, кто так исповедует: среди сегодняшнего реального русского народа в СССР такие претензии могут вызвать насмешку. Не Россия отреклась от Романовых, но братья Николай и Михаил отреклись от неё за всех Романовых — в три дня, от первых уличных беспорядков в одном городе, не попытавшись даже бороться, предавши всех — миллионное офицерство! — кто им присягал.) Но этот демонстративный легитимизм я считаю исправимым искажением Зарубежной Русской церкви — пережитком её непреклонного противостояния большевизму. Из-за этого неуклонного стояния, что главная боль её — «узкая», вот эта русская, и смысл существования её не может быть иным, как возврат в Россию при первой же возможности, — доля её за 60 лет и была так горька, и будущее её может быть даже безнадёжно.

А есть пословица: отколе ненастье — оттоле и вёдро. Значит, откуда тучи пришли, оттуда должно проблеснуть и голубое небо. Я думаю: именно Россия, распахнувшая в мир адовы врата, именно она только и способна попытаться их закрыть. За полтора года изгнания я ещё более убедился, что *таких* мощных рук и *такого* умудрённого сердца на Западе нет: все здесь так расслаблены благополучием и в таком увлеченьи за увеличением его, что: или мир погибнет скоро, или противоадовы руки найдутся только на порабощённом Востоке. Для мировой истории XX века Россия — ключевая страна. (В тяжёлые минуты Парижской архиепископии, в начале 1966 года, кстати, не письмо ли Якунина-Эшлимана

помогло ей отшатнуться?) Оттого приверженность русским проблемам получается не такая уж узкая, а даже и всемирная. И это вовсе не «национализм».

Но сегодня возникает сомнение: церковь, внесшая даже в своё название принадлежность «русская», действительно ли поныне остаётся бесповоротно связана только и именно с русской судьбой, с судьбой народа и церкви в метрополии? За последнее время и ею ведётся активное привлечение, например, американцев — как бы в параллель и в соревнование с Американской поместной церковью, что, кажется, противоречит функциям обеих церквей, хотя и не может быть воспрещено. Сегодня возникает вопрос: не начинают ли все три заграничные русские церкви служить международному развитию православия, оставив русский жребий в себе доминирающим? И это — тоже не может быть осуждено, и у церкви «парижской» даже, может быть, немалые здесь перспективы. Сегодня, судя по составу как «парижских» приходов, так и «зарубежных», ещё более — по жизненным настроениям, возрасту, состоянию прихожан, — не много возникает надежд, что эти люди только и рвутся вернуться в Россию, в том видят свою судьбу. И приходы Зарубежной церкви в таком сравнении не оказываются «русее», и приходы «парижской» — не более западными.

Я думаю, этот вопрос надо отчётливо просветить самим себе прежде всего. Тогда не будет многих ненужных усилий, и отпадёт много искусственных противоречий и споров. Тогда все наши заграничные церкви будут трудиться по распространению мирового православия, а русские церковные судьбы решатся вполне независимо от них нашим 70-миллионным православным миром.

Если же остаётся, хотя бы в группах, порыв воротиться в Россию, как только это не будет значить — в лагерь, — то такого возврата ещё надо быть достойным. Из десятилетий свободы нельзя вернуться без духовного приношения.

Но Россия там, под чугунной корой, много и силь-

но развивается за последние 20 лет. И всё зарубежное, что хочет оставаться русским (не только Церковь), должно успевать развиваться тоже. Были десятилетия — неуступчивое стояние против большевизма в мире, подданном обману, было доблестью. Но вот Россия духовно перестояла большевизм, изжила его, в ней уже сегодня духовно строится будущее, — и кто за рубежом хотел бы не отстать, к тому будущему примкнуть — должен сегодня искать свои доступные пути развития, духовного возвышения.

И тут так ясно *объединяются*, а не разъединяются непрерывно и сердито спорящие юрисдикции. Перед ними — два духовно возвышающих шага видятся мне, и оба они — в раскаянии. (Всё будущее всех народов — в раскаянии, или скоро — ни в чём вообще.)

Один — взять на себя, и покаяться, и искать путей неповторения: что русская Церковь в роковую для родины эпоху допустила себя быть безвольным придатком государства, упустила духовно направлять народ, не смогла очистить и ощитить русский дух перед годами ярости и смуты. И если посегодня сатанинский режим душит страну и грозит задушить весь мир, то из первых виновных в этом — *мы*, русские православные. Никто из русских священнослужителей за рубежом уже не виновен в том лично — и *все* разделяют этот наследственный грех русской Церкви. Так не сюда ли лучше направить всю силу анализа и блеск аргументов, которые сегодня истрачиваются в мелких бесцельных спорах?

Второй, ранее того, — наше безумное — бесовское! — гонение старообрядцев.

Без этих двух истинно церковных и друг другу причинно наследовавших грехов — не в России бы родился современный терроризм и не через Россию пришла бы в мир ленинская революция: в России староверческой она была бы невозможна!

Два таких последовательных раскаяния сотряс-

ли бы, но и оживили бы к развитию наши заграничные церкви, дали бы им тот духовный импульс, которым только и восполнили бы они своё неучастие в сегодняшнем развитии России.

Увы, ответ митрополита Филарета не подал больших надежд. Он и сегодня упрекает старообрядцев в дробленьи на секты (да *мы* же, нашей суетой, а потом жестокостью, поставили их в это положение!), в неразвитии «настоящей святости» и даже утере «каких-либо признаков православия». Тут — и незнание их, и безучастность к ним.

Этих оставшихся старообрядцев надо видеть — их крепость, их убеждённость, их самоотверженные ночные моления (нам уже непосильные), их жизненное мужество и решимость — то 200-летнюю жизнь в Турции, то за одно поколение, без языков и без знания этого мира, переезды всеми семьями — по десятку детей! — из Китая в Бразилию — из Бразилии в Штаты — и ещё теперь в Аляску, спасая этих детей от развратного дыхания века. Видеть, как сохранился их национальный облик, народный нрав, и слышать их сохранённую исконную русскую речь. Нигде на всём Западе и далеко не везде в Советском Союзе почувствуешь себя настолько в России, как среди них.

Но они — затравлены и напуганы нами. Они — и христианами *нас* почти не почитают, иные приходы и в притворе своего храма не разрешают нам перекреститься ни по-своему, ни по-ихнему, — а русские Церкви одна за другой так и быть дозволяют им — присоединиться к нам... Непроходимое непонимание.

Кажется странным: начинать развитие в XXI век с покаяния в грехе XVII-го? Но наши вины велики или малы не по давности их и не по числу сегодня уцелевших обиженных (старообрядцев было 12 миллионов, ныне их, может быть, во сто раз меньше), — а по объёму и значению совершённого когда-то преступления. Что преступление было — оспорить никто уже не найдётся. Христианам ли

доказывать, что без покаяния невозможна никакая христианская жизнь и никакое движение к свету? Мистическое значение такого покаяния в 300-летнем грехе даже трудно предсказать, оно расширяется за пределы церковной политики, практики, оно может открыть такой же поворот в истории нашей страны, каким повернуло нас изначальное их гонение...

Три заграничных ветви православной Церкви ежедневно по многу раз воссылают моления «о соединении всех святых Божиих церквей» — и не объединяются? Ан вот и осталось такое ясное объединяющее: чем спорить да корить — друг в друга всмотреться: ба! да все мы — *свои*, все — никониане! Все вместе мы поныне разделяем и одобряем великие преступления против древнего православия — и это соединило нас навек (хоть и обрекло вечно разъединяться). Все три наших новообрядческих ветви, при всех их достоинствах и различиях, едины в том, что пренебрегают растоптанным староверием, древним православием Сергия Радонежского. И неужели мы думаем, что, не упавши земно просить прощения у него (один архиепископ Антоний Женевский после Собора призвал близко к тому), — какая-нибудь из трёх ветвей, будь она преблистательна теоретическим арсеналом, может прийти к торжеству веры?

А у церкви Американской старообрядцы живут прямо на её территории все. Неужели это — не Указание?..

В перспективе столетий ничтожными покажутся все нынешние различия «юрисдикций», но всё более будет расти и расти тень того великого церковного преступления, с которого началась гибель России.

Июль 1975

ЗАЯВЛЕНИЕ О СУДЕ НАД ВЛАДИМИРОМ ОСИПОВЫМ

25 сентября 1975

Владимир Осипов пытался строго легальными средствами бороться только за сохранение русской культуры. Он ни разу — ни прямо, ни косвенно — не выступил против советского режима. Тем не менее его судят. Все могут видеть: и как ненавидит советский режим традиции собственного народа, и чего стоят его заявления о разрядке.

На Западе до сегодняшнего дня безграмотно и беспечно взаимозаменяют слова «советский» и «русский». На самом деле эти слова прямо противоположны по смыслу.

КОНФЕРЕНЦИИ НАРОДОВ, ПОРАБОЩЕННЫХ КОММУНИЗМОМ

Страсбург, 27 сентября 1975

Шлю мою дружескую поддержку вашей попытке выразить слитный голос Восточной Европы в парламентском центре Западной, ещё удерживающей свою шаткую свободу. Единство народов Восточной Европы, быть может, последняя надежда этого континента. Ещё не рухнувший Западный мир в своей устоявшейся надменности не замечает, как опускается и опускается он со всех ступеней реальной силы и умственного влияния, развиваясь в провинциальный угол планеты. Вот уже и голоса Восточной Азии добавились к голосам Восточной Европы, но мир, не изведавший глубин страдания,— глух, пока удары этого истребления не поразят его самого наповал.

Мы с вами знаем, что коммунизм не есть чьё-либо национальное изобретение, но — органическая гангрена, заливающая всё человечество. Беспечной и безграмотной подменой слова «советский» на слово «русский» ещё и сегодня относят преступления и новые замыслы мирового коммунизма к народу, пострадавшему от коммунизма раньше всех, дольше всех и вместе со своими тесными братьями по горю, народами СССР, потерявшему от насилия *шестьдесят шесть миллионов* человек! (Не считая *сорока четырех миллионов* — от пренебрежительного ведения войны. — *Курганов*.) Наученные муками, не дадим нашим национальным болям превзойти сознание нашего единства! Настрадавшись от лютого насилия — никто из нас никогда да не применит его к соседям; будем искать формы отношений выше, чем знает современный мир: не взаимного терпения, но — взаимного великодушия.

Я желаю вам успеха в этом сплочении угнетённых наций и в расширении числа тех, кого вы представите в будущем. Даже только эмиграция из порабощённых стран составляет — миллионы. Соединясь друг с другом при полном доверии, не позволяя себя усыпить расслабляющей эмигрантской безопасностью, никогда не забывая наших братьев в метрополиях, — мы составим и голос и силу, влияющую на ход мировых событий.

ЗАЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРИСУЖДЕНИЕМ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА А. Д. САХАРОВУ

9 октября 1975

Я сердечно поздравляю Андрея Дмитриевича Сахарова с Нобелевской премией. Этой деятельности он отдал не только годы, но и здоровье.

Я поздравляю всех тех угнетённых в Советском Союзе, чьи права укрепит эта премия.

Я поздравляю Нобелевский Комитет, что он вошёл в истинное понимание *мира* — как антитезы насилия.

СООБЩЕНИЕ ПРЕССЕ О ПРИТЕСНЕНИЯХ И. Р. ШАФАРЕВИЧА

14 октября 1975

Сообщаю вам и прошу опубликовать, что член-корреспондент Академии наук СССР всемирно известный математик профессор Игорь Шафаревич сейчас, в расцвете творческих сил, отстранён от чтения лекций в Московском университете, где преподавал 30 лет. Это — репрессия за его активную общественную деятельность в сахаровском Комитете прав человека, в защиту преследуемых инакомыслящих, и публикацию в Самиздате и на Западе статей на общественные темы (сборник «Из-под глыб»).

ШЛЕССИНДЖЕР И КИССИНДЖЕР

«Нью-Йорк Таймс», 1 декабря 1975

Никогда не забуду ту боль за Америку (так все называют у нас Соединённые Штаты), то недоумение и разочарование, которое пережили мы, множество бывших солдат Второй мировой войны и бывших советских зэков, при убийстве президента Кеннеди, хуже — при неспособности или нежелании американских судебных органов открыть преступников и объяснить преступление. Такое у нас было ощущение, что сильной, щедрой, великодушной Америке, столь бескрайне пристрастной к свободе, — шлёпнули грязью в лицо, и так осталось.

При несхожести событий — очень сходное чувство испытал я при внезапном смещении министра Шлессинджера — столь твёрдого прозорливого ума. Ощущение снова: оскорбили Америку.

Я понимаю, что президент Форд действовал вполне конституционно. Но беда той системе, для управления которою достаточно и выгодно сообразовываться лишь со своими личными или партийными избирательными интересами. Есть и выше юрисдикции — благородство. Есть и кроме юридической правоты — благоразумие. Благородство — хотя бы по отношению к союзникам: ведь министр обороны Соединённых Штатов не просто член американского правительства, он — фактически отвечает за оборону всего свободного мира. Дружественно было бы — прежде получить согласие ото всех союзников. Благоразумие — о ходе дел: чехарда лиц на таком посту может только расшатывать оборону страны. (Было замечено, *кто* радовался событию.)

Это смещение молва связала с другим именем. Иронией истории имена почти срифмованы.

Находясь прошлым летом в США, я уклонялся от прямых вопросов прессы об оценке личности министра Киссинджера. Сегодняшнее его торжество и до сегодня ещё распространённое ослепление по поводу его деятельности побуждают меня высказаться прямо.

Защищая свою политику безостановочных уступок, Киссинджер как заклинание повторяет один и тот же аргумент: «пусть наши критики укажут нам альтернативу ядерной войне!». Вот эта фраза больше всего и разоблачает Киссинджера, а именно: что он — менее всего дипломат.

«Alter» значит по-латыни — «другой из двух», альтернатива — выбор из двух возможностей. Это понятие научное, но даже и научные ситуации часто знают гораздо более обширный выбор. Дипломатия же — не наука, а искусство, одно из искусств человековедения. Строить её на «альтернативе» — это самый грубый низкий уровень. Искусство — не знает альтернатив в себе, оно бы развалилось, если бы развивалось в двух возможностях. Нет, всякий раз оно имеет тысячу их. Всякое искусство имеет спектр возможностей, клавиатуру, и с древних времён по нынешние искусство дипломатии состоит в том, чтобы играть на клавиатуре. Сколько великих дипломатов прошлого выигрывали переговоры даже с пустыми руками или при недостатке сил, при военной слабости и ничего не уступая, не платя, — превосходя противника только интеллектуально, психологически! Вот это и есть — дипломатия!

Г-н Киссинджер всё глушит нас угрозой «а иначе — ядерная война!», затемняя, что та же самая ядерная война *равно* (пока ещё сегодня, до новых успехов г-на Киссинджера) висит и над его противниками, — и в этой равной обстановке, под той же угрозой, его противники всё время выигрывают, а он всё время только уступает. Поучился бы он у своих противников: как же они в ядерную эпоху — да так успешно действуют? Ответ был бы: изучают психологию г-на Киссинджера.

Какой поворот: США первые ввели ядерное оружие в мир — и *от этого* стали слабей, и от этого должны теперь отдавать мировые позиции?

Я — отказываю г-ну Киссинджеру не только в жизненном опыте, дающем знание психологии коммунистических деятелей, отчего за столом переговоров он — как бы с завязанными глазами. Я — отказываю ему и в том высоком дипломатическом интеллектуальном уровне, который ему приписывается. Это — не дипломатия, если приходить с перевесом сил за спиной, с избытком материальных средств в кармане, во всех переговорах уступать, всем платить и так создавать неравновесные временные площадки для перехода к дальнейшим уступкам. Знаменитое соглашение о Вьетнаме, величайшее дипломатическое поражение Запада за 30 лет, лицемерно и очень удобно для агрессора подготовило беззвучную сдачу трёх стран Индокитая, — неужели крупный дипломат мог бы не видеть, какой карточный домик он строит? (Советская пресса, в ярости против Сахарова, обругала его Нобелевскую премию «верхом политической порнографии». Она промахнулась направлением и опоздала на три года: эта ругань была бы применительна к Нобелевской премии, разделённой между агрессором и капитулянтом в Парижских соглашениях.) Сходное тревожное ощущение шаткости производят и ближневосточные соглашения г-на Киссинджера, хотя тут нет той открытой капитуляции, которой был обречён Вьетнам под тем же пером.

Г-н Киссинджер не признаёт, что уступки вообще делаются. Оказывается, «западные страны и не ставили задачи идеологической разрядки» (то есть и не пытались устранить холоднейшую из холодных войн — а что же тогда?). Или (15 авг. 75): «не мы занимали оборонительные позиции в Хельсинки». Прошло 3 месяца, спросим: а к т о ж е?..

Самый процесс сдачи мировых позиций таков, что носит характер лавинный: на каждом следующем рубеже трудней удержаться и надо сдавать всё

больше. Это видно по новой обстановке на целых континентах, по небывалому вылазу СССР в юго-западную Африку, по голосованиям в ООН.

Сам г-н Киссинджер всегда имеет запасной выход — перейти в университет читать юнцам лекции об искусстве дипломатии. Но у государства США (как и у тех юношей) — запасного выхода не будет.

Есть ещё излюбленный аргумент г-на Киссинджера: «В ядерную эпоху, — говорит он, — не забудем, что и мир — нравственная категория.» Да это справедливо и не только в ядерную эпоху, уж вот далась она г-ну Киссинджеру! — но если верно понимать *мир — как противоположность насилию*, а не считать достижением мира камбоджийский геноцид и вьетнамские лагеря. А мир, который терпит любые свирепые формы насилия и любые массовые дозы его над миллионами, лишь бы это ещё несколько лет не касалось бы нас самих, — такой мир, увы, не имеет нравственной высоты даже и в ядерную эпоху.

ОБРАЩЕНИЕ К РУССКИМ ЭМИГРАНТАМ, СТАРШИМ РЕВОЛЮЦИИ

Дорогие соотечественники!

Уже много лет я направляю свои усилия литературно воссоздать историю революции в нашей стране. Минувшие годы России и сама она утоплены ещё с предреволюционных лет — в оболганиях, искажениях и укрытиях. После революции методически сокрывались или уничтожались все материалы и головы свидетелей, хранящих правду. Несравненны для всякого исследователя трудности сбора материалов о том времени. Но десятью-двадцатью годами позже разыскивать истину будет ещё безнадёжнее. Живых современников той бурной поры остаётся всё меньше. А эпоха так изменилась, что даже черты быта, обычаев, житейских представлений — почти невозможно реконструировать по сегодняшнему времени: отдаление как бы больше истинных 60 лет.

Но и нельзя признать дело уже необратимо погубленным. Я надеюсь на вашу помощь, кому сегодня больше 65—70 лет. Многие из вас уже слабы или плохо видят, или условия вашей жизни неблагоприятны, отчего даже несколько страниц воспоминаний написать — для вас большой труд, да часто кажется и ненужным, раз политики, генералы и учёные эмиграции уже написали и опубликовали свои книги. Но это не так: свидетельство каждого из вас — бесценно, если верно выбрать, о чём каждый может рассказать.

Я очень прошу вас: совершите над собой такое усилие для восстановления прошлого России. Напишите, кто сколько в силах и знает, — 2 страницы

или 100. Дорог всякий человеческий материал — и даже тем более, чем дальше он от великих событий, а ближе к простой жизни. Не ограничивайте себя ни темой, ни формой. Это может быть — последовательная ваша биография. Или отдельные эпизоды из неё, которые кажутся вам примечательными. Или характеристики других людей, которых вы знали (совсем не обязательно — исторических и прославленных), кто запомнился вам своим характером, суждениями, манерой выражаться или каким-нибудь случаем из своей жизни в те времена.

Время событий, которые я собираю, — 1917—1922. Но так как в жизни человека всё прожитое наслаивается воспоминаниями и опытом, то эпизоды и всех предыдущих лет также будут очень полезны.

Места́ событий, более всего важные для меня: Петроград, Москва, Могилёв, Рязань, Тамбов и Тамбовская губерния, Новочеркасск и Дон, Ростов-на-Дону, Пятигорск-Кисловодск. По этим местам мне дорого было бы описание любой деревни, хутора, имения, городского района, здания, заведения, местного обычая, местного деятеля, — даже самых малых чёрточек. Однако и факты многих других местностей почти всегда содержат достаточно признаков, общих для всей страны.

Выделяю просьбу не упустить сообщить мне всё, вам лично известное, наблюдённое, крупное или мелкое, обильное подробностями или крохотное (не общее описание событий, которое уже было опубликовано, а частные воспоминания):

— о февральской революции в вашей местности;
— о петроградской жизни весны-лета 1917;
— о развале русской армии в 1917 (картины фронта и тыла);
— о Москве лета-осени 1917, и особенно о московских октябрьских боях;
— о большевицком мятеже в июле 1917 в Петрограде;

— о корниловском выступлении, если оно отразилось в вашей местности;
— о железных дорогах времён революции и гражданской войны;
— о жизни в Советской республике до конца гражданской войны («военный коммунизм»);
— о жизни при белых;
— о русской деревне революционных лет вплоть до голода 1921;
— о гражданской войне на Северном Кавказе и новороссийской эвакуации.

Я заранее кланяюсь в пояс всем, кто откликнется для общего дела.

Цюрих, декабрь 1975

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ЛЕ ПУЭН»

(Интервью ведёт Жорж Сюфер)

Цюрих, декабрь 1975

Обращаясь к памяти — какой первый образ возникает у вас перед глазами?

Ну и вопрос... Дайте подумать... Вот, вспоминаю. Я в церкви. Много народа, свечи. Я с матерью. А потом что-то произошло. Служба вдруг обрывается. Я хочу увидеть, в чём же дело. Мать меня поднимает на вытянутые руки, и я возвышаюсь над толпой. И вижу, как проходят серединой церкви отметные остроконечные шапки кавалерии Будённого, одного из отборных отрядов революционной армии, но такие шишаки носили и чекисты. Это было — отнятие церковных ценностей в пользу советской власти.

Где это происходило?

В церкви целителя Пантелеймона в Кисловодске, рядом с нами, где меня и крестили. В этот раз мне было, очевидно, года три с небольшим.

Ваши противники скажут, что вот тогда вы и были травмированы...

Скажут, кто не знает, что судьба в течении жизни посылает нам знаки. На это судьба со мной не скупилась. Хотите знать, когда она мне опять послала знак?

Конечно.

Мне было шесть лет. Мы с матерью в Ростове-на-Дону поселились в конце почти безлюдного тупика. Одна сторона его — стена, огромная стена. И я прожил там десять лет. Каждый день, возвращаясь

из школы, я шёл вдоль этой стены и проходил мимо длинной очереди женщин, которые ждали на холоде часами. В шесть лет я уже знал. Да все это знали. Это была задняя стена двора ГПУ. Женщины были жёнами заключённых, они ждали в очереди с передачами.

Долго ли вы это видели?

Ежедневно, в течении десяти лет, что мы там прожили. И даже два и четыре раза в день.

Когда вы говорите, что люди знали, — осуждаете ли вы их за покорность перед террором?

Нет. Я хочу только пояснить разницу психологии 20-х и 30-х годов. Между 1920 и 1925 старый мир был ещё недалёк. Все прекрасно помнили, как было раньше. Никто не осмеливался говорить вслух, но все ещё сравнивали. И почти все понимали, что настоящий режим угнетения — тот, который только что внедрился, а не тот, что был прежде.

А в 30-е годы?

Положение изменилось. Подросло новое поколение. У него не было личной памяти о дореволюционном времени. И оно принимало толкование инструкторов комсомола: «Арестованные и высланные — это контрреволюционеры. Нам приходится уничтожать заразу старого мира. Революция была единственная надежда бедняков, и она всё ещё под угрозой врагов. Поэтому не сомневайся и сразу доноси на врагов. Доносчик — герой.» Заметьте последовательность: одно логично вытекает из другого и ведёт к оправданию доносчика.

Ну а предшествующее поколение?

Многие молчали. Другие погибли в тех же лагерях. Партия взяла на себя роль отца. А мы, дети, слушались. И вот под конец школьных лет и в начале университетских моё направление изменилось:

все воспоминания, все тревоги детства — я их как бы забыл. Я стал сочувствовать этому молодому миру. Мир будет такой, каким мы его сотворим.

Как же вам удалось вытеснить из памяти воспоминание очередей перед тюрьмой ГПУ?

Есть ли на земле существо более сложное, чем человек? На самом деле я ничего не забыл, но меня понесло течением.

А что вас привлекло в марксизме? Рациональность? Стремление к справедливости?

Безусловно, обещание справедливости. Мне казалось, что, возможно, она проявится, когда наша устремлённость преодолеет трагедию эпохи.

Что вы вспоминаете, представляя своё детство?

Лишения. Боюсь, что вам, французам, несмотря на пережитый вами опыт войны и немецкой оккупации, это слово мало что говорит. Тем более что мы знали лишения не только в пору детства. Ничего не изменилось и когда я вырос. До сорока лет я ничего не знал, кроме достойной нищеты. С конца 1918 года, года моего рождения, и до 1941 я не знал, что такое дом. Мы жили в хибарках, туда всегда проникал холод. Всегда не хватало топлива. Воды в доме у нас никогда не было, приходилось идти за ней далеко с вёдрами. Пара ботинок или один костюм служили годами. А питание! Теперь, после голода 30-х годов, нам уже всё кажется сытно. Мы привыкаем, и все лишения нам кажутся естественными.

Когда вы стали на сторону режима, играла ли в вашем восприятии, сознательно или подсознательно, какую-то роль идея родины?

Осторожно! Напоминаю вам, что до 1934 сам термин «патриот» считался в России преступным. Всё русское постоянно подвергалось презрению в выступлениях, в прессе. Эта официальная ненависть

к России кажется теперь чем-то невероятным? Однако она существовала. Поворот произошел в 1934, неожиданно, по тактичеоким соображениям. Конечно, он завёл вождей гораздо дальше, чем они сами того хотели. Оказалось, что патриотическое пламя всё ещё горело в сердцах людей под пеплом. Власть хотела нескольких регулируемых вспышек — а потом уже не могла остановить.

Что вы читали, когда вам было около двадцати лет?

Всех или почти всех русских писателей. И большинство французских писателей XIX века в переводах. Библиотеки наши переполнены классиками.

Знали ли вы уже, чему вы посвятите жизнь?

Да. Почему-то знал уже с девятилетнего возраста, что буду писателем. Я задумал мою большую книгу о революции («Август 14-го» и последующие Узлы), когда мне было 18 лет. И потом никогда от этого замысла не пришлось отказываться. Я начал воплощать его в 1938-39. Потом пошёл на войну, потом тюрьма, лагеря. Когда же вернулся из ссылки и перечитал почти забытые мной главы — то коекакие почти и не пришлось изменять. Они заняли сразу же место, на которое были предназначены.

Значит, для вас, в 20 лет, всё стало на места? Вы работали над эпопеей новой России. Вы верили в коммунизм. Ставлю вам неожиданный вопрос: как человек внезапно обретает Бога?

Вопрос и сложный и простой. Нужно, чтобы вы поняли общее положение тогда: вера в Бога публично всеобще отвергалась. Накануне войны в Ростове не оставалось ни одной действующей церкви, они казались закрытыми навсегда. Режим «ликвидировал» Бога — по крайней мере, он так думал. Но я вам скажу, что может вас изумить: когда гитлеровские войска вошли в Ростов, они открыли собор и

три-четыре церкви. И толпы буквально бросились в церковь. Немцы были врагами, в стране шла война, но открытие церквей создало у населения как бы пасхальное настроение. Это был жестокий провал коммунизма. Впрочем, Сталин не ошибся. Он знал, что делает. Потому он и завёл мелодию национализма в то время, как советские войска пытались задержать немецкое наступление. И религию ему тоже пришлось реабилитировать. Так убийца вырядился в одежду своей жертвы, украшал себя её драгоценностями и старался говорить её языком. И вспомните: Запад приветствовал эту метаморфозу. Сталин оказался для Запада вполне приемлемым, Запад большего и не требовал, он удовлетворился внешними формами и делал вид, будто не замечает, в чём дело по сути. Но этот реверанс со стороны больших демократий не самое удивительное. Сам Сталин тоже попался на собственную удочку. Русский народ снова проявился глубоко верующим и русским. Христианство сразу же было воспринято. И с тех пор у нас вера не перестаёт развиваться, несмотря на преследования. Вот в Рязанской области, которую я хорошо знаю, сегодня крестят 70 % детей. И власти не могут помешать, хотя установили такую процедуру, что могут каждому навредить за это на работе и в жизни. У вас на Западе ложное представление о Советском Союзе. Вам кажется, что копошится горсточка инакомыслящих в море покорных или слепцов. Но я утверждаю, что 80 % моих соотечественников достаточно ясно понимают, что такое советская власть и чего она стоит. Они думают, как и я. Просто молчат.

Как вы объясняете собственную встречу с верой?

Я вернулся бы к вере во всяком случае — за пределами лагеря или в лагере. Просто лагерный опыт открыл мне глаза раньше. Лагерь самым радикальным образом обезглавливает коммунизм. Идеология там полностью исчезает. Остаётся, во-первых, борьба

за жизнь, затем открывается смысл жизни, а затем Бог.

Разве нет противоречия в том, что вы говорите? Вы утверждаете, что в ходе лет русский народ утерял, под катком режима, часть своих добродетелей; что с каждым поколением эволюция происходит в обратном порядке. А в то же время вы подтверждаете, что всё ещё существует...

Существование человека и ход истории — это клубок противоречий. Приходится жить в противоречиях. На Западе вера разрешена, а говорят, она угасает. У нас её преследуют, а она вспыхнула. Ни Сталину, ни вам, ни мне не проникнуть в эту тайну. Я хотел бы ещё добавить, это почти всеобщего значения: обыкновенно встреча человека, какой бы он ни был, с коммунизмом происходит в два тура. В первом туре почти всегда выигрывает коммунизм; как дикий зверь он прыгает на вас и опрокидывает. Но если есть второй тур, то тут уж почти всегда коммунизм проигрывает. У человека открываются глаза, и он замечает, что преклонялся перед обманом, нарисованным на рогоже. И он получает прививку, навсегда.

Лагеря, возвращение к вере — всё это не было задумано вами в плане вашей исходной эпопеи?..

Может быть, и было, без моего сознания. Я хотел быть памятью. Памятью народа, которого постигла большая беда. Сюда очевидно попадали и лагеря, только я раньше сам не знал.

Как можно стать памятью народа?

Стараешься всё запоминать, классифицировать. Здесь, в Цюрихе, я получаю горы документов. В голове у меня много рассказов, фактов. Главная моя забота — правильно классифицировать. Я должен

разобрать каждый рассказ по камешкам — и каждому найти соответствующее место. Я в первую очередь каменщик. Я был на самом деле каменщиком. Недостаточно класть камни один на другой, чтобы стена получилась прямой. Нужно ещё многое.

Вы сказали, что получаете множество документов. Как вы разбираетесь, что настоящее, что лишнее, что важное, а что нет?. Вам бы нужен целый институт.

Мы рассчитали с женой, что нам нужно было бы 11 или 12 сотрудников. Но мы работаем вдвоём. Таким образом, я — писатель, она — институт. Может быть, и не удастся изложить полную историю этого беспримерного на нашей планете сотрясения. Но, во всяком случае, готовлю широкие колеи.

Почему вы решили сосредоточить усилия на особенных моментах, на том, что вы называете «узлами»?

Потому что в этих ключевых моментах завязывается вся история — а потом лишь выходит под открытое небо. В Узлах действуют и главные лица истории. Вот, например, Ленин. Он — из моих главных героев. Я слежу, можно сказать, по его стопам, вот оказался в Цюрихе. Увы, не могу последовать за ним в Петроград.

Поглощают ли вас ваши персонажи?

Нет, писатель не может себе этого позволить...

Однако когда читаещь ваши книги, то кажется, будто вы вошли в своих персонажей.

И да, и нет.. Я могу войти в них, угадывать их сомнения, мысли, которые их преследуют, понять, как они принимают решения. И, действительно, вкладываю немного или много от самого себя в них... Но есть лицо, которое довлеет, — это Россия. И никто из отдельных персонажей по-настоящему не воплощает её.

Сможете ли вы закончить столь гигантскую фреску?

Не могу сказать. По особенностям жизни я потерял много времени. Бог укажет.

Что вам кажется более трудным? Писать или бороться против КГБ?

Не писать, а восстанавливать правду. Правду труднее выявить, чем выдумать ложь. Советская власть — мастер лжи. Что касается борьбы против КГБ, она требует качеств бойца, если не хочешь быть раздавленным. Вероятно, у меня эти качества есть, поскольку я ещё жив.

Какие именно качества?

Да не так сразу скажешь... Ну, военные качества. Нужно предвидеть опасность. Угадывать намерения противника. Отказываться вступать в бой по выбору противника и наступать, когда он меньше всего этого ожидает. Показным манёвром отвлекать в сторону всю тяжесть полицейского аппарата. Одним словом, быть сильнее.

Считаете ли вы, что ваша жизнь в опасности, как и в своё время жизнь Ленина?

Ленину за границей ничто не угрожало. Царское правительство было лишь царским правительством. А коммунистическое — неумолимо, и перед ним надо оставаться всё время настороже. Вот сейчас они используют против меня клевету. Но они опоздали. Я уже слишком много сказал, и это не исчезнет. Они могут применить и другие средства. Я к этому готов. Я всегда был готов к смерти. Но и тогда они просчитаются. Если они меня убьют, они признают этим всё, что я написал. А если не убьют, я буду продолжать рассказывать о моей стране, и миллионы людей узнают правду. То, что я пишу, проникнет в Россию, потому что никакой железный занавес не может остановить бурю. Правда — это

и есть буря. Моё воздействие именно в том, что я писатель, а не политический деятель. Сло́ва — нельзя остановить.

То, что вы пишете, будет проникать в Советский Союз. Однако странно, что Запад, который принял вас как героя, начинает потихоньку подозревать, что вы — реакционер, что ваши взгляды устарели и так далее.

Русские знают, что я прав; люди на Западе этого ещё не знают. Я, сам того не задумав, выполняю двойную задачу. Рассказывая историю России, я в то же время говорю Западу, что это может стать и его историей. Но такое предсказание будущего всем неприятно.

Действительно, вам это ставят в вину. Что вы считаете, будто история повторяется, будто Западную Европу может постичь участь России двадцатых, тридцатых, сороковых годов.

Я не специалист по Западу. Я наблюдаю Запад изнутри всего лишь два года. Я мог бы и не высказываться о нём. Но раз навсегда я положил себе — всюду говорить то, что считаю правдой. И вот она: западный мир подошёл к решающему моменту. В ближайшие годы станет на карту существование цивилизации, которую Запад создал. Думаю, что он не отдаёт себе в этом отчёта.

На чём вы основываете такое мнение?

Не на экономических трудностях, которые вы переживаете. Вы их преодолеете. И даже не на политическом кризисе, который вы предчувствуете и который я резюмировал бы так: что станет с народами, у которых нет цели? Но я имею в виду то, что называется духовным кризисом. У вас уверенность, что демократии выживут. Но демократии — это острова, потерянные в необъятном потоке истории. Вода всё время поднимается. Самые простые законы истории не благоприятствуют демократиче-

ским обществам. И эта очевидность не бросается Западу в глаза.

Предположим, что вы правы. В таком случае, ничего поделать нельзя, игра уже потеряна?

Нет, она ещё не потеряна. Но она, может быть, будет проиграна, потому что вы забыли значение свободы. Когда Европа взялась установить её впервые, это было священное понятие, непосредственно вышедшее из христианского мировоззрения. Та свобода — служила возвеличению человеческого существа. Она обещала обеспечить выявление ценностей. Та свобода открывала путь добродетели и героизму. Но это всё забыто. Время подточило ваше понимание свободы. Вы сохранили термин, но изготовили другое понятие: маленькую свободу, которая лишь карикатура большой; свободу без ответственности и без чувства долга, которая вывела вас, правда, на путь всеобщего благополучия. Но никто не готов умереть за эту свободу. Она полна трубных звуков, богатства и — пуста. Вы вступили в эпоху расчёта — и не в состоянии бороться, жертвовать, способны только на компромиссы. Вы готовы уступить территорию, лишь бы ваше счастье продержалось там, куда ещё не дошёл противник.

Должен ли Запад идти на риск большой войны ради свободы других?

Не других — скоро своей собственной. Но я сейчас говорю о духовной воле, а не о стратегии. Ни у моих друзей, ни у меня нет атомной бомбы, нет танков, нет пистолетов, ничего нет. Но в тот момент, когда сила воли в нас побеждает, когда мы рискуем жизнью, — мы наносим удар по огромной машине советской власти. Ни политические комбинации, ни военные не спасут вас. Внутренняя сила духа важнее любой политики. Если бы лидеры Востока почувствовали в вас хоть малейшее горение, хоть малейший жизненный порыв в защиту свободы, если бы они поняли, что вы готовы идти на смерть, чтобы

эта свобода выжила и распространялась, — в эту минуту у них опустились бы руки. Каждый раз, когда вы выступали решительно — в Берлине, в Корее, вокруг Кубы, — каждый раз советское руководство отступало. Борьба происходит не между вами и ими, но внутри вас самих.

Что вам кажется существенным? Свобода в понимании Монтескьё или просто вера?

Я уже говорил, что они связаны. Истинная свобода — это как бы лестница Иакова. Она позволяет своим слугам взойти выше её.

Демократии, действительно, огромные рыхлые объекты. Но иногда они просыпаются, и те, кто недооценили степень их решимости, платят за это своей головой. В конце концов, они взяли верх над Гитлером.

Хотелось бы верить, что вы правы. Но, когда я смотрю на Запад, меня начинает преследовать ощущение, что всё это я уже когда-то видел. Мы прошли черезо всё, что вы переживаете сейчас. В России конца прошлого века были, как вы помните, террористы. И интеллигенция встрепенулась, бросилась спасать их, когда их вылавливала полиция. Так началось. Эта начальная слабость и обошлась нам во много миллионов жертв. Вы признаёте, что сегодняшнее у нас жестоко, но о своей свободе вам кажется, что она завоёвана раз навсегда, и поэтому вы позволяете себе ею пренебрегать.

Сказывается ли в России этот двусмысленный подход Запада?

Конечно. Я уже сказал вам, насколько русский народ внутренне сопротивлялся этому чуждому телу коммунизма. Но народ меняется, как и люди, проходит поколение за поколением, и система накладывает свою печать. Каждый раз, когда мировое соотношение сил снова поворачивается в пользу коммунистической власти, советские граждане обескура-

жены: если этот режим, которого они не выносят, так преуспевает во всех концах света, значит, он выражает какую-то правду?..

Не считаете ли вы, что русский человек вытеснен советским человеком?

Вы не знаете, и мир не знает, что такое было сопротивление русского и украинского народов. Я буду об этом писать: армии крестьян шли с вилами на пулемёты. Горы убитых. И это повсюду. Нас раздавили, размозжили, но на Западе весьма слабое представление об этом. Правда, русский народ как ковыль — он гнётся под ураганом, но крепко врос корнями в землю. И — мы ещё живы. Моральный упадок у нас отрицать нельзя. Но и духовное сопротивление народа ещё хранит надежду. Многое зависит от вас: от этого маленького кусочка Западной Европы, который боится, что ему не хватит нефти; от этой огромной Америки, которая не перестаёт думать о себе. Коммунизм — это не русское, но мировое явление. Он засел в России, он использовал Россию. Он может так же вселиться завтра к вам и использовать вас. И человеческий род отступит дальше.

Что же делать?

Таинственным образом всё зависит от личной решимости каждого из нас. Никогда ещё будущность планеты настолько не зависела от человека. Думаю, что первое правило для всех — это не принимать лжи, — как у нас, на Востоке, так и у вас, на Западе. Говорить правду — это значит возрождать свободу. Не считаясь ни с давлением, ни с интересами, ни с модами. А если кто пожимает плечами, повторять её ещё раз. Те, кто пожимают плечами, услышав рассказы о трагедии такого объёма, как в СССР, сознательно или несознательно соучаствуют палачам. Вы вовлечены в жесточайшую борьбу, а ведете себя, будто вопрос идёт о партии пинг-понга. Вы можете устоять, если ваша решимость будет несомненная, явная. Иначе — станет слишком поздно.

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ КОМПАНИИ БИ-БИ-СИ

(Интервью ведёт Майкл Чарлтон)

Лондон, 22 февраля 1976

Когда господин Брежнев и Политбюро Советского Союза решили выслать вас за границу, вместо того чтобы снова отправить в концлагерь, они, вероятно, считали, что вы принесёте меньше вреда советскому государству, находясь за пределами СССР, чем в самой стране? Считаете ли вы, что время покажет оправданность их суждения?

В вашей постановке вопроса содержится некоторая неправильность: ставя так вопрос, мы предполагаем, что Политбюро — всемогуще и независимо в своих решениях, что оно могло так решить, а могло решить иначе. Надо сказать, что в момент моей высылки создалась совсем необычная обстановка (я об этом писал уже). Осенью 73-го года поддержка западного общественного мнения Сахарову и мне в нашем, как я его назвал, «встречном бою» была до такой степени сильна, до такой степени тверда, как Запад уже давно не проявлял — такой твёрдости и такой настойчивости, — и советское Политбюро просто испугалось. Оно не имело полной свободы выбора — держать меня в тюрьме или выслать, они просто испугались этого гнева, этой бури возмущения на Западе, и вынуждены были уступить. Поэтому я думаю, что сейчас, если они и раскаиваются,— а скорей всего раскаиваются, — то всё же помнят, что у них и выбора особенно не было. Это тот редкий момент, когда Запад проявил небывалую твёрдость и заставил их отступить.

С другой стороны, они оказались бы правы, если Запад останется глух к вашим преду-

преждениям и к вашим убеждениям. Вы перестали бы быть актуальным, и, вероятно, это то, на что они рассчитывают?

Да, если посмотреть с этой стороны... Вы правы. Предупреждения мои и других, Сахарова, очень серьёзные предупреждения непосредственно из Советского Союза, — пропадают более чем наполовину, попадают как бы в глухую среду, не желающую их воспринять. Я раньше всё-таки надеялся, что жизненный опыт можно передать от нации к нации, от личности к личности, но я начинаю сомневаться в этом. Может быть, всем суждено всё пережить и только тогда понять.

Вы теперь в уникальной позиции, поскольку можете следить за спорами как на Востоке, так и на Западе, — спорами, которые в большой мере вдохновлены или сфокусированы вашим собственным опытом и вашими произведениями. Какое значение, по вашему мнению, имеет для жителей Запада опыт русского народа?

На самом деле, наш русский опыт (говоря слово «русский», я всё время отличаю его от слова «советский»; я имею в виду здесь даже до-советский опыт, до-революционный) жизненно важен для Запада, потому что каким-то замыслом истории мы прошли нынешний западный путь на 70—80 лет раньше, и сейчас мы с неким странным чувством наблюдаем вашу историю, когда много общественных явлений повторяют те, что были в России перед её крушением. Наш жизненный опыт существенно важен для Запада, но я не уверен, что вы способны его перенять, не пережив сами всё до конца на себе.

Дайте пример, чтó именно вы имеете в виду, говоря, что русский опыт сейчас повторяется на Западе?

Например, утерю ведущего интеллектуального положения старшим поколением в пользу младшего, когда неестественным образом младшая часть общества, имеющая наименьший жизненный опыт, больше всего влияет на направление общественной жизни. Затем — можно сказать, что создаётся некоторый поток века, поток общественного мнения, так что люди с авторитетом, видные профессора, учёные, стесняются спорить, даже когда они имеют другое мнение; считается неудобным противопоставлять свои аргументы: как бы не попасть в неловкое положение. Затем — характерна утеря ответственности при наличии свободы. Ну, допустим, пресса, публицисты... Обладая большой свободой (кстати, в России свобода прессы была очень велика, — Запад имеет весьма превратное представление об истинном состоянии России до революции), журналисты, публицисты теряют чувство ответственности перед историей, перед своим народом. Затем — всеобщее восхищение революционерами, и тем большее, чем они более крайние. У нас в России был почти — ну, если не культ террора в обществе, то была яростная защита террористов: благополучные люди, интеллектуальные, профессора, либералы тратили большие усилия, даже ярость и гнев,— на защиту террористов. И затем — паралич правительственной власти. Я мог бы ещё много таких черт аналогичных...

> Но, как вы сказали, Запад даёт возможность выжить таким людям, как вы. Как бы вы сами оценили: два года, проведенные на Западе, изменили ваше мнение о нём? Очевидно, вы более пессимистичны теперь, чем когда вы приехали?

В отношении к Западу моё поколение... Я не буду говорить только о себе, и когда я говорю «моё поколение» — это люди, которые делили мою судьбу: воины, солдаты Второй мировой войны, а потом заключённые; это был стандартный путь, очень многие так прошли... Моё поколение прошло несколько

ступеней. В годы пятидесятые, после окончания войны, мы буквально молились на Запад, мы считали Запад солнцем свободы, крепостью духа, нашей надеждой, нашим союзником; мы всё возлагали, что нам трудно освободиться, но Запад поможет нам подняться из рабства. Постепенно, с ходом десятилетий, эта вера испытала колебания и начала падать. Мы с трудом получали информацию о Западе, но мы учились слушать через самое яростное глушение, например вот ваше Би-Би-Си, и мы с недоумением видели, что Запад не проявляет той твёрдости, той заинтересованности в свободе также и у нас. Запад как бы отделяет свою свободу от участи нашей. И перед высылкой я уже имел большие сомнения, насколько вообще можно ставить вопрос о том, чтобы Запад нам помогал. Одно из разногласий у нас с Сахаровым как раз в этом и состоит, что Сахаров считает западную помощь решающей для нашего освобождения, а я считаю, что мы должны освободиться только сами и строить надежды на Запад почти не приходится. И когда я попал сюда, мои сомнения, к сожалению, быстро прогрессировали и углубились. Ну да дело в том, что за эти два года и сам Запад прошёл много, — за эти два года Запад сильно ослабел сравнительно с Востоком, Запад сделал столько уступок, что сейчас успех подобной гневной кампании, которая вызволила меня из тюрьмы, менее возможен. Вот была, пожалуй, кампания той же силы, чтобы Сахарова пустили в Стокгольм... пожалуй, близко к тому, однако она не помогла, потому что сам Запад очень ослабел за последние два года. Его позиции ослабели, Москва с ним считается сейчас неизмеримо меньше.

Разрешите мне сказать, что одна из трудностей в вашем случае — это то, что вы стали спорной фигурой на Западе. Вы здесь — не тихий турист. Во многих отношениях вы — страстный критик. И я думаю, что те запад-

ные люди, которые вас критикуют, — конечно, совсем не все это делают, — считают, что вы хотите возвращения в России к чему-то, что явно невозможно, возврата к патриархальной России, возврата к православию. Принимаете ли вы такую критику?

Вот это одно из последствий слабой ответственности прессы. Пресса не чувствует ответственности за свои характеристики, она лепит ярлыки с большой лёгкостью, — журналист средней руки выносит в заголовок свой вывод, и он вдруг становится ходячим мнением целого Запада. Вот вы перечислили несколько положений, и все они, в общем, неверны. Во-первых, я не критик Запада. Я повторяю, что большую часть жизни мы на Запад молились, обратите внимание — не восхищались, а молились. Я не критик Запада, я критик — слабости Запада. Я критик того у вас, что для нас непредставимо: почему так можно потерять душевную твёрдость, волю и, обладая свободой, так не ценить её, то есть не желать идти за неё на жертвы. Второй такой же расхожий ярлык прилепили мне — возврат к патриархальности. Ну, кроме слабоумных, никакой нормальный человек не может предлагать никакого возврата, ибо всякому нормальному человеку понятно, что движение идёт только вперёд. Значит, выбор идёт между возможными путями вперёд, а не назад. Наверно, легко установить, что журналист, который вывел это в заголовок, больше занимался дамскими модами, и так пошло́: что я призываю к патриархальности. В моём «Письме вождям» было отражено общее мнение, что ныне человек живёт неестественной жизнью, в отрыве от природы и простого труда, что гигантизм в экономике — равно свойственный и Западу и Востоку — создаёт неестественные условия для жизни людей (с чем согласны вы все, потому что, если вы можете вырваться на уикенд из этого ада, вы все вырываетесь). Так и у нас. Это приблизительно то, что предлагает ваш экономист Шумахер:

приблизить человека к более естественному соотношению с природой и с трудом. Ну и отсюда вывели эту патриархальность. Или ещё последний пример: националист — вот слово, которое сейчас почти потеряло смысл, оно употребляется на каждом шагу, его лепит, кто хочет. А что такое националист? Если человек предлагает, чтоб его страна имела большую армию, завоёвывала окружающие страны, расширяла империю, такой человек — националист? Если я предлагаю, напротив, чтобы моя страна освободила все народы, которые она завоевала, распустила армию и прекратила всякую агрессивную деятельность, — кто я? — националист! Если вы любите Англию, кто вы? — националист! А когда же вы не националист? — Если вы ненавидите Англию, ну тогда вы не националист.

Да, вы очень наглядно показываете, что не возвращаетесь назад к старому русскому империализму, но я не совсем понимаю, каким образом вы идёте вперёд. Какой путь может вывести из этого мира напряжений и подавлений в Советском Союзе, — мира, который вы так выпукло описали? Если Запад не может помочь, какой путь открывается перед русским народом? Что будет?

Вы знаете, два года назад и три года назад был этот вопрос актуален, то есть можно было думать, что нам, жителям Советского Союза, есть практический смысл обдумывать наш путь, потому что так много неполадок, так много неудач было у советского руководства, что придётся уже не им, а нам самим искать выход. И я предполагал, что мы должны искать эволюционный путь, ни в коем случае не революционный, не — взрыв (тут мы с Сахаровым сходимся), — эволюционный плавный путь, как нам уйти из этой ужасной системы. Однако сегодня эти все вопросы потеряли практические значение. За последние два года произошло ужасное: Запад сдал не только 4, 5, 6 стран, Запад отдал все миро-

вые позиции, — Запад с такой стремительностью всё отдавал, и с такой стремительностью укреплял нашу тиранию, что сегодня все эти вопросы в Советском Союзе практически закрылись. Сопротивление осталось, но я говорил уже не раз: наше сопротивление и наше духовное возрождение, как всякий духовный процесс, — медленный процесс. А ваши капитуляции, как всякий политический процесс, — стремительны. Быстрота ваших капитуляций настолько обогнала рост нашего возрождения и укрепления, что сейчас практически перед Советским Союзом есть путь только один: расцвет тоталитаризма. И справедливее было бы, чтобы не вы задали мне вопрос о путях России, простите, Советского Союза, — не будем путать, а справедливее, чтобы я задал вам вопрос о путях Запада, потому что ныне стоит вопрос не о том, как Россия с помощью Запада вырвется из тоталитаризма, но — как Запад сможет избежать той же участи, как Запад сможет устоять против невиданного натиска тоталитаризма. Вот эта проблема.

Почему, по-вашему, некоторым людям Запада становится с вами не по себе? Это подводит меня — в свете того, что вы только что сказали, — к вопросу духовного обновления, морального обновления: где фокус вашей позиции? После вашего огромного и разнообразного опыта — вы были учителем, героем войны, офицером советской армии, зэком — что вы считаете основным, центральным в вашем мировоззрении?

Пожалуй, если говорить о моём жизненном опыте... сформировалось моё мировоззрение в лагерях. Вот на этом крае жизни, который описан в моих книгах, в «Архипелаге». Я не знаю, западным людям неловко слышать мои слова? — мне трудно оценить эту реакцию. Но я бы сказал так: людям, которые достаточно жили в самых ужасных условиях, на рубеже жизни и смерти, — восточным лю-

дям или западным, безразлично, — им понятно, что между добром и злом есть несовместимость. Что это не всё равно — добро или зло, что нельзя строить свою жизнь индифферентно по отношению к этому различию. Меня удручает, что прагматическая философия последовательно пренебрегает нравственными категориями и сейчас в западной прессе мы можем читать откровенное провозглашение принципа, что нравственные категории не относятся к политике, они неприменимы и не должны, мол, применяться. Я напомню вам, что в 1939 году Англия рассуждала иначе. Если бы нравственные категории были неприменимы к политике, то было бы непонятно, зачем, собственно, Англия вступила в войну с гитлеровской Германией. Прагматически можно было выйти из положения, но Англия избрала нравственный путь, и испытала и явила миру, может быть, самый блестящий свой героический период. А сегодня мы об этом забыли, сегодня руководители английской политики откровенно провозглашают, что они не только признают над любой территорией любую власть — независимо от её нравственных качеств, — а даже спешат признать, спешат опередить других. Где-то в какой-то стране, в Лаосе, в Китае, в Анголе, потеряна свобода, пришли к власти тираны, бандиты, марионетки, и прагматическая философия говорит: неважно, мы должны их признать, и даже скорее. Нельзя считать, что великие принципы обрываются на ваших границах, что пусть свобода будет у вас, а там пусть будет дефакто. Нет, свобода неделима! И надо относиться к этому вопросу нравственно. Может быть — вот это один из главных пунктов расхождения...

Вы упомянули «Архипелаг ГУЛаг», ваш знаменитый документ о жизни в сталинских лагерях, переполненный непреодолимой горечью и гневом... Ставили ли вы себе в этой книге только задачу нанести сокрушительный удар коммунистической идеологии, или, по крайней

мере, разрушить её миф, — или вы имели в виду нечто большее?

Художественное произведение всегда многосоставно, многогранно. Оно имеет много сторон, а значит, и много целей. Художник не может ставить себе задач политических, смену политического строя, это может выходить как побочный вывод изо всего изображённого, — но бороться против неверного представления, против ложного представления, или бороться с мифами, бороться с идеологией, которая враждебна людям, бороться за нашу память о том, как было, — это задача художника. Народ, потерявший память, — потерял историю и потерял свою душу. Когда я сажусь за книгу, моя задача — восстановить всё, как было, вот моя главная цель. А отсюда, само собой, много выводов. Если бы сегодня три тома «Архипелага ГУЛага» были широко опубликованы в Советском Союзе для всех желающих, то в очень короткое время коммунистической идеологии пришлось бы туго, ибо люди, прошедшие это всё, узнавшие... — в них больше не остаётся места для этой похлёбки.

В одной из ваших последних книг вы описываете Ленина в Цюрихе. Многие, мне кажется, отметили сходство между ним и вами. Портрет мощного характера, Ленина, отрезанного, изолированного, неспособного повлиять на события внутри России, нетерпеливого, — это похоже на вас, мощную фигуру, которая сегодня — в том же городе на Западе — бессильна принять участие, отрезана от друзей в Советском Союзе. Не согласитесь ли вы, что есть некоторое сходство?

Я работаю над образом Ленина 40 лет. От момента, когда я задумал эту серию книг, я задумал и Ленина — как если не центрального, то одного из центральных персонажей. Я собирал о нём каждую крупинку, которую только мог, каждую мелочь, и

моей единственной целью было воссоздать его живым, какой он был. Конечно, ни один персонаж художника не создаётся без вклада автора. Какая-то доля автора вдыхается в са́мого враждебного героя: нельзя оживить ничьё тело, если в него не вдохнуть душу. Если я описал за это время двести человек, в каждом из двухсот что-то от меня есть обязательно. Однако я думаю, что, сравнивая нас, поддаются внешним несущественным признакам. Ленин был весь направлен на разрушение. Нет, я нисколько не ставил целью как-то автобиографически своё чувство или своё положение отражать. Я ставил целью восстановить до деталей, до мельчайших подробностей ту обстановку. Мне помогла судьба, что я оказался в Цюрихе, что я встретил даже людей, знавших Ленина, собрал материалы, увидел обстановку.

> Но, атакуя Ленина, вы нападаете на законность всего советского правительства, на самих большевиков. Считаете ли вы, что в свою очередь вы станете фокусом духовного, морального обновления в Советском Союзе? Что придёт такое духовное возрождение, которое со временем свергнет коммунистический режим?

Я не атакую Ленина — я описываю его, каким он был и чего он стоил. Столько ему кадили, да и в вашей стране кадили, на такие вершины его поднимали. Я показываю, каким он бывал близоруким, как он обращался со своими союзниками, сотрудниками, как слаба была его связь с собственной страной. Я не его атакую, а его идеологию. Ленин — превосходная концентрация, экстракт коммунистической идеи. Один из самых ярких и стопроцентных коммунистов. Разумеется, занимаясь этим образом, мы занимаемся самой коммунистической идеологией, той, которая развратила, удушила и практически погубила мою страну, а вслед за ней уже ещё двадцать.

12*

Духовное возрождение? — для него нужно освободиться от этой мертвящей, губящей идеологии. Но это разговор не для столь короткого интервью. Невозможно быть утопистом и фантазёром, делать построения для несуществующей ситуации. Для нашей сегодняшней советской ситуации я предложил: жить не по лжи, защищаться всеми мерами от навязываемого нам ужаса, не участвовать во лжи, душу свою спасти хотя бы. Я сказал уже, что два-три года назад появились проблески того, что у нас будет какое-то общественное социальное развитие, и возникли разные точки зрения, как бы оно могло пойти. Но сегодня нам с вами говорить об этом беспредметно. Вы хотите знать мой прогноз?

> Ленин жил в Цюрихе, не имея возможности что-либо сделать или повлиять на международное положение, и был поражён, когда произошла перемена, — он, великий революционер. Удивитесь ли вы, если внезапно произойдут перемены?

Он удивился по своей близорукости. Он в своей партийной замкнутости терял самые простые факты: его врасплох застала мировая война и так же врасплох — революция. Взрыва — я никакого в Советском Союзе не ждал, ждал — медленного процесса, и он уже шёл. Сегодня... да, я удивился бы. Я не удивлюсь сегодня другому: скорому близкому падению Запада. Вы понимаете, сейчас создалась такая обстановка, что Советский Союз настолько вошёл в военную экономику, что даже если будет единогласное мнение всех членов Политбюро не начинать войны, то это уже не в их власти. Им уже мучительно начать перестраивать уродливую военную экономику на нормальную, мирную. Сейчас создалась ситуация, когда надо думать не о том, что неожиданно произойдёт в Советском Союзе, — в Советском Союзе неожиданно ничего не произойдёт, — надо думать о том, что неожиданно произойдёт на Западе. Запад находится накануне круше-

ния, созданного собственными руками. Вопрос невольно оборачивается с нас на вас.

> Так чего же вы хотите от нас? Что мы на Западе должны делать?

Я — не политический деятель, и могу предлагать советы только духовные. Я хотел бы, чтобы Запад не терял воли и понимал, что свобода, которая досталась от предков и которая у вас уже 300 и больше лет, что эта свобода требует жертв. Вот чего я хотел бы от Запада: духовной крепости и моральной разборчивости. Когда Запад провозглашает, что моральные императивы не нужны в политике, этим самым он и губит себя, — это близорукий подход. Сегодня, и завтра, и вчера кажется, что можно маневрировать без моральных принципов, но это со страшной силой ударит по Западу в ответ. Отказ от моральных принципов — это топор, который мы сами над собой ставим, и этот топор ударит по шее.

> Я знаю, что вы говорите это как убеждённый христианин, для вас правда важнее последствий. Но вы ждёте того же от людей в наш ядерный век, когда над головой каждого из нас повис дамоклов меч ядерного оружия. Мне кажется, это одна из причин, почему вас критикуют как противника разрядки. Какие же альтернативы могут быть в переговорах с дьяволом, как вы сказали бы, если цель — избежать ядерной катастрофы?

Было время, начало 50-х годов, когда эта же термоядерная угроза висела над миром, но позиции Запада были гранитны, и Запад ничего не уступал. Сегодня эта термоядерная угроза по-прежнему висит над обеими сторонами, но Запад избрал губительный путь уступок. Обратите внимание, слово «разрядка» имеет десять смыслов. Если мы с вами начнём искать в словаре, позовём ещё кого-нибудь... и все понимают под разрядкой разное. Сегодня вы избрали такой вариант разрядки, при котором,

правда, термоядерная угроза становится не главной, термоядерная война даже не нужна Советскому Союзу: вас легко взять просто руками, зачем термоядерная война? Если вы подняли руки и сдаётесь, зачем термоядерная война? Вас просто так берут. Потом странно, почему при равной угрозе термоядерной войны Запад только уступает, а Восток только наступает? И наконец, не забудьте самый главный аспект сегодняшней разрядки. Он в том, что нет разрядки идеологической. Вы, западные люди, вы не можете себе представить, что значит сила советской пропаганды. Вы и сегодня остались английскими империалистами, которые хотят удушить всю землю, и это держится под самой тонкой корочкой. Чтобы корочку снять, нужно одно утро, только одно утро. Вам нельзя повернуть от разрядки так просто, вам повернуть от сегодняшнего состояния нужен год-два, а в Советском Союзе нужно одно утро, одна команда. Выходят газеты, что английские империалисты обнаглели, уже дальше жить нельзя, — и всё, что сегодня каждый день талдычится против вас, не будет этому противоречить. И разрядки никакой нет. Нельзя ставить вопрос о разрядке без идеологической разрядки. Если вас ненавидят и травят вас во всей прессе, на всех лекциях, какая же это разрядка?! Вас представляют злодеями, с которыми — ну, как-нибудь ещё один день прожить. Это — не разрядка! И разрешите мне вам задать вопрос: как вы объясняете, что вот, скажем, в последние месяцы почти нет никаких сообщений из Советского Союза о новых преследованиях инакомыслящих? Это я отвечу за вас, уж простите. Журналисты подчинились «духу Хельсинки». Мне достоверно известно, что западные журналисты в Москве, получив некоторые права, лучшие права передвижения, за это, и во имя духа Хельсинки, не принимают сообщений о новых преследованиях инакомыслящих в Советском Союзе. Что значит для нас дух Хельсинки и дух разрядки внутри Советского Союза? — укрепление тоталитаризма!

То, что вам представляется как помягчение воздуха и климата, для нас — укрепление тоталитаризма. Вот я вам дам несколько свежих примеров, о которых вы не слышали по радио и не читали в газетах. Человек был у Сахарова с визитом, поехал домой в электричке, его убили. В квартиру Николая Крюкова стучат: пришли проверять газ, он открывает. Они его избивают смертным боем, у него дома, за то, что он выступал, подписывал, и уходят. Но это — в квартире. На улице, днём, пять часов дня, на Ленинском проспекте, Мальва Ланда, — её хватают и тащат в машину. Она кричит: «Граждане! меня воруют!» Сотни людей слышат и идут мимо! Потому что боятся, потому что каждого так схватят: на виду у всех берут и везут в тюрьму. Вот обстановка: дух Хельсинки и разрядка у нас. В Одессе посадили Вячеслава Игрунова за самиздат в психдом. Плюща выпустили, а других продолжают сажать. Разрядка, дух Хельсинки!

> Александр Исаевич, но вот мнение, которое было очень распространено на Западе в 50-е и 60-е годы, может быть даже и теперь, и великий английский философ Бертран Рассел поддерживал его: «лучше быть красным, чем мёртвым». Однако вы утверждаете, что политика разрядки была сформулирована советским правительством специально с целью предотвратить либерализацию в Советском Союзе. Иными словами, Советский Союз начал отставать экономически, ему стало необходимо импортировать американскую и западногерманскую технику, — иначе пришлось бы зачеркнуть всю систему. Таким образом, он только и может удержаться, ввозя заграничную технику и одновременно закручивая гайки внутри страны?

Да, импорт технологии и спасает всю советскую экономику. Это верно. А возвращаясь к этой ужасной позиции Бертрана Рассела — я вообще не по-

нимаю, почему Бертран Рассел сказал: «лучше быть красным, чем мёртвым», а почему он раньше не сказал: «лучше быть коричневым, чем мёртвым»? — тогда нет разницы. Вся моя жизнь, и жизнь моего поколения, и жизнь моих единомышленников состоит в том, что лучше быть мёртвым, чем подлецом. В этом ужасном выражении — потеря всякого нравственного критерия. На короткой дистанции оно даёт возможность лавировать и продолжать наслаждаться жизнью, но в дальнем плане — обязательно погубит всех, кто так думает. Это — страшная мысль. Благодарю вас, что вы привели её для яркой характеристики Запада.

> Но в виде альтернативы вы предлагаете что-то вроде возврата к напряжениям холодной войны. А большинство людей приветствует разрядку как передышку, как шанс, что-то новое. Ведь предлагаемая вами альтернатива может снова привести к напряжённым отношениям, подобным тем, что были во времена Сталина и Хрущёва, разве не так?

А я настаиваю: вам кажется, что это отдых? Но это мнимый отдых, отдых перед гибелью. А у нас вообще никакого отдыха, нас душат ещё сильней и уверенней. Вы вспоминаете напряжение 50-х годов, но при том напряжении вы ничего не уступали, а сегодня — не надо быть стратегом, чтобы понять: для чего берётся Ангола? для чего? Это — одна из последних позиций, чтобы блестяще провести мировую войну, прекрасная позиция в Атлантическом океане. Советские вооружённые силы уже во многом превзошли Запад, в другом превосходят. Англия владела флотом, теперь владеет флотом Советский Союз, — морями, базами... Вы называйте это разрядкой, если вам угодно, но после Анголы я не знаю, как может язык проговаривать это слово. Ваш военный министр сказал, что Советский Союз проходит экзамен после Хельсинки. Я не знаю, сколько ещё стран нужно взять, может

быть нужно советским танкам в Лондон прийти, чтобы ваш военный министр сказал наконец, что Советский Союз прошёл экзамен! Разрядки-то — нет! Разрядка нужна, но истинная. Я говорил: разрядка — это открытая ладонь, покажите, что у вас камня нет, а ваши компаньоны, с кем вы ведёте разрядку, держат камень, и такой увесистый, что могут вас убить одним ударом. Разрядка получается самообманной, вот в чём дело.

Можно ли спросить вас как большого русского патриота — как вы смотрите на своё собственное будущее?

Моё будущее тесно связано с судьбой моей страны. Я работаю и всегда работал только для неё. Наша история скрыта, изолгана вся, я пытаюсь восстановить эту историю прежде всего для моей страны, ну, в какой-то мере это будет полезно и для Запада. Моё будущее зависит от того, что будет с моей страной. Кроме того, конечно, ко мне испытывают особые чувства руководители московские, так что моё будущее может и опередить... Разумеется, они могут меня убрать прежде того, как решится к лучшему судьба моей страны. Такие сведения я иногда получаю. Когда меня выслали, я думал, что возврат не так отдалён, потому что тогда Советский Союз стоял слабее, а Запад значительно сильнее. Но за эти два года соотношение сильно переменилось в пользу Советского Союза.

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ КОМПАНИИ БИ-БИ-СИ
в связи с выходом книги «Ленин в Цюрихе»

Лондон, 25 февраля 1976

Является ли ваша книга «Ленин в Цюрихе» романом или историческим произведением?

Я бы сказал, что это жанр художественного исследования. То есть цель моя — восстановить историю в её полноте, в её многогранности. Для этого, однако, приходится применять ви́дение, глаз художника, потому что историк пользуется только фактическими, документальными материалами, из которых значительная часть уничтожена, пользуется показаниями свидетелей, которые почти все убиты, и он ограничен в возможностях проникнуть в суть событий. Художник может глубже и больше увидеть благодаря пронзающей силе этого метода — художественного видения. Так что это не роман, но это применение всех художественных средств для того, чтобы глубже проникнуть в исторические события.

Это — часть гораздо большего произведения? Правильно ли я понимаю, что вы пишете это произведение в первую очередь как художник, а потом уже как историк?

Я, пожалуй, вам в первом вопросе на это и ответил. Я пишу как художник, но имею в виду цель восстановления исторической правды, которая в моём народе особенно безжалостно уничтожена, прервана.

Да, конечно. Но всё-таки это должно быть особенно трудно: описывать историю в виде беллетристики, когда вы берёте реальное лицо и реальные события и делаете их центром

романа. Сюжет тоже в какой-то степени вымышленный, хотя и основан на событиях, действительно имевших место?

Мне невозможно и неинтересно было бы описывать только вымышленные лица. Вымышленных лиц писатель ставит тогда, когда ему нужно соединение между простой человеческой психологией и событиями историческими. Но невозможно описывать такие крупные исторические события, какие были у нас, без прямого описания исторических лиц. Стало быть, вот это проникновение в историческое лицо доступно только художнику. Есть такое понятие: тоннельный эффект интуиции. Вот эта тоннельная интуиция даёт возможность проникнуть туда, куда документалист-историк не может проникнуть. Он может только выложить окружающие события и материалы.

Вы говорили об этом вашем труде и о предыдущем («Август Четырнадцатого»), — мне кажется, я цитирую правильно, — что это ваш главный художественный замысел. Может быть, вы объясните этот замысел?

Объяснить замысел если б можно было простыми словами, то не надо было бы писать большие книги. Однолинейно объяснить явление искусства невозможно. Но вы правы, и «Август» и «Ленин» — фрагменты этой большой эпопеи, которой я посвящаю всю оставшуюся жизнь; я не мог заняться ею раньше просто по тяжёлым обстоятельствам жизни. Но я её ношу в себе с 1936 года — 40 лет уже.

У писателя Джеймса Джойса есть высказывание, и, когда я его вспоминаю, я думаю о ваших произведениях. Он писал, что пытается «выковать не созданное ещё сознание своего народа». Интересно, близка ли вам такая мысль, не пытаетесь ли и вы выковать несозданное сознание своего народа?

Пожалуй, нечто весьма близкое. С той только поправкой на особые русские условия, что у нас специально, настойчиво уничтожалась связь времён, используя шекспировское выражение, уничтожалась память о том, как это было, и поэтому для восстановления нашего самосознания, пожалуй, важнее всего — восстановить память об истинных событиях. И только через это мы можем выковать своё самосознание. Да, близко.

Перейдём теперь к самому Ленину. Среди прочего вы пишете, что Ленин не понимал шуток. Что это — ваше предположение, вымысел или же вы узнали это из документов?

Все эти 40 лет я занимаюсь Лениным. Я настойчиво собирал каждую крупинку, воспоминания о нём, его истинных чертах. Я не приписываю ему никакой черты, которой у него не было. Моя задача — как можно меньше дать воли воображению, как можно больше воссоздать из того, что есть. Воображение художника помогает только спаять отдельные элементы и, войдя внутрь персонажа, попробовать объяснить, как эти элементы друг с другом связаны. Это — к вопросу о шутках и о других деталях его характера.

Ещё одна черта. Вы говорите о том, что Ленин не мог иметь просто дружеские отношения с людьми, все его отношения должны были быть в первую очередь полезными. Считаете ли вы, что люди, рвущиеся к власти, не могут иметь просто друзей, или же эта черта была свойственна специфически Ленину?

В данном случае я имею в виду, конечно, специфически Ленина. Я не ставлю себе задачи объяснять всех политических деятелей. Но вся мировая литература учит нас, что борьба за власть искажает человеческий характер и вносит в него некоторые специфические черты. Однако у одних это более, у других — менее. Я не занят этим вопросом и не

стараюсь обобщать. Мне надо воссоздать Ленина, каким он был: вот он был таким.

Восхищаетесь ли вы Лениным?

Я думаю, что полнота, весь спектр моего отношения к Ленину есть в книге настолько, что видно, как я далёк от восхищения. Но, как всегда в искусстве, нельзя пояснять однолинейно. Здесь всё в книге.

А вот второстепенный вопрос. Между прочим, почему все революционеры — Ленин, Троцкий, Парвус, Сталин — меняли свои фамилии, как будто они — актёры?

Вы знаете, это очень интересный и, я бы сказал, важный вопрос. Вначале они меняли как будто для того, чтобы, ну, как революционерам, было легче уходить от слежки. Чтобы в переписке их истинные имена не упоминались. Но вот что характерно: они прошли через революцию, пришли к власти, и они все сохранили свои псевдонимы. Ваш вопрос очень глубок, он касается важного дела. Я считаю, что автору лёгкого художественного произведения или актёрам допустимо применять псевдоним, — ну, стесняются; может, им так удобно. Но людям, которые вздумали переворачивать полмира, или весь мир, нечестно прятаться за псевдонимами. Они должны открыто себя называть и открыто идти. Вот эта инерция задержки псевдонима выражает желание избежать доли ответственности.

Говоря о таких людях, как Ленин или Парвус: какие психологические потребности ими двигали, когда они хотели, как вы говорите, перевернуть полмира или весь мир?

Ответ на этот вопрос потребовал бы упрощения жизненной ткани. В том-то всё и дело: что на многие вопросы такого рода невозможно ответить иначе как художественным произведением. При всякой попытке упростить и однолинейно сформулировать

вам я вынужден был бы сейчас что-то исказить. Это постепенно, от книги к книге, будет пониматься, и притом у каждого всё-таки это по-разному. Например — у Ленина одни мотивировки, у Парвуса — другие, а у Шляпникова, которого я здесь упоминаю, но описываю в других местах, — третьи. Это будет постепенно выясняться в объёме книги.

И ещё одно мне показалось очень интересным. Ленин много говорит о том, что страдания, война, потери неизбежны в ходе революции. Но в то же самое время он мало говорит о том рае, который стремится создать. Читая вашу книгу, я задавался вопросом: отказываются ли революционеры от этих жестоких мер после того, как уже нет необходимости в этих жестокостях?

Я думаю, что есть заглатывающая инерция в том, чтобы применять жестокость и насилие. И даже если вначале кто-либо имел идеальные цели на более позднее время, то действительно в этой заглатывающей инерции он не может выскочить из неё. И, собственно говоря, «Архипелаг ГУЛаг» в первой части отвечает на этот вопрос: что же сделал Ленин, придя к власти. Да, когда все силы интеллекта и ума употреблены на захват власти, не остаётся сердечных сил подумать об обещанном рае. Да.

Если можно ответить на этот вопрос, не упрощая темы, то скажите, как Ленин, будучи никем в то время, которое вы описываете, притягивал к себе людей?

В то время, в этот период, когда Ленина я описываю в Цюрихе, он действительно был ещё никем. Исторические события легко могли пойти так, что он никем бы и не стал. Он за два месяца до нашей русской революции считал дело его жизни проигранным и собирался уезжать кончать жизнь в Америке. Однако и тогда уже он действительно имел сильное личное влияние на малый кружок людей. Когда же

оно перешло в высокие сферы действий и распространилось на миллионы, то здесь влияло не его личное обаяние, поскольку не было такого контакта — ни телевидения, ни радио, — здесь действовала сила его упрощённых лозунгов, лозунги были так заманчивы, что они, обманув массы, повели их по ложному пути. Обещано было всё, а потом всё это не дано или отобрано. Все основные лозунги Ленина не были выполнены совсем, ну, скажем, «рабочий контроль над производством», либо ложно выполнены на несколько лет, например, «земля крестьянам», — уже в 1922 году, собственно, землю отобрали у крестьян, переписали государству. Успех был в том, что он обещал в разгаре войны (но мы забегаем вперёд по отношению к сюжету этой книги), успех был в том, что он обещал, например, в разгаре войны немедленный конец войны, и никто не будет воевать. Это дало ему миллионы сторонников среди солдат. А уже через год советская власть ввела обязательную военную службу, и этих самых солдат принудительно взяли на трехлетнюю войну, а кто не шёл — расстреливали, как не было в царской России, — в царской России за дезертирство был тюремный срок. А при Ленине за дезертирство был немедленный и даже массовый расстрел. Так по всем главным вопросам — войны и мира, земли, фабрик и заводов, демократического якобы управления, — по всем этим вопросам были выдвинуты обманные лозунги, которые все были нарушены в первые годы при Ленине, я подчёркиваю — при Ленине, а не при Сталине.

Зависел ли окончательный успех Ленина от того, что люди с такой лёгкостью поддались этому обману?

Да.

Можете ли вы сказать в общем, чем отличается ваше толкование Ленина от официального, от того, как описывают Ленина историки во всём мире?

Ну, я всё-таки различил бы официальное изображение в Советском Союзе — это вообще иконопись, это придуманное казённое изображение. Историки разных стран, пользуясь объективным материалом, будут оценивать его намерения, действия, сравнивать его обещания и их выполнение. Хотя и тут мы видим много необъективных увлечений. А всякий художник обязательно должен проникнуть в грудь Ленина, ибо полное описание может быть дано только в психологическом комплексе. Я, повторяю, 40 лет сосредоточен на этом образе, и я стараюсь ничего не прибавить от себя, но угадать, постепенно разглядеть, как это связано, что из чего и почему вытекало.

Есть ли писатели на Западе, с которыми вы чувствуете общность?

Вы имеете в виду писателей прошлого или настоящего, современных?

И тех и других.

Видите ли, писателей прошлого я довольно много читал в юности; действительно, наряду с русской литературой, они сформировали мои художественные представления и методы. В частности, особенно я подчеркнул бы мою тёплую привязанность к Диккенсу. Я Диккенса несколько раз прочёл от начала до конца. Но потом мой опыт настолько ожесточился, опыт жизни, — вы можете видеть из моих книг, что я много времени тратил на конспирацию, на что писатель не должен тратить времени. Потом я тратил на свои работы математика, преподавателя. И так в оставшемся объёме моей жизни до такой степени плотна была моя основная работа, законспирированная, тайная, что на обычное человеческое поведение, просто почитать книгу, последить за тем, что происходит в литературе, совершенно не оставалось времени. У меня не оставалось времени жить, восьми часов для сна. Поэтому, ещё также при недостаточном знании иностранных языков, послед-

нее время я постоянного контакта с современной западной литературой не имел и затруднился бы вам назвать, с кем я духовно наиболее тесен, или соприкасаюсь, или с кем сроден художественным методом.

> И наконец, ваше отношение к жизни, к собственному опыту — это отношение художника. Можете ли вы представить себя политическим деятелем?

Нет. Я не политик и не хотел бы им быть. Но, поскольку темы моих работ исторические, а с другой стороны — очень тяжёлое положение моего народа, сейчас то и дело я соприкасаюсь с вопросами, которые носят политический характер. По традициям русской литературы почти невозможно уединиться и не замечать того, что происходит. Итак, это горькая необходимость нашей горькой жизни, что мы не можем отдаться художественному творчеству, каждую минуту не касаясь общественных, социальных, политических проблем.

О РАБОТЕ РУССКОЙ СЕКЦИИ БИ-БИ-СИ

Соображения, высказанные при встрече с руководителями иностранного вещания Би-Би-Си

Лондон, 26 февраля 1976

Я хотел бы сказать, что придаю очень серьёзное значение этому разговору. Это не просто визит вежливости. Я считаю себя тут как бы посланником тех радиослушателей, которые никогда не могут обратиться к Би-Би-Си. Те письма, которые вы получаете, которые прорываются через почту, нисколько не выражают истинного мнения радиослушателей. Ещё те из них, которые бросают за границей, в заграничные почтовые ящики, могут быть истинными. Но те, которые идут непосредственно из Советского Союза, — можете быть уверены, что они «организованы», как у нас говорят, или уж проверены, пропускать или не пропускать. Исключительная редкость, чтоб вы услышали истинный голос радиослушателей Би-Би-Си.

Так я хотел бы сказать, что я очень давний слушатель Би-Би-Си. Я начинал его слушать даже в тюрьме, на шарашке, случайно, в 1946 году, когда его не глушили. Потом я слушал его сквозь глушение, полное глушение, в 1953-54 годах. Не говоря уже о многих годах потом.

Би-Би-Си долгое время было для нас живительным и даже, во времена глушения, родным голосом. Оно отличалось от голоса наших палачей, который наполнял весь эфир вокруг. Уже с тех давних пор я узнал и очень привязался к имени — Мориса Лейти, и также очень любили у нас комментарии Ивлин Андерсон. Для советских радиослушателей каждый раз был праздник, когда вас переставали глушить. Если бы сохранялась примерно вот эта прежняя картина, то сегодня в моём визите, кроме благодарности и вежливости, не было бы никакой

необходимости. Однако, к сожалению, положение изменилось к худшему, и мне хотелось бы совершенно откровенно вам об этом сказать. Передачи Би-Би-Си за последние годы стали ниже по уровню, во всех отношениях, и, как бы это выразиться, — всё чужей по духу массе наших радиослушателей.

Вопрос этот чрезвычайно важен. Би-Би-Си — не рядовая радиостанция мира. По какому-то историческому оригинальному ходу событий Би-Би-Си сохраняет в мире радиовещания такое значение, как раньше Британская Империя — в политическом строю.

Я только подчеркнул сперва особенность Би-Би-Си в мире радиовещания. А второе, что я хотел бы сказать, что р у с с к а я служба Би-Би-Си — не рядовая служба среди иностранных служб Би-Би-Си. Русская программа — не просто одна из двадцати или тридцати, не знаю, программ. Это программа, обращённая к тому народу, от которого в ближайшие годы зависит судьба и даже жизнь самой Великобритании. И ещё значение русской службы не было бы так велико, если бы масса нашего народа хорошо знала иностранные языки. Предположим, — я не знаю, ну допустим, — вы передаёте для Франции или Германии, но там понимают и по-английски многие. Если откажет какая-нибудь французская или немецкая служба, то по-английски поймёт половина или треть. У нас практически могут понять только по-русски.

Так вот, работа сегодняшней русской секции Би-Би-Си не есть рутинная работа, но это единственная возможность говорить с нашим народом, пока не поздно для самой Англии. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что от ваших сегодняшних русских радиопередач в значительной мере зависит ход мировых событий в ближайшие годы. Я не преувеличиваю.

Я иногда задаю себе вопрос, особенно в последнее время: для кого, для чего существует Би-Би-Си? Какие высшие принципы руководят её деятельно-

стью? Ну, теоретически, гипотетически здесь можно дать несколько ответов — для постороннего человека, как я. Что, может быть, в основном, Би-Би-Си существует сама для себя и своего персонала? Безусловно, с этой целью Би-Би-Си справляется.

Вторая, более широкая возможность: Би-Би-Си существует для того, чтобы выражать, и защищать, и проявлять интересы Великобритании. Такая задача вызывает и полное уважение и полное признание. Но боюсь, что даже с этой целью русская служба Би-Би-Си в последнее время справляется плохо. Я боюсь, что вот то исключительное положение ваших передач, о котором я сказал выше, недостаточно понимается вашим новым персоналом и упускаются очень важные возможности.

Наконец, гипотетическая третья возможность, которую я допускаю, — это работа для народов СССР, и в том числе для русского народа. Мы, конечно, не можем требовать или даже настаивать, чтобы вы непременно имели в виду и эту цель. Но, с другой стороны, почти невозможно ставить себе задачу в интеллектуальной области обращаться к какой-нибудь группе общества или нации, не имея в виду её интересов. Если обращаться совершенно со стороны, не будучи душевно заинтересованным в этой группе населения, то вы никогда не найдёте с ней контакта и просто впустую будете работать.

Вот я сказал: для народов СССР или для русского народа. Я сразу должен задать один вопрос — не с тем, чтобы мне сию минуту отвечали. Почему в Би-Би-Си нет секций национальных, по народам СССР, входящим в СССР? Если вы имеете секции для Восточной Европы, то почему при переходе границы Советского Союза вы не считаете возможным продолжить это и тоже иметь национальные секции? Так сложиться могло, но я очень призываю вас критически пересмотреть эту ситуацию в том смысле, что, понимаете, вы сейчас заменяете русскими передачами обращение к очень разным нациям, с их очень специфическими интересами. Это

всё равно, как если б, например, у вас существовало общее вещание для Франции, Испании и Исландии, — общее!

Если вы серьёзно отнесётесь к тому, что я сегодня скажу, возможно, что вы войдёте с ходатайством в те инстанции, от кого это зависит, с тем чтобы расширили ваши возможности или переместили как-то акцент, открыли возможность национальных передач, хоть нескольких. Я бы думал: по крайней мере, Эстония, Латвия, Литва, Украина и какая-то из мусульманских наций, тюркский язык, какой-нибудь общий, ведь там же понимают друг друга, например узбекский.

Я хотел только сказать: если бы осуществилась такая реформа, если бы появились национальные передачи, вы не только бы удовлетворили специфические национальные запросы этих республик, но вы бы упрочнили контакт с русским народом. Тогда бы русская секция могла бы стать более специфически русской.

Теперь если говорить конкретнее о ваших передачах. Я понимаю, конечно, что при оторванности от слушателей вы не имеете точного понимания, какие потребности там наиболее вопиющие, наиболее жгут и просят. Если бы вы могли иметь под именем русской секции не вообще передачи для народов СССР, а конкретно для русских, то ваши сотрудники могли бы глубже сосредоточиться на состоянии этого народа, связи с историей и нынешним духом. Ну, я для примера приведу передачу серии Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме». Одно дело, когда появляется такая книга просто среди других книг на Западе. Другое дело, когда Би-Би-Си выбирает её из множества книг и даёт серию. Эта книга написана не только не с сочувствием — но с искажением исторической перспективы. Это особенно опасно, потому что на Западе вообще существует весьма превратное представление о последних десятилетиях старой России и о нынешнем времени: насколько связано нынеш-

нее духовное развитие нашей страны, и русских в частности, с нашей историей. Би-Би-Си должно стараться вникнуть в истинную историческую перспективу. А трансляция такой серии, как книга Пайпса, даже оскорбляет русские национальные чувства и отталкивает слушателя, потому что такое впечатление, что автор относится не только с равнодушием к этой стране, но даже с неприязнью к ней. А особенность ещё в том, что русская история — новейшая русская история, ну с конца девятнадцатого века, — есть в значительной степени ключ к сегодняшней ситуации на Западе.

Я хотел бы ещё раз повторить, хотя вы это понимаете, что мы шестьдесят лет лишены информации и вместо информации у нас не вакуум, не пустота, а усиленная пропаганда, ложь. Как же удовлетворяет Би-Би-Си эти наши потребности? Насчёт информации: чистая информация русской секции, должен сказать, по объёму значительно уступает, например, информации «Голоса Америки». Я бы оценил её примерно как одну треть по объёму. И вот я слушаю рядом вашу передачу и ту, в одни и те же дни, и всегда, если я хочу полней узнать, я должен слушать «Голос Америки». Это происходит отчасти потому, что в ваших сообщениях весьма большое значение придаётся внутрибританским событиям. Это понятно для британской радиостанции, но, может быть, учитывая наше ужасное положение, что мы не имеем сведений о мире, вы могли бы несколько уменьшить внутрибританскую информацию в пользу общемировой? Психологически это для нас имеет такую окраску, как будто бы человек занят собой и много о себе говорит.

Но однако замечу — а как вы даёте информацию о внутрибританской жизни и британской прессе? Я должен с огорчением сказать, что и здесь выбор не вполне беспристрастен. Я сам проверил, например: «Архипелаг ГУЛаг» вышел по-английски, том второй, вы даёте обзор прессы, а потом мне присылают все эти статьи газетные, я их читаю — и ска-

жу, что ваш обзор просто неадекватен тому, что написано в газетах.

Теперь второй, более общий пример. Нельзя спорить, что подавление, насилие в странах Восточной Европы и в СССР по своим размерам несравнимо с тем, что, например, происходит в Испании. И когда этой осенью я слушал, что́ две недели шло вокруг пяти испанских террористов, — видите, такое внимание и такой гнев при довольно спокойном изложении или даже пренебрежении по поводу того массового, что происходит у нас, — это оскорбляет наших слушателей.

Еще 12 лет назад напечатано в «Новом Русском Слове» небольшое статистическое беспристрастное исследование профессора Курганова. Без всяких эмоций, один научный подсчёт, который показывает нам, что мы потеряли от внутренней гражданской войны, от внутреннего уничтожения, 66 миллионов человек, и от пренебрежительного ведения войны, так, не считаясь с людьми, — 44 миллиона, вдвое больше, чем сказал Хрущев. Я удивляюсь, что за 12 лет Би-Би-Си не передало этого обзора. Я сейчас в общих передачах Би-Би-Си сослался на это дважды, предлагая английской прессе для английского читателя опубликовать. И я также обращаюсь к вам с просьбой это передать несколько раз для нас.

Ну, как автор «Архипелага» я был бы нескромен, предлагая уделить значительное время чтению «Архипелага», но я рассматриваю «Архипелаг» как книгу, стоящую н а д о мной. Это как если бы не я написал. Эта книга с жадностью расхватывается там, в Союзе, и за то, что человек держит её в руках, он сразу может сесть в тюрьму или в сумасшедший дом. И я думаю, что вы могли бы довольно обширно передавать эту книгу, чтобы восполнить тем, кто никогда её не сможет получить.

Ну, это частные примеры. Вообще же я должен сказать, что подбор цитат в обзорах английской прессы — хотя, может быть, он вам представляется такой английской традицией «всех представить рав-

но», но — когда мы слушаем с утра до вечера только коммунистическую прессу, то вы могли бы нам «Morning Star» не передавать. Для английской прессы, может быть, это нужно, для уравновесия, но нас это просто... невозможно слушать, мы выключаем. И вы теряете слушателей с какой-то минуты передачи.

Вот когда ваш диктор произносит фразу, что перед казнью террористов испанских происходили душераздирающие сцены прощания с родственниками, и при этом голос диктора искренне дрожит, наша мысль одна: Господи, хоть вообще пустили прощаться! А у нас сотни тысяч взяты «на одну минуту», потом расстреляны неизвестно где и когда, и вообще не пустили ни на какое прощание, даже душераздирающее, и через десятки лет люди не уверены: жив или не жив, как пропал?

Вы не только оторваны сейчас от настроения радиослушателей, но вас специально дезинформируют вот этими письмами. Приведу пример. Какой-то мерзавец из Казахстана написал, что он Сахарова не одобряет (а знает о нём из советской прессы), и вы передаёте это. А у нас, вы знаете, создаётся впечатление: да может быть, вы не понимаете, как эти письма составляются? Потом, не раз были такие письма: передавайте больше джаза, передавайте больше музыки, передавайте больше спорта. Это — работа КГБ, чтобы вас сделать безвредными, лишить вас всей силы. Я поставил себе вопрос: может быть, вы думаете, что если будете передавать джаз и спорт, то привлечёте к своим передачам молодёжь? Но поймите, это совсем другая категория слушателей, которые остальной вашей передачей и не интересуются. Этим самым вы их не втягиваете в главное русло ваших передач. И, кроме того, эта группа радиослушателей может иметь достаточно хорошую информацию по любому радио — и о спорте, и о джазе. К такой весьма бесполезной или импотентной информации я бы относил передачу поп-музыки и даже музыкальные

журналы. Но я не скажу этого о киножурналах и театральных. Это действительно у вас интересно и даёт нам то, что мы никак не можем увидеть.

Я особенно хотел бы остановиться на религиозных передачах. Живя в Англии, нельзя оценить роли религии в Советском Союзе, среди русских. У вас религия в большой степени редуцирована, сведена как бы к подсобной сфере существования. У нас религия сейчас главная форма духовного движения, это не только религия, это духовное возрождение народа, которое даёт твёрдость сопротивления советскому режиму. Стержень организующий, я бы сказал.

Я особенно бы подчеркнул потребности наши в религиозных передачах вот в таких отношениях. На первом месте я бы поставил передачу православных служб. И здесь я напоминаю мою просьбу отделить несколько наций, несколько национальных передач, потому что, естественно, религиозные формы не совпадают, но все нации нуждаются в религиозных передачах. А тогда был бы большой простор и возможность для передачи русской православной службы. У нас в Советском Союзе очень много таких местностей, где до храма доехать — двести километров. Поэтому невозможно пойти в воскресенье на службу, и даже в большой праздник. Максимум можно пойти — ребёнка окрестить, или свадьба, или панихида. Поэтому огромные пространства России, именно те, где не глушится, — сейчас вообще не глушится, — они нуждаются в этих религиозных передачах, они надеются хотя бы в воскресенье десять минут послушать службу, как будто войти в церковь.

Однако должен с огорчением сказать, что у вас последнее время — это совсем недавно изменилось — сократились службы: даже по двунадесятым праздникам исключены, а уж по воскресеньям и совсем нет простой воскресной службы. По вашему сегодняшнему порядку у вас передаётся только Пасха и Рождество. Это чрезвычайно мало. Я очень просил

бы, чтобы религиозные службы — хотя бы по десять минут — были каждое воскресенье и каждый крупный праздник. И вы вовсе не нуждаетесь обязательно записывать сегодняшнюю службу, для достоверности, вот «как сегодня». Вы можете из года в год передавать то же, и это чрезвычайно нас насытит. Мистическое ощущение, как войти в храм.

На втором месте я поставил бы — вот, например, у вас сейчас цитируется книга, сводка по Евангелию. Это очень полезные передачи, хотелось бы их не прерывать, постоянно вести.

Затем, третье. Сюда среди других самиздатских материалов поступает много религиозных. Чрезвычайно важно, чтобы Би-Би-Си в общей программе передавало бы эти религиозные самиздатские материалы. Сейчас их у вас больше, чем может передать религиозная программа Би-Би-Си.

И, наконец, последний важный вопрос — место религиозных передач в общей передаче. То, что вы включаете в общую программу, — нельзя ли поставить по времени на более почётное, точнее, раннее место, ну, скажем, после известий и главных обзоров. А то получается, что после новостей и комментариев идут научные передачи, спортивные, музыкальные, и серьёзные слушатели, которые слушают и известия и религиозные передачи, — вы разрываете для них слушание, — по вынужденности времени они выключают и теряют потом религиозную передачу.

Ваши научные передачи по-русски очень тяжелы, иногда неудобоваримы. Они должны быть легче и короче. Я вот физмат кончил, и то мне нужно напрягаться, чтобы уловить. Потребности научно-технической информации у нас в Советском Союзе не так уж плохо удовлетворены. Она не запрещена, она есть во многих научных изданиях, и люди там могут читать. А когда вы ею вытесняете наши духовные потребности, наши сердечные потребности, это очень обидно, потому что вы подавляете более высокие потребности для более низких.

Я отдельно хотел бы подчеркнуть очень неважный русский язык, на котором сейчас передаёт Би-Би-Си. Разный уровень, конечно. Есть и очень хороший русский язык, а есть и акцент, и построение фраз не русское.

Наконец, я немного скажу и о собственно политической части ваших передач. Если говорить об известиях, я думаю, что вам надо увеличить сведения по миру и, может быть, немного пригасить внутрибританские события. Теперь, ваши комментарии «Глядя из Лондона» — очень неровные. Бывают отличные комментарии, а есть весьма малосодержательные. Ваша собственная инспекция может это легко обнаружить. И если вы признаете, что вы ответственны перед миллионами людей, не только в России, но и своими британскими, если смотреть в будущее, — я повторяю то, с чего начал: от того, как пойдут события в СССР, зависит и судьба Англии, — то, может быть, сумеете и пожертвовать некоторыми комментариями.

В частности, скажу о комментариях Анатолия Максимовича Гольдберга. Советская пресса иногда даже так играет: нападает на Гольдберга, какой он резкий антисоветчик. На самом деле это всё игра, такая же, как сейчас говорят, что НАТО до того вооружается, что уже Советскому Союзу надо защищаться, Брежнев сказал это. Комментарии Гольдберга прослушаешь пятнадцать минут и с огорчением видишь, что к концу знаешь ровно столько, сколько знал и в начале. Вот он говорит — уверенно, убедительно, а информация — как вода между пальцев уходит, нету! Может быть, это такой стиль у западных комментаторов — ободрять слушателей, оптимистически... Но вот слушатель, простой слушатель видит, что дела идут в пропасть, дела идут плохо, а Гольдберг даёт такую радужную картину, надежды, что вот-вот всё пойдёт к лучшему. Такое впечатление: иногда второстепенные признаки Гольдберг выдаёт за знак поворота к лучшему. Вот, например: советские представители *все* улыба-

лись — хороший знак! А они *все* делают так, как по команде им скажут.

Я ещё раз вернусь к Морису Лейти — не потому, что Морис Лейти присутствует здесь и я хочу сказать ему приятное. Вот у вас — отличные комментарии, всегда! Вот, действительно, Морис Лейти видит вопрос в глубину и даёт полновесный комментарий. Он даёт нам душевное удовлетворение, что Запад понимает положение. А слушаем Гольдберга и думаем: «Ну что они, все не понимают ничего?!»

Теперь ещё совсем маленькие частности. Вот вы давали в своё время обзор некрологов по Хо Ши Мину. А совсем недавно по Чжоу Энь-лаю. Вы совершили примерно одну и ту же ошибку, или уклон, в обоих случаях. У меня где-то было записано по Хо Ши Мину, но сейчас этого нет здесь. Я вообще иногда, когда сержусь на Би-Би-Си, записываю. Но не все бумажки я сейчас собрал. А вот по Чжоу Энь-лаю, разрешите, вам дам.

«Величайший борец за эмансипацию.» Человек, который вместе с Мао Цзе-дуном подверг угнетению 900 миллионов людей, — величайший борец за эмансипацию! Как Вашингтон. Вот, например, даёт «Нью Стейтсмен» огромный поток похвал Чжоу Энь-лаю, и вы, Би-Би-Си, это передаёте. А вот я спрошу: если бы такими методами управляли в Чили, как бы вы реагировали? Вы не называете Пиночета величайшим борцом за эмансипацию? Однако он предложил Советскому Союзу выпустить взаимно всех заключённых, а Советский Союз ухом не повёл. Вы знаете, промелькнула, я не помню, по Би-Би-Си же, кажется, — маленькая заметочка о том, что 17 чилийцев приехали в Румынию, пожили там и не знали, как сбежать, сбежали в Западную Германию. Это же потрясающий факт, который просится в комментарии: значит, они хотели установить в Чили такой режим, при котором сами жить не хотят.

Возвращаюсь к Чжоу Энь-лаю. От ваших ком-

ментариев создаётся впечатление, что у британцев — чего нет на самом деле — уважение к грубой силе. Как же можно? Человек действует грубой силой — и ему такие похвалы воспевает Би-Би-Си. Утверждаете, цитирую, что «к коммунизму Чжоу Энь-лая привёл патриотизм». А самое большее: что убеждённый коммунист Чжоу Энь-лай с какого-то момента стал применять патриотизм как оружие. И вот Би-Би-Си передаёт от собственного имени: «Подлинная скорбь народа (это Чжоу Энь-лай! — *А. С.*). Личная утрата каждого китайца. Оплакивает весь Китай.» Невозможно слушать нам! Мы понимаем, конечно, что какие-то слои захвачены идеологией и оплакивают его. И по Сталину плакали. Но другие радовались, только не могли показать. Недостойно Би-Би-Си так восхвалять диктаторов.

Ну, я очень бегло это всё сказал, торопясь. Я мог бы развивать отдельные положения, но у нас нет времени.

Последняя просьба: если которые-то из моих аргументов вас убедят, то, может, вы будете ходатайствовать перед другими инстанциями? Насчёт национальных передач? Я прошу вас, самое главное: поймите, может быть, идут последние годы, когда вы можете помочь Британии влиянием на русский народ.

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ БИ-БИ-СИ

Лондон, 28 февраля 1976

Многоуважаемый г-н Каррен!

Находясь сейчас в Лондоне, я имел случай увидать фильм производства Би-Би-Си «Последняя тайна» (режиссёр Роберт Ваш). Хотя и с большим опозданием, большой неполнотой, — этот фильм восстанавливает часть нашей русской боли, боли миллионов, преданных в те годы английской администрацией на уничтожение (многие погибали на моих глазах). В этом фильме ужасный размах действительных событий и ответственность за них английских государственных деятелей и прямых военных исполнителей даже сильно смягчены: эти деятели, принимавшие такие решения, ответственны за них до смерти и посмертно; эти исполнители перед кинообъективом не находят оправдания выше чем: «я получил такой приказ». Вспомним, что подобным аргументом пользовались все нацистские палачи — и это ни разу не было принято как смягчающее обстоятельство.

Я сказал бы более: речь идёт о глубоком просчёте тогдашней английской внешней политики, все грозные последствия которой для Великобритании начинают сказываться именно теперь. Именно потому демонстрация этого фильма для британской публики сегодня чрезвычайно важна и может принести ещё непоздние уроки.

С уважением

Александр Солженицын

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ ЯПОНСКОЙ КОМПАНИИ NET-TOKYO

(Интервью ведёт Госуке Утимура)

Париж, 5 марта 1976

Александр Исаевич, мы с вами оба — советские зэки. Я прежде всего и хочу спросить, что вам дал лагерь? Жизнь там была предельная, очень трудная, и условия эти предельные — не мимоходные, долгие. Я думаю, там перед вами стоял вопрос смерти и жизни?

Да, вы сами знаете, что лагерь большинству принёс просто смерть, и только тех, кто уцелел, можно спрашивать, каков был духовный выбор и каков духовный результат. Мне удалось уцелеть отчасти потому, что я половину срока провёл на шарашках, в научных институтах, но и достаточно тяжёлые лагеря достались. Да, в духовном отношении мне лагерь дал очень много. Он нас подводит к самым острым психологическим граням, где оттачивается душа человека. Но и как писателю он дал мне самые глубинные знания Советского Союза, системы советской, потому что ниоткуда так глубоко нельзя понять коммунистическую систему, как из Архипелага ГУЛАГа. Там её центральный стержень, главное ядро. Многолетнее испытание в лагере даёт нам и психологические глубины, и социальные тоже.

Но одной воли недостаточно, чтоб прожить в лагере?

Одна воля — может быть направлена неверно. Только голая воля — может увести нас просто в борьбу за существование и душевно погубить. Да, вы правы, одной воли недостаточно.

А что поддерживало вас в лагере помимо воли?

Да перед каждым лагерником развилок: так идти или этак идти. Конечно, есть большой поток людей, сохраняющих жизнь с потерей совести. Но и большой поток, кто сохраняет совесть. Я очень много таких примеров привожу в «Архипелаге». У одних это религиозное сознание, у других — просто внутреннее духовное отвращение к подлости, к приспособлению. И многие из них погибают, но кто-то и выживает. А внутреннее, духовное состояние очень помогает и физически, оно укрепляет нас тоже: если вас не мучит совесть, то вы все испытания выносите гораздо твёрже. Да что я вам говорю, вы же не посторонний человек, вы сами знаете, какие там люди.

Да. Приходилось вам встречаться с японцами в лагерях?

В лагерях нет, только бегло, на пересылках.

На пересылках? А где?

В Сибири. А один случай с японцами я описал в «Раковом корпусе». Это истинный случай. Там мой персонаж Костоглотов рассказывает, как на красноярской пересылке японцы бились против урок, и там было двое русских всего, политических, которые приняли участие в драке на стороне японцев, против урок. Случай реальный. Но я не участвовал, мне о нём рассказывал один лагерник, Суворов, он был один из тех двух. А так, издали, я видел японцев в этапах, но близко не приходилось.

А насчёт философии Ямага Соко откуда вам стало известно?

Я когда-то на шарашке нашёл время изучать историю философии, мировую. Мы Восток вообще мало знаем. Япония, Китай — это даже для России закрытая страница, а для Европы тем более. Я с большим интересом знакомился с японской философией, но поверхностно — и то находил там поразительные вещи.

А что в Ямага Соко прежде всего вам импонировало?

Ну, например, утверждение, что тот, кто не умеет экономить одну минуту, для того пропадёт и вечность. Я сам всегда так живу. И потом: каждую минуту жить так, как если бы ты тотчас и умрёшь. Вести себя так, будто это последний час твоей жизни. Это очень мудро, но очень трудно следовать. Мы, конечно, грешные, отходим от этого, но это правило замечательное.

Для чего и для кого вы пишете? К чему ваше писательство в современном мире, как вы понимаете?

Я бы сказал, писательство не является свободным вольным решением человека. Не так, что вот я хочу — и стал писателем, а хочу — не стану, не так. Это внутренняя духовная потребность, которая ведёт нас выше нашей воли. Мы как будто сами формулируем свои задачи, вот хочу написать об этом, на самом же деле это не так просто и не так зависит от нас. Вот я ясно понимаю, что в нашей стране, где совершенно искажена история, где уничтожены поколения свидетелей и все документы, нужно восстановить память о прошлом, потому что история непрерывна, и надо, чтобы для людей история не потеряла своей связи внутренней. Так я понимаю свою задачу, и, главным образом, я этой задаче служу, для своей страны. Но затем оказываются внезапные стороны в этой работе. Например, я со временем, с годами, стал понимать, что, благодаря замысловатому ходу истории, то, что было в России 70—80 лет назад, наше прошлое, в Европе — сегодняшний день. Странным образом, Россия совершила такой социальный скачок, что прошла этот опыт раньше Запада. И вот я сейчас пишу — как будто исторические сцены русской жизни, а читаю западные газеты — как это похоже, сегодняшние события и разговоры! Да, бывают и неожиданные аспекты в том, что мы делаем. Мы сами всего не охватываем. Вообще

13 617

всех последствий своих поступков человек никогда не знает. Так и писатель. Как его творчество послужит — не нам судить, судить будет жизнь.

> Это то, что вы сказали в Нобелевской лекции? Там два типа писателя. Тот, который для себя пишет, и второй, подмастерье Бога. Я думаю, что квинтэссенция вашей литературы, общая мысль, концентрируется в этой лекции. Верно ли? Или какое-то изменение после приезда на Запад?

Нет. Концентрат всего, что может дать писатель, — в его книгах. Если написал 10—12 книг, то всё там рассыпано, и через людей, через образы преломлено. Сказать, что в лекции я выразил всё главное, неверно, потому что сама лекция — необычная форма для писателя. Когда я узнал, что должен прочесть Нобелевскую лекцию, я стал знакомиться, какие лекции были раньше, каков жанр. Оказалось — жанра нет. И темы нет, каждый говорит, что хочет. Я попробовал сформулировать некоторые принципы, как я понимаю роль искусства, как оно может послужить современной жизни. Но знаете, я тогда был уверен, что искусство может помочь перенести опыт от человека к человеку, от нации к нации, от общества к обществу. И если мы попали в трудные, тяжёлые положения, в опасность, или в ошибки, то, может быть, через искусство мы вас или другую страну предупредим — и вы не попадёте в это положение. Я очень в это верил. Но вот приехал на Запад, смотрю ближе, и начинаю уже сомневаться. Возможно ли вообще передать опыт от нации к нации? Так ясно, какой страшный путь прошли мы, в СССР. И казалось бы, Европа должна ужаснуться, и понять. Нет, её, как зачарованную, втягивает туда же, в эту самую бездну. Она как будто бы обречена этой бездной пройти, упасть в неё и пройти... Это ужасно.

Когда вы стали публиковать свои произведения, имя Достоевского как-то не встречалось в них. Впервые я прочёл у вас его имя именно в Нобелевской лекции. Как вы относитесь к нему?

Вы знаете, когда автор пишет, ему незачем заниматься литературными реминисценциями, незачем писать о писателях. Он соотносится с жизнью, со своими образами. Но, конечно, в каждой литературе есть своя традиция, своё наследство. Достоевский — один из тех, кто создал русскую литературную традицию, и даже больше, самую высшую духовную её струю. Трудно не попасть в эту струю и не испытать её влияния. Он был пророком. Он предсказывал поразительные вещи. Терроризм, крайнее революционерство он предсказал, когда никто ещё не видел, в 70-е годы прошлого века, в самом зародыше, 100 лет назад. Он, например, предсказал, что от социализма Россия потеряет сто миллионов человек. В это нельзя было поверить. А сейчас подсчитано, что мы потеряли сто десять миллионов человек. Это поразительно. Ну, а говорить специально не было повода, пока я в лекции на него не сослался естественно...

Вы читали в юности его произведения?

Да, конечно, конечно. Я всего его читал, и не раз.

Казалось бы, после всего вашего тяжёлого пути не должно остаться места для оптимизма. Но, когда прочтёшь любое ваше произведение, остаётся сильное чувство, что нужно жить, и можно жить, то есть вы нас поддерживаете, вдохновляете. Я имею в виду нас, людей западного воспитания. Откуда у вас этот поразительный оптимизм?

Наверное, здесь две причины: личная и общая. Личная — просто я такой от рождения. Вот, таким родился — и всегда побеждает общее светлое мироощущение: всегда надеюсь и уверен в лучшем. Но

этого одного, наверное, было бы мало. Я хотя попал в тяжёлую полосу нашей истории, но не в ту полосу, когда вся Россия шла вниз, а когда уже начала из бездны подниматься, то есть я застал такое время общего движения духовного, когда вокруг видел укрепление душ, подъём сознания, восстановление памяти. Под этой коркой чугунной в СССР идёт процесс духовного возрождения, движение кверху, к свету и к вере в Бога, к большему познанию, к укреплению духа. Это у многих. Снаружи не виден этот процесс, но писателю дано его отразить, я ощущаю его вокруг, это вселяет в меня бодрость — и я так пишу. Я так чувствую. Ну, конечно, добавляется и оптимизм природный. Когда я вижу на Западе у писателей упадок, то думаю, это связано тоже с общим процессом. Общая духовная растерянность. Не этих писателей — общества. Но растерянность общества передаётся писателям.

Вы в «Архипелаге» писали, что встречались там с молодёжью, которая уже не знала и не признавала сталинизма.

Я бы слова «сталинизм» вообще не употреблял. «Сталинизм» — ошибочный термин, но для коммунизма удобный. На сталинизме Хрущёв играл, да слово-то придумано, чтобы списать все грехи коммунизма на сталинизм. Да и «ленинизма» я бы не употреблял, потому что и на Ленина нечего особенно списывать. Это всё магистральная дорога развития всякого коммунизма. Как она от Маркса пошла, так направлял и продолжал Ленин, и, как ни странно, при разности характеров и умственных уровней, Сталин вернее всех понял суть, как надо вести государство дальше. Он действительно ученик Ленина. Так вот, простите, возвращаюсь, о молодёжи. Не то что она сталинизма не знала, а эта молодёжь в конце войны, первой поросли, она уже без коммунизма начала искать путь к воздуху и свету. Наше поколение до войны ещё было совершенно обморочено коммунизмом. Мы ещё искренне разделяли ложные эти

идеи. Нам уж натолкали в голову. И вдруг я увидел, в первый раз, — люди свободные. Это медленный процесс. В «Архипелаге» я пишу, это, значит, после войны — 46-й, 47-й годы. Но ещё и сегодня нужно зрение иметь, чтобы видеть этот процесс в России, 30 лет он всё время шёл, я всё-таки ещё не изменил общество. Это медленный процесс, но духовный процесс всегда медленный и тонкий.

Собственно, ту же картину я увидел на пересылке «Свердловская», когда меня переводили из Александровского централа во Владимир.

В каком это было году?

Если не ошибаюсь, в 55-м.

Понятно. Тогда вы могли видеть уже больше да яснее. В 50-е годы начался процесс лагерного сопротивления, о котором я пишу в третьем томе «Архипелага». Это уже новая эпоха Архипелага, которая изнутри его взорвала. Не то что добрая воля Хрущёва была его распустить, но система начала взрываться изнутри.

К нам в тюрьму попали те повстанцы, которые бунтовали в Воркуте и в Норильске...

А потом восстания перекинулись на весь Архипелаг, на весь Казахстан, и всё повторилось.

Да, тяжело, тяжело с вами вспоминать наше прошлое.

Но и что-то хорошее зародило оно в нас. Просто только обижаться на судьбу нельзя.

Обижаться, конечно, я не обижаюсь.

Вы знаете, я вообще пришёл к убеждению, что мы, каждый человек, плохо понимаем свою жизненную задачу. Мы построим план, вот буду делать так-то. Но потом вдруг поворачивает нас судьба, верующие люди говорят — Бог, нас поворачивает сов-

сем не так. Происходит с нами несчастье, провал. А потом проходит время, и мы понимаем, что за нас был сделан высший и верный выбор, что мы по своему неразумию не туда шли, то есть, имея в виду свою цель, мы шли в другую сторону, не так. А нас поправляет судьба, Бог, — поправляет и направляет нас туда, куда надо. Это поразительно, я много раз в своей жизни наблюдал. Я сам бы не мог так жизнь построить, как за меня она построена, не моими руками. Наверное, и с человеческой историей так, не только с личностями отдельными. Вероятно, с целыми народами и со всем человечеством. Вот кажется, что человечество идёт куда-то в пропасть, творится безумие, а может быть, в этом есть высший замысел, который мы с вами не поймём. Следующее поколение, может быть, поймёт.

Тут получается какое-то противоречие. Вы говорите, что Запад на коленях перед коммунизмом. Дух Мюнхена торжествует. Значит, мрачное будущее у человечества. А с другой стороны — высшая воля поправит?

Мы должны делать всё, что в наших силах и в нашем зрении. Если я вижу опасность, я должен о ней предупредить. Если меня, мой голос, слышат, я не имею права молчать. Человеку не дано видеть всё и даже видеть слишком далеко. Но мы не имеем права и так сказать: ах, Бог всё исправит, будем сидеть спокойно. Нет. Мы должны биться. В этом смысл жизни на земле. Мы бьёмся, как можем, как понимаем, сколько хватает нашего зрения, мужества, ума. Конечно, есть божественный смысл в истории, божественный взгляд. Но нам нельзя ни предвидеть, ни всё на него оставить, самим сложа руки, без действия. Мы не имеем права.

Не будет нескромно спросить вас: был какой-то поворот вашей духовной жизни? В своё время вы были материалистом?

В детстве я был воспитан в религии. Я рос верующим. И только в 30-е годы попал в это ужасное время, когда у нас был общий поток марксизма, всех захватывающий, как ветер, как сильный ураган. Вся молодёжь шла в комсомол, вся молодёжь верила в Маркса и Ленина, и действительно, я не устоял, не удержался на ногах в этом потоке. Так было десятилетие перед войной, а потом началась война, лагерь. И я вернулся к своему исходному состоянию, обогащённый новым жизненным опытом. Это не было открытие пути веры, но восстановление того, что в каждом заложено, от рождения, и что с детства у меня было, но затмилось от марксизма.

Это постепенно возвращалось или в один прекрасный день вас озарило?

Вся лагерная жизнь постепенно возвращала основу духовного бытия. Это был беспрерывный процесс.

Мне как-то пришлось на Западе читать ваши молитвенные слова, очень короткую молитву. Это — ваши слова, верно?

Есть такая молитва, да, верно. Но она случайно вырвалась, я не собирался её печатать. Я как раз дал той женщине, у которой потом «Архипелаг» нашли, дал просто перепечатать. Она взяла, начала показывать, и ушло из рук, не остановить. Я не собирался пускать, это было — личное.

Ах, вот что, но — верная версия?

Верная версия, да.

Теперь насчёт судьбы России и, вернее сказать, судьбы планеты. Мы ведь живём на маленькой планете, уже сейчас. Судьба Японии неотделима от судьбы России, по-моему. Вы как-то ответили на вопрос западного корреспондента, что обязательно вернётесь в Советский Союз. Мне это чересчур оптимистическим показалось. Притом, когда вы вернётесь,

то обязательно возьмёте своих сыновей и свою жену. Но отвечать за себя — это ваше дело, а втянуть своих детей, свою жену на погибель — вам не дано такого права.

Здесь неясность в переводе моих слов. Меня спросили: какое чувство, вернусь ли я на родину? На родину — я так в сердце чувствую — вернусь, при жизни. Но родина — что это? Советский Союз или Россия? Это совершенно разные понятия. Я был бы очень рад, если бы японские зрители их не путали. Советский Союз и Россия — не только не одно и то же, но прямо противоположны. Когда я говорил «вернусь на родину», я имел в виду не тот режим, который там сегодня и который меня выбросил. Я просто верю, что изменятся условия наши, вот, например, если напечатают «Архипелаг ГУЛаг» в нашей стране и все, кто хочет, прочтут, — это невозможно сегодня, это будет другая страна. Вот в ту страну я вернусь, и верю в это. Но должен сказать, что сегодняшнее положение Запада, поток его капитуляции таков, что отдаляет возможность изменений в нашей стране. Капитуляция Запада усиливает тоталитаризм Советского Союза настолько, что, может быть, в моей жизни уже не придётся вернуться. Советский Союз — государство, и тоталитаризм, и агрессия — Советский Союз, а внутренняя духовная жизнь и возможность возрождения — Россия.

Да, правильно. А как вы смотрите на духовное состояние Запада теперь, когда вы попали сюда? Уже прошло два года, по-моему? Разочаровались в западной интеллигенции? В том числе мы считаем себя западной интеллигенцией, мы, японцы, теперь находимся не на Дальнем Востоке, а на Дальнем Западе, как мы ощущаем себя.

Мне очень нравится ваше выражение «Дальний Запад». Верное выражение. Ну, в Советском Союзе мы, конечно, имели скудную информацию о Западе.

Догадывались, узнавали по частям. Но давно уже вызывало недоумение духовное состояние Запада. Странно это. Вот живут народы десятки лет, и даже сотни лет, — при свободе. И почему вдруг дух их, воля так падают? Казалось бы, если расцветают все возможности, — должны расцвести и духовные? Нет, наоборот. У нас под давлением, под гнётом нарастает духовная стойкость, непримиримость к компромиссам, к сделкам, к уступкам. Откуда на Западе это расслабление? Очевидно, есть такой общий закон. Очевидно, нельзя винить одних, что кто-то хуже, кто-то лучше. Просто, видимо: если человек или общество слишком долго живёт в безопасности, вне давления, то начинает терять сознание ответственности. Современная западная свобода родилась на базе общества религиозного, глубоко религиозного. И было понимание: мы все имеем право на свободу, потому что мы малое подобие Бога, но при этом, естественно, мы ответственны перед высшими силами. Но вот общество формирует прагматическую философию: ничего над нами нет, каждый должен делать, что ему выгодно, приятно и удобно. И сознание ответственности падает. Свободу Запад сейчас понимает как набор прав: я имею право, на всё имею право, всё — моё, всё мне дайте. А что он должен за это? а если нужно за свободу умереть? — об этом забыто. А главное: если государство нас не ограничивает, если над нами нет тирании, то мы сами себя должны ограничивать. Всё-таки высший принцип жизни общества состоит в том, чтоб не государство, а мы сами регулировали наше стремление потреблять. В русском языке это называется «самоограничение». Наверное, есть и в японском точное такое понятие. Вот этого самоограничения на Западе сейчас, к сожалению, нет. Сейчас поток века, он как будто и Японию захватывает, — это стремительный поток потребностей, всё новых, обязательно меняющихся. Не успевают вещи износить, выбрасывают: давай новое, лучшее! Поток искусственного спроса, искусственного потребления. Многим живу-

щим он кажется сейчас смыслом жизни. А он ведь делает нас рабами. Мы начинаем зависеть от потока вещей, от участия в этой сутолоке, в этой толкучке. Самоограничение освобождает наш дух. Если мы уменьшаем свои потребности, по двадцать лет используем одну и ту же вещь, мы вдруг перестаём зависеть от этого жадного потока. Мы оставляем место для своей души, для духовного поиска. В лагере нас с вами насильно поставили в это положение. Что ж у нас осталось, как не душой заняться? Но в лагере нас заставили решёткой. А смысл в том, чтобы человек сам себя ограничил, духом. Я думаю, вообще плохо для человека, если он не своим умом живёт, а как все. И для общества, и для нации. Надо жить своим умом. Хотя бы и все жили вот так, а человек, общество, нация должны примерить: а мне это хорошо ли? Вот о Японии я сужу очень поверхностно, и заранее прошу прощения у вас и ваших телезрителей, но насколько я понимаю — в Японии высокая степень только ей свойственной яркой индивидуальности, Японию не спутаешь ни с чем, японцев не спутаешь ни с кем. И поэтому, если вы поддаётесь потоку века, как Дальний Запад, если вы начинаете пренебрегать своим собственным индивидуальным национальным духом, неповторимым мировоззрением, то, может быть, вы делаете роковую ошибку: а что, если этот поток ложен? Есть сейчас такое мнение, что расширяющаяся прогрессивная экономика — ложный путь, ведёт нас в тупик. Земля ограничена, нельзя всё время увеличивать производство и потребление. Земля кончится. И воздух, и вода, и ресурсы. Нужно экономику строить не растущую, а стабильную, найти наилучшую форму, чтобы технология менялась, а объём оставался стабильным. Мы съедаем нашу Землю, как черви яблоко. Взрыв населения, взрыв потребления, и за последние каких-нибудь пятьдесят лет промышленность скакнула больше, чем за предыдущее тысячелетие. Пришло время нам очнуться, подумать и искать. Он сам подошёл к нам, великий исторический поворот.

Мы должны повернуть от материи к духу, главный интерес свой увидеть в духе, в духовном развитии, или мы все погибли, все обречены.

> Вы ещё в Советском Союзе познакомились с отчётом Римской конференции?

Вот, вот, я отчасти её имел в виду. «Римским клубом» называется, да? Я очень был поражён отчётом, этих цифр я не знал. Хотя общий ход событий и без них понятен, и даже я вам скажу, вспоминаю стариков в моём детстве, — они это всё тогда предвидели. Старики неграмотные, ничего не читали, никаких цифр не знали. Только начинался автомобильный транспорт, развивались дороги железные, первые самолёты, — они говорили: «мир погиб», это всё съест мир. Они это чувствовали, интуитивно. Это можно предположить и без Римского клуба. Но он, к счастью, дал нам цифры предупреждающие. А Япония, с её теснотой, должна особенно остро об этой проблеме думать, наверное? У вас очень тесно, мало земли, всё нужно брать снаружи. Вас этот процесс особенно остро касается.

> Наше молодое поколение считает свободу, как вы говорите, коллекцией прав. И наслаждений. Это после японского бума, то есть после невиданного процветания японской экономики... Наше молодое поколение совершенно стало на путь Запада. Не пренебрегать своими национальными ресурсами — об этом теперь мало кто думает.

Это жаль, я думал, в Японии ещё сохраняется яркая национальная индивидуальность. А если она теряется, это большая угроза для Японии: современный жадный поток наслаждений — это прах. Это тупик. Ну, бросаются в секс. Через десять лет надоедает и секс. Каждые пять лет надо менять танцы и моды. Но невозможно без конца заглатывать. Только есть, только брать. Надо самим себя ограничить, а за права эти надо платить ответственностью и быть гото-

вым к защите свободы. Над ней нависла большая опасность. Свободных стран на Земле гораздо меньше, чем несвободных. Тирания занимает больше половины Земли сегодня. И многие страны, освободившиеся из колоний, попали во власть тирании, многие страны Африки и Азии.

Видите ли, японцы считают, что гарантию безопасности Япония даёт ООН. Как вы понимаете?

Серьёзно верите, что ООН...?

Да, считают серьёзно.

Это удивительно. По-моему, Организация Объединённых Наций уже показала своё полное бессилие в любом вопросе. Она только тогда сильна, когда угождает своему большинству, а большинство сейчас — молодые страны, которые только хотят получать. Они могут продиктовать ООН только эгоистические решения. Я думаю, это плохая надежда, плохая защита.

Но тем не менее японцы стоят на этой позиции, то есть свобода — коллекция прав, и не только для молодого поколения, послевоенные поколения все такие. И после войны японцы решили не вооружаться. А теперь хотя и есть у нас свои военные силы, но официально считается, что это не армия, хотя это всё же армия; но японцы считают, что это безнадёжная армия.

Очень я понимаю тот духовный путь, которым Япония пришла к решению не иметь оружия, не иметь армии. Это благородное движение. Япония, конечно, понимала долю своей ответственности за участие во Второй мировой войне. И решила не повторять ошибки. Этот путь вызвал симпатию во всём мире. Но вот тридцать лет прошло, вы себя ограничивали, а ваши соседи себя не ограничили.

А свободу надо защищать. И посудите, что же у вас есть для защиты вашей свободы в роковую минуту? Будете подавать в ООН? Но там легко проголосуют против вас. Вас будут душить, а ООН при этом будет голосовать против вас. Удивительно, что такая вера в ООН могла в Японии создаться. Вообще, сознают ли ваши соотечественники, насколько опасное в мире положение? Очевидно, нет, раз молодёжь ваша веселится.

> Вот мы обменялись мнениями, и после этой беседы японцы, может быть, смогут лучше вас понять. У нас в Японии русская литература с давних пор пользуется большой популярностью, больше всех мировых литератур повлияла русская литература на японцев. У нас есть полные собрания сочинений Достоевского, Толстого, Чехова. К этому добавились ваши сочинения. И, поскольку я знаю, японские переводы — если не самые лучшие, то самые добросовестные. В чём бы вы хотели быть понятым в Японии?

Очень вы меня радуете. Я не думал, что русская литература повлияла на японскую жизнь и общество больше других. Для нас Япония — притягательная и загадочная страна. Но мы не можем похвастаться серьёзным пониманием Японии. Таких хороших и обильных переводов с японского у нас не было. Поэтому мне трудно представить себе современную японскую публику, и ход национальной традиции, а стало быть и степень возможного взаимопонимания сегодня. В каждом писателе есть нечто, слишком связанное с историей его страны, с его языком, с его нацией. Но обязательно есть нечто общее, особенно потому, что все мы втягиваемся в один и тот же великий мировой кризис. Это всегда — главные психологические и духовные выводы. Обязательно есть они, и я хотел бы, чтоб именно они были восприняты японскими читателями. Во всех книгах они есть, но вот «Архипелаг», хотя расска-

зывает как будто только об Архипелаге, которого, надеюсь, в Японии не будет, но там много духовных выводов, сделанных на грани жизни и смерти, — выводов, очень пригодных для современного человечества. Не моих собственных, а выводов всех тех, кто там страдал.

Это, по-моему, миниатюра судьбы нашего мира.

В каждой книге главное — это духовный стержень, он раньше, может быть, сильно разнился у разных наций, когда они были отдалены, а сейчас всё более общий. Может быть, наш опыт будет небесполезен для Японии, может, обережёт вашу молодёжь от повторения ошибок века. Дай Бог.

У меня такое печальное впечатление, что, по всему ходу истории, едва ли японцы повернут свой путь к той цели, о которой вы говорите.

Вы думаете, нет?

Очень сложно будет это... японцы не могут понять...

Но тогда... придётся дорого заплатить личным опытом.

Верно.

Заплатят — и поймут, и повернут, но этот личный опыт может быть очень тяжёл, огромные жертвы несёт.

Поэтому предупреждаете, но что поделаешь?

Сколько можно, мы говорим из мира страдающего. Конечно, тем, кто страданий этих не знал, всегда трудно понять.

Но всё же будем надеяться на оптимизм, который у японцев есть... Но всё равно, наша речь из другого мира.

Дай Бог, она бы дошла не слишком поздно.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

Париж, 9 марта 1976

В е д у щ и й. Во-первых, я хотел бы поблагодарить Александра Исаевича за то, что он любезно принял наше приглашение. Он посмотрел вместе с нами фильм «Один день Ивана Денисовича», сделал несколько замечаний по ходу. Знаю, что у телезрителей возникли вопросы как по фильму, так и по точности следования книге. Прошу начать задавать конкретные вопросы именно по этим пунктам. Мы получили огромное количество карточек с вопросами, и, для того чтобы ответить на все вопросы, потребовалось бы часов десять, а то и больше, настолько телезрителей увлекает ваше произведение, ваша судьба, ваша личность, сам факт вашего здесь появления. Мнения самые разноречивые: кто считает вас препятствием на пути к разрядке, человеком, прилагающим все усилия, чтобы ей помешать; кто — поборником антикоммунизма, героем, страдальцем, пророком; вас поздравляют, вас благодарят, и действительно говорят о вас во всём мире... Итак, первый вопрос: как вы сами, Александр Исаевич, оцениваете экранизацию вашего произведения?

Я должен сказать, что режиссёры и актёры этого фильма подошли очень честно к задаче, и с большим проникновением, они ведь сами не испытывали этого, не пережили, но смогли угадать это щемящее настроение и смогли передать этот замедленный темп, который наполняет жизнь такого заключённого 10 лет, иногда 25, если, как часто бывает, он не

умрёт раньше. Ну, совсем небольшие упрёки можно сделать оформлению, это большей частью там, где западное воображение просто уже не может представить деталей такой жизни. Например, для нашего глаза, для моего или если бы мои друзья могли это видеть, бывшие зэки (увидят ли они когда-нибудь этот фильм?), — для нашего глаза телогрейки слишком чистые, не рваные; потом, почти все актёры, в общем, плотные мужчины, а ведь там в лагере люди на самой грани смерти, у них ввалённые щёки, сил уже нет. По фильму, в бараке так тепло, что вот сидит там латыш с голыми ногами, руками, — это невозможно, замёрзнешь. Ну, это мелкие замечания, а в общем я, надо сказать, удивляюсь, как авторы фильма могли так понять и искренней душой попробовали передать западному зрителю наши страдания.

Сколько времени вы провели в таком лагере?

Вот именно в таком особом лагере каторжного типа я провёл около трёх лет.

Существуют ли до сих пор, в 1976, такие концлагеря?

Я как раз пишу в только что вышедшем третьем томе «Архипелага», в Части 7-й «Сталина нет», об этой поразительной истории. Настолько наша система сама от себя закрыта, что Хрущёв искренне плакал над «Иваном Денисовичем» — и в этот самый год подписал четыре существующих лагерных режима, сегодня существующих, из которых самые два строгих даже в чём-то превосходят этот вот режим. То есть, иными словами, этот фильм, к сожалению, не только о прошлом, этот фильм и о настоящем. И ещё здесь надо сделать такое замечание, что времена меняются и сейчас всяких протестантов, тех, кто мешает начальству в провинции, в глуши, — удобнее сажать не по политической статье, а по уголовной. И существуют лагеря — в оценке Андрея Дмитриевича Сахарова — полтора миллиона человек,

я не оспариваю этой оценки, у нас вся статистика засекречена. Существуют лагеря огромные, и вот с такими режимами.

> Нам было задано очень много вопросов о том, почему мы этот вечер устроили сегодня, перед муниципальными и провинциальными выборами. Но мы этот день не выбирали, мы пригласили Александра Исаевича выступить в нашей программе, переговоры начались давно, и Александр Исаевич сам выбрал эту дату, 9-е марта. Кроме того, я не понимаю, какое отношение положение во Франции имеет к положению в Советском Союзе...

Я могу чуть добавить к вашим словам, если позволите. Да, эти переговоры начаты были три месяца назад, и о том, что у вас муниципальные выборы, я вообще узнал только сегодня. Есть соотношение масштабов вещей, и меня удивляет этот вопрос. Неужели, посмотрев вот этот фильм, можно задать такой вопрос?

> Множество телезрителей спрашивают — почему Александр Солженицын оказался в лагерях, выступал ли он перед судом и защищал ли его адвокат?

Должен сказать, что как раз среди многомиллионного потока тех лет я не считаю себя невинной жертвой, по тем меркам. Я действительно к моменту ареста пришёл к весьма уничтожающему мнению о Сталине, и даже с моим другом, однодельцем, мы составили такой письменный документ о необходимости смены государственного строя в Советском Союзе. Так что по сравнению с другими я никогда не чувствовал себя невинно захваченным, но, когда я попал в этот поток, я поражён был тем, что поток-то состоял из невинных, что люди-то попадали совсем ни за что, совсем на голом месте. Вот как Иван Денисович Шухов, герой этого фильма.

Предстали ли вы перед нормальным судом? Был ли у вас свой адвокат?

Суда никакого не было надо мной, было так называемое Особое Совещание. Это закрытая «тройка», которая судит заочно, и суда вообще никакого нет, не то что защитника. А просто дают бумажку, «распишитесь», получил 8 лет.

Вопрос, который неоднократно задают сегодня вечером: проводилась ли в лагерях политобработка?

Вот ещё одно преимущество сталинских лагерей перед сегодняшними. Нет, никакой политической обработки в этих лагерях, именно в этих — особых лагерях, которые показаны в этом фильме, — не было. Никакого радио, долбящего в мозги, не было. Это было счастье наше. В некоторых лагерях такого типа были цепи на руках, наручники. Но политобработки не было. А тяжесть сегодняшних лагерей в том, что человека заставляют ещё слушать невыносимую пропаганду и поддакивать, а иначе посылают в карцер, наказывают.

Почему вас освободили?

Освободили, когда кончился срок, и то через некоторое время. Мне ещё без всякого суда, без всякого приговора, тоже распиской, дали вечную ссылку. Просто вечную, навсегда. То есть, если бы не смерть Сталина, я ещё много мог бы просидеть. А так я просидел в ссылке три года, сверх 8 лет в лагере.

Многие телезрители спрашивают: почему, по каким причинам люди, подобные вам, оказались в лагере?

Надо бы разделять то время, когда я сидел, и сегодняшнее. В моё время, в 1945-46, нас, таких, кто сел за образ мыслей, было сравнительно мало. Лился огромный поток людей, побывавших в Европе. По признанию советской репатриационной комиссии

генерала Голикова, сразу после войны советским властям удалось получить из Европы более 5 миллионов человек. Как мы теперь узнаём из документов английских и американских, свыше полутора миллионов было выдано насильно, остальные обманом. Они верили — была разлита пропаганда по всей Европе о том, что в СССР изменился строй, что больше не сажают, что колхозы отменены, что церковь совершенно свободна, что восстановлена Россия, а не СССР, по духу. И несколько миллионов поверили, как бабочки на огонь летят, полетели. И в моё время в основном шли потоки этих репатриированных. Во всякое время были свои потоки, они менялись, от 17-го года и посегодня. Сегодня — вот я хочу, чтоб это стало понятно, — сегодня формально политических в СССР как будто не так много, ещё некоторых прячут в психдома. А вот очень часто неудобных людей, которые протестуют против начальства, разоблачают его, на местах, им устраивают какую-нибудь уголовную статью, бытовую. И сажают таким образом не как политических, а на самом деле сламливают сопротивление.

Знает ли средний русский человек о существовании таких лагерей?

О существовании Архипелага всегда знают потому, что из каждого маленького посёлка кто-то сидит. Но, конечно, в глухой провинции и в Москве представления об этом разные. Москва во многом вообще отлична от остального Советского Союза, она находится в лучших условиях информации и материального существования. Там наиболее развито инакомыслие, хотя оно и всюду есть по стране. Итак, Москве Архипелаг представляется в более общих чертах, известны многие имена, можно провести какие-то обобщения. В провинции знают всегда единичные случаи, получают письма из лагеря, знают своих посаженных, всё обобщение провести им трудно. Но о существующих лагерных режимах, конечно, знают, потому что ограничения разные: кто ез-

дит на свидания, кто не имеет свиданий, посылают посылки, а кто не имеет и такого права, хотя лагерники во всём нуждаются.

Ну, а когда люди выходят из лагеря, после конца срока, не может ведь быть, чтобы они ничего не рассказывали...

Да, теперь — и рассказывают.

Вопросов такое множество, что дирекция умоляет зрителей больше не звонить с вопросами. Многие телезрители не могут понять — как вообще зэки выживают? и как это возможно, что никто из выживших, кроме Александра Исаевича, не рассказал о ГУЛАГе? И ещё: существуют ли, например, детские колонии, женские лагеря, насколько они отличаются от других?

О том, что Архипелаг существует, — прорывались сведения на Запад не раз. Приехав сюда, я смог установить, что по крайней мере 30 книг было напечатано о нашем Архипелаге, с конца 20-х годов. Но удивительное дело, Запад не хотел слышать этих свидетелей и не хотел верить им. Мой «Архипелаг» был уже в четвёртом десятке книг. Надо было пройти многим десятилетиям, чтоб этот голос наконец здесь был услышан. На Западе выступали «свидетели», которые уверяли, что о лагерях — всё ложь. Крупные западные писатели уверяли, что в России нет голода (Бернард Шоу), когда у нас умирало 6 миллионов крестьян на Украине и на Кубани. На Западе происходили судебные процессы, где присягали западные деятели, партийные деятели, что никаких лагерей в Советском Союзе нет, что это всё клевета. Голоса из лагерей всегда были, но — в благополучии не хочется знать правды, потому что, если узнать всю эту ужасную правду, так ведь надо что-то делать, надо протягивать руку помощи. Я думаю, это психологическое объяснение — главное.

А потом мне задали ещё вопрос, насчёт специализированных лагерей. Но я бы не хотел повторять того, что написано в «Архипелаге». Телезрители — они же и читатели, и могут прочесть. Как было устроено — женские лагпункты, детские лагпункты — об этом обо всём я писал.

У меня перед глазами третий том «Архипелага ГУЛага». Напоминаю, что в послесловии есть оговорка: «Эту книгу писать бы не мне одному, а раздать бы главы знающим людям и потом на редакционном совете, друг другу помогая, выправить всю.» Это значит, что книга — ваше свидетельство, но и не только, ведь она — плод рассказов и других зэков, каждый вам что-то рассказал, не так ли?

Я попал в совершенно исключительное положение, именно благодаря напечатанию «Одного дня Ивана Денисовича». Эту книгу, «Архипелаг ГУЛаг», я начал раньше, чем был напечатан «Иван Денисович». Но потом я почувствовал, что огромной этой задачи не охвачу. Всей моей памяти, всего того, что было со мной и с известными мне людьми, не хватало для полного построения книги. А когда напечатали «Ивана Денисовича», был короткий период, когда меня очень признавали в советской прессе, и вот в этот момент хлынул поток писем со всей страны. Бывшие зэки рассказывали мне в письмах или просили встретиться, чтобы рассказать устно. Мол, мало написали, Иван Денисович. Вот ещё меня послушайте. И я сумел в короткое время, пока ещё не попал в опалу, опросить их и собрать очень много материала. Тем не менее моё послесловие остаётся в силе, то есть: весь материал так огромен, что и множеством томов его не охватить. Эта книга не может быть больше по объёму, читатель не справится. Но я надеюсь, что наступит такое время, когда на моей родине беспрепятственно смогут собираться свидетели, собирать материалы и, может быть, мно-

го томов составят — ну, не для широкого читателя, но для истории, для тех, кто захочет знать.

Почему вы используете слово «архипелаг»? То ли это совокупность лагерей, то ли часть советской территории, на которой сосредоточены лагеря?

Лагеря рассыпаны по всему Советскому Союзу маленькими островками и побольше. Всё это вместе нельзя представить себе иначе, сравнить с чем-то другим, как с архипелагом. Они разорваны друг от друга как бы другой средой — волей, то есть не лагерным миром. И вместе с тем эти островки во множестве составляют как бы архипелаг. Между прочим, мне стало известно, что по советскому радио разослана инструкция избегать вообще, даже в географии, слова «архипелаг». И это слово, широко известное, теперь под запретом у нас, и последнее время, когда нужно сказать «такой-то архипелаг», говорят «группа островов».

Когда вам было в лагере труднее всего?

Самый трудный период заключения у всякого, наверно, начало. Этот удар — переход в такое существование, которое, кажется, человек не может вынести. Ну и потом отдельные времена, отдельные годы в лагерях, кому когда как попадёт. Я вообще не выжил бы в лагере, этих условий я не мог пережить, потому что не было у меня ручной специальности высокого класса в начале. Я выжил благодаря тому, что меня взяли на четыре года в научно-исследовательский институт для заключённых. Значит, мне пришлось очень тяжело первый год заключения и потом вот три таких, как показаны в этом фильме. Но уже был проблеск, что осталось три года — не так много, и я выучился на каменщика. Почему я и Ивану Денисовичу даю эту профессию — я сам клал вот так же кирпичи. Меня среди советской интеллигенции потом упрекали, как можно показывать, что рабы увлечены трудом. Вот, это удиви-

тельно, но это так. Я сам, в этих же условиях, увлекался в иные минуты, чтобы выложить стену ровнее и сделать работы больше. А Иван Денисович, у которого нет другого интереса, кроме работы, если он не будет увлекаться, он духовно погибнет. Для него вот это увлечение рабской работой есть отстояние самого себя. Это — удивительная вещь. А кстати, эта сцена потом оказалась ключом к тому, что Хрущёв разрешил печатание повести. Они, наверху, подумали, что таким образом прославляется социалистический труд.

> Итак, мы приняли решение больше не задавать вопросов об Архипелаге. Сам директор программы отобрал ряд вопросов и предложит вам те, которые чаще всего заданы телезрителями. Например: знают ли студенты, молодёжь о существовании лагерей? как они на это реагируют? знает ли молодёжь, что ей угрожает? И второй вопрос, который попадается довольно часто: какую цель преследовало советское правительство, выслав вас из страны?

Вопросы разные, и я отвечаю отдельно. Ещё бы не знать нашей молодёжи о том, что ей грозит. Надо понять, что у нас есть целый спектр воздействия на молодёжь, как заставить её отречься от свободомыслия и принять казённые условия. Только уже самых опасных подвергают психиатрической лечебнице, лагерям... А для того, чтобы воздействовать на десятки тысяч и сотни тысяч молодых, есть другие способы, менее решительные, но они эффективны. Если человек знает, что вообще существуют психушки, вообще есть лагеря, — не обязательно каждого туда и сажать. Есть возможность лишить человека работы — и станет нечем содержать семью. У вас на Западе нельзя человека лишить работы государственным решением: если меня лишили работы здесь, в одном месте, я пойду в другое. Если же у нас лишат работы — ты не найдёшь её нигде в

Союзе, ты будешь умирать — и нигде не найдёшь. Там всё телефонами связано. Можно теснить на работе осуждением, можно переводить на низшую работу, не давать возможности жить там, где человек хочет, платить меньше, а наконец последнее время, вот буквально последние годы, усилилось воздействие на студенчество в самих институтах, в самих высших учебных заведениях. Это страшная вещь, это хуже всякой политработы: увеличилось количество политических часов вне лекционного времени, и специальные сдачи экзаменов на политическую зрелость. Настолько отравлено высшее образование, что уже всё больше находится молодых людей, добровольно отказывающихся от образования, чтоб только не проходить через эту мясорубку мозгов. Они предпочитают идти на чёрную работу, только бы не заставляли твердить то, во что они не верят. Это ответ на первый вопрос. А второй вопрос, простите, можно повторить насчёт моей высылки, как вы спросили?

Почему советское правительство решилось на этот шаг, на вашу высылку?

Боюсь, что вопрос поставлен не совсем верно. Цель предполагает свободный выбор, свободное решение. То есть предполагается, что советское правительство, решая мою судьбу, имело возможность поступить так или иначе. Нет, в моём случае произошло следующее: западная общественность проявила невероятную стойкость, настойчивость и гнев по поводу Андрея Дмитриевича Сахарова и меня, когда нас вместе травили осенью 1973 года. Давно уже, много лет, ничего подобного советское правительство не слышало с Запада. Все слои общественности, независимо от их партийной принадлежности, с такой настойчивостью и с такими далеко идущими выводами выразили своё негодование, что советское правительство просто испугалось. Это следует отчётливо представить. Когда мы видим победу за победой советского правительства, триумфальное шест-

вие через планету, через все задачи современности, кроме сельского хозяйства, то кажется, что они всесильны. На самом деле, они тогда всесильны, когда не встречают сопротивления. Я попал на Запад не свободным решением советского правительства, а вынужденным. Поэтому можно говорить о цели только как о расчёте. Их расчёт был, что им не выстоять, не выдержать, если они меня будут держать в тюрьме или в ссылке, не выдержать вот этих атак западной общественности, и легче будет выпустить, выслать.

> Но, выпустив вас, выслав вас, они, по всей вероятности, прекрасно понимали, что вы будете осуждать их публично, ну, как, например, сегодня вечером в нашей программе, да и в американских выступлениях, в Англии, — повсюду.

Вы знаете, больше осудить их, чем я уже осудил «Архипелагом», я не могу. В тот момент, осенью 73-го, когда они схватили «Архипелаг» и я дал команду печатать, и в начале 74-го, — они видели: я у них в руках, но это не остановило «Архипелага». Они ведь пытались вступать со мной в переговоры, они предлагали мне не печатать «Архипелаг», за это печатать другие мои книги в Советском Союзе. А я принял решение — печатать «Архипелаг». Значит, в их представлении было так, и это верно, что хотя бы они меня удушили — «Архипелаг» всё равно появился бы на свет целиком. Больше этой книги, крупней этого обвинения мне не выставить, сколько б я ни выступал здесь, перед этими камерами.

> Были ли угрозы вашей жизни? Вы как будто иногда опасаетесь за жизнь?

Я бы разделил. Какое-то здесь надо выбрать точное слово. Опасение — это боязнь. Я к смерти готов, давно уже, вот с тех самых восстаний в каторжных лагерях, которые здесь описаны. Мы все были гото-

вы к смерти. Мне в то время оставался один год, но было тошно, как и всем, все говорили — «убивайте!». С того момента я ни одного года и ни одного месяца не настроен иначе. Каждый год, который я проживаю лишний, я благодарю Бога, что я смог сделать ещё какую-то работу. Я не боюсь за свою жизнь, я не боялся, когда публиковал «Архипелаг», находясь в Советском Союзе, и жизнь моя просто была в их руках. Но я разумно знаю — и иногда получаю сведения из Советского Союза — какие там принимаются на верхах решения. Был у них одно время расчёт, что, может быть, на Западе я стану просто сразу нечитаемым автором, никому не интересным. Увидя, что это не так и что книги мои выходят, — они, действительно, сохраняют намерение убрать меня. Но, повторяю, со времён лагерных восстаний, с 1952 года, прошло более 20 лет, 25, — я и тамошние друзья мои ко всему готовы. Угрозы? Да, время от времени такие письма приходят, я получал их в Советском Союзе, и здесь получаю, да. И Сахарову сейчас присылают их. И телефонные угрозы были у меня. Но дело не в угрозах, угрозы можно разыграть, а речь идёт о серьёзных решениях.

Почему вас выпустили из лагеря именно в день смерти Сталина, 5 марта? И не воспользовался ли Никита Хрущёв вашим произведением, чтобы провести процесс десталинизации в стране, показать ужасы сталинских лагерей?

Освобождение моё в день смерти Сталина — ну, чистейшее совпадение, чистейшая символика, это нарочно не придумаешь. Но что значит освобождение? Не освобождение, а переход в ссылку. Да, это совпало, если верить, что Сталин действительно умер 5 марта, а ведь до сих пор никто не знает, какого числа он умер.

Второй вопрос. Конечно, Хрущёв не понял «Ивана Денисовича». Он вёл свою политическую борьбу, ему в тот момент — я сам тогда ещё не понимал,—

в тот момент ему надо было бросить козырь какой-то в борьбе с Китаем, и ему показалось, вот повесть, немножко сказано о страданиях, вместе с тем трудовой энтузиазм, давай-ка напечатаю. Хрущёв не мог понять, что капля правды, как вещество, попав в среду антивещества, взрывается. Он не мог понять, что эта вещь, напечатанная в Советском Союзе, с одобрения партии, не может не быть услышана во всём мире. Я уже сказал — 30 книг до меня не слышали, а здесь вдруг сама партия печатает, признаёт: это было. Так поставлены были в тупик западные коммунисты и многие либеральные защитники нашего режима. Ну, в ЦК-то многие понимали, что́ этим сделается, но Хрущёв провёл, в общем, своею властью, вопреки большинству Политбюро ЦК. Он не понимал последствий. А вообще, им нельзя понять значения искусства и художественного слова, если бы они это понимали, они не были бы теми, кто они есть. Это уровень не их.

Как вы, Александр Исаевич, относитесь к угнетению евреев в СССР, к тому, что чинятся препятствия их эмиграции, а внутри страны они лишены прав культурного развития?

Надо сказать, что коммунистическая система не принесла не только счастья, но и нормального развития, — в конце концов, ни одной национальности Советского Союза. Ни русским, которые считаются основой государства, ни национальностям окраинных республик, ни другим, рассеянным по лицу страны. В разное время коммунистический режим нажимал на разные педали. Сначала вся сила удара сосредотачивалась по русским, а малые национальности как будто поддерживались. Когда обескровили центральные нации, повернула эта машина и ударила по всем малым национальностям. Так и евреи испытали на себе эту нелёгкую кривую. И в настоящее время, казалось бы, трудно придумать разумные оправдания, почему не выпускать из Советского Союза евреев, которые хотят выехать;

почему остающимся евреям, желающим культурной автономии — театров, газет, школ на еврейском языке, — почему не дать? Но такова жестокая система, она не может перестать быть сама собой. Она не может исходить из соображений разума или сочувствия. Так евреи лишаются своих культурных возможностей развития в Советском Союзе, так и многие нации другие лишаются. А русский народ пострадал и численно и по глубине больше всех.

> Как совместить научно-технический прогресс в СССР и такую общественную несправедливость? В этом какое-то несоответствие. Как же при терроре могут существовать выдающиеся писатели, музыканты, актёры, танцоры, техники, столько достижений? Как можно совместить наличие ГУЛАГа и такие достижения?

Какое же здесь противоречие? Существование ГУЛАГа противоречит нравственности, противоречит человеческим чувствам, сердечности, душе, но никак не противоречит гигантской индустрии. Что касается самого научно-технического уровня Советского Союза, то связь здесь можно установить как раз обратную. Благодаря рабскому труду Архипелага и благодаря тому, что множество тысяч и десятков тысяч интеллигенции работают подневольно, в условиях, когда не могут расцвести их таланты, — непрерывной политической слежки, отъединённости от передовой науки Запада, — в этих условиях советская промышленность и техника как раз не могут достичь высшего научно-технического уровня. И вот почему Советский Союз так жадно берёт самые передовые произведения западной техники, вроде электронной, и для военных целей, и для оснащения промышленности, и для криминальной — для слежки за инакомыслящими. Зачем Советскому Союзу так нужна торговля? Именно потому, что высокого уровня нет. Так что связь обратная. Из-за подневольности труда, из-за скованности талантов —

высокого, истинно высокого уровня, которого наша страна достигла бы, если бы не революция, всесотрясение и террор, — того недостигнутого русского уровня у нас совсем нет. Да и интеллигенцию нашу научно-техническую много раз выбивали, вырезали, уничтожали, а потом учили новых.

> Вопрос, может быть, немного неожиданный и прямой: были ли вы когда-нибудь коммунистом?

Коммунистом как членом партии — нет, никогда. Но было время в моей юности, в 30-е годы, когда был такой силы поток идейной обработки, что я, учась в институте, читая Маркса, Энгельса, Ленина, как мне казалось, открывал великие истины, и даже была такая у нас благодарность, что вот, благодаря Марксу, какое облегчение — всю предыдущую мировую философию, все 20—25 столетий мысли, не надо читать, сразу все истины — вот они уже достигнуты! О, это страшный яд! Когда говорят вам, что истина найдена, она — вот она, лежит такая доступная, зачем мучиться и проходить этих 100 философов и узнавать историю мысли? Да, в этом смысле я прошёл через искушение, и в таком виде я пошёл на войну 41-го года.

> Но теперь с этим покончено? Это, очевидно, совсем прошло? Идеологически вы теперь совсем не связаны с коммунизмом, да?

Ну, слово «теперь» даже было бы неверным. Уже давно. Когда я увидел на войне реальную жизнь и чего ждёт население освобождаемых нами территорий, как оно с надеждой спрашивает нас: «ну ведь правда, теперь колхозов не будет? ну ведь теперь не будут за опоздание на 20 минут — сажать в тюрьму?» — с советской стороны им бросали листовки с такими обещаниями. Начиная с этого времени я понял глубину того, что происходит. А затем тюрьма, лагерь — просвещают необыкновенно. Собственно, всё своё тюрёмное и лагерное время я по-

тратил на беседы с людьми, чтобы понять историю моей страны, смысл нашей системы, соотношение с Западом, что делается на Западе. Я очень быстро там освободился от этого навсегда. А в наше время молодёжь уже и не может попасть в тот поток. В развитии каждого явления существует такой максимальный момент, то, что Гегель называл моментом внутреннего развития, не внешнего, а внутреннего. Наибольший внутренний успех коммунизма был в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы. Он никогда уже не повторится. Сейчас молодёжь не только не увлечена, она с отвращением это принимает, и только жизненные условия заставляют её делать вид, лицемерить, лгать, чтобы получить диплом, чтобы получить работу.

> Продолжают поступать сотни вопросов... Вот, многие сопоставляют отношение к СССР Солженицына и Плюща... Несправедливости, жертвой которых был сам Плющ, не поколебали для него светлых идеалов коммунизма.

Плющ здесь уже на Западе в нескольких личных заявлениях, а также и публично, откровенно сказал, что он очень многого не знает — из истории нашей страны, из истории режима, из истории угнетения и лагерей — и что хочет посвятить теперь время изучению этого всего. Это искренний и горячий порыв, и только жаль, что его... подтолкнули выступить публично несколько раньше того, чем он это всё узнал. Как раз Плющ и демонстрирует вот то самое отношение, каким мы болели в 30-е годы, а какая-то уменьшенная прослойка и позже. Вы могли бы обратить внимание, что Плющ пользуется словами, не определяя их точного смысла, — как вообще в нашем современном мире терминология вся расползлась. Плющ одновременно говорит, что он убеждённый коммунист, абсолютно предан светлым идеалам коммунизма, — и полностью отрицает режим, который существует в Советском Союзе, на-

сколько я понял, от самого начала. Как же так? Или этот режим коммунистический — или он не коммунистический. Плющ говорит, что это не коммунистический режим, тогда с какого же момента он не коммунистический? Какие светлые идеалы следует восстановить? Теперь уже всем известно, что наш режим был таким от 25 октября 1917 года, что весь Архипелаг и все основные системы угнетения создал Ленин. Более того, этот режим обречён был быть таким, начиная с 1903 года, от момента II съезда партии, когда была создана партия нового типа, партия, подчиняющаяся единой воле беспрекословно, ведомая единой рукой. Итак, какие же светлые идеалы? Ещё ранее II съезда? Маркс? Но в русском издании Маркса и Энгельса, — все западные издания с лёгкой руки Каутского скрыли это, — в русском издании Маркса и Энгельса, в их переписке, вы можете увидеть, что та же вся хватка и та же кухня, которая была у Ленина, она была и у Маркса. Знает ли Плющ, о чём он говорит? И как далеко надо идти к светлым идеалам, сколько столетий надо отступить и где их искать?

В прессе было сообщение, что вы собираетесь поехать в Чили по случаю второй годовщины захвата власти генералом Пиночетом. Как вы вообще относитесь к тому, что происходит в Чили?

Это замечательный вопрос. Это, знаете, замечательный вопрос, причём во всех отношениях. Ну, во-первых. Сообщение о моей поездке — газетная утка, и, насколько мне известно, газеты «Монд». Может быть, не её одной; может быть, какого-то агентства, которое это распространяло. Оно является ложью от начала до конца. То есть — я не ездил, я не собирался, я не получал приглашения, и речи такой не было, а была только утка газетная. И очень интересно: помещена такая вещь на первой странице и на видном месте, вдолблено в головы. Я попросил своё французское издательство опровергнуть —

что за ложь! И та же газета «Монд» стыдливо, где-то там на 35-й странице, поместила опровержение, так, чтоб его никто не прочёл. Это заставляет меня сейчас... ну, в пустоту не в пустоту — через моих телезрителей задать вопрос французской и другой западной прессе. Когда я был в Советском Союзе, я представлял так: на Западе свободная пресса, там не солжёшь, там всегда опровергнут, а в Советском Союзе, ну, действительно, настолько пролгалась, что́ сверху скомандуют, то и печатают. Я приезжаю и с удивлением вижу, что в вашей прессе, свободной, можно солгать так же умело, так же хватко, как и в советской. Та же газета «Монд» сумела крупно напечатать, что моя американская вашингтонская речь была «прогитлеровской»! Что же такое? Откуда это взялось? А вот: я сказал, обращаясь к западному свободному миру, что когда вы все вместе боролись против Гитлера, так надо было его побеждать своими руками, а не просить помощи ещё худшего врага, ещё более злого тоталитаризма, который утвердился вот больше чем на полвека. То есть я сказал, что было бы достойней западному миру бить гитлеризм без помощи Советского Союза, и это «Монд» называет «прогитлеровской речью»! Ну, а что касается Чили, то я должен сказать, что слышу на Западе слово «Чили» несравненно чаще, чем, например, «Берлинская стена», чем, например, «оккупация Венгрии или Чехословакии», чем, например, о наших газовых камерах, сегодня действующих, психиатрических больницах. Буквально, если бы Чили не было, его надо было бы выдумать. Я никогда не буду судить о делах, которых не знаю. В самом Чили я не был и не могу говорить об обстановке там. Мы судим о других государствах по внешним проявлениям. Недавно произошёл оригинальный случай, однако почему-то не подхваченный прессой. Сколько-то чилийских беженцев — свободно отпущенных из Чили — приехали в Румынию, приехали в тот самый рай, который хотели выстроить своему народу. И когда они по-

пали в этот рай, они пришли в ужас, они попросили их отпустить. Румыния не пускала, с большим скандалом они вырвались в Западную Германию. Какой характерный случай! Он проскочил совершенно незамеченным, пресса его приглушила. Такой же случай был: квебекские террористы жили на Кубе, схватили этой радости Кастро, еле вырвались. Вот так они все. Они своему народу устраивают тот рай, в котором сами жить не хотят. А вот недавно: Чили предложило Советскому Союзу — давайте освободим всех политических заключенных, мы — своих, а вы — своих! Ну, Советский Союз, конечно, даже и ухом не повёл, но почему западная общественность не взяла такой великолепный момент?! Почему не схватились, правда, а? Вот замечательное пари: пусть Чили освободит своих, а Советский Союз — своих. Причём Чили освобождало тех, кто боролся с оружием в руках, кто стрелял, убивал, а Советский Союз должен был освободить тех, кто читает Евангелие, кто иначе думает, у нас ведь нет людей, которые сидят за оружие, за вооружённое сопротивление, за организацию, за партию! — у нас нет таких! Советский Союз не освободил ни одного. Тогда Чили стало освобождать — я не знаю сколько — может быть половину, может быть три четверти. Помнится, Фидель Кастро, нынешний герой агрессии в Анголе, а скоро он покажет нам ещё кое-что в Африке и в Южной Америке, был в Чили в 71-м году. Он там был торжественно, как всегда очень долго, и выступал не как гость, а как хозяин. За два года до чилийских событий он сказал: «Социализм нельзя установить без оружия. Мирным путём к социализму вы никогда не придёте.» Ему не удалось это сделать в Чили, сегодня он демонстрирует это в Анголе. Я далеко ушёл, но меня поражает, почему западная пресса... ни одна газета, ни один корреспондент никогда не напишет открытого раскаяния — вот мы, наша газета, давали такую-то информацию или влияли на общественное мнение, это оказалось направлением ложным, мы просим

нас простить, мы ошибались, или я ошибался, я чего-то не понимал. Все дурные предсказатели, все ложные направления как-то так прячутся и исчезают, и нет их. Я уж не говорю об опровержениях грубого вранья, но ведь, честно говоря, надо признавать и теоретические ошибки.

В прошлом году вы выступали в Америке с критикой разрядки. Можете вы рассказать подробнее, в чём ваши возражения?

Мои возражения были очень простые. В нашем веке надо слова определять. Что такое «разрядка»? Разрядка для Запада — это не спорить, уступать, делать приятное для противной стороны, ни на чём не настаивать, ну, можно так понять разрядку. Хотя нельзя понять — если вы свободный Запад — почему вы считаете ваши границы границей свободы, почему вы считаете, что можно ограничиться свободой у вас, а там пусть будет что угодно. Возражения мои вот к чему клонились: на самом-то деле со стороны Советского Союза не было ни одного дня разрядки, дня! На самом-то деле Советский Союз ведёт против вас всё ту же холодную войну, только она называется теперь «идеологическое соревнование». Что это значит? Это значит, что там, в глубинах страны, на тысячах лекций, семинарах, вдалбливается в голову, что вы — империалисты, что вы — капиталисты, что вы сосали кровь колоний и хотите продолжать то же самое. Это даёт возможность Советскому Союзу в несколько часов изменить обстановку: нажать одну кнопку — с утра выйдут газеты, соответствующие вот той пропаганде. А я говорил: не понимаю, что́, по-вашему, разрядка, а понимаю, что такое открытая ладонь, вот в этой ладони нет камня, вот так открыть ладонь — тогда будет разрядка. Но для этого нужен контроль над вооружениями. Его нет, всё идёт на честное слово. Для этого надо прекратить идеологическую ненавистническую войну. Она не только не ослабляется, она усиляется в Советском Союзе. Ну, а так как вы всё более усиляете

Советский Союз своими уступками, вот вам сравнение за два года. Два года назад испугались и выслали меня из Советского Союза, а сейчас Сахарова только на лекцию Нобелевскую пустить — смогли мы добиться? Нет! Вот результаты разрядки. У нас сегодня иностранные корреспонденты в Москве получили несколько бо́льшую свободу, небольшую, маленькую свободу, и, платя за неё, действуя якобы в духе разрядки, они сейчас не берут сообщений о неприятных случаях, для того чтобы не портить разрядки. Продолжают арестовывать в провинции, избивают инакомыслящих до смерти, приговаривая: вот если будешь выступать — вот так будет! Днём, посреди улицы, хватают, сажают в воронок, а все идут испуганно, никто не протестует. Вот это разрядка, спасибо! Пока что, в результате этой разрядки, они смогли закрутить гайки, а вы не слышите ничего о происходящем, о новых преследованиях, — вот это разрядка. Тихо, гладко, спасибо.

Возвращаясь к поставленному вам вопросу о ваших выступлениях в США. Вы заявили, что только твёрдость позволит устоять против наступления советского тоталитаризма, что только твёрдость оправдает себя?

Я хотел бы напомнить, что выступаю не как политический деятель и, когда я говорю о твёрдости, я имею в виду не твёрдость ваших вооружённых сил и не твёрдость ваших дипломатических нот, я говорю о твёрдости вашего духа. Этот процесс начался очень давно, он начался не с этой разрядки, он начался с Мюнхена, он начался, по крайней мере, с 1918 года, а если глубоко подумать, он идёт уже столетия. Благоденствующие люди не хотят слышать о чужих страданиях. Вот вы кончили Первую мировую войну. Что творилось у нас?! Ведь наша страна была ваш союзник, как же вы бросили нас в рабство? А вам хотелось скорее отдохнуть от этой ужасной Первой мировой войны. Что произошло после Второй мировой войны? Ну, раньше того

Мюнхен, простите, да, Мюнхен! То же самое, хотелось как-нибудь отдалить, может быть уступать и уступать, и много уступали Гитлеру, но это было всё же географически слишком близко к вам, пришлось воевать. Запад занял принципиальную позицию и стойко выдержал это испытание. А потом опять хотелось отдохнуть. И снова — нас покидали в рабстве, нас сдавали насильно, ведь западными прикладами били стариков и детей, против их воли отдавая на уничтожение, на Архипелаг ГУЛАГ. И так сдали почти полтора миллиона. О рабстве нашем знали — ну, пусть не знала ваша публика, не знали широкие массы, — но ваши просвещённые люди, но ваши коммунисты, которые ездили к нам, прекрасно знали о нашем рабстве. Все молчали, и общество было довольно. Как хорошо не знать о чужих страданиях! Сколько-то пожить ещё. Когда я говорю о твёрдости, я говорю о твёрдости духа. Мы, инакомыслящие, — разве у нас есть танки или самолёты, или мы можем послать дипломатические ноты? Наше противостояние основано на твёрдости духа, ничего, кроме вот этой груди — вот она! Хоть бы было это у вас, была бы твёрдость воли. Если вы обладаете свободой, то когда-то эту свободу придётся отстаивать. Подумайте, как её теряют. Каждый год несколько стран теряют, теряют, теряют, а вы живёте в каком-то забытьи. Это процесс долгий, он идёт уже несколько веков, он пошёл с того времени, когда люди решили, что над ними нет никого, нет высших требований, только прагматическая философия, деловые расчёты должны нас вести. Вот эта прагматическая философия, деловые расчеты, свобода от нравственных обязанностей — они и привели западный мир постепенно к такому состоянию, когда все хотят наслаждаться свободой и никто не хочет за неё отвечать. Но человек отличается от животного тем, что он умеет не только наслаждаться, он умеет ставить долг выше себя и сам себя ограничивать в своих желаниях.

Вот ещё вопрос: разве можно полностью исключать возможность благоприятной эволюции советского режима в условиях разрядки?

Когда я был выслан, я ещё был охвачен тем чувством твёрдости, которое мои друзья, единомышленники, соотечественники испытывали в своём постепенном подъёме от нашего рабства, от нашего бесправия к противостоянию этому насилию, вот, голой грудью. Я приехал, весь ещё охваченный этим оптимизмом, и поэтому я думал, что реально вполне можно уже говорить о перспективах развития, о возможной эволюции нашего строя. Не я один так думал. Но за два года, что я пробыл здесь, я увидел, в каком состоянии слабой воли находится Запад. У нас ведь там многие наивно верят, что Запад будет выручать нас из беды. Я в это никогда не верил и не считал нашим моральным правом этого ждать. Нет, я всегда считал, что мы должны освободиться сами, не революцией, не кровью. Мы уже потеряли этой крови только внутренней гражданской войною, с 1917 года по 1959, — мы потеряли 66 миллионов человек. Это статистически-научный подсчёт, опубликованный на Западе, и, может быть, французская пресса его доведёт до французского читателя. Я верил, что мы духовной силой заставим режим начать уступать. Но на Западе я увидел эту всеобщую апатию, всеобщее неверие в опасность и нежелание думать о свободе других. И на географической карте за эти два года, на моих глазах, мировая ситуация резко изменилась, к худшему. И сегодня я считаю неактуальным вопрос о благоприятной эволюции Советского Союза, коммунистического режима. Последние годы всё создано для неблагоприятной эволюции коммунистического режима, неблагоприятной для подданных и неблагоприятной для Запада. Боюсь, вопросы надо задавать кому-то другому, не мне, — западным людям, какие перспективы ближайшей эволюции Запада? Этот вопрос был бы актуальным.

Вы иногда подумываете вернуться в свою страну, не правда ли? Ну, скажем, в моменты оптимизма?

То есть — как только такая возможность представится, я непременно вернусь. Я всё время и всюду, сколько б я здесь ни жил, буду ощущать себя пленником. Моё возвращение на родину — это мои книги; как только станет возможно моим книгам появляться там, когда вот этот «Архипелаг» начнут беспрепятственно читать наши люди, ведь они не читали, ну, кроме тех струек, которые сочатся понемножку какими-то путями, — с этого момента я и вернулся, я нагоняю свои книги и еду туда. Это — да, конечно.

Я надеюсь, что наши телезрители испытали сегодня удовлетворение от контакта с вами. Хотя некоторые из них называют ваше выступление антикоммунистическим концертом...

Я тоже сегодня, глядя в объектив, испытал вот этот контакт с миллионами зрителей вашей страны, которая мне так понравилась, я очень её полюбил. Мне пришлось немало ездить по Франции, и она очень трогает сердце, это не комплимент. Жаль, что какие-то зрители звонят вам, называя этот разговор антикоммунистическим концертом. Если после просмотренного фильма можно называть разговор о наших страданиях «концертом» — у этих людей нет сердца, они не могут понять страданий, пока сами не испытают их. Слово «концерт» оскорбляет. А страдания наши не «антикоммунистические», они — человеческие, а вот коммунизм — античеловеческий, и надо перестать пользоваться этим противоестественным словом «антикоммунистический». Мы — люди, мы хотим жить как люди, нам навязали античеловеческий режим. Его назвали коммунистическим.

Перед тем как закончить нашу передачу, Александр Исаевич, есть ли вопрос, который

телезрители вам не поставили, но на который вам хотелось бы ответить?

Да нет, можно много говорить и много вопросов ещё можно задать, но... Сегодня некоторые зрители тянули меня на политические вопросы. Мы не должны всегда оставаться в политической плоскости, политическая плоскость — это убогая плоскость, в ней есть «лево», есть «право», в ней нет высоты и глубины. Никогда ещё никакое партийное направление не давало великих человеческих решений. Кризис нашего мира гораздо сложней. И, сидя сегодня здесь, я, как писатель, честно говоря, ожидал вопросов, гораздо более глубоких по смыслу, а слышал какие-то... «антикоммунистический концерт», какие-то «муниципальные выборы»... даже стыдно. Я допускаю, что эти вопросы ожидаемые там где-то лежат, но они утонули в массе и нельзя им пробиться. Если мы говорим о наших страданиях и это вдруг оказывается политикой — это не наша вина. Мы хотели жить, просто жить, а нашу жизнь скрутили, — вот откуда берётся политика! Конечно, хотелось бы говорить о процессах духовных. Нынешнее положение Запада — не только политический кризис, гораздо глубже. Это — духовный кризис давностью лет в 300. Этот кризис оттого, что мы в позднем Средневековьи бросились в материю, мы захотели иметь много предметов, вещей, жить для всего этого телесного, а нравственные задачи забыли, и поздним, поздним ударом это нам отозвалось.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «ФРАНС СУАР»

Париж, 10 марта 1976

Ожидали ли вы, что реакция телезрителей на ваше интервью будет столь разноречива?

Я должен сказать, что интервью прошло не так, как я ожидал. Я сам вместе с телезрителями просмотрел фильм об Иване Денисовиче, и это всего второй раз (первый раз я его видел, когда только меня выслали). И я находился под впечатлением отчасти фильма, отчасти той нашей жизни и тех людей, с которыми я в лагере сидел и которые потом кто погиб в мятежах, о них написано в третьем томе «Архипелага», кто и сейчас живёт неизвестно где в Советском Союзе, — и это настроило меня на некоторый лирический, душевный лад. И поэтому мне было странно окунуться в поток вопросов в основном политических. К тому же без живого собеседника перед телевизионным экраном не чувствуешь себя так свободно, как если бы говорить с самим человеком. Я всё время хотел представить себе того француза, с которым я разговариваю, а меня окружили тяжелые микрофоны, со всех сторон яркие прожекторы, в очень маленькой комнате... и поток вопросов, резко политических. Вдруг какой-то вопрос о ваших муниципальных выборах... В голову не помещается после того, что я как бы снова побывал в этом лагере. И я пытался в ходе интервью выйти из политической плоскости, я хотел бы говорить на темы общие, духовные. Но меня снова и снова вопросами вгоняли в политическую плоскость. В этом отношении я разочарован.

Вопросы были, к сожалению, очень низкого уровня.

Поразительно! А некоторые были повторительные: мы потратили двадцать минут на повторение того, что в «Архипелаге» давно можно было прочесть.

Есть ли в Советской России частные издательства или всё проходит через государство?

Ну что вы, не только нет частных, но все эти издательства могли бы не иметь, как сейчас, пятьдесят названий, а с тем же успехом могли все иметь одно название. Они все подчиняются единой власти и в области цензуры (это Главлит), и в области коммерческого продвижения своих произведений (это ВААП).

А что вы скажете об издательском деле во Франции?

Моё знакомство с французским издательским делом начинается и кончается моим сотрудничеством с издательством «Seuil», поэтому ответить на ваш вопрос в полную меру я просто не имею никакой возможности. В этом совсем незнакомом и непривычном для меня западном мире я совершенно бы потерялся и не мог наладить всю эту организацию с издателями, с переводчиками, с правами, тем более что они были сильно запутаны к моменту моей высылки. А издательство «Seuil» освободило меня от этих забот, отлично справляется со всеми этими делами, особенно здесь должен выделить руководителей издательства господина Фламана и господина Дюрана. Они освободили мне большой объём творческого времени. Практически я просто почти всё время пишу.

Что вы читаете во время досуга?

Досуга? Западному человеку почти невозможно представить невероятные условия, в которых я работаю по сей день. До момента изгнания я должен был каждый день платить дань конспирации, то есть каждый час и каждый вечер думать — какие вещи могут остаться на ночь в этом доме, какие

должны быть спрятаны и как я их завтра получу, как мне посмотреть на свои материалы, свести их вместе, сравнить... Вот ни разу за то время, что я писал «Архипелаг», — вся книга не лежала вместе на одном столе. Мне нужно было десятки раз сравнивать разные места, и всё это с большим напряжением памяти. Это одно — конспирация. Потом, долгие годы в России я должен был большую часть времени где-то работать — и для денег, и для того чтобы не возбуждать подозрения властей. Но и теперь, когда всё это отпало, сегодня этого ничего нет, — я нахожусь под другим давлением. Я принадлежу к последнему поколению, которое ещё может написать события революции. И участники событий умирают ежедневно — последние. Не только документы, но даже книги о том времени на родине сожжены или под семью замками, поэтому я нахожусь в изнурительной гонке со временем: успеть раньше, чем время разрушит весь материал! Я должен поспеть за несколько поколений, которые эту задачу не выполнили, вот почему я едва успеваю вечером прочесть те материалы, без которых завтра утром остановится моя работа.

Когда вы думаете закончить эту книгу?

Я думаю, моя жизнь может окончиться раньше, чем моя книга.

Как вы распоряжаетесь деньгами, которые вы зарабатываете?

Я бы сказал так: бывший Архипелаг работает на новый Архипелаг. Все гонорары со всех мировых изданий трех томов «Архипелага» и, более того, значительную часть гонораров с остальных книг я передаю в Русский Общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям. Это несколько шире, чем «заключённым», в «преследуемых» входят люди, которые за убеждения теряют работу и нуждаются в средствах к существованию.

Это означает неофициальное распределение денег?

Конечно, не через советское правительство. Существует общественность в Советском Союзе, которая не забывает о преследуемых и о тех, кто сидит в тюрьмах и лагерях. И вот мы отправляем деньги им, а они, с известным риском для себя, распределяют эти деньги. За минувший год мы таким образом оказывали постоянную поддержку более чем 700 семьям. Тут разные формы помощи: например, нужны деньги, чтобы жена поехала в дальний лагерь к мужу на свидание; нужны деньги для посылок в лагеря; нужны деньги для освобождающихся (они выходят без денег). Есть такие старики в лагерях, у которых никого уже в мире не осталось (они сидят по 25 лет), и даже когда они имеют право купить что-нибудь в лагерном ларьке, им неоткуда получить денег. Но главным образом — поддержка семей, то есть жён, детей тех, кто сидит за свои убеждения. Наш Фонд официально утверждён швейцарским правительством, находится под его контролем.

Считаете ли вы, что критическая позиция, занятая западными компартиями по отношению к СССР, искренна, или это всего лишь тактика?

Я должен заметить, что, когда говоришь о коммунизме или коммунистических партиях, есть два способа разговора, два способа изложения вопроса. Можно говорить на жаргоне коммунистическом, оставаться в его пределах; можно говорить, как обстоят дела по сути, то есть в действительности. Я готов разобрать вопрос и так, и этак. Если оставаться в пределах жаргона — отказ французской коммунистической партии от диктатуры пролетариата есть страшная измена не только ленинизму, но и марксизму, потому что диктатура пролетариата — это стержень, основа учения самого Маркса,

а не только Ленина. Казалось бы, после такого отхода сама французская компартия должна была бы снять с себя звание «коммунистической». И во всяком случае, прекратить братские сношения с другими компартиями. Казалось бы, московское руководство должно было бы гневно проклясть вашу коммунистическую партию, предать её анафеме, исключить из коммунистического движения всего мира, а вместо этого мы видим, что ваши коммунисты довольно мирно посылают делегацию на XXV съезд, ну с маленьким жестом, что «не верят в генерального секретаря». В чём же тут дело? почему при такой колоссальной измене сохраняется дружба? А вот тут мы должны перейти в область действительности. На самом деле никогда никакой диктатуры пролетариата не существовало на практике ни в одной стране и ни одного дня. И в Советском Союзе с самого первого момента (с октябрьской революции) пролетариат оказался классом обманутым, и даже в первые недели революции коммунисты расстреливали рабочих из пулемётов, когда те хотели свободного выбора фабричных комитетов. Пролетариат в СССР никогда не был правящим классом, а всегда угнетённым. Против рабочего класса были направлены и драконовские законы. Рабочий класс никогда не имел права забастовки. На самом деле, в области действительности, речь идёт о диктатуре даже не партии, а о диктатуре партийной верхушки. А она не только осуществлена с первого дня октябрьской революции, но заложена в самом строении ленинской партии, так что с 1903 года, когда эта партия создалась, она не могла и не имела целью установить никакой другой режим, кроме диктатуры своей верхушки. Так вот, как ленинская партия несла в себе это обязательным зерном от самого рождения партии, так и французская коммунистическая партия устроена по тому же принципу: мы видим, как она подчиняется единому руководству, как она отлучает своих инакомыслящих, изгоняет их, и поэтому она, отказывайся не отказывайся

от диктатуры пролетариата, но, пока она не отказывается от своего централизованного устройства, она и не может осуществить ничего другого во Франции, кроме такой же диктатуры ленинской верхушки. Вся эта ссора между западными компартиями и советской есть тактический шаг, надуманная вещь, приём. Они продолжают ездить друг к другу в гости и не только при открытых, но и при закрытых дверях ведут совещания. Что бы вы сказали, если какая-нибудь французская партия ездила бы в Южно-Африканскую Республику или в Чили, там бы тайно совещалась с правительством, а возвратясь, говорила: мы с ними теоретически не вполне согласны. Вот примерно так выглядит ссора между французскими и советскими коммунистами. Если бы французские коммунисты действительно переродились, действительно освободились от власти единого коммунистического центра, они должны были бы сделать гораздо более решительные шаги не в области жаргона, а в области реального мира.

Всё-таки французская коммунистическая партия очень определённо показала, что она не согласна в том, что касается ГУЛАГа и репрессий в Советской России.

Что значит не согласна?! Не согласна, а почему же она продолжает носить то же имя, как и палачи ГУЛАГа? как же она может ездить на одни конгрессы с палачами ГУЛАГа? Я вот приведу такой пример... Вы, может быть, помните, что ещё до Второй мировой войны вождь французской коммунистической партии заявил, что никогда ни один французский коммунист не поднимет оружия против Советского Союза. Вот это заявление с тех пор никогда не было опровергнуто, от него никогда не отошли. Вот вы можете задать французским коммунистам вопрос: если возникнет вооружённое столкновение с Советским Союзом, будут французские коммунисты — французами или коммунистами? Если — коммунистами, значит, остаётся в силе заявление, они

никто не будут воевать против наступающих советских войск, и, наоборот, они охотно должны входить в администрацию оккупации. А если они — французы, тогда они должны теперь заявить, что в случае советского нападения они будут до последней капли крови воевать за Францию!

> Есть разница между заявлениями верхушки французской компартии и рядовым французским коммунистом, который прежде всего чувствует себя французом.

Я был бы рад, если б это было так! Я готов с радостью разделить вашу надежду.

> Когда говорят, что коммунизм может распространиться как массовое явление во Франции, это вызывает сомнение, так как французы очень ценят свою свободу.

Не преуменьшайте опасности и не преувеличивайте готовности Франции к защите! Вы, безусловно, любите свободу, но неограниченное пользование ею в течении веков ослабляет волю к защите.

> Не стоит смешивать старое поколение коммунистов и молодых, среди которых, несомненно, найдутся защитники свободы.

Тогда непонятно, почему бы молодым коммунистам не потребовать от своих стариков вот такого заявления, что французская коммунистическая партия состоит прежде всего из французов и в случае угрозы французской свободе она будет биться до последней капли крови за Францию!

> Такой вопрос им не был поставлен, и им трудно представить, что он может быть поставлен, потому что они живут в условиях свободы.

Вот я и говорю, что длительная безопасность убаюкивает. А в молодом возрасте особенно хочется жить. Сегодняшняя молодёжь очень предана на-

слаждениям, и в этих условиях она больше всего боится испытаний, жертв и горя.

Что вы думаете об Америке? Там тоже всеобщая расслабленность?

Я должен вам сказать, что всё-таки Америка за последние годы защищала свободу гораздо больше, чем Европа, и приносила больше жертв. Так что состояние Америки и Европы разное, сходство между ними неполное. А Европа с 45-го года, в общем, ничего для защиты свободы не делала. И она спокойно относится к тому, что вот совсем рядом нет свободы. В Восточной Европе нет свободы! Ну как же ваша молодёжь так свободно перенесла оккупацию Чехословакии, оккупацию Венгрии? Если они так преданы свободе, почему они не пошли её защищать?

Французская молодёжь не осталась равнодушной, они ходили протестовать и к советскому посольству.

Но это не изменило ни на волос хода событий. А когда наступит опасность и для Франции, если только будут ходить и волноваться... тоже толку не будет.

Это очень сложно, потому что с одной стороны — молодёжь волновалась, а с другой стороны — правительство и коммунистическая партия были объективными союзниками, так как они хотели сохранения статус-кво. Скажите, знакомы ли вы с французской провинцией?

Да, я в прошлом году совершил довольно большое путешествие на автомобиле по юго-восточной и восточной Франции. И был буквально очарован этими местами.

Вы встречались с французами маленьких городов?

Именно. Я вообще люблю везде маленькие места, а не большие города. И во Франции мне самой приятной кажется французская провинция.

Ваша известность вам не мешает в ваших передвижениях?

Французы меня очень часто узнают, но весьма дружественно и неназойливо.

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕМЫ с Н. А. СТРУВЕ

Париж, март 1976

Александр Исаевич, после ваших выступлений в Америке и в Англии о вас всё пишут как о политике, но, собственно, эти выступления — скорее помеха для вашего творчества?

Конечно, поразительная вещь: как-то, действительно, все, кто разговаривает со мной, тянут на политику, желают слушать именно политические мои мнения. Я очень огорчён, но это так. Конечно, причина этому есть, — та, что вся русская литература, по традиции, очень живо откликается на социальные вопросы...

Ведь ваше призвание с самого начала, чуть ли не с детства, — призвание писательское...

Я бо́льшую часть времени и сил трачу на работу над своими книгами. Все эти встречи с прессой ограничены во времени и происходят почти случайно. Да, я действительно непонятным образом с восьми-, девятилетнего возраста почему-то думал, что я должен быть писателем, когда ещё понятия не имел, во что это может вылиться.

А как вы стали писателем?

Глубоко — уже в тюрьме. Я делал литературные опыты и перед войной, писал уже, настойчиво старался в студенческие годы. Но это не была серьёзная работа, потому что у меня не хватало жизненного опыта. Глубоко в тюремные годы я стал работать совершенно конспиративно, скрывая сам факт, что я пишу, — более всего скрывая это. Запоминал и заучивал наизусть сперва стихи, а потом уже и прозу.

В тюрьме, а в лагере это развернулось...

Ну, тюрьма и лагерь — это нечто одно...

В лагерях ваша поэма приняла определённую форму...

Все лагерные годы, я, по сути, её писал и писал, потом пьесы. Нельзя было бездеятельно повиснуть. Годы-то шли. А роман, большой роман, эпопея, которую задумал ещё с 1936 года, её в лагере никак нельзя было написать. Можно было только собирать материал, думать, расспрашивать свидетелей. Лагерное существование, оно как бы меня повернуло. С одной стороны, оно как будто увело меня от магистральной темы, которую я хотел разрабатывать, от истории нашей революции, но с другой стороны, наоборот, это, как говорится, был Божий указ, потому что лагерь направил меня наилучшим образом к моей главной теме. Через лагеря, которые меня отвлекли по годам, по силам и могли кончиться моей смертью, — через это меня ввело в самое русло моей главной темы, задуманной ещё школьником.

Вы её отложили, и в ссылке началось ваше романическое творчество?

Это было так: я не откладывал никогда. Весь сосредоточенный интерес жизни в лагере был у меня — расспрашивать людей, что-нибудь знающих о революции. И так я всё собирал, не имея никакой возможности записывать. Я и не предполагал, какие огромные возможности заложены в нашей памяти. Я просто не верил, мы гораздо более сильные существа — люди, — чем мы думаем. В памяти — без всякой записи, когда я не мог ничего записывать, — так много укладывается, такой обильный материал. Так что все эти годы я запоминал данные, а когда я вышел на волю, — то есть что значит «на волю» — в ссылку попал, ссылка ведь это почти то же самое, что тюрьма, потому что я поднадзорный и в любую минуту жду обыска, — и опять писать нельзя.

Ну, всё-таки...

То есть сохранять материал... Надо было изобрести, как его сохранять, найти место хранения. Я ходил в школу преподавать, домик мой заперт на маленький замочек, туда кто хочет войдёт, найдёт там, что нужно... Но тут тюремная тема так давила, я должен был её отработать, а тут ещё я раком заболел. Эта смертельная болезнь, и раковый корпус, — они тоже своего потребовали. И так получилось, что свою главную тему я 30 лет всё откладывал, а работа вся шла над тюремной, лагерной темой. Я писал о шарашке, о раковом корпусе. Я всё никак не мог прорваться к своей теме. А потом «Архипелаг». Печатание «Ивана Денисовича» поставило меня в исключительное положение. Сотни людей присылали мне показания о лагере. Я должен был их выслушать, собрать, обработать. Тогда я стал собирать «Архипелаг».

Вы стали народным писателем.

Я стал доверенным летописцем лагерной жизни, к которому все несли правду. И так до 1969 года. То есть 33 года я своей этой темой жил, но по-настоящему над ней не работал. И только мог в 69-м году отдаться полностью вот этой своей главной работе.

Но к роману как форме вы приступили ещё в ссылке, вот эта романическая форма — как она к вам пришла?

Я думаю, во-первых, что у каждого писателя есть своя склонность к тому или иному виду архитектуры, от миниатюры до огромных зданий. Кроме того, жизнь нас гнёт, то есть тот материал, который идёт, требует, чтоб мы о нём писали, он диктует нам форму. Значит, тут должны были сойтись и личные склонности, и требования материала. Вот так они во мне сошлись, мои личные наклонности к большим формам и материал. Романы — это уже не малая форма, и «Круг первый», и «Раковый корпус» уж не такие маленькие.

Наоборот...

Самое смешное было, когда в тысяча девятьсот шестьдесят... в каком это году, вот сейчас память отказывает. В 1963 году. Тогда в Ленинграде происходил международный симпозиум о судьбах романа, где говорилось, что «роман» уже умер. А у меня был уже написан «Круг первый», уже писался «Раковый корпус». Меня туда тянули участвовать, а я ведь не мог даже сказать, что у меня эти две вещи. А «Архипелаг» — я прежде не задумывал в таком большом объёме. Но надо было обработать этот огромный поток материала не иначе как в виде вот такой огромной вещи.

Да, но «Архипелаг» не что иное, как часть той же истории, её завершение.

Да почти что совсем другие формы пришлось избрать, это художественное исследование, и потом тактика, как обрабатывать совершенно неожиданно приходящий материал, абсолютно не запланированный, не организованный. Человек приходит и рассказывает то, что он хочет, а не что мне надо. Нужно было раздробить на куски и сообразить, что и куда пойдёт, в какое место.

Это, в общем, как строятся соборы, как составляется мозаика?

Ну да, вроде мозаики. Да и роман-эпопея, я не называю его романом — а эпопея, цикл Узлов, он тоже, по сути дела, подчиняется этому закону, а именно: принять весь материал, какой только сохранился, — независимо, подходит он или не подходит. Всё это принять и каждому найти место. В лагере мне приходилось бить чугун, тяжёлые чугунные предметы на куски, их бросали в печь и прибавляли материал похуже, и получался чугун совсем иного назначения. Так я для шутки называю свои материалы кусками чугуна, очень ценного качества. Пускать его в переплавку, и он в новом виде появляется.

Но тут, в отличие от «Архипелага ГУЛага», уже перед вами предстаёт весь план этой эпопеи, вы знаете точно — и когда она завершится и что туда войдёт...

Вы знаете, и «Архипелага» нельзя было написать без плана. «Архипелаг» я тоже, когда строил, я уже представлял, что должен и его построить тематически по частям.

Трёхчастно...

Семичастно, семь частей. Но там незаметно присутствует, например, и хронологический принцип.

Что в ваших больших романах очень поражает, в «Раковом корпусе» и «Круге первом», — это необычайная сгущённость места и времени, всё происходит в несколько дней, и в закрытом помещении. Как это получилось? Сознательно? Подсознательно?

Во всяком случае, не из теоретических убеждений о том, что надо придерживаться классических единств. Нет. Ну, закрытое помещение — это скорей след моей биографии. Я большую часть своей жизни провёл в закрытых помещениях. А это уплотнение, нет, оно не случайно. Я вам так объясню. Я считаю первой характеристикой всякого литературного произведения — его плотность, художественную плотность, плотность содержания, мысли, чувств. Всякое произведение — велико оно или мало — всегда зависит от того, как оно плотно, то есть как оно соответствует своему назначению. И крохотный рассказец может быть велик: там, где требуется полстраницы, а ты написал страницу. И книга в две тысячи страниц может быть совсем не длинна, если она плотна, если ты не видишь там нигде рыхлости. Конечно, в большой степени и форму, и плотность, и ткань, состав произведения определяют материал и задача. Не следует, и нельзя, и наверно очень дурно придумывать: а не сделаю-ка я что-нибудь

для новизны? а вот не придумаю ли я новую форму? Боже упаси. Сам материал продиктует то, что надо. Я никогда не думал о форме художественного исследования, а материал «Архипелага» мне её продиктовал. Художественное исследование — это такое использование фактического (не преображённого) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, соединённых, однако, возможностями художника, — общая мысль выступала бы с полной доказательностью, никак не слабей, чем в исследовании научном.

> Когда вы стали писать ваши первые большие романы, какие-то образы перед вами носились из русской литературы или это у вас вышло совершенно спонтанно? Чтó ведёт — материал или традиция?

Вы знаете, традиция в том смысле ведёт, что я в детстве читал, читал русскую литературу, и она отложилась в душе, вот и всё, а во время работы ни о какой традиции не думаешь и не помнишь, что вот продолжить ту или иную линию. Просто такой мысли нет. Вот захватывает какая-то новая вещь, например «Круг первый». Захватывает. Ну, как описывать такую вещь? Я там жил три года. Описывать эти три года? вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во мне, не только в материале. Я уплотнил — там, пишут, четыре дня или даже пять, — ничего подобного, там даже нет трёх полных суток, от вечера субботы до дня вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да, может быть, и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал слишком свободно располагается. «Раковый корпус» я разделил на две части почти исключительно из того соображения, что ход болезни не допускает дать ей три дня. Болезнь требует показать её хотя бы за пять, шесть недель, а повествование хочет сжаться. Я разделил на две части только для того, чтобы в первой части разрешить

себе всё в три дня поместить, там в несколько дней, а вторую часть вынужденно растянул, не потому что я хотел плавно повествовать, а потому что ход болезни требовал правдоподобного лечения, то есть пять-шесть недель.

> У вас никогда и не чувствуется плавного повествования, вам всегда хочется сгустить, динамизировать статику.

Мне кажется, что только в плотности мы проявляем себя с наибольшей способностью. Как и в плотном разговоре. Если скучный, вялый собеседник — тянет муть какую-то, вы чувствуете, что ерунду говорит, и вы сами тут же глупеете, и весь разговор тогда пропадает, и вообще ничего не получается.

> Плотность у вас касается и словесного материала?

Каждой фразы и каждого слова. Вот в позднем Лермонтове намечается, что ни одного внутреннего случайного слова нет, я не говорю рифмованного, там рифма диктует, — ни одного внутреннего лишнего слова в строке. Так вообще бывает и в поэзии и в прозе. Да, плотность должна дойти до фразы и до слова.

> Ваш синтаксис удивительно эллиптичен, вы динамизируете слово.

Я сейчас стараюсь каждое лишнее слово выбрасывать. Если только можно без слова — выбрасываю.

> Но тут есть некоторая опасность перетянуть струны языка.

Я думаю, что нет. Вот, смотрите, Анна Андреевна Ахматова, уже перед смертью, говорила, что стихотворение в восемь строк ей кажется слишком длинное, надо четыре. От кого это услышишь? В нашей русской классической поэзии и двадцать строк никогда не считалось длинным стихотворением. Вот

Ахматова тоже шла к этому — как к изваянию из камня, всё сокращая, сокращая, 12 длинно, 8 длинно, а вот 4 строки...

Да, хочется сравнить с изваянием из камня — но при том у вас удивительное движение, как вы достигаете одновременно скульптурности и необычайного динамизма?

Это уже мне оценить невозможно самому. Я работаю с материалом, и больше ничего не имею в виду, как только выразить этот материал.

Иногда вы бываете не удовлетворены написанным?

Тогда я его переписываю, переписываю, и всегда стараюсь уплотнить. Вот «Один день Ивана Денисовича», например, как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником, и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё. Это родилась у меня мысль в 52-м году.

В лагере?

В лагере. Ну конечно, тогда было безумно об этом думать. А потом прошли годы. Я писал роман, болел, умирал от рака. И вот уже, простите, в каком это году, в 59-м году, однажды я думаю: кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Семь лет она так лежала просто. Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел — и как полилось! со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. И только чтоб чего-нибудь не пропустить. Я невероятно быстро написал «Один день Ивана Денисовича», и долго это скрывал. Я пришёл в «Новый мир», меня спраши-

вают: «Сколько времени вы писали?» Сказать, что я его написал за месяц с небольшим, — невозможно, ибо тогда: «Позвольте, а что вы писали остальные годы?» Я скрывал, скрывал, вообще уклонялся, уклонялся, а на самом деле — месяц с небольшим.

Это у вас такой обыкновенный процесс: вынашивание годами, а потом скоропалитная редакция?

Когда задумаешь — этот момент внезапен. Раз я шёл, выйдя из диспансера, шёл по Ташкенту, в комендатуру, и вдруг меня стукнуло, вот почти всё из «Ракового корпуса».

Как бы первоначальная интуиция...

Ну, всё, что линия Костоглотова, всю её во всяком случае... А линию Русанова по разговору моих соседей, я ведь с ним не лежал, по разговору однопалатников. Я подумал: вот так это можно было бы написать. И это легло и лежало совершенно неподвижно, и могло и не написаться. А в 1963, когда «Ивана Денисовича» уж напечатали, я думал: что же можно такое написать и попробовать дать публично в «Новый мир»? И я так написал «Раковый корпус». А мог и не написать, могло бы лежать. И «Ивана Денисовича», если что-нибудь меня бы отвлекло, мог бы не написать.

Не написалось бы или всё же была к тому необходимость?

Нет, есть у меня сюжеты, которые так никогда и не написались. Вот задуманы, а написано несколько слов, и всё так и останется.

И так никогда и не напишется?

Боюсь, что нет, потому что моя главная тема меня гонит, а времени уже в жизни мало осталось.

И вы не предвидите отклонений, хотя бы для писательского отдыха, от главной темы?

Иногда от вас бы хотели возврата к малой форме, к рассказам.

Я понимаю, что в малой форме можно очень много поместить, и это для художника большое наслаждение, работать над малой формой. Потому что в маленькой форме можно оттачивать грани с бо́льшим наслаждением для себя.

Мне хочется поднять довольно обширный вопрос о соотношении реальности и вымысла. Некоторые вас упрекают в перевесе реальности над вымыслом. Хотелось бы знать, как рождаются у вас образы, каково их соотношение с прототипами. Вот, например, вы упомянули об Иване Денисовиче, многие могут думать, что есть автобиографический элемент, но на самом деле это образ собирательный?

Ничего не поделать, я действительно не вижу перед собой задачи выше, чем служить реальности, то есть воссоздавать растоптанную, уничтоженную, оболганную у нас реальность, а вымысел я не считаю своей задачей или целью. Я вовсе не хочу никогда блеснуть вымыслом, но просто вымысел есть для художника средство концентрации действительности. Он помогает концентрировать действительность — вот только в этом его роль.

Реальность была так богата...

Только надо было воссоздать всё, как оно было. Но если воссоздавать абсолютно так — ну это известный принцип концентрации искусства — тогда это не будет искусство, и это будет длинно, и не может человек пережить тысячи жизней. Вы говорите об Иване Денисовиче. Конечно, когда я пришёл к мысли написать день одного зэка, ясно было, что это должен быть наиболее такой рядовой член армии ГУЛАГа. Замысел был запомнен, не развивался, а когда я к нему приступил, писать его в 59-м году, — кого же брать? Много бывало заключённых вокруг

меня, я мог вспомнить многие десятки людей, которых я хорошо очень знал, и сотни. Вдруг, почему-то, стал тип Ивана Денисовича складываться неожиданным образом. Начиная с фамилии — Шухов, — влезла в меня без всякого выбора, я не выбирал её, а это была фамилия одного моего солдата в батарее, во время войны. Потом вместе с этой фамилией его лицо, и немножко его реальности, из какой он местности, каким языком он говорил. Вдруг, почему-то, вот этот рядовой солдат батареи советско-германской войны вдруг стал идти в повесть, хотя он не был заключённым. Ну конечно, он был таким же рядовым, только в других условиях. А биография, как он попал и как он себя ведёт в лагере, уже шла от лагерных лиц, но не от него, он же не сидел.

Но вы были с ним особенно связаны?

Никак, вот именно что никак. Нет, я был гораздо ближе с другими солдатами. Когда я был арестован, он оставался солдатом нашей батареи. Нет основания у меня думать, что он потом сидел. Это был очень милый, славный вот такой пожилой солдат. Но я никогда не думал, что я буду о нём писать. И вдруг он сюда полез сам, а его лагерная биография и его лагерное поведение — это уже было не его, а собирательное от многих заключённых. Впрочем, и там есть автобиографичность, конечно, — то есть в каком смысле автобиографическое: я не мог бы его описать так, если б не был сам простым каменщиком в лагере. Смысл понимания работы самой — его трудно набраться от другого понаслышке. Я пишу крестьянина, с его крестьянской хваткой, и хваткой зэка, однако что-то такое от собственного опыта обязательно вкладывается, оно вкладывается в кого угодно. Я описываю Русанова — человека совершенно мне противоположного во всём, но, например, то отвращение и испуг, которые он испытывает, входя в онкологический диспансер, — конечно, там есть элемент автобиографичный, да всеобщий. В этом и состоят возможности искусства,

что человек использует собственный опыт для точной угадки и воссоздания всяких других людей.

Да, правильнее говорить об опыте, чем об автобиографичности?

Конечно, об опыте... о личном опыте.

Вы всегда так распыляете себя почти во всех героях?

Я бы сказал да. Потому что без личного опыта, психологического или житейского, писать невозможно. Почему молодые люди не могут стать писателями сразу, да потому что им не хватает вот этого самого опыта. Если я описываю вас, то моя задача войти по возможности глубоко в вас и вас передавать. Но это нельзя, если я ещё не обладаю жизненным психологическим опытом.

Вот некоторые заметили, что даже в Ленина вы вкладываете как бы часть самого себя. Вы действительно это так ощущаете?

... Ленин — одна из центральных фигур моей эпопеи и центральная фигура нашей истории. О Ленине я думал просто с того момента, как задумал эпопею, вот уже 40 лет, я собирал о нём по кусочкам, по крохоткам всё, решительно всё.

Но прежде вы его видели и понимали иначе?

В ходе лет я постепенно его понимал, я составлял даже каталоги отдельных случаев его жизни по тому, какие черты характера из того вытекали. Всё, что я о нём узнавал, читал в его книгах, в воспоминаниях. Я ещё специально каталогизировал, что вот эти события дают такую черту характера, те события — другую черту характера. Я не использую этого непосредственно в момент работы, но это всё систематизируется в голове и складывается. Теперь, когда я счёл, что я уже созрел для того, чтобы Ленина писать, я пишу его конкретные годы, цюрихские; естественно, ретроспективно туда же помеща-

ются происшествия его партийной и личной жизни. Я не имею задачи никакой другой, кроме создать живого Ленина, какой он был, отказываясь от всех казённых ореолов и казённых легенд. Но это совсем поверхностное утверждение, что я пишу его из себя. Я пишу его только из него, но его, как любого, как Русанова, как Шухова, как любых персонажей, как Яконова в «Круге», Поддуева в «Корпусе», я не могу описать без того, что я сам достиг уже какого-то психологического и житейского уровня, что я могу понять другого человека в его обстановке, в его задачах. Вот так.

> Когда вы гуляли по Цюриху, вы старались, вероятно, воссоздать...

Да, вы знаете, мне Цюрих очень помог. Цюрихские о Ленине главы я ведь написал в Москве. Это была одна глава из Первого Узла, одна из Второго. А когда я приехал в Цюрих, то сам Цюрих, и люди, которые знали Ленина, библиотеки вот эти, и документы о швейцарских социал-демократах, которые его там окружали, о которых в Советском Союзе нельзя было найти материала... Например, в Цюрихе мне помог сын того самого Платтена, который провёз Ленина через Германию. Они мне дали так много материала, что он стал распирать, и, кстати, это лучший признак, что правильно пишется вещь. Если материал сам набирается и его объём неожиданно увеличивается, тогда вы обеспечены, что плотность будет велика. Безнадёжный способ — сперва создать общую рамку и потом начать наполнять её материалом, тогда выйдет из этого рыхлость и провал.

> Но вот вы написали «Ленин в Цюрихе» сначала в Москве. Вы угадали Цюрих из Москвы? Мы, к сожалению, не читали этой первой пробы...

Стержень Ленина, я считаю, что я его уже тогда достаточно понимал. Я уже много лет над ним ду-

мал. Но очень много фактических деталей открылось мне в Цюрихе, таких, что я при их свете снова перечитываю ленинские работы цюрихского времени и они по-новому обретают смысл, наливаются плотью. Как будто я эти самые ленинские статьи читал в Москве. Но всё-таки я в то время не мог его понять из его собственных книг так, как я его понял, овладев цюрихским материалом.

> Это не только расширило, но и изменило несколько тональность?

Ну, заполнило большей плотью, и рельеф несколько усилило. Я точнее смог сделать этот психологический рельеф. Тональности это не изменило, я его так и понимал, но рельеф увеличило, и плотность.

> Так что Ленина вы скорей вобрали в себя, чем дали из себя?

Как же я осмелюсь историческое лицо создавать из себя? Нет, я создал его из него. Всей его жизнью, из всех его качеств, эпизодов, событий, из него, но только при этом, конечно, я не перестаю быть автором. Моя задача — сделать его живым, каким он был, но поскольку я автор, то, конечно, понимание его психологии, его партийной психологии, основывается на том, что я всю историю партии изучал, и жил в этой стране, и знаю коммунизм.

> То, что вы отбросили в каком-то смысле малую форму, свидетельствует о тяготении к некоторому синтезу? Синтезировать опыт русской истории, но также добиться и формального синтеза, объединив разные приёмы?

Я не то что отбросил малую форму. Я с удовольствием бы иногда отдыхал на малой форме, для художественного удовольствия.

> Но не можете себе этого позволить?

Да, не могу. Несчастным образом наша история так сложилась, что прошло 60 лет от тех событий, а настоящего связного большого рассказа о них в художественной литературе, да и в документальной, нет. Умирают последние свидетели, есть ещё возможность кого-то живых опросить. Разрушена вся та ткань жизни, которая была до революции и к моменту её, и, может быть, моё поколение — последнее, которое может ещё этот материал писать не совсем как историю, не в полном смысле историческое повествование, а ещё почти по живой памяти. Моя детская память всё-таки очень сохранила послереволюционный воздух. В 20-е годы ещё жило население в России почти всё дореволюционное, ещё этот воздух я ощущаю, он помогает мне в обработке материала.

Это не совсем исторический роман, это связь времён.

Я думаю, ещё последняя возможность моему поколению написать, а для следующего это будет уже совсем исторический.

Более ретроспективно...

Совсем ретроспективно. Вот почему я просто обязан вести это повествование, а так как в нём главное действующее лицо — Россия вся, то это огромное повествование, как я его ни сжимаю, и даже если мне Бог пошлёт 20 лет жизни, то вот только бы успеть кончить.

Главного героя не будет романического?

Главного героя не будет ни в коем случае — это и принцип мой: не может один человек, его взгляды, его отношение к делу передать ход и смысл событий. Обязательно даже главных, излюбленных, ведущих героев должно быть с десяток, всего же их сотни, а главное действующее лицо — сама Россия. Тут вот только какой выход может быть, выход, на который я напал когда-то: нельзя давать всё тече-

ние истории подряд, это выйдет очень длинно, невозможно для чтения. Я придумал концентрировать, создать УЗЛЫ, то есть опять такой же метод плотности применять. В этой кривой истории, — то есть в смысле математическом кривая линия истории, — есть критические точки, их называют в математике особыми. Вот эти узловые точки — как Узлы, — я их подаю в большой плотности, то есть даю десять, двадцать дней непрерывного повествования. Я выбираю эти точки главным образом там, где внутренне определяется ход событий, не внешние обязательно события, а внутренние, — те, где история поворачивает или решает. И эти десять, двадцать дней я даю плотно, подробно, а потом между Узлами — перерыв, и следующий Узел. Вот так родилась эта идея Узлов.

Но трудно даётся соотношение между семейным аспектом романа и историческим? В «Августе Четырнадцатого» сама романическая часть немного придавлена военной эпопеей.

В Первом Узле я видел замысел такой. Я не мог показывать всей Первой мировой войны, хотя история её не описана у нас, я решил выбрать одно-единственное событие — битву — и в нём показать всю войну. Этот выбор я сделал в 19-летнем возрасте, в 1937 году. Я изучил историю войны и уже тогда понял, что нельзя её всю описывать, тем более ещё потом и революцию, и гражданскую войну. И тогда я выбрал самсоновскую катастрофу и в 37-м году начал писать главы, уже тогда. Мои первые главы. И характерно, что когда вот уже в 1969 вернулся к этому через много лет, то я ряд глав, по их композиции, так и оставил, они были взяты прямо из 37-го года. Ну только ткань сама, сама манера письма, и образы более проработаны, поскольку я уже был взрослым. Но уже тогда явилась эта идея всю войну представить самсоновской катастрофой.

Один Узел я разрешил себе сделать целиком во-

енным, не потому что я хочу писать военную историю, а потому что надо репрезентативно показать всю войну. Семейные линии, личные линии, даны пока что очень немного, но они и всё время будут не на первом месте, потому что главная цель — показать ход русских событий, а личные судьбы, они очень наполнены для самих персонажей, для людей, а на ход истории они не всегда влияют.

В «Августе Четырнадцатого» вершина — личная трагедия Самсонова. Будут ли такие шекспировские моменты в следующих Узлах?

Вы знаете, это не был замысел, это получилось само. Я задумывал только самсоновскую катастрофу, а когда я стал описывать, то фигура Самсонова сама стала вырастать, вот эта его собственная трагедия. Она никогда не была задумана, так что я не могу сказать, будут ли такие дальше, но очевидно, в каждом Узле есть свои главные деятели. У них свои критические моменты, и если удастся это выявить...

Вам приходится тщательнее обдумывать формы, чтобы разнообразить рассказ. Вы даёте разного рода графическое расположение, разную подачу повествования.

Вы понимаете, как всегда, художник не должен выдумывать форму, но материал диктует нам её. Для такого огромного повествования как быть с формой? Если применить обыкновенную повествовательную манеру, это будет очень не плотно, это будет долго; может быть, будет приятно читать, но 20 Узлов подряд так прочесть почти будет нельзя. Сами события очень концентрируются, и сами события властно требуют менять, я бы сказал, виды повествования. У меня таких видов повествования, в общем, сейчас до восьми.

Немного больше, чем в «Августе Четырнадцатого»?

Немного больше. И я ни один из них не придумал для того, чтобы блеснуть формой или создать новую форму, ни в коем случае, я только ищу каждый раз, как этот материал передать. Вот, например, киноэкран. Я совсем не собираюсь искать новых задач — мол, вот, давай-ка я дам киноэкран.

Вас упрекали в том, что вы воспроизвели метод Дос Пассоса.

Вот Дос Пассос. Я познакомился с Дос Пассосом в такой оригинальной обстановке: на Лубянке. На Лубянке, в тюрьме, принесли его «1919 год». Хотя я был занят больше своими тюремными переживаниями, но, читая эту книгу, был поражён, что тут есть близкое тому, что нам нужно.

Я, конечно, у Дос Пассоса поучился, но поучился вот каким образом. Двум вещам, пожалуй, — его газетным монтажам и его так называемому — так он называет — киноглазу. Я, однако, увидел, что эти две формы, в таком виде, к нам неприменимы, а очень могут быть применимы видоизменённо. Вот пример — киноглаз. Его киноглаз — это не сценарий. Если вы посмотрите Дос Пассоса — снимать фильм по киноглазу нельзя. Почему он так его назвал? это скорей лирические отрывки.

Да, да.

Лирические — а я ставлю задачу именно как если бы происходила киносъёмка. Перед этим у меня был опыт, я написал сценарий «Знают истину танки». Без всякой надежды, что его когда-либо при моей жизни снимут. Я должен был изобрести такую форму, чтобы читатель, читая киносценарий, уже увидел фильм. Фильма пусть не будет, а он уже его видел. И такую я изобрёл форму расположения там, чтобы было читателю легче, не труднее, а легче было видеть, где звук, где кадр, как снимается, где говорят. И эту форму я потом повторил в своих маленьких киноэкранах.

В эпопее?

Да. Там они совсем маленькие. Но наступает момент повествования, когда вдруг хочется отбросить разговор, когда я уже лишний между читателями и событиями, когда читатель должен прямо видеть события. Например, вот бегство корпуса Благовещенского. Отступление корпуса Благовещенского нельзя передать, по-моему, иначе чем зрительно, — дать увидеть эту панику. Позже будут в подобном положении революционные сцены и уличные. Уличные сцены в Петрограде. Наступает такой момент, когда повествователь мешает, он становится стенкой между читателем и материалом. Лучше дать сразу в глаза читателю, чтоб он всё это увидел.

Это массовые сцены, очень быстрые, динамические.

Очень динамические и в основном массовые — совершенно верно. Там даже не остаётся индивидуальных действующих лиц. Это какие-то представители массы. Но это всё должно быть зрительно, чтобы хотелось их снять. Но и даже не снимая, читатель сразу видит, без кино.

И в них усилен символический момент?

Большей частью даже не символический, но иногда там очень удобное место, чтобы выделить символику.

Например, в «Августе Четырнадцатого» появляется образ колеса, который выделен графически.

Да, там есть символический образ. Потом уж я читаю в критике, что эти отрывки восприняты как стихотворения в прозе. Никогда об этом я сам не задумывался. Но, действительно, поскольку я хочу повлиять на зрительное восприятие, очевидно эти куски так повышенно эмоциональны, что они, кроме того, оказывается, имеют ещё и другое звучание.

Об этом я даже не думал. Теперь, раз уж вы коснулись Дос Пассоса, вторую его находку я тоже использовал. Но тоже как бы перевернул, в обратном смысле. Дос Пассос придумал вот эти газетные монтажи, они у него имеют такую функциональную роль: он хочет подать бессвязность газетного потока, не имеющего никакого реального отношения к жизни. Что истинная жизнь в газетном потоке не отражается, у него такая функция монтажа. А у меня противоположная — это благодаря особенностям русской жизни. На Западе может так быть, что поток газетный не увлекает за собой жизнь, или не отражает её. Благодаря обилию и свободе прессы. В истории раннего Советского Союза, да и позднего, газеты имели совершенно другое значение. Наши газеты были пулемётными очередями, фразы наших газет расстреливали и делали события. И когда я создаю газетный монтаж, то гораздо более строгий, подтянутый, композиционно сюжетный, потому что в этих моих газетных монтажах отражается ход истории самой. Так что функция прямо противоположная, не та!

Ну, это носит иногда иронический характер.

Иногда бывает иронический, а иногда в ней поступь истории. Это тоже экономия средств. Потому что я таким образом коротко, плотно даю ход истории. Неизбежно применить, однако, и многие другие виды повествования, которые позволяют сэкономить время читателя и число страниц. Тут не избежать некоторых фольклорных вставок, особенно во время гражданской войны. Какая-то одна там песня «Эх, яблочко! куда катишься», в зависимости от того, в каком варианте она дана, передаёт дух эпохи очень коротко, в четырёх строках создаёт целый сдвиг психологический.

Так что в следующих Узлах фольклорный элемент усилится?

Не то чтоб усилится, но он будет всё время идти. Там фольклор истинный, потом фольклор казённый. Потом вот пословицы, — я применяю иногда эти пословицы, — которые тоже критики литературные неверно оценили как «моралитэ», то есть как будто от себя хочу ещё дать моральный вывод... резюме.

Как в баснях...

Но именно нет, этот приём у меня употребляется тоже иначе. Этими пословицами, их немного на Узел — пять, семь, десять, — этими пословицами выражается как бы голос народа. Я мысленно представляю среди своих читателей какого-то, может быть даже неграмотного, мужика, который слушал, слушал, слушал вот то, что там было в повествовании, и потом — раз, влепил свою пословицу, врезал её. Она не бывает просто вывод, она бывает, под некоторым углом, дополнение. Может быть, читателям, допустим, интеллигентным — виден один пласт, а народ видит другой, вот этот самый...

Это открытие смысла...

Это новое открытие смысла глазами народа... Ну и наконец, чем более динамичны будут события дальше — революция февральская, — тем более они будут диктовать динамизирование текста. Невозможно писать плавно повествовательные главы, когда события происходят по часам, по минутам и когда через три дня страна уже не та, что была три дня назад. Очевидно, здесь надо давать небольшие фрагменты; из фрагментов, как из мозаики, складывать события. Тут две крайности опасны: можно было бы целиком писать фрагментами, но это тоже может утомлять читателя, потому что он не сможет мелькания выдержать.

Если его слишком много...

Искать надо какого-то равновесия между плавными повествовательными главами, какие отражают жизнь отдельных лиц, и фрагментарными этими

монтажами — там, где я даю быструю смену событий и очень большой захват.

И в следующих Узлах можно будет найти все слои населения?

Это всегда было моей задачей — вертикаль дать всю, по возможности дать всю вертикаль, как только можно. Без участия масс и низов нет истории, и нет исторического повествования.

Но в ходе такой длинной эпопеи вам приходится пересматривать даже законченные вещи. Вот вы закончили «Август Четырнадцатого», теперь некоторый промежуток между следующими Узлами, не принуждает ли это вас к некоторому подтягиванию от одного Узла к другому?

Конечно, когда пишешь ряд книг, то связывать их друг с другом, очевидно, правильный метод такой. В начале, в самом начале, я думал так: вообще не печатать ни одного Узла. А написать всё, то есть двадцати-, двадцатипятилетнюю работу сделать, и тогда напечатать. Может, это было и правильно, но нельзя не пытаться повлиять на сознание современников.

Это невозможно.

Невозможно, вот видите. Я бы мог не печатать. Но хочется повлиять, что-нибудь, хотя бы куски истории подавать по мере их готовности.

Вам нужно иметь с читателем какой-то контакт через...

Да просто если в многолетней работе мне приоткрылся истинный ход событий, мне же хочется, чтоб о нём узнали современники. Но, по-видимому, правильно делать так, что я печатаю какой-то Узел лишь тогда, когда готовы, скажем, два или один хотя бы. Так, чтобы они выходили не сразу со сковородки, а постепенно, дожидались следующего. Это для

более плавного перехода, для более верной связи сюжета.

Но и читатель участвует в создании этой эпопеи, как он участвовал в создании «Архипелага» в России. Вот на Западе бывшие свидетели откликнулись.

Уже мне потому был необходим «Август», чтобы найти контакт, вы правильно говорите, вот с теми участниками событий, которые могут мне что-то ещё дать. Я сейчас обратился к эмигрантскому читателю, мне было б крайне важно сделать это в Советском Союзе. Но, в Советском Союзе живя, если я ехал смотреть места событий, то обычно тайно, потому что мне мешали что-нибудь смотреть, а опрашивать свидетелей очень трудно. Я был в Тамбовской губернии, на месте крестьянского восстания, — там есть ещё сохранившиеся свидетели, но все боятся рассказывать какому-то незнакомому человеку, да и я сам опасаюсь спрашивать, чтобы не пресекли моей экспедиции. Очень трудно собирать там материалы. С другой стороны, мне очень помогали тем, что из разных мест приносили и присылали книги, всюду в Советском Союзе уничтоженные. Вот какие-то там книги ВЧК, их, кажется, сожгли уже все, и вот где-то сохранились один-два экземпляра, — а уже знают, что я работаю, мне их несут. Очень помогают такие неизвестные лица своими рассказами, материалами, воспоминаниями, книгами.

Несмотря на все затруднения, вы пишете всё-таки эту эпопею со всем народом, с участием читателей?

Всё время. Вот так, как «Архипелаг» я писал с бывшими зэками, так эту эпопею я пишу ещё во врéмя, пока живы участники и могут давать материал. К сожалению, высылка из Советского Союза меня лишила сейчас возможности ездить по местам событий, но я порядочно — и Петербург, и Москву,

и Тамбов, и Дон, — я достаточно видел, — на Дону я вырос, Ростов, Новочеркасск мне родные города.

> Критика не раз отмечала, что в «Августе Четырнадцатого» немного замедленное начало. Это намеренно, такая замедленная линия, будет ли она повторяться или потом исчезнет?

Вот как раз я вам сейчас сказал, что в ходе революционных событий даже повествование о динамичных действиях и то уже мне кажется замедленным. Начало же «Августа» замедлено сознательно. Это, знаете, как бы когда панорамический снимок, фотографический, то нужно, для того чтоб снимки друг с другом пересекались, совмещались, нужно их немножко перекрыть. Начало «Августа Четырнадцатого» потому и сделано таким, что показывается медлительное течение жизни предвоенной, для идентификации, что даже кусочка той жизни уж никогда больше не будет. Такого темпа не будет больше. Такого внимания к проблемам семейным уже не будет у людей, потому что будет совсем другой темп, совсем другая динамика.

> Ну, это как бы образ предреволюционной России...

Нет, это не образ, это только для узнавания несколько глав медленного темпа предыдущей жизни. Семья Томчаков не имеет такого особого выразительного значения для всей России. Это просто один из слоёв, который, кстати, мало освещён, динамичный слой из мужиков поднявшихся. Но не в этом дело, а только в медленном темпе, вот такой темп был и никогда больше не будет.

> Так что это не вернётся никогда? Это общее введение ко всей эпопее?

Да, это показ бывшего темпа, которого не будет никогда.

Мужики поднявшиеся, динамичные, и вообще крестьянство отражено широко в вашем творчестве. Иван Денисович, Благодарёв занимают крупное место. Некоторые даже говорят, что вы показали русского мужика слишком идеально, без всяких пороков.

Крестьянство составляло всё-таки более 80 % населения России, и если я хочу быть репрезентативным, то ясно, что их должно быть очень много, мужиков, и ещё будет очень много. А идеализация? видите ли, дело скорее вот в чём: на Западе склонны о России прошлой говорить в основном плохое, потому что получили все сведения из рук революционеров, ненавидевших ту Россию. Поэтому всякий материал противоположного рода уже воспринимается как идеализация. Конечно, когда дальше крестьянство будет соблазнено этими лозунгами: «Бросай винтовку», «Хватай землю», «Грабь награбленное», — конечно, будут сдвиги очень тёмные в крестьянской душе.

Но Благодарёв не соблазнится?

Ну, там, знаете, в «Августе» уже есть намёки, кем он будет, но я не хочу расшифровывать раньше времени. А потом рабочий класс...

Вот он у вас пока фактически не представлен, хотя в 14-м году он уже был.

В «Августе Четырнадцатого» не вмещается, потому что Узел занят одной битвой. Начиная со Второго Узла я уже значительно показываю рабочий класс. У нас существует легенда, что рабочий класс произвёл революцию и был как бы движущей силой и властью. На самом деле рабочий класс — один из самых страдающих, из самых обманутых слоёв нашего общества. Может быть, он был наиболее обманут даже этим призраком диктатуры пролетариата, которая ни одной минуты не существовала. У меня — да, рабочие персонажи и главы, начиная со Второго Узла, будут непрерывно всё время идти.

И коммунистическая партия будет показана, и её возглавители — помимо Ленина — станут тоже действующими лицами?

И коммунистическая партия и другие виды социалистических партий. А в самой коммунистической партии тоже существует казённый список легендарных имён, а другие погашены и уничтожены.

Так, например, Шляпников. У меня был соблазн: я в «Ленине в Цюрихе» упоминаю Шляпникова, но глазами Ленина. Ленин Шляпникова и не ценил, когда Шляпников был реальным и главным действующим лицом его партии перед революцией. У меня есть уже давно оконченная глава о Шляпникове в Петербурге в октябре 1916, но всё-таки, когда я делал подборку «Ленина в Цюрихе», мне неудобно было сюда её включать, а очень бы книга выиграла. Образ Ленина был бы больше понят, если бы показать Шляпникова по контрасту. Потому что Шляпников — это тот коммунист, который был истинный рабочий, всегда старался им быть, истинно связан с подпольем и рабочим классом, истинный деятель истории, который на том и погиб, что впал в оппозицию к Ленину в первые же годы революции, защищая рабочие интересы. На этом он и погиб, и растоптан, и забыт.

Это в силу народного происхождения или каких-то привходящих обстоятельств?

Такое благоприятное обстоятельство. Он, будучи профессиональным революционером, сам не переставал быть прекрасным токарем и великолепным рабочим. Он гордился тем, что всё время работал, как никто из вождей так называемой рабочей партии.

Они были скорей интеллигенты или интеллигентствующие.

Они были не способны даже себе кроме как журнальной статьёй заработать на хлеб. А тот отправ-

лялся к токарному станку и работал, и себя кормил, и Ленина кормил, и других...

Ну, и эти интеллигенты тоже будут показаны...

Эти тоже безусловно будут показаны, каждый в его критический момент, там, где он что-то делает в истории, обязательно.

Читатели отмечали, что у вас очень сильная сатирическая линия в некоторых вещах, в частности в «Архипелаге». Будет ли это также в Узлах?

Нет. Вы знаете, сатирическая сторона потому в «Архипелаге» сильна, что я всё время противостою огромной махине пропагандной лжи и у меня нет сил что-нибудь в кратком малом объёме ей ответить иначе как сатирой. Сатирический мазок снимает тонну целую. А там я должен описывать историю, как она идёт, там нет надобности в этой сатире.

По призванию — вы не сатирик?

Нет, совсем нет.

Некоторые утверждают, что вы были бы сатирическим писателем в любом случае...

Совсем нет. Это надо быть под нашей грубой пропагандой, чтобы понять, как ответить: вот сатирой, резким мазком сатиры снимается эта тонна лжи.

Вы были бы писателем в любых условиях? Вы никогда не задумывались, кем бы вы стали в нормальных условиях? вне этой истории с тюремной посадкой?

Нормальных я уже не могу представить, а в советских условиях, если б меня не арестовали в конце войны, — да, большие духовные опасности были передо мной, потому что, если б я стал писателем в русле официальной советской литературы, я, конечно,

не был бы собой, и Бога потерял бы. Трудно представить, кем я был бы всё-таки, при всех моих замыслах. Но вот счастливым образом судьба провела меня через Архипелаг как будто длинным, а на самом деле коротким путём.

Нет ли у вас какого-то личного отношения к вашим же произведениям? Перечитываете ли их? Есть какое-нибудь произведение, которое вы больше любите? Или они вас больше не интересуют и вы идёте дальше вперёд?

Я вот стал последнее время немного перечитывать. Когда перечитываешь старые вещи с перерывом лет в десять, конечно видишь, что́ хотел бы изменить. Но вещь уже есть, и она уже долго живёт, и есть ли право у писателя менять? сам писатель изменился, стал другим. Личное отношение — всегда страсть к той вещи, которую пишешь сегодня, а потом она отделяется, живёт отдельной жизнью.

И вы уже её не ощущаете как собственность?

Уж не как собственность, ощущаешь её совсем со стороны, даже иногда с удивлением, — со стороны, как нечто неожиданно новое. Какие-то там забытые абзацы. Весь живёшь в том произведении, которое пишешь сегодня.

Вот это произведение, которое вы сейчас пишете, для него надо было б целый институт, поскольку входят в него столько событий, столько слоёв населения. Как вы можете справиться с этим разнородным огромнейшим материалом?

Только непомерной работой своей и моих помощников, тех, кто близки ко мне и помогают.

Но ещё и организационным талантом, чтобы не быть подавленным...

В наших ужасных условиях писателю надо быть конспиратором, стратегом, да ещё и организатором

материала, потому что института не создашь, а материал плывёт в огромных количествах. Работа непомерная, очень трудная, я не знаю, сумею ли замысел выполнить весь, — сколько надо дней жизни, чтоб выполнить. Очень много, очень много.

Ну, я вам поставлю вопрос, может быть, немного наивный. Из русской литературы кто, какой писатель служит вам путеводной звездой? К какому писателю вы чувствуете наибольшую близость?

Я думаю, для всех нас уже второе столетие путеводная звезда — Пушкин. Причём, чем больше мы от него отдаляемся, тем больше мы видим, как много мы в нём потеряли, как много мы должны продолжать. Пушкин — несравненная звезда в том, что он, не на ровном месте конечно, создал язык, литературу, и в этом отношении ему нет равных с тех пор. А так, конечно, вся традиция XIX века так или иначе воспитывала нас. Толстой и Достоевский всегда, на каждом из нас отразились.

Но Толстой скорей был одно время для вас моральным авторитетом?

Скорее даже нет, а — художественным. Я прочёл «Войну и мир» в десятилетнем возрасте.

В десятилетнем?..

Да... Я, конечно, личных линий совсем не понял, но совершенно был захвачен этой композицией и историческими сценами. Я думаю, сильно отразился на мне этот роман, и на моём желании писать исторический роман. А если уж теперь говорить о более позднем возрасте, когда появились нравственные вопросы, то Достоевский ставит острее, глубже, современнее, более провидчески.

Толстовства не было?

Никогда... Это в романе я о нём говорю, потому что оно было тогда модно, в то время.

Это относится к вымыслу, а не к автобиографичности?

К вымыслу, если в смысле меня, да, но меня там нет. Мой отец когда-то прошёл через толстовство, поэтому я ему и даю это толстовство. А если говорить вот в наше время, вы знаете, я считаю, что для нас, для писателей XX века, ну, значит, и для меня, определённые образцы заключены в прозе Замятина и в прозе Цветаевой, то есть проза Цветаевой — это вообще концентрация невероятной силы. Это проза для писателей, не для читателей, её нужно разбавить в десять раз, чтобы её могли читать обыкновенные люди.

Вас привлекает эта словесная уплотнённость...

Словесная уплотнённость с такими динамическими поворотами, изгибами, взрывами. А Замятин во многих отношениях поражает. Главным образом вот синтаксисом. Если я кого считаю своим предшественником по синтаксису, то — Замятина. И потом невероятная яркость и сила портретов у него. Иногда одним-двумя словами он даёт целое лицо. Он сделал гораздо больше, чем Чехов, в этом отношении. У Чехова уже была попытка не описывать, какие глаза, какой рот, какой нос, а описывать каким-то сравнением...

Образом...

Даже не образом, а сравнением передать лицо. Замятин идёт ещё гораздо дальше, он иногда одним словом схватывает портрет, до такой степени выразительно, как живописец. Я считаю, что высоты лаконического портрета никто такой не достиг, как Замятин, — это действительно поразительно.

И вы много его читали?

Много его не почитаешь, потому что у него мало написано. У него же так несчастно жизнь сложилась, что некогда было писать. Ну, его известная

дореволюционная повесть, «На куличках», которая была запрещена. Об армии. Того мирного времени армии, в гарнизоне тыловом. А потом его блестящее «Мы». И потом его рассказы в первые советские годы. Собственно, в 20-е годы Замятин был практически действительно старшим в нашей русской прозе.

Да, он был ведущий...

Ведущий. Хотя там считалось, что Горький, или ещё кто-то. На самом деле безусловно он. И он разговаривал в 20-е годы уже как архиерей, как литературный вождь, и правильно, с основанием, он делал годичные обзоры литературы, в 26-м, 27-м годах.

А потом тоже несчастно окончилось, его придавили, разрешили выехать, и почему-то он здесь на Западе, это загадка, совсем потерялся. Он ведь был приучен к западной жизни, он здесь жил. Он был прекрасный инженер, он кораблестроительным инженером работал тут в предреволюционные годы, в Англии. У него есть английские рассказы. Я не понимаю, почему он на Западе совершенно захирел.

Ну, может быть, не успел развернуться?

Может, болезни его скрутили, не знаю. Вообще, судьба эмигрантских писателей, очень горькая судьба. Вот посмотрите: старики писали о прошлом, а молодой Набоков решил избрать английскую литературу.

Решил просто уйти... Но с вами этого не случится...

Мне уже теперь ближе к старикам, чем к молодым.

С Цветаевой вы познакомились уже позже?

С Цветаевой сравнительно недавно. Её у нас достать почти невозможно было. Да и Замятина труд-

но, так с трудом каждую книжечку доставал. Ну, сейчас у меня маленькая библиотека Замятина есть своя. А полный Замятин и не напечатан вообще.

А Пушкина вы иногда перечитываете? Когда вам хочется отдохнуть от самого себя или от собственных трудов и вы берёте книжку — к чему тянет вас?

Пушкин — неиссякаемый источник для нас, — и, собственно говоря, хотя все признавали, что выросли на Пушкине, а подражание его прозе, его динамичной, удивительно сжатой, небогатой атрибутами, без всяких украшений прозе, у нас как-то мало развивалось. Вот поздний Толстой в таких рассказах, как «Хаджи-Мурат» или «Кавказский пленник», в поздних рассказах, пожалуй, ближе всего к этому. А Толстой в своих главных романах нарочно строил иначе, нет сходства.

Пушкин не имел продолжателей, он сразу достиг такого совершенства.

Такой простоты... Лермонтов в какой-то мере шёл из Пушкина. Но его эта фехтующая проза немного имела оттенок западный.

Он её смягчил.

И неизвестно, во что бы она вылилась потом. Но все так рано умерли, о чём можно говорить, что можно сказать, что было бы с прозой Лермонтова? с прозой Пушкина?

Так что вы свою прозу отчасти рассматриваете как возврат к пушкинской лаконичности?

Я слова «возврат» всегда избегаю... Потому что какой же возврат, мы всё время идём куда-то вперёд. Я мечтал бы о наибольшей лаконичности. Но ка́к в современном мире, нагруженном понятиями, какими действиями, как этой лаконичности достичь, не обеднив содержания, — вот вопрос.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ИСПАНСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

Мадрид, 20 марта 1976

Испанская тема занимает немалое место в русской литературе. Многие ваши крупные писатели не обошли её. Как вы это объясняете?

Действительно, по каким-то причинам, о которых, может быть, не так легко сказать, Испания занимает совершенно особенное место в русской литературе. Почти ни один крупный писатель и поэт не прошли мимо испанской темы. И многие крупные русские композиторы тоже занимались Испанией. Можно строить предположения, чтó общего или что связывает эти две страны, расположенные на крайнем востоке и на крайнем западе Европы. Казалось бы, наш национальный тип очень разнится в наружности, в поведении, испанцы и русские нисколько друг на друга не похожи, но, может быть, мы найдём и удивительные общие черты нашей истории. Собственно говоря, Россия и Испания защитили Европу от двух нашествий: Россия от монголов, Испания от мавров, и если бы не Россия и Испания, то современная Европа, очевидно, не была бы сама собой, она не была бы тем, что она есть. Её независимая история была обеспечена вот этими двумя щитами, восточным и западным. Может быть, общее между Испанией и Россией и то, что обе они устояли против наполеоновского нашествия, и только они, больше никто тогда, кроме них. Может быть, есть общее в том запасе энергии, который двинул русское и испанское влияние так далеко, что вот я в прошлом году на Тихоокеанском побережьи Америки видел, как эти два влияния на

другой стороне земного шара сошлись — испанское с юга, русское через Аляску. Во всяком случае, большое внимание к испанской теме мы ясно наблюдаем в русской литературе.

> У вас тоже в «Случае на станции Кречетовка» лейтенант Зотов с большим волнением отзывается на испанскую войну. А какие у вас были касания с испанской темой?

Должен сказать, что Испания коснулась и моей жизни. Ну, в лагерях я немало встречался с тем, что сидели то бывшие испанские дети, вывезенные в СССР, то бывшие испанские революционеры и моряки или лётчики, которые оказывались в Советском Союзе. Несколько таких случаев я упомянул в «Архипелаге ГУЛаге». Но ещё раньше Испания вошла в жизнь нашего поколения — как бы это сказать? — как *любимая война* нашего поколения. Нам, мне и моим сверстникам, было 18—20 лет в то время, когда шла ваша гражданская война. И вот удивительное влияние политической идеологии, этой бессердечной земной религии социализма, — с какой силой она захватывает молодые души, с какой мнимой ясностью она показывает им будто бы ясное решение! Это был 1937-38 год. У нас в Советском Союзе бушевала тюремная система, у нас арестовывали миллионы. У нас только расстреливали в год — по миллиону! Не говорю уже о том, что непрерывно существовал Архипелаг ГУЛАГ, 12—15 миллионов человек сидели за колючей проволокой. Несмотря на это, мы, как бы пренебрегая действительностью, всем сердцем тогда горели и участвовали в вашей гражданской войне. Для нас, для нашего поколения, звучали как родные имена — Толедо, университетского городка в Мадриде, Эбро, Теруэля, Гвадалахары, и если бы только нас позвали и разрешили нам, то мы готовы были тут же броситься все сюда, воевать за республиканцев. Это особенность социалистической идеологии, которая так увлекает молодые души мечтой своей, призы-

вами своими, что заставляет их забыть действительность, свою действительность, пренебречь собственной страной, рваться вот к такой обманной мечте.

Я слышал, ваши политические эмигранты говорят, что гражданская война обошлась вам в полмиллиона жертв. Я не знаю, насколько верна эта цифра. Допустим, она верна. Надо сказать тогда, что наша гражданская война отобрала и у нас несколько полных миллионов, но по-разному кончилась ваша гражданская война и наша. У вас победило мировоззрение христианское — и хотели войну закончить на этом, и залечивать раны. У нас победила коммунистическая идеология, и конец гражданской войны означал не конец её, а начало. От конца гражданской войны, собственно, и началась война режима против своего народа. На Западе двенадцать лет тому назад опубликовано статистическое исследование русского профессора Курганова. Конечно, никто никогда не опубликует официальной статистики, сколько погибло у нас в стране от внутренней войны режима против народа. Но профессор Курганов косвенным путём подсчитал, что с 1917 года по 1959 только от внутренней войны советского режима против своего народа, то есть от уничтожения его голодом, коллективизацией, ссылкой крестьян на уничтожение, тюрьмами, лагерями, простыми расстрелами, — только от этого у нас погибло, вместе с нашей гражданской войной, 66 миллионов человек. Этой цифры почти невозможно себе представить. В неё нельзя поверить. Профессор Курганов приводит другую цифру: сколько мы потеряли во Второй мировой войне. Этой цифры тоже нельзя представить. Эта война велась, не считаясь с дивизиями, с корпусами, с миллионами людей. По его подсчётам, мы потеряли во Второй мировой войне от пренебрежительного, от неряшливого её ведения 44 миллиона человек! Итак, всего мы потеряли от социалистического строя — 110 миллионов человек! Поразительно, что Достоевский в конце прошлого века предсказал, что социализм обойдётся

России в сто миллионов человек. Достоевский это сказал в 70-х годах Девятнадцатого века. В это нельзя было поверить. Фантастическая цифра! Но она не только сбылась, она превзойдена: мы потеряли сто десять миллионов и продолжаем терять. Факт тот, что мы потеряли одну третью часть того населения, которое было бы у нас, если бы мы не пошли по пути социализма, или потеряли половину того населения, которое у нас сегодня осталось.

Вас миновал этот опыт, вы не узнали, что такое коммунизм, — может быть навсегда, а может быть *пока*. Ваши *прогрессивные* круги называют существующий у вас политический режим — диктатурой. Вот я уже десять дней путешествую по Испании. Путешествую никому не известный, приглядываюсь к жизни, смотрю своими глазами. Я удивляюсь: знаете ли вы, что такое диктатура, что называют этим словом? Понимаете ли вы, что такое диктатура? Вот несколько примеров, которые я наблюдал сейчас сам.

Любой испанец не привязан к месту своего жительства. Он имеет свободу жить здесь или поехать в другую часть Испании. Наш советский человек не может этого сделать, мы привязаны к своему месту так называемой полицейской «пропиской». У нас местные власти решают, имею я право уехать из этого места или не имею. Это значит, я нахожусь полностью в руках местных властей. Они делают со мной, что хотят, и я не могу уехать.

Потом я узнаю, что испанцы могут свободно выезжать за границу. Может быть, вы читали в газетах: из Советского Союза под сильнейшим давлением мирового общественного мнения, под сильнейшим давлением Америки выпускают, и то с большим трудом, некоторую часть евреев. А остальные евреи и, кроме евреев, остальные нации не могут выехать вообще. Мы находимся в своей стране как в тюрьме.

Я иду по Мадриду, по другим городам, я объехал уже более двенадцати городов, и вижу — в газетных

киосках продаются все основные европейские издания. Я глазам своим не верю: если бы у нас, в Советском Союзе, выставили одну такую газету, на одну минуту, полиция сразу бы бросилась её срывать. У вас они спокойно продаются.

Я смотрю, у вас работают ксерокопии. Человек может подойти, заплатить 5 песет и получить копию любого документа. У нас это недоступно ни одному гражданину Советского Союза. Человек, который воспользуется ксерокопией не для служебных целей, не для начальства, а для самого себя, получает тюремный срок, как за контрреволюционную деятельность.

У вас, пусть с некоторыми ограничениями, допускаются забастовки. В нашей стране за 60 лет существования социализма никогда не была разрешена ни одна забастовка. Участников забастовок в первые годы советской власти расстреливали из пулемётов, хотя бы они имели только экономические требования, а других сажали в тюрьму, как за контрреволюционную деятельность, и сегодня в голову никому не придёт кого-то призвать к забастовке. Я печатал в журнале «Новый мир» рассказ «Для пользы дела», там у меня один студент призывает других: «Давайте объявим забастовку.» Не то что цензура, а сам журнал «Новый мир» вычеркнул эту фразу, потому что слово «забастовка» не может быть произнесено и напечатано в Советском Союзе. И я говорю: ваши прогрессисты знают ли, что такое диктатура? Если б нам сегодня такие условия в Советском Союзе, мы бы рты раскрыли, мы бы сказали: это невиданная свобода, мы такой свободы не видели уже 60 лет.

У вас недавно была амнистия. Вы называете её ограниченной. Политическим борцам, которые с оружием в руках действительно вели политическую борьбу, сбросили половину срока. Надо сказать: нам бы такую ограниченную амнистию один раз за 60 лет! За 60 лет существования советской власти мы, политические, никогда не имели никакой амни-

стии! Мы уходили в тюрьму, чтобы там умереть. Лишь немногие вернулись об этом рассказать.

Конечно, мы этот тяжёлый коммунистический опыт переработали нашими душами. После стольких потерь за 60 лет мы получили теперь такую прививку против коммунизма, которой не имеет никто в Европе, никто на Западе. У нас сегодня совершенно невозможно, чтобы собралась неофициально частная компания и кто-нибудь серьёзно говорил о коммунизме. У нас его сочтут за дурака. Мы душевно от коммунизма уже освободились. Но мы должны были пережить слишком тяжёлый опыт, чтобы к этому прийти. Россия совершила как бы исторический прыжок. Россия по своему общественному опыту оказалась впереди всего остального мира. Я не хочу сказать, что она стала передовой страной. Нет, она стала рабской страной, которая называется Советский Союз. Но опыт мы прошли, равного которому на Западе не прошёл никто. И мы теперь смотрим с сожалением на Запад. Это странное чувство: мы смотрим как будто бы на наше прошлое. А по отношению к Западу можно сказать так: мы смотрим на вас из вашего будущего. Всё то, что у вас происходит сегодня, у нас уже было, было давно. Это такая фантастическая картина: как будто и сегодня происходит, как будто современность, а мы вспоминаем, что всё это б ы л о...

В 60-е годы прошлого века император Александр II начал программу больших, основательных и медленных реформ. Он хотел постепенно преобразовать Россию к свободе и к развитию. Но кучка революционеров в 1861 году выпустила прокламацию, листовку, там было сказано: мы не можем ждать реформ, мы не хотим их ждать, мы хотим немедленного полного освобождения, без постепенности. А так как правительство не хочет его дать, то мы начинаем террор. И когда Александр II в 1861 году провёл освобождение крестьян от крепостной зависимости, когда он в 1864 году дал стра-

не великую судебную реформу, то в ответ на это — с 1866 года революционеры начали в него стрелять. Было семь покушений на царя. За царём охотились как за зверем. И в 1881 году его убили, а после этого начали убивать премьер-министров, министров внутренних дел, крупных губернаторов, администраторов, и так началась война между революционерами и правящими кругами, правительством. И вся свободная, либеральная общественность России не отнеслась трезво к этому, не остановила революционеров — она аплодировала им. Каждое убийство видного политического деятеля России вызывало восторг, вызывало аплодисменты. Общество помогало революционерам скрываться, террористам помогало бежать. И крупные общественные деятели в России защищали террористов как самых главных своих любимцев, как невинных людей. Я повторяю, что рассказываю вам эту историю из XIX века, это всё было у нас почти век назад. А сегодня это происходит по всей Европе и во всём мире. Мы были свидетелями осенью прошлого года, как западная общественность была взволнована судьбой испанских террористов гораздо больше, чем когда-либо гибелью шестидесяти миллионов человек в Советском Союзе. Мы видим сегодня, как общественность, прогрессивная общественность, требует немедленных реформ от своих правительств и приветствует и радуется террористическим актам. Это было у нас сто лет назад, и из вашего будущего я могу вам сказать, чем это кончилось: обе стороны ожесточились, правительство стало ненавидеть либеральные круги, либеральные круги стали ненавидеть правительство, и больше никто уже не шёл ни на какие уступки. Реформы прекратились. То, что правительство и правящие круги могли дать, они уже в озлоблении не давали. Либеральная общественность не хотела уступить малого, а получить хотела всё сразу. В результате мы получили революцию 1905-07 года, потом революцию 1917, и были уничтожены обе стороны, были уничтожены все правя-

щие круги России, дворянство, купечество, и была уничтожена вся либеральная общественность, вся интеллигенция — её всю вырезали и уничтожили, и остатки её бежали за границу. И после этого начался вот тот террор, о котором говорит моя книга «Архипелаг ГУЛаг», — террор, который унёс 66 миллионов жизней.

Я рассказываю об этом сейчас, но я сам уже не знаю, вообще возможно ли передать опыт от человека к человеку, от одной страны к другой стране. Ещё недавно я в это верил. Я в Нобелевской лекции говорил, что художественная литература способна передавать чужой опыт. Наша страна пережила эту страшную историю, мы бы могли вам рассказать, вам стало бы ясно, и вы бы не повторили наших ошибок. Но сегодня я не знаю, достаточно ли передать опыт, или каждая страна, каждое общество, каждый человек должны повторить все ошибки другой страны, другого общества, и только тогда научиться, — научиться, когда уже будет поздно. Я смотрю сегодня на вашу молодёжь и думаю, что даже у меня — в голове, в ушах, в глазах — память вашей гражданской войны больше сохранилась, чем она сохранилась у этой молодёжи. Сегодня естественно стремление ваших прогрессивных кругов получить как можно больше свободы и как можно скорее перевести своё общество в такой же разряд, как другие западно-европейские страны. Но я хотел бы напомнить, что в сегодняшнем мире демократические страны занимают на нашей планете уже — ну если не островок, то сравнительно очень небольшой участок. Бóльшая часть мира всё дальше впадает в тоталитаризм и тиранию. Вся Восточная Европа, Советский Союз, вся Азия, вот уже и Индия погружается в тоталитаризм. Африка, недавно получившая свободу, как будто стремится, одна страна за другой, тоже отдаться тирании. И поэтому те из вас, которые хотят скорее демократической Испании, достаточно ли дальновидны, думают ли они не только о завтрашнем дне, но и о послезавтраш-

нем? Хорошо, завтра Испания станет такой же демократической, как вся Европа. Но послезавтра, послезавтра — сохранит ли Испания эту демократию, защитит ли её от тоталитаризма, который хочет проглотить весь Запад? Тот, кто дальновиден, и тот, кто, кроме свободы, любит ещё также и Испанию, должен думать и о послезавтрашнем дне.

Мы видим, что западный мир ослабел в своей воле к сопротивлению. Каждый год он отдаёт без боя несколько стран во власть тоталитаризма. Нет воли к сопротивлению, нет ответственности в пользовании свободой. Современная западная цивилизация может быть описана не только как демократическое общество, но также и как потребительское общество, то есть как общество, в котором все видят главную свою цель в том, чтобы больше получать материальных благ, пользоваться ими неограниченно, наслаждаться и меньше думать о том, как защищать право на это, и меньше работать. Оказывается, однако, что социальное устройство и пользование материальными благами не являются главным ключом к достойной жизни человека на Земле. Странно, но современный тоталитарный Восток и современный демократический Запад — хотя, кажется, это противоположные системы и друг другу противостоят — на самом деле имеют общую основу. Эта общая основа — материализм, и тянется это уже триста лет. Человечество находится в кризисе, и не в коротком, не в сегодняшнем, это не кризис Двадцатого века. Человечество находится в долгом кризисе, который начался триста, а где и четыреста лет тому назад, когда люди откачнулись от религии, откачнулись от веры в Бога, перестали признавать кого-либо над собой и в основу положили прагматическую философию — делать то, что полезно, что выгодно, руководиться соображениями расчёта, а не соображениями высшей нравственности. Вот этот отказ — он постепенно развивался и привёл ко всемирному кризису, кризису, который, я настаиваю, не политический, а нравственный. Он не касается

даже противостояния коммунизма и западного общества, он гораздо более глубок. Это кризис, который привёл Восток к коммунизму и Запад к прагматическому обществу. Это кризис материализма. Как решится он — не хватает человеческих глаз, но ясно, что каждая страна может сделать свой вклад в его решение. Быть может, Испания, с её большой национальной оригинальностью, которая проходит черезо всю её историю, — быть может, Испания тоже сможет вложить свой особенный, испанский вклад, поможет человечеству разрешить этот страшный кризис, который захватывает все страны мира по-своему и всем нам, всем на Земле грозит уничтожением.

Вы поселились в Цюрихе. Это вызывает разные толки: Швейцария — страна, где удобно держать капиталы. Что вы скажете об этом?

Я как раз сейчас говорил, что Запад — это потребительское общество. А наша молодость прошла в нищете. Я, например, студентом однажды имел неосторожность в брюках своих сесть на стул, на котором были налиты чернила. (Тогда пользовались не такими ручками, а чернилами.) Получилось большое пятно, и я проходил пять лет студенчества в этих брюках, потому что не было возможности купить других. Вот так мы жили, и это у нас в крови, и когда любой советский человек попадает на Запад, даже не в самые богатые страны, даже в те страны, которые у вас считаются нищими, — вы знаете, у нас ощущение... нас душит, нам тяжело это видеть! Мы не можем видеть, как остатки еды выбрасываются. Мы не можем видеть, как не доедают, отставляют тарелку. Поэтому, когда мне задают вопрос о Швейцарии, я могу только сказать: да, в благополучных странах Запада мы живём как пленники. Если бы завтра была возможность вернуться в нашу голодную и нищую страну, мы завтра вернулись бы всей семьёй. Коммунистическая печать очень любит спекулировать на том, что вот Солженицын

поехал на Запад и стал миллионером. Когда я в Советском Союзе голодал, они не писали об этом ничего. Когда мы там все голодали (и сегодня голодаем), они лгут, что мы там сыты. Да, конечно, у меня здесь большие гонорары, но бо́льшая часть этих гонораров составила Русский Общественный Фонд для помощи преследуемым в Советском Союзе и их семьям, и различными путями мы направляем эту помощь в Советский Союз. Мы помогаем заключённым, их семьям, тем, кто едет на свидания в лагерь, и на посылки в лагерь, тем, кто освобождается без копейки. Мы помогаем тем, кого увольняют с работы за убеждения и кто остаётся без денег. Вам, западным людям, это трудно понять. У вас могут посадить в тюрьму, но у вас не могут удушить голодом за убеждения. Если уволят за убеждения здесь — я пойду устроюсь в другом месте. А у нас единый работодатель — государство, и если по государству говорят: этого не принимать, то его не принимают нигде. Он не сидит в тюрьме, а семья его погибает с голоду.

Моя остановка в Цюрихе связана с тем, что я писал книгу «Ленин в Цюрихе» и там я нашёл первоклассные материалы, которых больше нельзя было найти нигде.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В МАДРИДЕ

20 марта 1976

Кто Солженицын: автор-свидетель или только писатель?

По русской писательской традиции почти невозможно, чтобы в России писатель был только писателем. Все писатели XIX и XX века, или почти все, или, скажем, основные литературные течения — были всегда тесно связаны с общественной жизнью страны. Ни раньше в России, ни нынче в Советском Союзе (уже в другом смысле) писатель не мог и не может закрыть глаза на действительность и стать исключительно литератором.

С другой стороны, что следует разуметь, когда говорят «исключительно литератор»? У каждого пишущего есть свой собственный метод, и он не должен ему изменять. Я приведу как пример «Архипелаг ГУЛаг». Речь идёт об исследовании тюремной системы и системы концентрационных лагерей в Советском Союзе. Я определил жанр этого произведения как «опыт художественного исследования».

В условиях, господствующих на сегодняшний день в Советском Союзе, не может быть осуществлено научное исследование этой темы, и, конечно, никогда не сможет быть. Оттого что все документы, во всяком случае бо́льшая их часть, как и большинство свидетелей, были уничтожены. По той же причине никогда не будет опубликовано полное и строго научное исследование, со всеми статистическими данными.

С другой же стороны, художественное исследование, как и вообще художественный метод позна-

ния действительности, даёт возможности, которых не может дать наука. Известно, что интуиция обеспечивает так называемый «тоннельный эффект», другими словами, интуиция проникает в действительность как тоннель в гору. В литературе так всегда было.

Когда я работал над «Архипелагом ГУЛагом», именно этот принцип послужил мне основанием для возведения здания там, где не смогла бы этого сделать наука. Я собрал существующие документы. Обследовал свидетельства двухсот двадцати семи человек. К этому нужно прибавить мой собственный опыт в концентрационных лагерях и опыт моих товарищей и друзей, с которыми я был в заключении. Там, где науке недостаёт статистических данных, таблиц и документов, художественный метод позволяет сделать обобщение на основе частных случаев. С этой точки зрения художественное исследование не только не подменяет собой научного, но и превосходит его по своим возможностям.

Не чрезмерно ли вы как лауреат Нобелевской премии по литературе говорите о политике? По крайней мере, так это произошло сегодня на испанском телевидении.

Я повторю некоторые мысли, высказанные перед телевидением, и вы увидите, что тон не был политическим.

Политическая точка зрения всегда состоит в следующем: правые, левые; правые, левые. Всё в одном плане. Однако духовная суть вопроса всегда объёмна. У неё есть высота, глубина, ширина.

В моём выступлении мне хотелось показать, что наш сегодняшний кризис, кризис человечества, не является политическим в абсолютном смысле. Даже противопоставление «Восток — Запад» относительно. Если глубоко поразмыслить, то оба общества не так уже различны. Они страдают одним заболеванием: недугом материализма, недостатком моральной высоты. Именно отсутствие моральной высоты

привело к тому, что чётко обозначилась такая ужасная диктатура, как советская, и столь ненасытное потребительское общество, как западное. С одной стороны — тоталитарный социализм; с другой — безразличие к страданиям и несчастью других.

Несколько сот лет назад человечество совершило большой поворот от Средних Веков к Новому Времени. Это был протест против обеднения нашей материальной природы, перемена направления к эпохе Возрождения. Но человечество на этом не остановилось. Постепенно оно всё больше вгрызалось в материю, всё больше пренебрегая духовностью. Сегодня мы очевидцы всеобщего триумфа материальности, наряду с принижением духовной жизни. Картина теперешнего мира мне представляется ужасной. Я думаю, что если человечеству не суждено погибнуть, то оно должно восстановить правильное отношение к ценностям. Иначе говоря, духовные ценности должны снова возобладать над ценностями материальными.

Это не значит, что следует вернуться назад к Средним Векам. Всякое развитие со временем обогащается. Речь идёт о новых горизонтах. Так мне кажется.

Если сущность проблем Востока и Запада одинакова, то почему вы предпочли общество потребления тому, которое вы называете бесчеловечным, в Советском Союзе?

Прежде всего, я не говорил, что сущность одинакова. Я никогда не приравняю тоталитаризм, в условиях которого не разрешается думать и подавляется жизнь личности, к свободным обществам Запада. Я сказал, что если проанализировать глубоко, то окажется, что оба общества, будучи совершенно различными, страдают одним недугом, поразившим человеческое начало: утратой духовных основ.

Это во-первых. Во-вторых, я не выбирал. Я жил в том обществе. Боролся за его изменение. Меня

арестовали, и восемь человек грубо бросили меня в самолёт, который приземлился во Франкфурте-на-Майне. Слово «предпочёл» может прилагаться к тем, кто идёт по собственной воле.

Испанцы на протяжении своей истории знали множество периодов эмиграции. У нас тоже есть большой опыт эмигрантской жизни. Наши эмигранты писали, что разлука с родиной сказывается на художественном творчестве, на творческой жизни. Сложилось ли у вас подобное мнение?

Я думаю, что эмигрант и высланный, или вырванный из почвы, — различные понятия. Эмигрант, решивший оставить свою родину, как бы разрушает собственной волей свою сущность. Высланный же, или вырванный из почвы, отвергает такой духовный исход. Он разлучён физически, но не духовно. Им удалось бросить за пределы родины моё тело, но не мой дух, не душу.

Сегодня меня спросили, почему я живу в Швейцарии. Я живу не в Швейцарии. Я живу в России. Все мои интересы, всё мне близкое — в России. Если бы я был моложе, если бы мне было, скажем, тридцать лет, длительная разлука с родиной могла бы, действительно, повредить и разрушить связи, существующие между моим творчеством и его источниками. Но в пятьдесят семь лет у меня накопился настолько большой опыт, что передо мной не проблема сбора материала, а проблема записать уже приготовленное, прежде чем кончится моя жизнь.

Продолжите ли вы работу над «Августом Четырнадцатого»?

Практически, вот уже сорок лет, начиная с 1936 года, я работаю над моей главной темой — историей русской революции. Если я прерывал эту тему, то не потому что мне хотелось заняться чем-то другим, а потому что жизнь меня бросала с места

на место: то война, то тюрьма, то рак, то после появления «Ивана Денисовича» я стал получать со всей страны материалы, касающиеся концентрационных лагерей. Мне точно приходилось прыгать через самого себя, чтобы вернуться к своей главной теме. Теперь я только ею и занимаюсь, историей русской революции.

«Август Четырнадцатого» я не только собираюсь дописывать, но закончено и продолжение, «Октябрь Шестнадцатого». Сейчас работаю над «Мартом Семнадцатого». Книги я буду писать всю свою жизнь. Архивные источники здесь мне доступнее, чем в СССР.

Одно издательство католических священников, «Эдисионес Паулинас», выпустило книгу с документами «Солженицын как верующий». Не кажется ли вам, что священники хотят использовать вас и показать этой книгой, что Солженицын, живший в СССР, верующий, и косвенно, что он верит в католического Бога?

Этой книги я не знаю. Однако я должен сказать, что писатель не обязан думать о том, кто и каким образом пользуется его сочинениями. В Советском Союзе, например, мне постоянно говорили, что западный империализм, Франция, Англия пользуются мной, манипулируют как оружием, и поэтому я должен прославлять советский режим, вот тогда мной не будут пользоваться. Я отвергаю вообще такую постановку вопроса.

Вы родились при советском режиме, который называет себя атеистическим. Как же случилось, что вы верующий, и много ли в сегодняшней России подобных вам?

На Западе нет точного представления о тех духовных процессах, которые происходят сейчас в Советском Союзе. В нашей стране преследуют за религию вот уже шестьдесят лет. Преследования эти

могут сравниться только с теми, которые приходилось выносить христианам первых веков, когда их сжигали на кострах и бросали львам. Но, несмотря на это, религия в России сохранилась и даже укрепилась настолько, что наша сегодняшняя молодёжь очень не похожа на западную.

На Западе молодые люди в основном настроены атеистически и симпатизируют социализму. Наша же молодёжь, вне сомнения, отталкивает социализм и всё больше тянется к религии. В этом нет ничего удивительного. Мы пережили ужасные события. В условиях преследований и подавления дух укрепляется. А когда всё дозволено и доступно, дух разлагается. Христианство было наиболее сильным как раз в первые века.

> Не думаете ли вы, что ваши нападки на отсутствие свободы в социалистических странах могут служить поддержкой тем правительствам других стран, где тоже отсутствует свобода? Не думаете ли вы, что после вашего выступления против левого тоталитаризма сторонники правого тоталитаризма, например в Испании, будут очень довольны? Сознаёте ли вы опасность того, что нападки на тоталитаризм с одним знаком косвенно защищают другой тоталитаризм?

Должен сказать, что в нашем Двадцатом веке мы смешиваем слова, не задумываясь над их содержанием. Мы употребляем термины «демократия», «социализм», «империализм», «расизм», «национализм», «тоталитаризм»... Мы манипулируем ими с лёгкостью. Они как монета, находящаяся в обращении сто лет, на которой трудно расшифровать надпись.

То же самое происходит со словом «тоталитаризм». Я знаю только один тоталитаризм, существующий сегодня в действительности, — коммунистический. Был ещё гитлеровский тоталитаризм, но его уже нет. Неполнота демократии — ещё далеко не

тоталитаризм. Слово «тоталитаризм» связано с тотальностью. Это означает, что полностью вся жизнь человека не принадлежит ему, человеческому существу, — ни его духовная жизнь, ни физическая, ни семейная, ни всякая другая. В современном мире никакого другого тоталитаризма нет. Это тоталитаризм, как он существует в Советском Союзе, в Китае, во Вьетнаме, в Камбодже, во всей Восточной Европе. Другого нет.

Я сегодня по телевидению приводил примеры того, что я видел в Испании. Мы, будь то в нашей стране, стали бы говорить: «Да ведь это полная свобода! Что происходит? Я могу жить где угодно! Могу ездить за границу! Могу читать прессу других стран! Могу делать ксерокопии текстов!» Понимаете ли вы меня?

В Советском Союзе за то, что в Испании стоит пять песет — цена одной ксерокопии, — дают десять лет тюрьмы или запирают в сумасшедший дом. Что это? Тоталитаризм. В Испании вы можете верить в Бога, а можете не верить. Никого не отправляют в психиатрическую клинику за его идеи и убеждения. В Испании вы можете воспитывать своих детей в своём любом духе. В Советском Союзе у вас за это детей могут отобрать. Нет, другого тоталитаризма на земле не существует.

Во Франции меня спросили о Чили, повторив сплетню из газет, будто я побывал в этой стране во время каких-то праздников. Я ответил: «Если бы Чили не было, вам надо было бы обязательно его выдумать.» Чили предложило Советскому Союзу: мы освободим своих политических заключённых, если вы освободите своих. Советский Союз на это никак не отреагировал, и весь мир воспринял это как нечто нормальное. Можно ли сравнивать? Ведь Чили впоследствии освободило около трёх четвертей своих политических заключённых, и этот факт тоже был воспринят как нормальный. Но по сю пору кричат: «Почему в Чили есть ещё политические заключённые?» А Советский Союз освободил только

Плюща. В Советском Союзе в психиатрические клиники помещают душевно здоровых людей. И все на это смотрят спокойно. Нет, между тоталитаризмом и другими системами нельзя поставить знака равенства.

Повторяю, писатель не может думать о том, нравится ли кому-то то, что он говорит. С другой стороны, я никогда не собирался становиться западным литератором. Я оказался на Западе против своей воли. Я пишу для своей родины. Моей родине — нужно то, что я пишу. Я не могу задумываться о том, что кто-то где-то поймёт и по-своему использует написанное.

Простите, я хочу сделать отступление, а потом отвечу на другие вопросы. Я не предвидел сегодня никакой пресс-конференции. Она возникла спонтанно. У меня есть опыт подобных пресс-конференций, мне пришлось увидеть такое: газеты обычно воспроизводят ту часть, которая им нужна. Вырывают какую-нибудь фразу. Нарушают все пропорции и искажают мои мысли. Настоятельно вас прошу: если газете, которой вы даёте материал, не интересен какой-нибудь вопрос, пусть она его выпустит совсем. Если же какой-то вопрос интересен, то пусть передаёт его полностью. Не надо ножниц. Вы понимаете? Пусть не искажают мыслей. Очень прошу.

> На Западе есть русский автор, имеющий многочисленных читателей. Речь идёт о Владимире Набокове. Что вы можете сказать о нём?

Набоков — гениальный писатель. Однако, уехав из России, он постепенно, к сожалению, оставил русскую тему. По своему возрасту он относится к поколению, которое великолепно могло бы рассказать о нашей революции. Он этого не сделал. И теперь получается, что люди более молодого поколения, моего например, обязаны выполнить эту задачу. Другими словами, перипетии его жизни или, может быть, его собственное решение помешали ему поставить на

службу родине свой гениальный, повторяю, гениальный талант.

> Кто испытал больше страданий — Достоевский или вы?

Советский ГУЛАГ несравнимо страшней царской каторги. Но мера внутренних страданий человека не всегда соответствует внешне пережитому.

ОБ АРЕСТЕ АЛЕКСАНДРА ГИНЗБУРГА

4 февраля 1977

Арест Александра Гинзбурга, главного представителя Русского Общественного Фонда в СССР, — не рядовая расправа с одиночным инакомыслящим, но выражает решимость советских властей задавить голодом и нищетой сотни семей преследуемых и заключённых и заставить бояться и замолчать тысячи других. Эта расправа касается западных людей более, чем можно сразу представить. Это — существенное звено в неуклонной тотальной подготовке советского тыла: чтобы он не мешал тому наступлению внешнему, которое так успешно ведётся последние годы, а будет развёрнуто и шире: на силу, дух и само существование Запада.

ПИСЬМО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ РУССКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА

Татьяне Ходорович
Мальве Ланда

25 мая 1977

Спасибо вам, друзья, что Русский Общественный Фонд ни одного дня не был беспризорным, но тотчас после ареста Александра Гинзбурга перенят вами!

Вы замечательно верно пишете, что нас так согнули, так унизили, что даже шаги милосердия оказываются для советского человека шагами смелости, шагами в страшную неизвестность. Но тем выше гордость и радость, что всё больше находится людей, переступающих эту границу страха. Нам нанесено уродств, язв и ран гораздо глубже, чем только политических, и излечение от них лежит не на путях политики.

Храни Бог вас и всех, кто будет вам помогать и соучаствовать. Да не удастся врагам добра закрыть вам все пути!

Душевно с вами
и со всеми, кто у нас в стеснениях,
гонениях и за колючей проволокой,

Александр Солженицын

ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Обращение к российским эмигрантам

Наш век отмечен для России сплошным планомерным уничтожением письменных свидетельств и живых свидетелей. Но и он же отличается от предыдущих сплошной грамотностью. Оттого люди, много пережившие, и в пожилые годы с досугом, имеют возможность изложить на бумаге многое из своих воспоминаний, особенно то, что представляет общественный интерес или познавательный смысл для потомков. Самые «простые» жизни в наше время прикоснулись к чему-то неповторимому, несут в себе важный осколок истории, иногда только этот один человек; но не записав пережитого, не сообщив одноземцам — унесут в беспамятность. Однако бóльшая часть таких воспоминаний обычно не пишется — из неверия в свои силы, из неясности цели. Бóльшая часть уже написанных не принимается в печать по своему обилию и потому что не достигает литературного уровня.

Русский Общественный Фонд, основанный мною три года назад, одной из целей своих ставит собирание всяких личных воспоминаний наших соотечественников с обязательством (от меня и моих наследников) — надёжного хранения, постепенной перепечатки и каталогизации их, а как только наступит благоприятное для того время — перевозки их всех в один из городов Центральной России, где они будут соединены с подобными же воспоминаниями людей, проживших всю жизнь в СССР, и составят вместе с ними Всероссийскую Мемуарную Библиотеку, сгусток народной памяти и опыта.

Эта Библиотека уже создаётся и принимает все присылаемые материалы — короткие (2—3 страни-

цы) или пространные (до 1000 и больше страниц), любым образом написанные, также и не на русском языке, при любом уровне грамотности — но содержащие материал из жизни нашего народа в XX веке. Воспоминания могут быть отрывочны; могут включать, и это ценно, собственные взгляды, выводы, объяснения авторов, а также (с пояснениями) фотографии упоминаемых лиц, мест и самого автора, в описываемое время или ныне. Среди принимаемых материалов — и письма частных лиц предреволюционного и послереволюционного времени.

Все принятые рукописи Библиотека ставит на учет, аннотирует, составляет к ним указатели по описываемым годам, географическим местам, событиям, лицам — историческим и рядовым, сферам и направлениям жизни. Затем все эти указания размещаются по соответствующим каталогам, и таким образом каждая рукопись оставляет след в разных каталогах, а будущий исследователь новейшей русской истории сможет двигаться систематически по избранной области, как бы выслушивая авторов, уже и умерших, открывая нелживую историю в этих неоценимых свидетельствах.

Все воспоминания о революциях и гражданской войне, присланные мне эмигрантами старшего поколения, я, после благодарного ознакомления, передал на хранение в Мемуарную Библиотеку. Но за пределами нашей родины ещё многочисленнее живёт эмиграция Вторая, с огромным опытом жизни в первое советское 25-летие (тёмные для истории 20-е и 30-е годы, коллективизация, преследования всех видов), с опытом советско-германской войны, так называемого «народного ополчения» (почти нигде не отражённая жестокая эпопея!), жизни на территории, занятой немцами, в остовских лагерях, в армейских частях, с горьким опытом беженства и послевоенного неустройства в западных зонах при угрозе выдачи НКВД. Весь этот опыт почти неизвестен остальному населению нашей страны и будет пред-

ставлять величайший интерес — чем позже, тем больше.

Я призываю моих соотечественников теперь же сесть писать такие воспоминания и присылать их — чтобы горе наше не ушло вместе с нами бесследно, но сохранилось бы для русской памяти, остерегая на будущее.

По желанию авторов их истинные имена могут быть вовсе не названы (и сам автор может прислать рукопись под псевдонимом, лишь указав, что имя — не подлинное), либо сохранены в тайне до указанного ими срока.

Мемуары с наибольщей плотностью материала и самого общего интереса будут Всероссийской Мемуарной Библиотекой со временем публиковаться (разумеется, только с согласия автора).

Независимо от Библиотеки, Русский Общественный Фонд принимает в долгосрочное хранение любые материалы и архивы, относящиеся к русской истории XX века. При том же благоприятном времени, когда у нас на родине не будет более преследоваться память о нашей истории, — всё «Русское Хранение» будет передано в хранилища на территории нашей страны, соответственно теме каждого материала.

Вермонт, сентябрь 1977

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Многоуважаемый Никита Алексеевич!

Постоянный и последовательный читатель «Вестника», я не нахожу ныне другого чтения на русском языке, которое давало бы нам такую высокую духовную вертикаль, такую глубину при рассмотрении вопросов. Но тем более я не могу не выразить огорчения, что в трактовке России и её истории журнал иногда пассивно поддаётся чужим опасным промахам, не заботясь оттенить и отделить свою точку зрения.

Повсюду набивает нам уши та проворная *школа* западной мысли о России, которую основал, пожалуй, беспечный турист маркиз де Кюстин и горячо укрепляла пристрастная революционная эмиграция. Убогая схема: представить русскую историю беспросветной тиранией на трёх китах Грозный-Пётр-Сталин, обронив и все области свобод (иногда вековых, иногда на территории больше пол-Европы) и все религиозные, духовные и общественные движения. Кажется, нигде при изучении новейшей истории к рассмотрению не привлекаются Людовик XI, Генрих VIII, Медичи или Борджиа, — по отношению же к России такой метод чрезвычайно популярен. Прямолинейность трактовки сманивает немало западных учёных, приступающих к изучению русской темы. Такая теория очень модна сейчас и среди части 3-й эмиграции — у тех, кто ищет, кого бы крепче обвинить в своём отъезде, и так повторяет эмиграцию предреволюционную, с которой как раз куда как тесно, и лично и причинно, смыкаются Ленин-Троцкий-Сталин. Казалось бы: не плодотворнее ли выяснить, каким образом в них перетек-

ло целое столетие так называемого «Освободительного Движения», от декабристов до февральской революции, нежели плести из XVI века? Увы, мне приходилось убеждаться в распространённом невежестве московской интеллигенции в области истории 90, 900, 10-х годов, этот период или вовсе провалился из всеобщего рассмотрения, или отдан на откуп партийным пропагандистам. Так только и могла у нас произрасти целая плеяда нетерпеливых молодых людей, которые поспешны в громких выводах о русских революциях, никогда не изучав их фактической основы.

Но мне больно видеть, что и Ваш журнал в неожиданных формах, безучастностью публикаций, платит дань этому направлению. Не ошибусь, что начиная с густого № 97 не было почти ни одного номера, в котором бы не прорывались голословные, уничтожительные, бранные, часто ненавистные замечания о России и русской истории, никогда не оговоренные, не уравновешенные, не опровергнутые редакцией.

Не листая уже сейчас всех номеров, приведу примеры из четырёх последних.

№ 118, трактат Безансона. Подозрение, что русский народ в целом упивается имперским состоянием (особенно в крепостном колхозном, надо ж его вообразить!). «Россия была старшей дочерью ленинской идеологии» (первой и самой крупной жертвой её), «её главным инструментом» (при отборных красных войсках из интернациональных бригад). «Политика интенсивной русификации» (акад. Шафаревич показал, что это — «советификация на русском языке», убившая русскую культуру в первую очередь). «Русские составляют привилегированные общины», — стыдно даже произносить. «Русские — стареющий, охваченный демографическим застоем народ» (это именно черты жертвы). Откуда-то фантастическая цифра — 50 тысяч политических в *тюрьмах* 1913 года. (Редко в какой губернии февральская революция обнаружила более 10 человек, а губерний было 100.)

№ 119, у него же. «У России традиционные даро-

вания: Россия обманывает и лжёт», — это из Мишле, не большого знатока России (отвечал ему и П. Б. Струве), а затем и от автора: «традиционная русская ложь». И — ни слова от редакции.

В № 120 журнал приводит, для юбилейного почтения Волошина, его статью о Крыме из советского сборника 1925 года. Прежде всего: советские издания современников, как правило, не аутентичны — или сам автор правит себя для цензуры, для господствующего направления, или редактор. 1925 год — разгар русоненавистничества и разрушения русской культуры, и оттуда журнал некритически черпает нынешнюю публикацию! Да книги тех лет кишат облыганием России и русской истории, следует тому и статья Волошина (вообще очень интересная). Что Крым систематически сжигал и разорял Москву — обойдено как мелочь, но вот: русские в Крыму оказались хуже сарматов, готов, гуннов, печенегов; они, оказывается, разрушили Крым и даже выморили его население туберкулёзом! В советском сборнике можно всё написать, но «Вестник»-то знает, что Крым с его мечетями и аулами цвёл и благоденствовал к моменту революции, его беды начались в конце 20-х, а расправился с ним Сталин, так отчего ж бы и не оговориться, памятуя множество Ваших бесправных дальних читателей? Даже комичные обвинения Волошина — что новые русские постройки несравнимы с античными (будто сегодня в Италии и Греции строят дачные комплексы иначе) — тоже навешиваются на русскую бездарность.

В № 121 — письмо Леонтьева, помнится — первое и единственное на страницах «Вестника» за много лет. И в нём читаем: «А способна ли к творчеству русская и вообще славянская кровь!», «из этого подлого славянского места» (России), «всё лучше этой скверной славянской отрицательной крови, умеренной и средней во всём, кроме пьянства и малодушия», «Россию как племя решительно начинаю ненавидеть». Конечно, это — Леонтьев. Но хотя бы и пере-Леонтьев, — вот такое место, будь оно о какой-

нибудь другой «крови», — осмелился бы журнал напечатать, не огородясь никаким примечанием? А на Россию — давно и всем разрешено плевать неограниченно, никто никогда не заступится, не опасно, и ветер попутный, да эвон какая громадина, не пропадёт.

Так как эта струя протекает и во многих Ваших номерах, я хочу обратиться к Вам с покорнейшей просьбой: высказать определённо и Ваше мнение по этой веренице противорусских обвинений, а в будущем — рядом с любым заблуждением, недостаточным знанием, недобросовестностью или пристрастностью — указывать и свою же грань. Я потому не удержался написать это письмо, что представляю себе обиду сотен безвестных молчаливых читателей на родине, не имеющих возможности публично возразить.

Пользуясь оказией, несколько слов и по другому поводу. Я не предполагал никак отзываться на ответ мне о. Александра Шмемана. Но поскольку «Вестник» из номера в номер печатает односторонние отклики — вынужден сказать несколько слов, чтоб не создать ложного впечатления своим молчанием. Ответ о. Александра не удовлетворил меня и очень огорчил. Не удовлетворил потому, что вопрос об установлении автокефалии Американской Церкви, по которому он как раз мог бы дать нам несравненно авторитетные и убедительные объяснения, в его письме вовсе обойден. Огорчил же потому, что письмо оказалось не ответом мне — а новым укором старообрядчеству. Как будто мало было разъедающей соли на этой трёхсотлетней ране, чтобы теперь, когда появились первые надежды примирения, сыпать новую соль. А ведь никакого выхода, кроме покаяния и примирения, нет, и старая церковная вражда заслоняет нам вход в церковное будущее.

Александр Солженицын

Сентябрь 1977

САХАРОВСКИМ СЛУШАНИЯМ В РИМЕ

Ноябрь 1977

Вашему Собранию я хочу пожелать: чтобы леденящие рассказы и сообщения с вашей трибуны нашли бы путь сквозь глухоту благополучия, которое дожидается лишь звука смертной себе трубы, а меньших звуков не слышит. Пробились бы к близорукому сознанию, которое радо потешиться и отдохнуть в змеиных песнях еврокоммунизма.

Отражая происходящее в меру вашей осведомлённости и страсти и помня, что для милосердия нет страданий незначительных, — вы всё же не упу́стите разницу между 15 сутками и 15 годами и напомните о таких героях, обделённых мировым вниманием, как Игорь Огурцов, Святослав Караванский, с ними долгая немая череда идущих к смерти. Всякое новое имя этого обречённого списка, которое вы вырвете из тьмы, будет знаком всеобщей к вам благодарности.

И, я думаю, над вашим Собранием не затмится тень трагического сердца, давшего имя этим Слушаниям, кто охвачен осадой и травлей гойевского размаха.

ТЕЛЕГРАММА КОАЛИЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО БОЛЬШИНСТВА

К церемонии 26 января 1978

Вашей сегодняшней премией официальный Запад, быть может впервые, чтит узников ГУЛАГа. Я понимаю так, что: не только эти девять имён последнего времени — Руденко, Тихого, Орлова, Гинзбурга, Щаранского, Мариновича, Матусевича, Гамсахурдия и Коставу, — но и всех, сидящих ныне, но и всех, сидевших за 60 лет, но и всех, кому ещё предстоит сидеть в СССР — именно в той особой по её мировому положению стране, в границах которой отстаивать свободу сегодняшнего существования означает уже — отстаивать завтрашнюю свободу всего мира.

О ЛИШЕНИИ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА М. РОСТРОПОВИЧА И Г. ВИШНЕВСКОЙ

17 марта 1978

Как русский писатель заявляю ответственно, что коммунистическая власть своей историей сама не имеет на нашу родину того права, которого бесстыдно лишает других — вот, сейчас, великих артистов Мстислава Ростроповича и Галину Вишневскую.

К СУДУ НАД АЛЕКСАНДРОМ ГИНЗБУРГОМ

Заявление прессе

Гарвард, 8 июня 1978

Господа! В сегодняшний прекрасный университетский праздник я хотел бы напомнить, что Архипелаг ГУЛАГ продолжает глотать людей — и глотает их буквально в эти самые дни, когда мы здесь собрались.

Сегодня или завтра произойдёт расправа над Александром Гинзбургом. Она произойдёт в далёкой глухой Калуге, на суд не пустят ни одного западного корреспондента, и даже, может быть, родственники его и жена его не смогут попасть на суд.

На днях в Конгрессе адвокат Эдвард Беннетт Вильямс дал убедительные доказательства того, что всё дело Гинзбурга состоит из фальши и показаний свидетелей — или подкупленных, или напуганных, или отказавшихся.

Александр Гинзбург уже отсидел 7 лет и получит теперь ещё до 15 — за то, что милосердно помогал умирающим. Он руководил Фондом помощи — сотням, сотням семей заключённых. Он был в хельсинкской группе, которая пыталась контролировать собственное правительство, чтобы оно выполняло Хельсинкское соглашение, — то есть он защищал интересы всего мира. И вот это в Советском Союзе оценивается как криминал.

Но есть ещё один оттенок: кроме срока надо знать режим, какому обречён заключённый. Большинство тех, кто попадает первый раз, — получают «строгий» режим. Гинзбург получит режим «особый». Я сам в сталинское время был в особых лагерях, и я должен сказать, что нынешний особый режим — страшнее сталинского, жесточе его, и приводит к уничтожению.

ОТВЕТ ПОЛЬСКОМУ ЖУРНАЛУ «КУЛЬТУРА»

27 октября 1978

Что вы можете сказать о значении избрания Папы-поляка и каковы ожидания христиан в наших странах, связанные с этим избранием?

В большей части благополучного мира христианство испытало развеянье, в иных местах — одеревенение. Западные люди во множестве утеряли ощущение масштабов жизни и сути её. Эти масштабы и эту суть принесёт в католическую Церковь, как я надеюсь, новый Папа из духовно стойкой Польши, поднявшийся сквозь притеснение христианства у себя на родине. Вместе с католиками восточно-европейских стран мы, русские, глубоко радуемся этому избранию. Мы верим, что оно поможет укреплению нашей общей христианской веры во всём мире, — только она сегодня и может спасти человечество.

Поляков же хочется особенно поздравить.

РАДИОИНТЕРВЬЮ КОМПАНИИ БИ-БИ-СИ

(Интервью ведёт И. И. Сапиэт)

Кавендиш, февраль 1979

Александр Исаевич, со времени вашей высылки прошло 5 лет — с точки зрения истории срок небольшой, но для писателя, столь тесно связанного с судьбами России, это уже мучительно долго. В 1967 году на заседании Секретариата Союза писателей вы сказали — цитирую: «Под моими подошвами всю мою жизнь — земля отечества, только её боль я слышу, только о ней пишу.» Теперь, когда вы оторваны от этой земли, не отошла ли эта боль в прошлое, не стала ли она чужой?

Осталось всё так, как если бы меня и не высылали. Вся моя жизнь, и работа, и направление — те же.

В вашей книге «Бодался телёнок с дубом» вы говорите о моментах, когда вы мечтали уехать на годы в глушь и «меж поля, неба, леса, лошадей — да писать роман неторопливо». Насколько эта мечта теперь близка?

Вот «неторопливо» уже в моей жизни наверно никогда не получится, потому что я от задачи своей отстаю, а знаю, что она нужна. Всё поколение наше отстало от задачи. А в остальном — что-то похожее создалось. Внешне покойная жизнь, не надо конспирации, пряток, рассредоточения бумаг, — в голове одна работа. К тому же и все исторические материалы доступны, которые раньше так трудно было доставать.

Говорят, что вы совершенно отошли от действительности, что вы живёте чуть ли не

жизнью отшельника. Что же вам лично дал Запад? Свободу или новые узы?

От сегодняшней действительности не очень-то отойдёшь, потому что она жжёт, со всех сторон припекает. Как вы знаете, я немало поездил по странам, выступал, — но просто от страсти: не могу спокойно смотреть, как они сдают весь мир и самих себя. А в общем — это не моя задача, в нашей стране дела ждут. Для работы же над моей темой Запад, да, не может мне дать питающих впечатлений. Вот если б я сейчас жил на родине! да мог бы передвигаться без преследования, без надзора (как почти никогда не бывало), — я, конечно, жил бы не так, как сейчас, я много бы ездил! Там — каждое место, каждый говор, каждая встреча — это толчок и помощь замыслу. А здесь — только отвлечение ненужное, на которое уже нет лет. К счастью, я в своё время очень много ходил по... вот положение, трёхмиллионный город, а названия не имеет. Говорить «Ленинград» — уже стыдно. К императору Петру я тоже почтения не имею, — да город был назван не по императору, по апостолу... Но уже и к «Санкт-Питербурху», по-голландски, пути не будет... А «Питером», как сейчас выходят из положения, все большевики его называли. Я б его назвал — Не́вгородом. Это в духе русского языка — Невгород, Новгород... Да, так вот, два месяца я пешком исхаживал весь город, изучал все места. А Февральская революция, она почти вся происходит в Петрограде, — и теперь я с закрытыми глазами любой уголок города отлично вижу, это здорово помогает. Ну, и карта старая есть, и много снимков.

Десять лет назад, в письме в редакцию «Литературной газеты», вы писали, что ваша единственная мечта — оказаться достойным надежд читающей России. Что же может эта читающая Россия ждать от вас теперь, когда вы вот уже 5 лет на чужбине? Что эти послед-

ние годы дали вам? Что вы пишете и в чём вы видите смысл вашей работы?

Моя работа, Иван Иванович, началась — 42 года назад, в 36-м году, я только кончил школу. Тогда мне представлялось так: надо описать и объяснить — Октябрьскую революцию и гражданскую войну. А начать — всё показывало — с 14-го года. И я избрал Самсоновскую катастрофу. Но думал как-нибудь скорей всё это пройти, ближе к Октябрю. Впрочем, я и тогда уже заметил, что в самом 17-м году будет несколько Узлов, это такой год, где каждый месяц — новая эпоха. Но навалилось сопротивление многих лет — война, тюрьма, ссылка, болезнь, потом все виды государственной травли, борьба, на которую я был вынужден, и — другие книги, обо всей этой жизни. И «Август Четырнадцатого» разросся в два тома, и «Октябрь Шестнадцатого» в два — и так я сильно, сильно опоздал. Только с переездом в Америку, три года назад, я серьёзно взялся за Февральскую революцию.

Но вник я в Февральскую революцию — и всё мне переосветилось. Я-то рвался к Октябрьской, Февраль казался только по дороге, — а тут я понял, что несчастный опыт Февраля, вот его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу. Именно опыта Февраля мы — не поняли, забыли и во внимание его не принимаем.

Тут — клубок легенд. Вся наша новейшая история представлена нам выдумками да легендами, — конечно, пристрастными, не случайными.

Легенда, что царь вёл с немцами переговоры о сепаратном мире, — никогда ни малейших. Николай II потому и потерял трон, что был слишком верен Англии и Франции, слишком верен этой бессмысленной войне, которая России не была нужна ни на волос. Он именно дал увлечь себя тому воинственному безумию, которое владело либеральными кругами. А либеральные круги очень стремились выручить западных союзников жизнями русских

крестьян. Боялись получить плохую оценку у союзников.

Потом — легенда, что в Феврале был избран Совет рабочих депутатов. Совет, больше 1000 человек, значенья не имел, принимать практически решений не мог, а всё повёл узкий Исполнительный Комитет — а туда верхушка избрала сама себя. Второстепенные затруханные партийные социалисты — сами себя избрали и повели Россию в пропасть.

Потом — само Временное правительство, легендарное навыворот. Это были те самые либеральные деятели, которые годами кричали, что они — доверенные люди России, и несравненно умны, и всё знают, как вести Россию, и, конечно, будут лучше царских министров, — а оказались паноптикумом безвольных бездарностей, и быстро всё спустили, к большевицкому концу.

Да разобраться: они не только упустили власть — они её и взять-то не смогли. Временное правительство существовало, математически выражаясь, *минус 2 дня:* то есть оно полностью лишилось власти за 2 дня до своего создания.

Да и сам Февраль-то был делом двух столиц. И вся крестьянская страна и вся Действующая армия с недоумением узнали об уже готовом перевороте.

Потом: никогда не было никакого корниловского мятежа, всё это — ложь и истерика Керенского, он сочинил весь кризис. Сам вызвал фронтовые войска в Петроград, но из боязни левых отрёкся от этих войск по пути и изобразил мятежом. То-то и Корнилов никуда не бежал, и Крымов доверчиво пришёл к Керенскому на свою смерть. Мятежа — никакого не было, но этой истерикой Керенский и утвердил окончательно большевиков.

Но, Александр Исаевич, ведь всё наше понятие об истории России — по крайней мере на Западе — построено на предпосылке, что Февральская революция была явлением поло-

жительным и что, не будь октябрьского переворота, Россия пошла бы по пути мирного общественного развития.

Вот это и есть — одна из центральных легенд. Если вникнуть в повседневное течение февральских дней, в каждую мелочь и во всю реальную обстановку, то сразу становится ясно: никуда, кроме анархии, она не шла. Она заключала противоречие в каждом своём пункте. Поразительная история 17-го года — это история самопадения Февраля. Либерально-социалистические тогдашние правители промотали Россию в полгода до полного упадка. И уже с начала сентября 1917 большевики могли взять упавшую власть — голыми руками, без всякого труда. Только по избыточной осторожности Ленина и Троцкого они ещё медлили. Лёгкое взятие упавшей власти совсем не было даже и переворотом. Так что не только не было никакой Октябрьской революции — но даже не было и настоящего переворота. Февраль — упал сам.

И легенды — продолжаются дальше. И гражданскую войну совсем неправильно сводят только к войне красных и белых. А главное было — народное сопротивление красным, с 18-го по 22-й. И в этой войне оказалось потерь — несколько миллионов! Это уже — изменение состава народа, и вот это есть первая настоящая бесповоротная революция — когда из народа выбивают миллионы, да с выбором.

И дальше легенды... Что Октябрь будто землю крестьянам дал,— а он и ту отобрал, которую Столыпин дал, общинную...

Но нельзя ли сказать, что это — дела прошлого, история, — да при этом история, имеющая узкое отношение только к России? А разве не правда, что большинство ваших читателей на Западе? Для кого же вы пишете?

Что на Западе меня много читают — я рад. Но мои основные читатели, конечно, на родине, и

именно для них я пишу. И книги мои достигнут их, да уже и сейчас достигают изрядно. Книгами — я непременно и скоро вернусь. Да надеюсь и сам.

А уроки Февраля — они имеют и всемирное значение, это и Западу невредно. Самопадение наших либералов и социалистов перед коммунизмом с тех пор повторилось в мировом масштабе, только растянулось на несколько десятилетий: грандиозно повторяется тот же процесс самоослабления и капитуляции.

Но бесценное значение опыт Февраля, всего 17-го года, имеет, конечно, для нашей страны. А о нём — почти не принято думать. Прежде чем горячо спорить о будущем пути России, предлагать проекты, рецепты, — надо бы основательно знать наше прошлое. А наши спорящие, как правило, его не знают, — именно историю нашего последнего столетия от нас скрыли почти до неграмотности — а мы поддались. Советское давление приучило всех уходить вдаль — к эпохе Николая I и назад. А кто официально занимался последним столетием — тот всё искажал.

Февраль — нам надо знать, и остерегаться, потому что повторение Февраля было бы уже непоправимой катастрофой. И важно, чтоб это поняли все, прежде чем у нас начнутся какие-нибудь государственные изменения.

...Так вот и получилось, что моя историческая работа о Феврале — она в четырёх томах — настолько опоздала, что уже снова стала актуальной.

Вы говорите о бесценности опыта Февраля — но чему же может помочь осознание прошлого опыта в нынешнем положении?

О, осознание очень много значит! Внутренняя победа всегда предшествует внешней. Мы, действительно, не имеем пока физических сил освободиться от плиты, придавившей нас, — но самый драгоценный итог последних 60 лет мировой истории — именно то освобождение от социалистической заразы, кото-

рое наш народ прошёл насквозь. Это освобождение — начало мирового освобождения даже тех стран, которым болезнь ещё предстоит.

Да, мы в плену коммунизма, а тем не менее он для нас — мёртвая собака, когда для многих западных слоёв ещё живой лев. Это испытание мы перестояли духовно и, надо удивляться, на ногах!

Ну, конечно, теперь одного этого осознания о коммунизме нам уже мало. Хотя сегодня ещё душит всех коммунизм — а мы должны думать об опасностях будущего перехода. При следующем историческом переходе нам грозит новое испытание — и вот к нему мы совсем не готовы. Это — совсем новые для нас виды опасностей, и, чтобы против них устоять, надо, по крайней мере, хорошо знать наш прежний русский опыт.

Может быть, сейчас мой голос дойдёт до тех, кто имеет доступ, возможность и время заняться изучением нашей истории XX века. Мне удаётся сейчас наладить издание научной серии книг — Исследования Новейшей Русской Истории — ИНРИ. В ней разные авторы, старые и молодые, пытаются разыскать, очистить, восстановить уворованную, подавленную, искажённую истину. Я надеюсь, что и в СССР найдутся авторы, которые захотят принять участие в этой серии. Я даже уверен, что все главные мысли должны родиться именно в России, несмотря на ужасные притеснения.

Это, скажем, историческое наследие, а как, по-вашему, обстоят дела с художественной литературой в России?

Русская литература всего больше меня поразила и порадовала именно в эти годы, когда я выслан. И не в свободной эмиграции она имела успех, не в раздольи так называемого са-мо-вы-ра-жения, — а у нас на родине, под мозжащим прессом. И создался этот успех даже именно на главном стержне русской литературы, который в советской критике полупрезрительно называют «деревенской литера-

турой», — а на самом деле это труднейшее направление работы наших классиков. Так вот оно в последние годы имело замечательные результаты, несмотря на все притеснения. Я рад был бы сейчас назвать — 5, нет, 6 имён, вот я берусь их назвать, и книги каждого, даже и по две книги, и разобрать, что в них так удалось, но *отсюда — туда* я... не имею права это делать, начнут к этим авторам придираться, что, мол, недаром Солженицын их хвалил. Но я думаю: они сами поймут, что речь идёт о них, и читатели тоже разберутся.

Нам бывает трудно оценить уровень современной нам литературы. А вот: такого уровня во внутреннем изображении крестьянства, ка́к крестьянин чувствует окружающую свою землю, природу, свой труд; такой ненадуманной, органической образности, вырастающей из самого народного быта; такого поэтического и щедрого народного языка... — к такому уровню стремились русские классики, но не достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже Толстой. Потому что — они не были крестьянами. Впервые крестьяне пишут о себе сами. И сейчас читатели могут наслаждаться тончайшими страницами у этих авторов.

Интересно, анекдот. Есть тут, в Америке, такая Ассоциация славистов, изучающая нашу страну. У неё ежегодные конференции, и среди докладчиков выступают многие новые эмигранты, ну кто пошустрей, побыстрей, может пробиться. Вот есть такая Клепикова. И она на этой конференции на вопрос о деревенской литературе авторитетно заявила: «Деревенская литература? Теперь это уже эпигонство, упадок.» И американские профессора, съехавшиеся со всей Америки, доверчиво записывают в блокноты: «Деревенская литература находится в упадке.» Это сейчас, когда она в расцвете. Вот так объясняют нашу страну некоторые новые эмигранты, так они используют свою свободу.

Может быть, и эти мои слова услышат молодые авторы, кто в будущем подвижут нашу литературу.

Я бы хотел им сказать, что не надо гнаться за поверхностной политической сатирой — это самый низший вид литературы. И дело совсем не в формальных поисках, никакого «авангардизма» не существует, это придумка пустых людей. Надо чувствовать родной язык, родную почву, родную историю — и они с избытком дадут материал. А материал подскажет и форму, взаимодействуя с автором.

Ещё один грустный анекдот. Осенью 77-го, во время американской книжной выставки в Москве, американские издатели решили почтить званым обедом главных представителей русской литературы. А звали примерно по такому принципу: кто числится в диссидентах. И вот ирония: на этот обед собственно русская литература, стержневая, — не была позвана. Вот из этих авторов, которых я сейчас мысленно перечислил, — ни один не был позван, их в Америке и не знают. Был обед в честь русской литературы — а ведущих авторов не было.

Я мог бы добавить ещё, по крайней мере, двух первоклассных драматургов, действующих сейчас в Советском Союзе, — но опять не буду, чтоб им не повредить.

Но понимают ли на Западе эту «стержневую литературу», как вы её называете?

Плохо. Официальное представительство советской литературы на Западе — никак её не представляет. Или — туполобство, пошлют какого-нибудь литературного вертухая, который Твардовского даже в последний год его жизни поносил «кулацким поэтом» — а теперь перед ним якобы млеет. И американские профессора съезжаются, записывают этого вертухая, какой он им бред тут несёт.

Или — слишком повышенная изворотливость между советским режимом и интеллектуальным Западом, умеют нравиться и тем и другим, — впрочем, оба эти мира атеистические и не так чужды друг другу. Я имею в виду, например, Вознесенско-

го. Радостно даёт себя выставлять, создаёт впечатление литературной свободы в СССР.

Сказал я Вознесенскому когда-то: «нет у вас русской боли». Вот нет — так и нет. Не страдает его сердце ни прошлыми бедами России, ни нынешними. Напечатал в Америке стихотворение, посвящённое мясорубке в гайанской коммуне. Одно дело, что их ангелами, конечно, изображает, но, оскорбительно: в этом изуверском саморазложении, гниении, якобы увидел — самосожжение старообрядцев, — а? Старообрядцы погибали, чтобы не изменить своей вере, чтоб их пытками не вгоняли в чужую! — этих марксистов никто не трогал, никуда не вгонял, весь их конфликт с Америкой выдуманный. Вот так он унизил старообрядчество — чтобы держаться в моде, потому что американские газетчики так сравнивают. Деревянное сердце, деревянное ухо.

> В своей Гарвардской речи вы сопоставляете расслабление характеров на Западе с укреплением их на Востоке, где — цитирую — «сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем регламентированная жизнь Запада». Но разве эта «смертно давящая жизнь» тоже не создала духовную опустошённость, не привела к цинизму и материализму, не сломила тысячи и даже миллионы характеров? Как же можно тогда в то же время говорить о духовном возрождении в России? Не мечта ли это возрождение? не плод ли это скорее желания, чем реальности?

Да, конечно, пережить коммунизм без повреждения — кто бы это мог? Все мы это испытали. Повреждены духовно — миллионы. (Однако оговорюсь: повреждены — но уже не в социалистическом заразном отношении, — уж в эту сторону никакими

голосами нас не кликнешь: до такой тошнотворности прогалдели нам головы и груди.)

Что я сказал в Гарварде о характерах?.. А что назовём характером? По-моему: если в самой враждебной обстановке и почти ничем не пользуясь от внешнего мира — выстоять и ещё дать вовне. А что назовём бесхарактерностью? В самых благоприятных обстоятельствах всё получать — и всё для себя. В Берлине в 53-м и в Венгрии в 56-м были наши офицеры и солдаты, отказавшиеся стрелять в народ, хотя знали, что за это будут расстреляны тотчас, и действительно расстреляны. И — всё, и тут же они забыты ради детанта, и уже в русский характер они нам не вписываются. В Западном Берлине поставили камень в их честь.

Когда я в Гарварде говорил о преимуществах наших характеров над западными: мы — под самим Драконом научились, не гнёмся, а они — издали, только от его дальнего дыхания уже гнутся, как ему угодить.

Повреждены мы, да, и многие даже близко к бесповоротности. А — не бесповоротно! И это показывается процессом оживания нашего общества. Я имею в виду сейчас не интеллектуальное и политическое оживание, не самиздат, не письма-протесты, а изменение нравственной атмосферы вокруг гонимых. Ведь 50 лет — кто был обречён, осуждён, от того отрубливались все, не то чтобы помогать, но даже избегали сноситься. Ставка коммунизма была — чтобы каждый гиб в одиночку. А сейчас? Сейчас к каждой такой семье тянутся руки помощи, собирают деньги, смело приходят в дом, открыто помогают! Это же — совсем другая нравственная атмосфера, как бы совсем не под советской властью. И даже — в провинции уже так прорастает, где жутче гораздо, страшнее ветер воет. И — молодёжь сильно затронута этим очищением. В этом — надежда.

Такое изменение, я скажу, — глубже и перспективнее, чем даже государственный переворот. Ведут

себя люди так, будто этих вурдалаков, этого Дракона над нами, — совсем нет. Воздух другой!

Александр Исаевич, как вы знаете, эмигрант часто полон горечи, потерял почву под ногами, живёт одним только прошлым...

Иван Иванович, я не эмигрант. Я не принимал такого душевного движения — уехать с родины, не принимал решения, что вот где-то начну новую настоящую жизнь. Поэтому у меня психология другая.

Да, но эмиграция всё же существует, это общественное явление, со своим — как она думает — историческим заданием.

Ну... да. У первой эмиграции историческое задание, конечно, было: помочь нам сохранить историческую память о годах предреволюционных и революционных — в то время как в Союзе всё затаптывали. Но, например, на третьей эмиграции — я сомневаюсь, что историческое задание лежит. Да третья эмиграция — это лишь хвостик, отколок от израильской эмиграции. По значению и по численности она не идёт в сравнение с двумя первыми.

Да спасение России и не может прийти ни от какой эмиграции, нечего и ждать, — а изнутри самой России. Я надеюсь, что в следующий раз, в отличие от 1917, судьба страны будет определена теми, кто в ней живёт, а не теми, кто вернётся из эмиграции.

Не все понимают, что добровольный отъезд сильно уменьшает права уехавшего судить и влиять на судьбу покинутой страны. Уехал — так и сам отрезал, освободил себя от ответственности — так и от права. А страна — продолжает свою судьбу тянуть, она её и вытянет. Я уже говорил, что третья эмиграция уехала не из-под пуль, как бойцы первой, не от петли, как бойцы второй. Она уехала в то время именно, когда на родине появились и возможности действовать, и силы наиболее нужны там. Извне

коммунистического режима не одолеть, а только изнутри.

Среди уехавших — разные категории, конечно. Подавляющая часть поехала просто устраивать свою жизнь, к покинутой стране равнодушна.

Весьма малая часть, но политически активная, как бы продолжает на Западе деятельность демократического правозащитного движения. Но она попала в такое положение, что как бы просит у соседей помощи себе в дом. (Господи, уж куда там Западу нам помогать, уж куда там! Себя бы уберегли.) В деятельности этой эмигрантской группы в условиях свободы сказывается и недостаток взгляда. Нельзя всю философию, всю деятельность сводить: дайте нам права! то есть отпустите защемлённую руку! Ну, отпустят, или вырвем,— а дальше? Вот тут, на «демдвиже», и сказывается незнакомство с новой русской историей. Они, по сути, обходят все уроки нашей истории как небывшие — и по общей теории либерализма просто хотят повторения Февраля. А это — гибель.

Потом, есть категория, которая уехала с острой ненавистью не столько к советскому строю, как к самой России, к самому народу, даже с проклятьями при отъезде, так называемый Телегин, псевдоним, известно, кто это. И тут печатно питают свою ненависть, от слова «православие» их конвульсия берёт. Ну, эти — открытые, я о них говорить не буду.

А есть ещё одна, опасная категория, которая, может быть, и выполняет историческое задание. Они приезжают сюда не просто эмигрантами, но как полномочные истолкователи, объяснители нашей страны, народа, истории, культуры, чего угодно. И характерная черта: они ловко попадают тут во вкус, в заказ, чего от них ждут, — и вместе с тем их выводы всегда наилучшим образом полезны для коммунистического режима в СССР.

Но нельзя ли предположить, что они в какой-то степени всё-таки выражают своё искрен-

нее мнение, дают свой ответ на больные вопросы судьбы России?

Я... не стану гадать о подлинных импульсах этой категории, но — головой покрутишь. Подумайте: тех, кто сотрудничал с национал-социалистами, тех судят, а кто десятилетиями сотрудничал с коммунистами, был весь пропитан своей красной книжечкой, ещё неизвестно, выбыл ли из капээсэсовцев при переезде границы или и сегодня в партии, — тех Запад принимает как лучших друзей и экспертов, и в Америке они порой — профессора университетов, хотя научный уровень у многих — парикмахерский. И в общем, с некоторыми вариантами, направление у них такое: всячески примирить американцев с коммунизмом в СССР — как с самым малым для них злом или даже положительным для них явлением. И наоборот: убедить, что русское национальное возрождение, даже национальное существование русского народа — это величайшая опасность для Запада.

Тут их целая вереница, всех не перечислишь: Соловьёв, Клепикова, Симес, Янов. Вот — Янов. Был он коммунистический журналист, 17 лет подряд, никому не известный, в «Молодом коммунисте» и ещё мельче, анонимный участник всеобщей лжи. Никогда никаких протестов не подписывал, ни в каких диссидентах не ходил, — вдруг «вынужден» эмигрировать. А тут — сразу с профессорской кафедры напечатал уже две книги с разбором СССР и самым враждебным отношением ко всему русскому. В «Вашингтон Пост» на целую полосу статью, что Брежнев — миротворец! Смысл его книг: держитесь, мол, за Брежнева всеми силами, поддерживайте коммунистический режим — и торговлей, и дипломатически, укрепляйте его, это вам, американцам, выгодно! А внутри СССР этот режим поддержат... все покупатели магазинов «берёзки». А всякая другая власть в России будет вам хуже.

Он даже не ставит коммунистическому режиму в

упрёк уничтожение 60 миллионов человек. Словечко «ГУЛАГ» подхватил, но применяет его к старой России,— мол, ГУЛАГ был там. Все его рассуждения изложены с точки зрения товара и потребления. В его книгах не найдёшь, что народ (вот, русский) может иметь какую-то религию, что это может что-то значить в его истории, в его стремлениях.

И вот такие уста истолковывают здесь Россию. Вот такие... цветки выращены коммунизмом на нашем забвении и растоптании.

А интеллектуальная Америка их всех очень подхватывает, потому что здесь очень ждут и хотят, чтобы было так: чтобы с коммунизмом дружить, а Россия — плохая. И американские профессора один за другим повторяют: вот наконец пришли эрудированные учёные и объяснили нам, чего нам надо опасаться: не коммунизма совсем, а национального существования русского народа! В такой здешней обстановке невозможно, например, добиться международной защиты Игоря Огурцова.

> Однако американское, да и не только американское, вообще западное образованное общество, по крайней мере часть его, информировано об истинном положении. Как же объяснить, что оно так легко поддаётся таким настроениям?

Американское образованное общество склонно прислушиваться к таким уговорам.

Во-первых — потому что существует долгая традиция говорить о национальной России только плохое. Эту традицию ещё с конца прошлого века создавал здесь Милюков, потом вся революционная эмиграция. (Дошло до того, что в Первую мировую войну американские банки давали займы Англии и Франции — при условии, чтоб эти кредиты не попали бы России, союзнику.)

Во-вторых — влияет большое сочувствие американских интеллектуалов к социализму и коммуниз-

му, они почти сплошь этим дышат. В американских университетах быть сегодня марксистом — это почёт, здесь много сплошь марксистских кафедр.

В-третьих — такая трактовка очень успокаивает весь Запад: если все ужасы СССР не от коммунизма, а от дурной русской традиции, от Иоанна Грозного и Петра, — так тогда Западу нечего опасаться; значит, с *ними* плохого ничего не будет; если *их* постигнет социализм — то только добродетельный. После разоблачений советской системы западные представления отступили от траншеи к траншее: сперва сдали Сталина (и всё свалили на мифический «сталинизм», который был последовательным ленинизмом); потом, с болью, сдали даже и Ленина: если всё плохое от Ленина — так не потому, что он коммунист, а, мол, потому, что он русский. Раз это всё — русское извращение, так чего бояться Западу?

Запад очень боится слышать правду, всякую правду. Запад очень падок к успокоительному самообману.

А в-четвёртых — на эту симпатию интеллектуального Запада к советскому строю влияет общность их идеологического происхождения: материализм и атеизм. Движение, открыто связанное с религией, их всегда настораживает, если не пугает.

Это настроение американского научного мира закрывает им и возможность проникнуть в суть русской истории (хотя судят о ней — с апломбом, будто уже насквозь её поняли, будто можно её понять, игнорируя десять веков православия). Казалось бы, западная свобода даёт им возможности, несравненные со лживой, дремучей советской наукой. А они — остаются как загипнотизированные советской исторической концепцией. Они невольно перенимают её фундаментальные положения — и спорят с ней в исправлении частностей, деталей, некоторых сторон, лиц, иногда трактовки. Но если какая область *совсем* запретна в СССР, как не существует, — то она остаётся и *совсем* неизвестна западной науке. Так, блистательная западная наука 55 лет не знала о

ГУЛАГе, не представляла его масштабов, не верила, что он существует. Так, большевики объявили народное себе сопротивление бандитизмом — и западная наука приняла: разрозненный бандитизм. И даже вовсе игнорирует обширное народное сопротивление большевикам.

Замечательный случай: один молодой американский учёный, вот в эти годы, добивался защищать диссертацию: «Народное сопротивление большевикам и гражданская война в Сибири». Всюду ему отказывали, потом объяснили: да такой подозрительной диссертации и никто у вас не примет. Побился парень и просит: ну, дайте мне тему! И дали ему: «Сеть партийного просвещения в СССР»! У нас не то что ребёнок, но любая курица, но последний индюк смеются над такой темой, — а в американском университете это — диссертация!

> Вероятно, именно непонимание Западом нынешнего положения в Советском Союзе и привело к тому, что ваша встреча с Западом состоялась, если можно так сказать, под знаком конфликта. Три года назад в телеинтервью по Би-Би-Си вы обратились к Западу, в частности к Англии, с предостережением о возможности — скорее даже неизбежности — нравственного и духовного крушения перед натиском тоталитаризма. Эта же мысль о духовной опустошённости Запада прозвучала и в вашей Гарвардской речи в прошлом году. Означает ли это, что опыт жизни на Западе — в Европе и в Америке — подтвердил ваше мнение об обречённости Запада?

Нет, не обречённости, нет. Но в общем весы склоняются к худшему. Так отчётливо идёт к мировой войне — а западные деятели обманываются, что идёт к разрядке. Несколько стран ежегодно сдают коммунизму — и не вздрогнут: что ж это делается? надолго ли хватит стран?

Могут ли на Западе найтись силы, которые про-

будятся, оздоровят Запад, укрепят его? Я всё же надеюсь, иначе бы не предостерегал. И особенно надеюсь на Соединённые Штаты, где много неиспользуемых, непробуждённых сил — не похожих на те, что действуют на газетной, интеллектуальной и столичной поверхности. Например, на мою Гарвардскую речь народ отозвался совсем противоположно газетам. Был большой поток писем ко мне и в редакции, где читатели гневно высмеивали позиции своих газет.

А если говорить о Западе вообще, не видите ли вы некоторые проблески пробуждения, особенно среди молодёжи, в религиозных кругах?

Да, соглашусь. В разных местах, в разных проявлениях там и сям замечаешь, верно, что современная западная молодёжь чутче к истине, чем её дипломированные учителя. Эта молодёжь как будто проныривает через навал хлама и тянется, ищет... У многих из них религия вызывает уже не насмешку, а интерес, сочувствие, даже соучастие. Ну и, конечно, нельзя не счесть знамением времени нового Папу. Это... это... слов не найдёшь. Это — дар Божий.

Но дело так запущено, отступление Запада так глубоко зашло, что во всяком случае нам, в нашей стране, рассчитывать на западную выручку — бесплодно. Я думал так и живя ещё в СССР. И — никогда не обращался ни к западным правителям, ни к западным парламентам, таких иллюзий не питал. Выручка может прийти в индивидуальных случаях, от общественности. Но никто на Западе не обязан заниматься нами в целом, ни у кого нет ни сил, ни стойкости, — а нужно будет откупиться нами — откупятся, как Тайванем.

Если так, то где же источник силы для узников, которые ищут свободы? К кому или к чему им обращаться? На что могут надеяться подсоветские народы?

Это — самый трудный вопрос из тех, что вы мне сегодня задали.

С одной стороны — я считаю, что: главную победу над коммунизмом мы уже одержали: мы выстояли 60 лет и не заразились им. Ничего похожего на то идейное торжество, на тот повальный захват душ, с которым носились, неслись, рассчитывали Ленин и Троцкий. Мы — уже свободны от них духовно.

А вот — физически?..

Потому так и трудны изменения в нашей стране, что в нашу страну упёрлась вся жизнь человечества. Вся орбита земной жизни изменится, когда произойдут изменения в советском режиме. Это сейчас — узел всей человеческой истории.

В «Телёнке» вы спрашиваете также, не то ли время подошло наконец, когда Россия начнёт просыпаться, когда Бирнамский лес пойдёт. Двинулся ли Бирнамский лес?

Опять же: как это движение понимать. Если духовно — да, он пошёл! Если физически — нет, не двинулся.

Но я никогда не призывал к физической всеобщей революции. Это — такое уничтожение народной жизни, которое, бывает, не стоит одержанной победы. Да нам не просто же освободиться, нам надо стать на путь лечения, — а революции не вылечивают. К тому же рядовой гражданин нашей страны находится в таком положении, что его *нельзя* призывать к физическим движениям: они грозят ему гибелью тотчас. Поэтому я и призывал к движению «жить не по лжи»: отнять свои руки от их Идеологии — чтоб она грохнулась и кончилась. Это тоже будет равносильно изменению государственного строя. Движение это — развивается, дай Бог ему продолжаться. Но оно оказалось медленней, чем я ждал. Да оно по природе своей не может быть быстрым.

В «Письме вождям» вы говорили о возможности свободного соревнования между коммунистической и другими идеологиями. Как вы смотрите на это после вашего пятилетнего опыта на Западе?

Знаете, если говорить о «Письме вождям», то пора дать некоторое объяснение.

То конкретное, о чём вы спрашиваете, — это вообще там игровой, иронический момент. Никакое идеологическое соревнование с коммунизмом в нашей стране не может возникнуть, потому что коммунизм идейно уже всё проиграл. Это была в «Письме вождям» шутка: что партийные пропагандисты в свободное от настоящей работы время, да ещё бесплатно, будут пропагандировать коммунизм. Это я просто посмеялся: они — такие шкуры, что бесплатно и для своей идеологии не пошевелятся.

Но вот что главное в «Письме вождям» не названо, а подразумевается: что я обращался, собственно, не к этим вождям. Я пытался прометить путь, который бы мог быть принят другими вождями, вместо этих. Которые внезапно бы пришли вместо них.

Весь этот вопрос нельзя разбирать неконкретно, без нынешней мировой обстановки. В какие испытания нас ещё бросят эти корыстные вожди?

Коммунисты не могут отказаться от агрессии. Уже так идёт: осатанелый рост вооружений. Пушки начинают стрелять сами. Этим безумцам, очевидно, удастся ввергнуть и нашу страну и весь мир в войну. Они обречены повторить ошибку всех завоевателей мировой истории: им мнится, что они настолько сильны, что могут захватить весь известный мир. И каждый раз это была ошибка. И будет — в этот раз.

На самом деле они: разорят весь мир, погубят наш народ — а всё равно потерпят поражение. Но — за счёт чего? За счёт того, что на противоположной стороне будет участвовать миллиардный Китай — и, таким образом, победит снова коммунизм, только в другой форме. Американцы вырастят Китай в

мирового победителя, как вырастили советский коммунизм после Второй мировой войны, себе на голову.

Так что спасение — не терпит отложения. Каждый лишний год их господства приносит непоправимый урон. То они погубили Байкал, то собираются погубить Сибирь: повернуть сибирские реки. Истощают страну, бессмысленно направляют народные усилия. Каждый год омрачают и портят миллионы юных душ. За каждый один коммунистический год нам придётся платить не одним годом выздоровления. Нам — тоже медлить нельзя.

Но на что же вы сами надеетесь, Александр Исаевич, во что вы верите? В Провидение?

Слово Провидение не хочется употреблять всуе. Произнося это слово — вступаешь в область торжественную. Я — убеждён в присутствии Его в каждой человеческой жизни, в своей жизни, и в жизни целых народов. Только мы так поверхностны, что вовремя ничего не можем понять. Все изгибы жизни нашей мы различаем и понимаем с большим-большим опозданием. Так, уверен я, когда-нибудь поймём мы и замысел о Семнадцатом годе.

У нас в стране я рассчитываю на ту степень опамятования, которая уже разлилась в нашем народе и не могла не распространиться в сферах военных и административных тоже. Ведь народ — это не только миллионные массы внизу, но и отдельные представители его, занявшие ключевые посты. Есть же сыны России и там. И Россия ждёт от них, что они выполнят сыновий долг. Этой прослойке должно быть понятно, что всякая захватная война есть наша национальная гибель.

Я хорошо помню наше офицерство, Второй мировой войны, сколько пылких честных сердец кончало ту войну, и с порывом устроить наконец жизнь на родине. И не могу допустить, чтоб они бесследно все ушли, как вода в песок. Чтоб они или их наследники были равнодушны к ужасной судьбе, которую

готовят нашей родине, к гиблой международной авантюре, куда загоняют её.

Я — верю в наш народ на всех уровнях, кто куда попал. Не может быть, чтоб 1100-летнее существование нашего народа, в какой-то ещё неизвестной нам форме, не пересилило бы 60-летнего оголтения коммунистов. Всё-таки наша жила — крепче! И мы должны пересилить их, отряхнуться от них.

Это может произойти и в разгаре будущей войны — но в тысячу раз лучше, если найдутся силы изнутри остановить агрессию ещё до её возникновения.

И какой же вы видите будущую Россию?

Я вижу её — в вы-здо-ров-лении. Отказаться от всех захватных международных бредней — и начать мирное, долгое, долгое, долгое — выздоровление.

ПИСЬМО О ПОЛОЖЕНИИ ИГОРЯ ОГУРЦОВА

Сенатору Генри М. Джексону
Сенатору Дэнцэлу П. Мойнихену

По случаю церемонии
Коалиции демократического большинства
12 июня 1979

Ваша деятельность, в полном сознании ответственности и отвергающая пути благоприличных отговорок, вызывает уважение. Я высоко ценю также вашу бескомпромиссную позицию в деле Прав Человека. Страдания людей нельзя забывать и в чаду торговли, и нельзя успокоиться, пока в советских лагерях продолжают калечить и убивать.

В эти месяцы необратимо идёт к гибели выдающийся сын русского народа — Игорь Огурцов, искавший христианских путей развития России. Уже более 12 лет он находится в непрерывном жестоком заключении при безжалостном режиме — и ещё 8 лет ему предстоит, которых не пережить. У него опала печень, опустился желудок, один глаз перестал видеть, в 42 года вылезают волосы, выпадают зубы.

Я прошу и очень жду ваших усилий в деле спасения его от смерти.

Ваш
Александр Солженицын

И ВНОВЬ О СТАРООБРЯДЦАХ

Письмо в редакцию «Вестника»

Отрадно и интересно читать в «Вестнике» письма читателей из СССР. А вот иногда и огорчишься, да как.

В № 128 А. Н. произносит всеобъемлющее суждение о старообрядчестве, основываясь на том, что М. Меньшиков назвал его, видите ли, «мизонеизмом» — боязнью перед новизной. Меньшикову — и карты в руки: сам он настолько был свободен от этой боязни, что руководимое им «Новое Время» в февральскую революцию *в один день* совершило полный поворот всех принципов, предало всё, что защищало десятилетиями, и усвоило настолько холуйский тон к совершившемуся, что даже враги из левого лагеря призывали его держаться достойней. (И наоборот, в угаре того марта одни только московские старообрядцы имели смелость — тогда это была уже смелость — высказаться за парламентарную монархию.) Оракулов всё же надо выбирать осмотрительно.

Меня изумляет, как наши современники, испытав на себе советский ад, могут оставаться так бесчувственны и безжалостны к старообрядцам. Как они могут психологически не войти в это положение беспомощных, беззащитных миллионов (12 миллионов из тогдашнего небольшого населения России), у которых вдруг сжигают привычные многовековые молитвенные книги, рубят иконы, сжигают их вместе с живыми людьми, рубят правые руки, пытают железом, — и всё, оказывается, для того, чтобы внести небольшие формальные поправки, и так (ещё одно письмо, К. С.) поддержать духовное единение с павшей Византией, которую из тех и в глаза никто

не видел. Большевики делали то же, но соразмерно своей цели: полностью уничтожить христианскую веру. А зачем нуждались в этих методах никониане? Применением насилий и казней для утверждения веры сподвижники Никона поставили себя вообще вне христианства.

А дальше — вали на погибших что угодно. Вот А. Н. уверяет, что старообрядческая Россия не устояла бы против иностранных завоеваний. А *какая* же другая стояла и перестояла с X века по XVII? Старообрядческая Русь за 250 лет не сдалась татарам и смогла — народной инициативой, без правящих! — устоять в беспримерных испытаниях Смутного Времени. И в большевицкие десятилетия никто не продержался стойче старообрядцев.

Но больней всего, что А. Н. ещё высказывает и слепые подозрения, будто старообрядчество опасно на современный иранский манер (кого ж оно казнило? кому мстило?), — и так угождает в струю новейших острых врагов нашего нынешнего возрождения, тех, кто, опережая клеветой наши духовные шаги, бесстыдно кидается пугать западную прессу, что русское религиозное и национальное возрождение — хуже иранского исламского фанатизма, несёт худшее кровопролитие, не имеет права быть на Земле. Низкое обвинение — без всяких фактов, доказательств, обоснований. 60 лет нам не давали дышать и думать по-русски, и это не беспокоило наших критиков, это было передовое развитие. А едва мы стали приходить в себя — нас спешат топтать. Но и корреспондент «Вестника» невольно добавляет туда же свой притоп.

А. Солженицын

Июль 1979

САХАРОВСКИМ СЛУШАНИЯМ В ВАШИНГТОНЕ

Сентябрь 1979

Два года назад я просил участников Римских Слушаний уделить усиленное внимание долгосидчикам. Годы идут, идут дальше, и разрушительнее всего — для них.

На краю могилы — Игорь Огурцов, замученный христианский мыслитель; учёный, оборванный на первых шагах; выдающийся сын России, осуждённый несправедливо, бесчеловечно, сидящий 13-й год.

Те, кто были первоклассниками, когда арестовали Игоря Огурцова, — теперь кончают университеты. А Огурцов — сидит.

Почти вся эпоха Брежнева уложилась в это протяжение времени. В Соединённых Штатах три раза произошли президентские выборы и вот готовятся четвёртые. Весь разгар вьетнамской войны уложился в эту длительность. От разгула культурной революции Китай перешёл в кооперацию с Западом. А Огурцов менял только камеру на карцер, тюремное заточение на строгое лагерное, и снова на тюремное.

Вся чехословацкая весна и чехословацкая ледовая зима уложились в эту длительность. Изменились Португалия, Испания. Взошёл, прошумел и закатился еврокоммунизм. Третий центр мирового коммунизма — кубинский — шагнул в Центральную Америку и гуляет по Африке. Возникали новые государства — к свободе или к новым оккупантам, менялись десятки правлений здесь и там. А Огурцов — сидит.

Все главные космические переживания человечества уложились в эти же 13 лет. Взожглись, и улег-

лись, и забыты все тревоги о Даниеле Эльсберге, об Анджеле Дэвис. А Огурцов — сидит.

Уже 8 лет было его сиденью, когда широковещательно была подписана Хельсинкская декларация, маня Запад видением эры свободы на Востоке. И имела время полинять и продырявиться уже и для самых легковерных. А Огурцов — сидит.

В этот период уложилась и вся общественная деятельность Андрея Сахарова, как мы его знаем, и вся моя публичная история от съезда писателей до высылки. Смелая семёрка демонстрантов на Красной площади взята, осуждена, отсидела, освобождена. А Огурцов, не совершивший и малого реального действия, — сидит.

Сколько имён угрожаемых, преследуемых, арестованных в СССР — Синявский, Даниель, Амальрик — пронеслись над Западом в эти годы, прорезали мировое внимание, вызвали энергичные протесты, к счастью помогшие уже многократно. Мощной общественной кампанией давно освобождён Плющ, севший на 5 лет позже Огурцова. Нашёл мировую поддержку и освобождён Штерн, севший на 8 лет позже Огурцова. Из малой и большой зоны вырваны — Григоренко, Сильва Залмансон, Буковский, Мороз, Винс, Гинзбург и другие. Сколько имён, кого лишали эмиграции или притесняли в Советском Союзе, — супруги Пановы, Левич, другие разлучённые супруги или продержанные отказники — в несравнимые сроки получили свободу. А Игорь Огурцов все эти годы, все эти годы — сидит, и лишь недавно его имя стало мелькать изредка.

Есть сроки, переносимые сравнительно с долготой нашей жизни, есть — непереносимые. 13-й год то Владимирской тюрьмы, то строгого режима — это не первые тревоги родственников, что здоровье может пошатнуться: это убийство, уже подходящее к концу. Хладнокровно, долголетне убивают коммунисты своего идейного противника. Ещё 7 с половиной лет срока в разных сочетаниях осталось Огурцову, но они уже не понадобятся: его прикончат раньше.

В момент, когда пишется это письмо, он — в новом тюремном захвате, в Чистополе, за лагерный протест, — и сколько ещё таких усилий можно изобрести впереди. Происходит безжалостное необратимое разрушение его организма — опали внутренние органы, нарушилось их расположение, меркнут глаза, выпадают зубы. Пусть каждый, кто прочтёт эти строки, примерит к себе эту безвыходную безнадёжную протяжённость.

Я призываю Слушания подать убедительный голос в спасение Игоря Огурцова. Далеко не все на Западе разделяют социал-христианские взгляды, которые привели в тюрьму этого узника, — но тем более, в таких-то случаях и проверяется преданность принципу, универсальность защиты всякого человеческого существа.

ПЕРСИДСКИЙ ТРЮК

Среди новейшей эмиграции из Советского Союза начала выделяться группа авторов, которые, из неприязни, боязни, отталкивания вообще ли от религии или только особенно от православия, более всего опасаются, что оно в будущей России сможет занять достойное и духовно-влиятельное место. Им следуют и некоторые западные журналисты в крупных газетах. Казалось бы, перед их глазами есть хотя бы пример Польши, где Церковь благодетельно владеет душами народа вопреки давящей атеистической диктатуре. Или пример Израиля, где религии отведена влиятельная душеобразующая и даже государствообразующая роль. Но они обходят эти примеры, отказывая России в том, что разрешается другим народам. Почему-то напуганные всякой возможностью именно русского религиозного возрождения (уже реально идущего под смертельным давлением коммунизма), эти авторы, из своего безопасного убежища, спешат опорочить наше возрождение перед западными читателями. Эти люди и эти перья то бесстыдно сплетают православие с антисемитизмом, даже отождествляют их. То, в последнее время, применяют низкий политический приём, который я назвал бы «персидским трюком»: жестокости мусульманского фанатизма в Иране лепят ярлыком на лоб возрождающемуся православию России, мечут в глаза персидским порошком человеку, встающему с ниц на колени. Политически — это эффектный бьющий трюк, и его используют люди безответственные, мало озабоченные глубиной, плодотворностью и основательностью будущего взаимопонимания освобождённой России и Европы. Но именно нас, жертв

коммунистического фанатизма, уже не может привлечь ничей фанатизм никогда. Ни в каких проявлениях, ни в чьих высказываниях нынешних русских религиозных и культурных деятелей вы не найдете никакого оттенка, сходного со структурой сегодняшней религиозной мысли и власти в Иране. (В частности, автор «Архипелага» удостаивается дружных обвинений, что именно он хочет новых Архипелагов и аятолл, — такого не издумывала даже и советская пропаганда.)

В этом ряду, может быть наиболее нетерпеливо, опрометчиво и громко, бросил обвинения во французской и германской печати парижский профессор Эткинд. Бывают люди, весьма развитые интеллектуально и очень остро политически, но совсем не развитые духовно, в частности и особенно к восприятию религии, — у них как бы недостаёт воспринимающего органа. Такую неразвитость, увы, и проявляет Эткинд, уподобляя православие... ленинской идеологии. В остальном он действует в русле «персидской кампании», приписывая мне высказывания, никак мне не свойственные, никогда мной не произнесенные, нигде не напечатанные. (С истерическим усердием подхвачено газетою «Die Zeit», 28.9.79.)

Вся эта кампания против русского религиозного возрождения может опасно отравить сознание западного читателя, ибо побуждает его бояться и ненавидеть именно те силы в нашей стране, которые одни только и представляют неразрешимую проблему для советского правительства и одни способны в будущем установить прочное мирное дружное соседство с неугнетённой Европой. Оборотная сторона этой кампании — примирение с правящим коммунизмом как с «меньшим злом», — и кроткое ожидание, когда он раззявит свою пасть для глотания.

Октябрь 1979

ПИСЬМО БОРИСУ СУВАРИНУ

Многоуважаемый г-н Суварин!

Из-за моего незнания французского языка я только теперь мог познакомиться с полным текстом Вашей статьи «Солженицын и Ленин» («Est et Ouest», 15.4.76). Вы выдвинули обвинения против моей книги «Ленин в Цюрихе» и против моего метода работы. Не предполагая в этих обвинениях никакого личного мотива и не видя в Вашей статье реальных деловых возражений, я вынужден объяснить её партийной пристрастностью, относящейся к раннекоммунистическим годам. Но тем более я не могу оставить её без ответа.

Прежде всего Вы полностью пренебрегаете, что «Ленин в Цюрихе» — произведение художественное (один раз Вы удостаиваете его названия «беллетризованный вымысел»), и поэтому критика Ваша подобна тому, как выпустить воду из аквариума и начать изучать жизнь рыб. Удивляюсь, почему среди упрёков нет: как это Парвус мог поместиться в бауле? Произведение художественное, но я приложил все усилия быть безупречным в изложении исторических фактов — до дня и часа, и Вы, при Ваших встречных усилиях, искажений не нашли. Но главное, чему посвящена моя книга, чем держится она, — психологический тип и характер Ленина, его внутренняя жизнь и бытовое поведение, — однако Вы даже не комментируете, верно или неверно изображён тип его сознания. Вместо этого Вы высказываетесь о Ленине с уверенностью последнего живущего на земле человека, имеющего право судить о нём. Игнорирование художественной природы мо-

ей книги только и могло Вас привести к таким вопросам: почему Солженицын использует ленинские выражения лишь из томов цюрихского периода, а не всех 55 томов его жизни? почему Солженицын из опубликованных Вернером Хальвегом 100 документов довольствуется только восемью?

Какой же метод исследования предлагаете Вы? Вполне произвольный. «Надо уметь читать архивы», — даёте Вы мне урок, но сами отбираете только те документы, которые ложатся в Вашу концепцию. Даже документальное признание германского министра иностранных дел о том, что Германия в 1917 давала большие деньги на «Правду», Вы с лёгкостью отметаете как ложное. Вообще вся русская пресса 1917, десятки письменных русских свидетельств и даже такие историки, как С. П. Мельгунов и Г. М. Катков, удостаиваются лишь самых презрительных Ваших слов. Тем более высмеиваете Вы мои попытки получить показания от ещё живых соотечественников, свидетелей того времени. Напротив, свидетельства иностранцев, побывавших тогда в России, Вы считаете преимущественными, и среди надёжнейших выдвигаете Анжелику Балабанову, которая сама проделала через Германию ленинский путь и ещё ждёт своего достойного исследователя (Бурцев в «Общем деле», октябрь 1917, начал выяснять её связи). Хотя Ваша статья весьма велика, Вы не находите места серьёзно разобрать даже главные положения моей книги: «подробное опровержение показалось бы читателю ненужным и утомительным», — удобная позиция! Вы спорите не со мной, а с придуманным противником.

Больше всего Вы занялись двумя вопросами:

1) использовал ли Ленин германские деньги «по крайней мере до апреля 1917 года» (эта Ваша оговорка уже есть проговорка);

2) при поездке Ленина через Германию был ли вагон запломбированным или бронированным?

По пункту 1 Вам приходится признать, что так же точно думаю и я: до начала 1917 Ленин замет-

ным образом не использовал немецких денег (да партийная касса ещё питалась остатками разграблений русской казны).

По пункту 2 Ваши повторения особенно настойчивы: слово «запломбированный» Вы применяете 11 раз, — но во всей моей книге оно не употреблено ни разу. (Один раз, стр. 210 русского изд., — «экстерриториальный» вагон, — и к тому же выводу приходите Вы — «экстерриториальный».) Так к чему вся эта борьба с призраками? «Пломбированный» вагон стало фольклором, — но я этого не пишу, о чём же спор?

Однако в этом шумном споре Вы характерно обнажаете свою позицию, цитируя Мартова: «Эта сделка не предполагала никакого одолжения со стороны какого-либо правительства.» Неужели так? Во время войны воюющая держава пропускает беспрепятственно через свою территорию группу подрывных политических деятелей противной державы — и это не является «одолжением»? Да это гораздо дороже, чем поддержка золотом! Вы пишете: «совершенно законное путешествие 300—400 человек». Да как же Вы понимаете слово «законное»? Разве только в традиции Коминтерна. Не только для России — такой переезд и для Франции, и для Англии не мог квалифицироваться другим словом, как «предательство». (Понятие «отечество» не охватывается Вашим изложением. Вы помещаете большой пассаж, что человек своим происхождением не связан со своею родиной. Эта коминтерновская моральная несвязанность со страной своих отцов и сказывается в оценке ленинского переезда).

Среди частностей Вашей статьи нельзя не отметить, что Вы и сегодня решаетесь отрицать, что Ганецкий был чрезвычайно доверенным тайным агентом Ленина, а, де, Карлу Моору «Ленин предупреждал не верить» (обычный ленинский маскировочный приём, а сам широко пользовался его услугами). Но главный вопрос, залегающий в Вашей статье: а после апреля 1917 — брал или не брал Ленин

немецкие деньги? Моя книга не захватывает этого периода, но Ваша страсть заставляет отозваться.

Фриц Платтен-младший доказал, что при проезде Ленина через Швецию был тайный день его, уворованный советскими историками, — и это укрытие не понадобилось бы, если б не надо было скрыть встречу с Парвусом в шведской глуши, — вслед за чем «независимый коммерсант» Ганецкий создаёт «заграничное бюро ЦК» в Стокгольме, через которое и льются немецкие деньги на развёртывание большевицкой партии. Малочисленные большевики разворачивают в России бурную издательскую деятельность — многомиллионная «Правда», сотни местных изданий, совершенно затопляющих социалистических соперников, у которых у всех почему-то нет средств. Вы пишете «деньги тут ни при чём», но тиражи бесплатно не создаются. Контрразведка Петрограда всё же установила, что большевики создавали массовость демонстраций, покупая участников по 5 и по 10 рублей в день. Что член ЦК (!) большевицкой партии Козловский производил большие банковские операции над деньгами, получаемыми из Скандинавии, оттуда же крупные суммы непрерывно получала агент Ленина Евгения Суменсон, она же обменивалась с Ганецким телеграммами, которые нельзя истолковать иначе как сопутствующие большим денежным пересылкам. Арест Суменсон показал, что никакой торговлей, упоминаемой в телеграммах, она не занималась, и никаких товаров в наличии не нашлось. Добраться до более значительных большевиков помешала их матросская охрана. Все добытые о большевиках сведения были тогда же опубликованы в русской прессе. Но в ответ на эти обвинения, даже в условиях анекдотически расслабленного Временного правительства и судебного следствия, Ленин почему-то не выступил с благородным оправданием (как бы хорошо, за 60 лет до Вас!), а костюмировался и скрылся (для простого человека — трусость и несомненное доказательство вины, для великого Ленина — тактический манёвр).

И вот спустя 60 лет мы выслушиваем от Вас, что «деньги здесь ни при чём» и это «не оказывало никакого влияния на историю», что найдены реальные расписки не самого Ленина (а лишь — других лиц), — как будто не бывает государственной измены без расписок. С авторитетом почти участника событий — теперь, когда всем известен их жуткий кровавый смысл! — Вы снова пытаетесь внедрить в читателя примитивную большевицкую трактовку Октября — что «Ленин просто взял власть с помощью хороших солдат» петроградского гарнизона (опереточной боеспособности). Вы почти не можете скрыть Вашего восхищения этим великим Злодеем. Несколько раз Вы оговариваетесь: «хулители Ленина», «ненавистники Ленина», «клеветники», — так можно говорить только о Добродетели. Но какую ещё хулу можно возвести на Ленина больше, чем он сам возвёл на себя своим приказом расстреливать крестьян за неочистку снега, своими предписаниями об уничтожении Церкви? — подлым замыслом удушить её на сборе церковных ценностей для голодающих (а Голод — создан большевиками же)? Как можно выразиться о Ленине и о Троцком (которого Вы скромно отводите в сторону) хуже, чем напомнить, что они создали первый в истории и величайший в мире тоталитаризм, изобрели методы массового террора и приём потопления людей в баржах (предшествие газовых камер)? Ваша статья морально опасна тем, что Вы тщитесь отмыть от злодейства тех двух, а значит — и коммунистическую систему, — и всё списать на верного Ученика.

Если в 1921-23 годах, участвуя в руководстве Коминтерном, — в годы подавления массовых крестьянских восстаний, первых злодейских судебных процессов и первой московской инсценировки «народного гнева» (июнь 1922), которой дирижировал Троцкий, — Вы, по молодому возрасту, не разобрались в происходившем, то сегодня, когда истина о ленинском режиме оскалилась уже почти повсюду в мире, — нравственно недопустимо продолжать сеять

в новых поколениях прежние семена и считать ленинский террор «исторически оправданным». Сегодня — как не признать, что Коминтерн топтался на плечах несчастных народов России, понуждая их батрачить и погибать для бредовой мировой революции?

11 февраля 1980

ПИСЬМО ДЭВИДУ АТКИНСОНУ,
члену британского парламента

Вермонт, 15 апреля 1980

Дорогой сэр,

я благодарю Вас за честь, оказанную мне приглашением на годичную конференцию 1980 консервативной партии в Брайтоне.

К сожалению, обстоятельства моей работы не позволяют мне никаких поездок, тем более за океан. Поэтому я никак не могу воспользоваться Вашим приглашением. Однако, будь я на Вашем съезде, я бы высказал Вам близкое к тому, что напечатано сейчас в моей статье в журнале «Foreign Affairs» (Spring 1980) «Чем грозит Америке плохое понимание России». Хотя она написана специфически применительно к Америке, её главные положения относятся ко всему Западу — и даже тем более остро, чем ближе эта страна (в данном случае Англия) находится к сфере столкновений с СССР или ожидаемых его аппетитов.

Я бы сказал, что Англия пережила полосу губительного для себя забытья и непонимания мировой обстановки. С приходом к власти г-жи Тэтчер (которой я рад был бы передать через Ваше посредство моё восхищение и лучшие пожелания) Ваша страна получила возможнось исправить многие из прежних ошибок и выйти на более твёрдый путь. Однако ошибки эти гораздо многосторонней, глубже и давнее, чем кажется на первый взгляд. Увы, большая враждебность ещё к дореволюционной России, перенесённая в советское время на полное непонимание интересов русского народа, сегодня грозит прежде всего самой Англии необратимыми последствиями.

Об этих тяжёлых событиях последних двух третей века я уже говорил не раз, и в самой Англии тоже. В 1918-20 перевес симпатий к «социалистической» стороне помешал Англии помочь национальным силам России, своему недавнему союзнику по войне, в самом начале и малыми силами справиться с мировой коммунистической заразой. То же ослепление (неспособность различить русский народ и коммунизм) толкнуло Англию и её союзников выдать на расправу коммунистам в 1945-46 годах более миллиона его противников, из них многие были вооружены и представляли тогда единственную в мире твёрдую антикоммунистическую силу. И если сегодня Англия вместе со всем миром находится под смертельной угрозой, и её островное положение видится в образе, близком к утоплению, — то сама же Англия внесла в сегодняшнее мировое положение один из главных взносов. И когда сегодня ваша политика клонится к союзу с другой коммунистической сверхдержавой — то это ещё один близорукий шаг к окончательной гибели мира. А продолжение враждебности к национальной России и к русским национальным чувствам только увеличивает угрозу для Англии, так как толкает русский народ из положения союзника Запада — в безнадёжную отданность коммунизму, и грозно увеличивает число ваших врагов. Спасение Запада в его сегодняшнем крайнем положении может быть только в прозрении, что мировой коммунизм — смертно опасен для всех и не остановится никогда сам по доброй воле. Что сил остановить коммунизм у Запада уже нет, не хватит — без союза со всеми народами, порабощёнными коммунизмом, и в первую очередь с русским. Это потребует глубокой и безотлагательной перестройки всей политики западных стран.

В частности, и даже особенно, весь этот порок непонимания разделяет русская секция Би-Би-Си, которую я тоже упоминаю в статье: она бесчувственна к запросам народа, на языке которого ведёт вещание, а тем самым в первую очередь вредит самой

Великобритании, или зря растрачивает свои часы.

В Вашем письме Вы упоминаете предполагаемую конференцию в Мадриде. Я никак не взялся бы говорить о ней в серьёзном тоне: при нынешнем упадке духа и эгоизме Запада она будет таким же недостойным и потерянным спектаклем, как была Белградская, — как и само Хельсинкское соглашение реально ничего не содержало в себе другого, лишь признание коммунистических завоеваний в Европе (об этом я предупреждал ещё в 1975 году).

Вы, мистер Аткинсон, также являетесь и председателем международной христианской организации помощи всем верующим, преследуемым в Восточной Европе. В этой связи я высказываю Вам особые пожелания успеха. Надеюсь, Вы отдаёте себе отчёт и в сегодняшнем положении церкви в СССР и в боязни коммунизма перед неуничтожимым христианством (всё это ярко выражено в секретном документе ЦК КПСС, напечатанном в журнале «Вестник Русского Христианского Движения», № 130, Париж) — и в том, что начался новый, брежневский, натиск на христианскую веру. Мои соотечественники будут особо благодарны Вам за действенную широкую защиту арестованных священников о. Дмитрия Дудко и о. Глеба Якунина.

Это моё письмо Вы можете считать не личным и использовать его по своему усмотрению.

С искренним уважением

А. Солженицын

ИНТЕРВЬЮ С ХИЛТОНОМ КРАМЕРОМ,

критиком «Нью-Йорк Таймс»,
в связи с выходом английского перевода книги «Бодался телёнок с дубом»

20 апреля 1980

Как вы пишете в предисловии, это литература о литературе, вторичная литература. Но условия, в которых эта книга создавалась, и условия, которые она отражает, они были настолько политическими, что неминуемо эту книгу будут воспринимать с политической точки зрения. Ввиду этого я хотел бы знать, как вы считаете, насколько вот такой политический подход искажает вашу главную тему? насколько он заслоняет то главное, что вы хотели сказать?

Совершенно правильно ваше замечание. Не только эта книга оценивается более политично, чем следует, но за всё время, что я публикуюсь, — это 18 лет, — я почти не получал художественного разбора моих произведений. Такие анализы, несколько таких работ было в Самиздате русском. Они оттуда не вышли. Несколько таких разборов было на Западе, три-четыре статьи. Вся же остальная масса газетных, журнальных и общественных реакций, — они все заострялись на политической стороне. И так, смешно сказать, например, совсем я не знаю ни одной работы, которая бы исследовала художественные приёмы «Архипелага ГУЛага». Или вот сейчас я, например, по-русски печатаю уже два года главы из моих Узлов, и среди эмигрантов немало политических откликов — и ни одного художественного. Или возьмём «Ивана Денисовича». «Иван Денисович» сразу загремел по миру, благодаря тому, что он был напечатан Хрущёвым, но тогда же, в этой шумихе, совершенно были пропущены все его худо-

жественные особенности. Так, возвращаясь к «Телёнку», я бы хотел ожидать от моих рецензентов анализа художественной стороны. Пока я имею только один такой отклик, опять же только по-русски, Феликса Светова, вот и всё.

> В самом центре вашего произведения стоит сложный и трогательный портрет Александра Твардовского. Это как архетипная фигура писателя, который разделён, расщеплён между своей верностью литературе и верностью партии. Мне казалось, что есть интересная аналогия между связью, отношениями вашими с Твардовским, как они изображены в «Телёнке», и отношениями Нержина и Рубина в «Круге первом». Можно сказать, что этот конфликт намного сложнее, чем конфликт между добром и злом. Можно ли вывести, что это как бы одна основная система образов в вашем художественном мире? ...Отчасти литературный и художественный вопрос, но с другой стороны — как бы диалектическое соотношение двух моральных образов, или двух видений мира.

Я бы сказал так. Если искать общее в этих двух парах, то общее состоит только в сердечных отношениях с человеком, с которым не совпадают взгляды и образ поведения. Но дальше аналогия не распространяется. Дело в том, что скорее — я сам потом с опозданием открыл аналогию между Твардовским и генералом Самсоновым. Они оба выражают — я об этом пишу где-то в «Телёнке», знаете, как бывает повторение личного типа, — они выражают собой глубоко национальные образы, всеми корнями уходящие в национальное бытие. Твардовский принадлежит к самому стержню русской литературы, глубоко национальному, окунутому в язык русский.

Твардовский является в той мере, в которой марксизм забил его голову, в этой мере он является пленником марксизма, но не активным его провод-

ником. А Рубин — это энтузиастический проводник марксизма, всей душой преданный марксизму. И это сказывается в таком узловом моменте, как: семья Твардовских раскулачена в тридцатые годы, а Рубин был участником раскулачивания. Выдвигаемая вами параллель разрушается главным образом вот этим, что Твардовский — невольный пленник, который пытается освободиться, а Рубин — энтузиастический проводник. Но если брать ещё шире, в общечеловеческом смысле, — конечно, это два человека, как бы охваченные болезнью, в разных её фазах, в разной степени.

Какие писатели, — во-первых, русские, и потом не русские, — имели наиболее глубокое влияние на ваше творчество? И так как чаще в оценках вашего творчества упоминается Толстой, можете вы сказать, какую роль сыграл Толстой, как он отразился на вашем творчестве?

Вообще над каждым русским писателем довлеет традиция русской литературы. Поэтому можно сказать, что литература вся в целом, своей манерой и своей направленностью, вся в целом влияет. Но, конечно, есть писатели особенно любимые, кто особенно влияет. Наибольшее влияние на меня, определяющее, оказали Пушкин, Толстой и Достоевский. Каждый по-своему. В начале двадцатого века Толстой большое общественное влияние имел, и поэтому персонажи моих книг испытывают его воздействие. К Достоевскому общественное мнение конца XIX — начала XX века относилось отрицательно, как к своему противнику. Наше общественное мнение, русское, отказывало ему, в общем, в признании. И по-настоящему Достоевский получил мировую известность сперва на Западе, особенно в Германии, ну и в Англии тоже. Толстой очень сильно повлиял на меня «Войной и миром». Влияние этой книги было в том, что я, уже в восемнадцать лет, задумал свои Узлы. И с тех пор, собственно, я над ними и работаю. Даже в нынешний «Август» вошли несколько

глав, написанных в 1937 году, в девятнадцать лет. Но это не значит, что Толстой мне ближе, чем Достоевский, нет. По своим духовным установкам Достоевский мне гораздо ближе Толстого. А о Пушкине надо сказать, что, к сожалению, Запад, вероятно, и сегодня не может его оценить из-за того, что переводы несовершенны. Пушкин — явление огромного мирового значения, и более всего поразительна в нём гармония в восприятии мира, — гармония, в которой противоборствуют, сталкиваются зло и добро, все горя, несчастья, они как-то находят в Пушкине высший синтез и примирение.

Если говорить о русских писателях XX века, то здесь есть очень большие достижения прозы, техники прозы. И тут для меня ведущими писателями являются Замятин и Цветаева. Если говорить о влиянии западной литературы, то это влияние впиталось главным образом в моей юности, до начала войны и тюрьмы. Это потому, что, начиная от войны и тюрьмы, жизнь была настолько уплотнена, что я должен был — это я описываю в «Телёнке», — я должен был заниматься работой, математикой, конспирацией и писанием, и ещё в диких местах, углах. А литература свежая XX века, она пришла уже гораздо позже, всё это опаздывает в переводах и поступлениях. Когда я формировался в юности как писатель, на меня главное воздействие оказали: в самом раннем возрасте — Шиллер, затем Диккенс, Шекспир и Бальзак. Бальзак — тоже как мастер большой формы, многих романов, связанных в цепи. Диккенс — своим мировосприятием.

Что именно осталось ценным для вас из ваших ранних экспериментов девятнадцатилетнего возраста, что именно вошло в «Август Четырнадцатого»?

Есть такое математическое понятие «инвариант», то есть то, что не меняется со временем, или со сменой условий. Обычно инвариант у меня — это конструкция. В каждой работе я раньше всего угады-

ваю общую конструкцию, и она оказывается наиболее инвариантной. Так что можно сказать, что план «Августа» у меня в основном был готов уже в 19 лет, а кроме того, несколько первых глав, когда Воротынцев приезжает к Самсонову, эти главы просто почти вот так и были написаны. Конечно, в языковом отношении переработаны, но весь сюжет такой.

Но в то время был ли взгляд автора на революцию как на моральное событие — таким же, как и теперь?

Сам «Август» ещё не затрагивает революции, это всё целиком военное произведение, где революции ещё нет. Но, конечно, вся система Узлов мною тогда понималась иначе. Можно сказать, например, что я весьма симпатизировал Ленартовичу, такой революционно настроенный молодой человек. А теперь вижу его диаметрально противоположно, но описываю в прежнем сюжете.

Вы упоминали о Горьком в разных контекстах, но хотелось бы знать вашу оценку его в литературном смысле; теперь, как вы, наверно, знаете, его ценят довольно высоко на Западе, и в частности, например, сейчас в Нью-Йорке идёт его пьеса одна.

Литературно я считаю его фигурой второстепенной. Талант у него, конечно, не малый, но он дал, чтобы этим талантом играли партийные воззрения, такие модные тогда воззрения радикальные и коммунистические. А после его возвращения в Советский Союз, в конце 20-х годов, он стал мрачной фигурой, он стал пособник палачей. Он разделяет ответственность за разгром всей русской литературы в советское время.

А как воспринимаются вами писатели-эмигранты? Может, вы хотели бы высказать своё отношение к литературному творчеству в эмиграции?

Могу, но хотел бы контрвопрос пока задать: почему вы спрашиваете меня об эмиграции раньше, чем о литературе в метрополии? Считаете ли вы, что там её нету?

Так вот, появление «Ивана Денисовича» сопровождалось таким стечением обстоятельств, которое можно определить вероятностью в одну двадцатимиллионную. Вообще положение в Советском Союзе для литератора, глубоко связанного с правдой, и с народной жизнью, и с языком, для него положение безвыходное, потому что если он будет пытаться печататься, тогда он должен сразу поддаваться цензуре и искажать свои произведения. В «Телёнке» я, например, пишу, что я вообще думал, что никогда в жизни не буду делать даже попыток печататься, что я пишу для потомков. Вообразим на минутку, что я послал «Ивана Денисовича» за границу, вот как обычно переправляют за границу, — то не только коммунисты сказали бы, что это ложь и вздор, но и многие левые круги, радикальные, то же самое бы говорили, что это просто фантазия и клевета на советскую систему. И если на художественные особенности «Ивана Денисовича» не обратили внимания даже когда он пришёл через бум в Москве, то тем более никто бы не занимался этими подробностями тогда, когда всплыла бы на Западе какая-то «лживая» повесть, фантастическая. Так ситуация была неповторима. Хрущёв, так сказать, искал палку, которой ударить Сталина, и тут вдруг ему «Иван Денисович». Кстати, характерно, что у меня в «Иване Денисовиче» имя Сталин вообще не было упомянуто ни разу, потому что мой удар был сразу по советской системе. Хрущёв этого не заметил, а в редакции «Нового мира» меня уговорили косвенное одно упоминание о Сталине дать.

Это — «батька усатый»?

Да, да... В этом тоже неправды не содержалось. Теперь, каково положение писателя, который — вот такой, подобный мне, — тайно пишет в Совет-

ском Союзе. Положение то же самое: если он будет печататься публично, он должен искажать свои произведения. Вот Евгений Носов, «Усвятские шлемоносцы». Переводить его почти невозможно: его богатому языку просто нет ряда эквивалентов в английском языке... А кроме того, как объяснить американскому читателю искажения советского типа? Так вот, хотя Носов сделал шаг в печать, и книга его высокого качества, а пути на Запад ей нет. То же можно сказать и о книге Василия Белова «Кануны». «Кануны», во множественном числе, — это перед советским разгромом, это перед коллективизацией. У Белова больше искажений для цензуры, чем у Носова. Но тоже очень талантливый. И вот эти книги, по сути, сейчас для Запада закрыты. Из-за цензурных искажений и из-за языка. А если бы авторы просто на Запад послали, то и тем более было бы закрыто, даже вообще никакого авторитета не было бы у этих книг.

Потому что нет интереса?

Никакого доверия не было бы, перевести их полноценно — невозможно, а доверия никакого нет, они слишком глубоко связаны с языком и с национальной жизнью, деревенской, которая непонятна для Запада. Тут очень важное такое обстоятельство: сейчас Запад подхватывает одно за другим произведения из советской литературы, но это произведения, которые не напитаны русским языком коренным и не так неустранимо связаны с корнями русской жизни. И эти произведения, которые Запад подхватывает, они более соответствуют представлениям Запада, и, кроме того, они легко переводимы. Получается, что чем беднее русское произведение русским языком, тем легче для него успех на Западе. Всё это трагическое следствие того, что литература не может развернуться у себя в стране, а где-то. С русской литературой такая же картина, как с непониманием русского народа вообще. То есть Запад получает из Самиздата сейчас литературу, печа-

тает, но главного стержня русской литературы не видит. И вполне допускаю, что сегодня ещё второй или третий Солженицын вот так же сидит, пишет взрывную книгу, а выхода ему никакого нет. После того, что наша страна пережила, такие трагедии за 60 лет, литература наша чрезмерно должна быть богата, но — ей закрыты все пути.

В каком-то смысле все русские писатели в одинаковом положении, высланные ли реально на Запад или просто, так сказать, внутренние эмигранты... Как раньше говорили, что все значительные писатели как бы ссыльные, они в ссылке находятся в какой-то мере. Но при внутренней ссылке эти авторы всё-таки остаются в связи с национальным опытом?..

Трудно эти положения сравнивать, так глубоко они различаются. Я — всё время ощущаю потерю, я должен находиться *там*, со своим народом, и быть в его национальной жизни. Характерно, что выезжают на Запад из писателей именно те, кто меньше связан с русским языком и меньше связан с русским национальным бытием. Для них такой переезд менее болезненный, а при интернациональном направлении творчества — особенно, и, кроме того, они могут более уверенно рассчитывать на успех на Западе. Исключение из них — Владимир Максимов, очень укоренённый в современной русской жизни. А вот из тех писателей, их тоже наберётся с десяток, ни один не выехал и не помышляет. И я их понимаю. Они не могут жить в другой обстановке. Им остаётся ждать лучших времён, когда наконец коммунизм у нас упадёт.

Можно в каком-то значительном смысле считать такого самого известного, как Набоков, или из молодых Бродский, или схожих с ними писателей, всё-таки частью русской литературы?

Набоков — я уже не раз говорил, — по оценке его таланта я его считаю гением. Когда он оказался в эмиграции, он написал ряд блестящих романов на русском языке. Надо сказать, что русским языком он владел очень хорошо. Но те книги его, даже потом переведенные, настоящего успеха на Западе не имели. Затем Набоков, поняв, что он не найдёт пути к западным читателям, и пользуясь своим блистательным знанием английского языка, совершил ломку своего писательского пути, невероятный в истории литературы случай! Сменил язык! Это как бы человеку переродиться и душу себе сменить. И он действительно имел мировой успех. Но уже потеряв всю особенность и сочность русских корней. А Бродский... Бродский — очень талантливый поэт, но характерно у него следующее: лексика его замкнута городским интеллигентским употреблением, литературным и интеллигентским. Слой глубокого народного языка в его лексике отсутствует. Это облегчает его перевод на иностранные языки и облегчает ему самому быть как бы поэтом интернациональным. И естественно, что он пользуется на Западе таким большим успехом.

Возвратимся снова к «Телёнку». Вы пишете о литературной деятельности: «Я уверен, что правда — самое важное в литературе». Какие тогда вы могли бы указать главные направления, в которых ваше творчество изменилось, например, после «Ивана Денисовича»? В какой мере важна для вас работа над формой? Из чего она складывается? Что вы пишете в «Телёнке» о старении форм?

Когда я пишу, что я не учёл, что формы подвержены старению, я имел в виду только то, что современный театр не похож на театр моей юности. Пожалуй, мои пьесы для современного театра несколько старомодны. А что касается всех остальных форм моей прозы, то я принципиальный традицио-

налист. Я нисколько не считаю, что надо гнаться за быстро меняющейся модой. Я применяю много новых приёмов, в Узлах например, — но не для того, чтобы вообще развивать их или быть современным, а для того, чтобы наиболее экономно справиться с материалом. Вот, например, Февральская революция, три недели Февральской революции. Это, я считаю, крупнейшее событие не только для России, но и для всего мира в XX веке. Что такое значит показать в одной книге всю революцию? Не какой-нибудь эпизод, не каких-нибудь там пять действующих лиц, а у меня их две сотни действующих лиц и много сотен эпизодов. Ясно, что нужны новые приёмы для того, чтобы это всё плотно уместилось. Формальные приёмы мои складываются... Из чего вообще складываются художественные приёмы писателя? Они складываются из его личности, из материала и из традиции его литературы, в данном случае русской. Вот и всё. А просто придумывать новые приёмы я считаю недопустимым и невозможным. Трудно назвать формальным, но может быть решающий художественный приём — это композиция, построение вещи.

Вы говорили, что в Советском Союзе отсутствует душа и всё убито официальной казёнщиной. Но, однако, впечатление, которое я получил от «Телёнка», в частности от дискуссий в «Новом мире», такое: очень интенсивная заинтересованность и полное погружение в литературную культуру. Создаётся впечатление интенсивной литературной жизни, культуры, которая продолжается за этим фальшивым фронтом, фальшивыми эпитетами, лозунгами, которые на поверхности. Главный вопрос тогда сводится к тому: как вы считаете, чтó поддерживает такую интенсивную жизнь и литературные интересы, если у них в конце концов нет как бы связи органической с реальной жизнью, нет исхода, так сказать?

Если на вас надеть противогаз, очень трудно дышать, но вам необходимо дышать, и в тех пределах, как вы можете, вы будете — и очень интенсивно.

Как повлиял на ваше творчество закон компрессии и декомпрессии? Вы упоминаете в «Телёнке»...

Я охотно отвечу, но какое именно место в «Телёнке» вы имеете в виду? Я много раз замечал не только по себе и не только в литературном творчестве, что сжатость обстоятельств вынуждает более активную и направленную деятельность. Человек в таких условиях делает больше, чем он может в распущенном, свободном состоянии. Это вообще в искусстве известно и в такой форме: как закон экономии художественных средств. Меня жизнь раньше искусственно помещала в сжатое состояние, но надо сказать, что отчасти жизнь, а отчасти, очевидно, свойства моего характера выработали во мне самоограничение. И в художественном творчестве, и в самом процессе работы я всегда ставлю себе наиболее жесткие рамки из возможных. Так вот, я настолько привык работать в этом сжатии, что оно стало моим естественным состоянием. И теперь, когда здесь на Западе как будто бы внешние обстоятельства расступились и не давят, я по-прежнему сам нахожусь в том же сжатии и в той же гонке, понимаете, гонке в смысле времени. Но, кроме того, есть два объективных обстоятельства, которые заставляют меня быть вот так же сжатым: объём моей работы едва-едва помещается уже в мой возраст, возможную длительность моей жизни. И кроме того, в России так много талантливых людей погибло, так много не описано и не рассказано, что это долг поколений, долг целой страны, он давит на меня каждодневно.

Я хотел бы сказать ещё немного шире о принципе самоограничения. Принцип самоограничения не только мой творческий принцип или личный принцип, но я его распространяю... я считаю его одним из самых основных принципов вообще человеческой

жизни, который совершенно — особенно в XX веке — упускается. В нашем сборнике «Из-под глыб» — вы знаете его? — там есть такая статья: «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни». Там я это излагаю подробно. Вообще это моя главная программная статья. И характерно, что вот сейчас, во множестве выступлений, направленных против моих взглядов, все противники избегают этой статьи, как будто её вообще нету. Я очень был бы признателен вам, если бы вы это обстоятельство не упустили отметить.

Что главное для американского и западного читателя, что он может почерпнуть в этой книге? В частности подзаголовок, «очерки литературной жизни»? Для Советского Союза это будет звучать слегка иронически? В самой книге как бы отмечается победа литературы над литературной жизнью.

Когда я подписываю «очерки литературной жизни», то я этим что хочу сказать? Вот я вам буду сейчас рассказывать про беспощадную войну, а назовём это «очерки литературной жизни». Это не только слегка иронически, это полностью ироническое... Это значит — до чего довели нашу литературную жизнь, что она уже не похожа на литературную жизнь. Для американского читателя... картинки того, до чего довели литературу в Советском Союзе, вероятно, интересны. Но вот характерно, что советские читатели, которые читают «Телёнка» в Самиздате, ну, в привезенных с Запада книгах, и, потом, которые слушали сплошную почти передачу по радиостанции «Свобода», — рассматривают эту книгу и ценят её главным образом как такой образец: что может сделать один человек с голыми руками, если он смело выходит на Левиафана. Это — практика борьбы одного человека против государства, доступная не только писателю, это могут и другие повторять, такой поединок. И этот главный поединок вынесен в название.

На том, как эта книга будет принята, могли бы отразиться и политические обстоятельства. Вторжение в Афганистан могло создать атмосферу, в которой возникла бы увеличенная чувствительность к этим проблемам. Но, как мы знаем, и Афганистан уже как бы отошёл с переднего плана, и вообще необязательно чувствительность от этого увеличивается, к сожалению.

Мне — трудно предсказать, насколько американскому читателю пойдёт в голову эта книга. Но я бы хотел сказать... Я в своих статьях, выступлениях пытаюсь внушить, что надо понимать ситуацию не мгновенную, не одноминутную, не так, что вот сегодня Советский Союз захватывает Абиссинию, а завтра захватывает Афганистан, сегодня эмиграцию в Советском Союзе задержали, а завтра чуть-чуть послабили, — надо смотреть в суть вещей. Все эти колебания одноминутны, одномесячны, они проходят, и вот уже уговаривают, что надо забыть... Надо смотреть в суть вещей, что коммунизм есть враг человечества. Он — враг всех наций, всех видов деятельности человека, и каждого человека, кто не стал к нему на службу. И в этом смысле, для понимания природы коммунизма, существенно и то, как он кромсает вот литературную жизнь, например, в своей стране. Содержание этой книги должно восприниматься независимо от колебаний текущей политики.

Я хотел бы затронуть другую тему. Я хотел бы знать, насколько вы должны были изменить ваши методы работы, или, скажем, навыки работы, когда вы обратились к историческим исследованиям от таких произведений, которые были основаны на вашем личном опыте? И в частности то, что вам теперь стали доступны архивные материалы на Западе, изменило ли это существенным образом вашу концепцию и понимание общей темы?

Я должен сказать, что работа над моими Узлами в некотором смысле есть следующий шаг после «Архипелага», и логический, и, как бы сказать, ремесленный, по мастерству, по принципу работы. Как я собирал материалы по «Архипелагу»? У меня были личные впечатления, некоторое количество книг, очень малое, потому что в Советском Союзе их не существует, и затем у меня был поток рассказов 227 человек. Ни один из этих людей не рассказывал то, что я бы хотел, и даже почти я не мог его направить, каждый просто приходил и валил мне всё, что он хочет рассказать. Не только от человека к человеку резко менялась тематика, но и внутри самого рассказа одного человека — самый разнообразный материал! И вот мне нужно было этот текущий хаотический материал построить строго определённым планом. Если бы я «Архипелаг» излагал так, что один рассказывает вот что, второй рассказывает вот что, третий рассказывает вот что... — никто бы читать не стал, заснули бы. Нужно было перестроить всё это, перестроить. Как бы разбить на мелкую мозаику все рассказы и всю эту мозаику переместить вот так, между собой, и потом построить картину стройную. В этом смысле работа над Узлами повторяет ту же ситуацию. Есть очень богатая литература на русском языке, исключительно богатая, но так же точно ни одна книга не приспособлена для написания моего романа. А кроме того, я успел на Западе обратиться к старым эмигрантам, участникам событий, и я тоже собрал приблизительно около 300 письменных показаний свидетелей, которые вообще никому не известны и которые рассказывают главным образом не об исторических событиях, а о личных своих. И вот мне нужно их так же точно раздробить на мелкую мозаику, и книги, и эти показания свидетелей, и из этого всего создать цельную картину. Ну, разумеется, эту работу я вёл и в Советском Союзе, но на Западе мне удалось её гораздо вольнее вести. Потому что и книги доступны, и все эти люди могли мне свободно писать. А концепция?

Да, печатные материалы по Февралю очень углубили его понимание.

> Хочу поднять вопрос о Собрании сочинений, потому что многие читатели как-то неточно себе представляют, в каком соотношении новое Собрание сочинений — и то, что было уже опубликовано раньше, каковы планы ваших переделок? Переделка, например, «Архипелага»... Но хотелось бы начать с Узлов: как то, что опубликовано, соотносится с тем, что вы готовите в Собрании сочинений?

Узлов? Так, «Август», как он есть, он весь входит в новый «Август», только к нему добавлено ещё страниц 450. Тот «Август», который был, не меняется нисколько. То есть вернее так, самсоновская катастрофа вся остаётся как она есть, но я добавляю несколько глав о царе и о революционерах, и таким образом даю как бы некоторый ретроспект в предысторию. «Ленин в Цюрихе» просто входит — одна глава в «Август», потом 6 глав в «Октябрь» и 3 главы в «Март», они просто, как есть, распадаются. Дело в том, что я его напечатал только потому, что когда это ещё будут Узлы, а хотелось собранно дать «Ленина»... Как я задумал и всю жизнь шёл, я готовил 20 Узлов, но я думал, что каждый Узел будет в одном томе. Годы уходили, а работа расширялась. И у меня «Август» получился в двух томах, «Октябрь» в двух томах и «Март» в четырёх, — таким образом, всё вместе уже составляет 8 томов. Ещё несколько лет мне нужно на эту работу. А поэтому я не рассчитываю, теперь уже не уверен, смогу ли я продолжать дальше или не смогу. И потом я не уверен: читателю, если он охватит так вот Февральскую, — может быть, и хватит? Просто читатель тоже утомится. Возможно, если останутся годы жизни, то я ещё вернусь к малой форме. Собрание сочинений мы начали готовить примерно с моего 60-летнего возраста: так уже пора, то есть можно по времени. Мы сейчас его издаём по-русски, но предполага-

ется также вослед за тем издание по-французски и по-английски. По-русски через год будет кончен уже выпуск первых 9 томов, первой серии. А вторая — ещё 9 томов. Четыре тома уже у читателей. Ну, что сказать об этом Собрании сочинений? «В круге первом» я дал там в истинном варианте, которого я не мог давать, когда я был в Советском Союзе. Да, 96 глав, но там не только добавочные главы, там сменён... там совершенно другой стержень сюжета. Этот дипломат Володин звонит не относительно какого-то лекарства, он звонит в американское посольство о том, что через три дня в Нью-Йорке будет украдена атомная бомба, секрет атомной бомбы, и называет человека, который возьмёт этот секрет. А американское посольство никак этого не использует, не способно воспринять даже этой информации. Так на самом деле было, это истинная история, и секрет был украден благополучно, а дипломат погиб. Но, поскольку я был на этой шарашке, где обрабатывалась его лента, вот, значит, я и знаю эту историю. Итак, в «Круге»-96 не просто дополнительные главы, а стержень действия меняется. Но, когда я был в Советском Союзе, предлагать такое «Новому миру» было совершенно невозможно, и тогда я даже не придумывал, а взял известную историю 1948 года, расхожий советский сюжет: предатель-доктор отдал лекарство за границу... Для Собрания сочинений надо всеми текстами я работаю ещё раз. Вот когда сдаю страничку, вот как вы сейчас видели, как с женой мы работали. Каждую страницу, перед тем как её печатать окончательно, я её ещё раз дотягиваю, если ещё могу, чтобы поднять её художественную высоту. Так доработан «Раковый корпус», например, так же «Архипелаг» и пьесы. Но в «Архипелаге», кроме того, я использовал ещё обильные письма, которые были мне написаны на Западе... одни добавляли мне ещё материал, а другие исправляли какие-нибудь неточности, которые я допустил. Так что я ещё подправлял, чтобы было всё безошибочно. А в конце идут тома публицистики, мои статьи и

выступления. И вослед начнём печатать вторую серию. Это уже Узлы будут.

Как объяснить резкую личную критику в ваш адрес после публикации ваших последних книг?

Я понимаю художественный метод писателя так: если он использует куски своей жизни, если он описывает как-то свою жизнь, а мне пришлось местами в «Архипелаге» её описывать, а местами в «Телёнке», то я считаю, что ведущий принцип должен быть у человека: он должен раскаиваться. Он должен указывать свои пороки, свои грехи, свои ошибки, свои непонимания, и только тогда создаётся вообще глубина художественная. Но и, кроме того, это единственный правильный способ для всех людей и всех народов найти сосуществование. Итак, я рассказал в своих книгах о себе много такого дурного, чего никогда бы никто не нашёл. Но у нас, не только в Советском Союзе, но и в современной западной общественной деятельности, раскаяние вообще не принято. Ни политические деятели, ни публицисты, ни журналисты не указывают про себя — «я ошибался», я был не прав, я совершил такой-то грех, некрасивый поступок... Но все заняты разоблачением других. И наша эмиграция, советская, тоже подчиняется этому закону. Они разоблачают советский режим, как будто сами они в нём не участвовали, не помогали. Но они все участвовали в нём, и каждый вложил свой вклад в этот ужас. Так вот, вместо того чтобы указать на свои грехи, они, пользуясь тем, что я о себе рассказываю, — «посмотрите, какой он плохой человек, он даже сам о себе пишет». А иногда приводят какой-нибудь дурной случай из моей жизни и даже не говорят, что я о нём написал сам, а как будто я его скрывал, а они открыли... Это особая ситуация, когда против художника стоят политики...

Вас упрекают и в том, что вы описываете в «Телёнке» вашу борьбу как единоличную.

Я писал в «Телёнке», что я вовсе не одинок, а держусь на подпоре невидимых помощников. Когда я писал «Телёнка», я должен был скрывать всех людей, которые мне тайно помогали, поэтому книга и производит такое впечатление: я стою один против государства и держусь как будто бы на воздухе, неизвестно на чём. Но у меня давно уже написано дополнение к «Телёнку» — ещё одно, Пятое, — оно, наоборот, описывает всех тех людей и все секреты, но вот этого сейчас невозможно напечатать, при нынешнем советском режиме. Не только потому, что люди находятся в Советском Союзе, — очень многие и на Западе, но всё равно им почему-нибудь, по каким-нибудь соображениям неудобно, чтоб это было объявлено. Я думаю, что это будет увлекательное чтение и многих даже поразит, но вот тем не менее я не могу его печатать...

Как вы воспринимаете свою высылку и будете ли вы писать об этом? О самом факте пребывания за границей?

Сейчас трудно ответить на этот вопрос, потому что сам человек оценивает этапы своей жизни главным образом уже апостериорно. Я сейчас до такой степени загружен материалом по русской истории, что абсолютно ничем другим не успеваю заниматься. При первой возможности вернуться в освобождённую Россию я туда вернусь. Если этот возврат затянется, тогда, возможно, я буду вести более активную жизнь на Западе и тогда, может быть, это даст мне новые материалы. А сейчас я никуда не выезжаю, не потому что мне не хочется видеть людей и путешествовать, а потому что я совершенно не имею ни одного свободного дня. Я наконец впервые в жизни получил условия, когда всё служит работе и нет помех. А если жизнь продлится и позволит — то конструкция «Телёнка» допускает и дальнейшие дополнения.

ОБ АРЕСТЕ ИОСИФА ДЯДЬКИНА

Заявление для прессы

14 мая 1980

28 апреля в СССР в г. Калинине (Тверь) арестован геофизик Иосиф Дядькин. Недавно в своей самиздатской работе он произвёл статистическую демографическую оценку неестественной смертности в СССР с 1929 по 1956 год — тех цифр уничтожения, которые коммунистическая власть тщательно скрывает. За попытку выяснить их он несёт расплату. Его научная работа лишена всякого политического аспекта.

Я призываю независимых учёных Запада, особенно социологов и демографов, вступиться за коллегу. При таких методах подавления мы и никогда не узнаем исторической правды.

О ФРАГМЕНТАХ г-на СУВАРИНА

Я затрудняюсь иначе определить жанр сообщения г-на Суварина по поводу моего открытого письма к нему в «Histoire». Как прежде в своей пространной критике моей книги «Ленин в Цюрихе» он миновал главные вопросы её, так и в отклике на моё письмо снова минует их, — и представляет в возражение не концепцию, но несвязанные фрагменты весьма разной значимости.

В каком же смысле он настаивает и сейчас на *законности* переезда через воюющую Германию русских социалистов (тех, и только тех, которые имели целью вывести Россию из войны)? Законность — по каким законам? Признаёт ли г-н Суварин сегодня, что по законам всех тогдашних союзных государств это была государственная измена, а не просто 400 революционеров «торопились домой»? Он прямо пишет, что считает их безупречными, — стало быть, по законам Коминтерна. Вот этот реликт и делает невозможным нам с г-ном Сувариным найти общий язык: для России Коминтерн был вампир, выпивший её кровь и соки. «Ранняя» советская власть была такая же грязная и жестокая, как и «поздняя».

Парадоксально звучит возмущение Суварина, что изо всех тех 400 «почему-то» выделили Ленина «как кинематографическую звезду». Он выделился сам своим беспредельным цинизмом, лицемерием, лукавой хваткой — не как «звезда» вовсе, сравнение не подходит, но как крупнейший злодей русской и мировой истории. Именно Ленин (и Троцкий), а не кто-нибудь другой возглавили бандитский октябрьский переворот против беззащитной русской демократии,

а затем установили массовый террор. Как может г. Суварин употреблять слово «обелён» по отношению к убийце миллионов, в сочинениях которого с гордостью печатаются его приказы захватывать невинных людей заложниками и расстреливать их? Ленина (как и Троцкого) уже ничто не «обелит» до конца человеческой истории.

К счастью, г-н Суварин не отрицает подлинности 136 документов, напечатанных Земаном. Но он даёт им изумительную трактовку: ни Ленин, ни газета «Правда», ни, очевидно, и все большевики ни в чём не скомпрометированы! — они просто «не знали, от кого» текут им миллионы! Да любой средний читатель, кто беспристрастным взглядом прочтёт эти документы (а ещё сколько личных и самых важных контактов не попало в них!), увидит решающее материальное вмешательство Германии в русскую революцию на стороне большевиков — и что помощь эта принималась жадно и радостно. Не отрицает Суварин и 29 скандальных большевицких финансовых телеграмм 1917 года — но обороняется на том, что «судебные преследования ничем не кончились». Да, из-за безграничной нерешительности и бессилия Временного правительства, — но это никак не очищает большевиков до уровня ягнят. Нельзя без смеха прочесть у Суварина объяснение Иностранного Бюро ЦК в Стокгольме: три первоклассных функционера-интригана большевицкой партии оставлены в Стокгольме для того, чтобы две их жены напечатали на машинке один бюллетень. Через этот-то стокгольмский центр и осуществлялась в 1917 году парвусовская и непарвусовская связь с питающими германскими финансовыми источниками (по Эд. Бернштейну — 50 миллионов золотых марок). И на эти деньги большевики становились на ноги и осуществляли именно такие тиражи сотен газет и листков, которые в три месяца разложили 10-миллионную армию, что и требовалось. Эта германская помощь большевикам продолжалась и после октябрьского переворота — все месяцы до убийства Мирбаха.

(В последний месяц ещё было назначено для германского посольства в Москве 40 миллионов марок.)

Тайная встреча Парвуса с Лениным в Берне, отрицаемая Сувариным, подтверждалась даже ранней советской печатью («Бакинский рабочий», 1 февраля 1924). Что даты перемещения Ленина по Швеции в апреле 1917 зачем-то фальсифицированы советскими историками — показал Ф. Платтен-младший («Volksrecht», апрель 1967, серия статей). Не только новая встреча с Парвусом или контакты через Ганецкого и Радека должны были быть утаены, но и сам Парвус, прежде подробно изучаемый в советских марксистских курсах как видный социалист, затем вовсе выброшен как несуществовавшая личность, также и из 2-го издания Большой советской энциклопедии.

Поскольку г-н Суварин имеет преимущество знания русского языка, он мог бы и лично убедиться в русском издании «Ленина в Цюрихе», что слово «запломбированный» не употреблено *ни разу*, — и не предъявлять мне этого обвинения. И если Балабанова «проделала через Германию ленинский путь» — это ни на каком языке не значит, что — в одном вагоне с ним.

Так постепенно г-н Суварин мог бы перестать считать меня сочинителем-беллетристом, но заметить, что во всех моих книгах я нахожусь у истории на службе.

Июнь 1980

БАСТУЮЩИМ ПОЛЬСКИМ РАБОЧИМ

Телеграмма, 20 августа 1980

Восхищаюсь вашим духом и достоинством.

Вы даёте высокий пример всем народам, угнетённым коммунистами.

Ваш

Александр Солженицын

ПО ПОВОДУ СУДА НАД СВЯЩЕННИКОМ ГЛЕБОМ ЯКУНИНЫМ

25 августа 1980

Бесстыдное советское правительство ещё раз вынуждено приоткрыть миру, как оно боится веры в Бога и глумится над правами верующих: расправляются с комитетом защиты верующих всех религий в СССР — с отцом Глебом Якуниным и его сподвижниками Львом Регельсоном и Виктором Капитанчуком. Христиане нашей страны чтут их мужественный и мученический подвиг.

ОБ УГРОЗЕ ПОЛЬШЕ

4 декабря 1980

Кровавые последователи Ленина продолжают ломиться за своей несбыточной мечтой покорить мир — не считая, сколько народов, чужих и своих, будет перемолото и опозорено в той мясорубке.

В эти дни сердце подневольного русского народа — вместе с польским.

КГБ ТОПЧЕТ ДАЛЬШЕ

22 января 1981

В эти дни советская госбезопасность сжимает горло Русского Общественного Фонда помощи заключённым. После самой большой со времён Сталина кампании арестов среди верующих и инакомыслящих, начатой в августе 1979, власти наступают подавить даже молчаливые действия солидарности населения с узниками: для международной агрессии им нужен абсолютно контролируемый тыл, до конца.

Сергея Ходоровича, достойного и жертвенного распорядителя Фонда в течении трёх последних лет, — сперва пугали ножом подставных бандитов, потом избила милиция, теперь выгнали с работы, толкают в тюрьму. В Москве и провинции ведут обыски и допросы о работе Фонда: никто не смеет в Советском Союзе помогать жертвам! Ни Ходорович, ни помощники Фонда не занимаются никакой политической деятельностью — только пособием заключённым и их бедствующим семьям. Сегодня КГБ распространяет внутри страны клевету, что деньги Фонда — это средства ЦРУ. Я ещё раз заявляю передо всем миром, что все средства Фонда — только гонорары за мою книгу «Архипелаг ГУЛаг», чекистские палачи это знают сами, — и на этой подлой лжи им своих обвинений не выстроить.

КОНФЕРЕНЦИИ ПО РУССКО-УКРАИНСКИМ ОТНОШЕНИЯМ

Конференции по русско-украинским отношениям в Торонто Гарвардскому Украинскому Исследовательскому Институту

Апрель 1981

Многоуважаемые господа!

Сердечно благодарю вас за приглашение на конференцию. К сожалению, уже многие годы интенсивность моей работы не позволяет мне выезжать и принимать участие в общественных мероприятиях. Но ваше приглашение даёт мне повод и право высказать некоторые соображения письменно.

Я совершенно согласен, что русско-украинский вопрос — из важнейших современных вопросов, и во всяком случае решительно важен для наших народов. Но я считаю губительным тот накал страстей, ту температуру, которая вокруг него вздувается.

В сталинских лагерях мои русские друзья и я всегда были заедино с украинцами, и мы стояли одной стеной против коммунизма, и между нами не возникало упрёков и обвинений. А в последние годы созданный мною Русский Общественный Фонд широко помогает зэкам украинцам или литовцам, никак не меньше, чем русским, — да не знает он национальных различий, но только жертвы коммунизма.

В нынешней повышенной страсти — нет ли эмигрантской болезни, потери ориентировки? Против коммунизма реально делается очень мало (да и большие группы эмиграции всё ещё отравлены соци-

алистическими утопиями), а вся страсть кидается на обвинение братьев. Я предлагал бы не преувеличивать, насколько эмиграция понимает и представляет истинные настроения своей метрополии, особенно кто оттуда давно или даже родились за границей. И если ваша конференция начинает основательный диалог о русско-украинских отношениях, то надо ни на минуту не потерять из виду: отношения между *народами*, а не между эмигрантами.

И обидно, что этот спор быстро теряет всякую нравственную высоту, всякую мыслимую глубину, все исторические объёмы, а сводится только к лезвию: сепаратизм или федерация (как будто по ту сторону этой струны уже не будет ни одной проблемы). Может быть, и от меня хотят услышать только этот единственный ответ?

Я неоднократно высказывался и могу повторить, что никто никого не может держать при себе силой, ни от какой из спорящих сторон не может быть применено насилие ни к другой стороне, ни к своей собственной, ни к народу в целом, ни к любому малому меньшинству, включённому в него, — ибо в каждом меньшинстве оказывается своё меньшинство. И желание группы в 50 человек должно быть также выслушано и уважено, как желание 50 миллионов. Во всех случаях должно быть узнано и осуществлено *местное* мнение. А поэтому и все вопросы по-настоящему могут быть решены лишь местным населением, а не в дальних эмигрантских спорах при деформированных ощущениях.

Эта здешняя искажённая атмосфера, увы, уже известна. Но приведу характерный пример. Год назад в американском журнале «Foreign Affairs» я напечатал статью, всё содержание и смысл которой был: упасти Запад от того, чтобы величайшее интернациональное и уже полуторавековое (если не двухвековое, от якобинцев) зло коммунизма успокоительно понимать как русское национальное явление. Я подчёркивал, что в с е народы, захваченные коммунизмом в любое десятилетие и в любой части

планеты, являются (и могут стать) жертвами его. Казалось бы, в наше время, когда коммунизм уже гнойно роится на четырёх континентах и захватил полмира, среди *каждого* народа найдя себе и добровольных слуг, — такое ложное предубеждение не могло бы держаться, и особенно у людей и наций, близко коснувшихся коммунизма. Но, к изумлению моему, некоторая часть украинской общественности в Соединённых Штатах реагировала на мою статью (не содержавшую ни слова худого об Украине) — бурно враждебно и совершенно парадоксально. Укажу, например, статью Л. Добрянского, помещённую в «Congressional Record» (июнь 1980), затем брошюру «Порабощённые нации в 1980», изданную американским комитетом Украинского Конгресса. За то одно моё утверждение, что русский народ, *как и все остальные,* порабощён коммунизмом (и никаких претензий на особенные в чём-нибудь права русского народа), — только за это я был осыпан вереницей обвинений в «воинствующем национализме», «русском шовинизме» и даже подведен под «коммунистического квислинга». Статья Добрянского переполнена исступлённой, навязчиво-повторительной ненавистью к русским, предлагает понимать Россию по Марксу, а нынешний коммунизм называет *мифическим*! Так же и брошюра использует о России ходячую ленинскую формулу. Авторы брошюры и сегодня настаивают, что, например, континентальный Китай и Тибет захвачены русскими и русский народ является всеобщим в мире поработителем (очевидно сам от того процветая?). Летом 1980 в Баффало на украинском митинге в Неделю Порабощённых Наций ведущий оратор развивал это так: Солженицын безучастен к порабощённым народам, он *больной, нуждающийся в лечении* (хорошая советская формулировка). «К о м м у н и з м — э т о м и ф! — возглашал он. — Весь мир хотят захватить не коммунисты, а русские.» Чья рождаемость подорвана ниже критического уровня, миллионные массы бедствуют от голода, а старателей религиоз-

ного и национального самосознания бросают в тюрьмы.)

Эти настойчивые возглашения, что «коммунизм — миф», могут только всех нас сделать рабами на пяти континентах и на десять поколений вослед. Протрезветь Америке о мировом коммунизме, оказывается, не надо, и проблемы самой нет.

Да, господа, в такой атмосфере, в таком ослеплении — ничего нельзя обсуждать, и бесплодны будут всякие диалоги и конференции. Прочный анализ современности и будущего может зиждиться только на понимании того, что коммунизм есть зло интернациональное, историческое и метафизическое, а не московское. (И всякий социалистический аспект — всегда прикрывает и смягчает злодейскую необратимость коммунизма.)

Слушаешь этих самоуверенных нападчиков и изумляешься: правда ли, что они причисляют себя к христианам? Но сеять ненависть между народами — не приведёт к добру никакую сторону. Взаимная доброжелательность должна опережать и превышать всякую остроту доводов. Никакой постановки никакого национального вопроса нельзя признать вне принципа самоограничения и раскаяния.

Мне особенно больно от такой яростной нетерпимости обсуждения русско-украинского вопроса (губительной для обеих наций и полезной только для их врагов), что сам я — смешанного русско-украинского происхождения, и вырос в совместном влиянии этих обеих культур, и никогда не видел и не вижу антагонизма между ними. Мне не раз приходилось и писать и публично говорить об Украине и её народе, о трагедии украинского голода, у меня немало старых друзей на Украине, я всегда знал страдания русские и страдания украинские в едином ряду подкоммунистических страданий. В моём сердечном ощущении нет места для русско-украинского конфликта, и, если, упаси нас Бог, дошло бы до края, могу сказать: никогда, ни при каких обстоятельствах, ни сам я не пойду, ни сыновей своих не

пущу на русско-украинскую стычку, — как бы ни тянули нас к ней безумные головы.

Но в толще населения, ежедневно страдающего от коммунизма, *нет* взаимной нетерпимости, все вопросы видятся и глубже, и ответственней. И наши взаимные проблемы XX века не решаются единственно тем, что когда-то одна наша ветвь подпала под господство татарское, а другая под польское, или выяснением, кто же был Илья Муромец на службе в Киеве — русский или украинец. Русско-украинский диалог не может идти лишь по одной линии различий и разрывов, но и — по линии трудно отрицаемой общности. Из страданий и национальных болей наших народов (всех народов Восточной Европы) надо уметь извлечь не опыт раздора, но опыт единства. Шесть лет назад я уже попытался выразить это в обращении к страсбургской конференции народов, порабощённых коммунизмом, я прилагаю сейчас его дополнением и прошу вас также огласить на вашей конференции.

Вот — всё, что я мог бы сказать в предлагаемой вами дискуссии.

Это письмо я считаю открытым.

С самыми добрыми пожеланиями

А. Солженицын

АКАДЕМИКУ САХАРОВУ

Телеграмма, 14 мая 1981

Дорогой Андрей Дмитриевич! Поздравляю Вас с 60-летием, за которое Вы успели проделать такой редкий душевный путь от избыточных к угнетённым. Никакие испытания не сламывают сильного характера, но закаляют его. Желаю Вам, чтобы вопреки насилию ссылка оказалась для Вас духовно плодотворна и открыла бы Вам новые глубины в служении своему народу.

Обнимаю Вас.

А. Солженицын

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ С КОНГРЕССМЕНОМ ЛЕБУТИЙЕ

об американском радиовещании на СССР

12 октября 1981

Александр Исаевич, если бы вы могли заведывать радиопередачами в Советский Союз, что бы вы делали и как бы вы делали? Какие бы у вас были цели?

Ваш вопрос для меня совсем не чужд. Я тридцать лет тесно соприкасаюсь с тем, что представляет собой американское радиовещание на русском языке в Советский Союз. Я не буду говорить ничего о радиовещании на других языках. Не знаю. Может быть, там повторяются те же ошибки, может быть, не повторяются, но я хорошо знаю, как это идёт на русском языке. Тридцать лет назад, в 1953 году, когда я только освободился из лагеря, на первую же зарплату я купил себе радиоприёмник. Это было в ссылке, в Казахстане, и считалось там даже криминальным, подозрительным: зачем ссыльный покупает себе приёмник? А я прикладывался ухом через всё это страшное глушение и пытался понять, выловить какие-то куски информации. И так научился, что даже если я половины фразы не улавливал, то по нескольким словам восстанавливал. Двадцать лет в Советском Союзе я слушал непрерывно западное радиовещание на русском языке, и радовался всем успехам его, и пользовался его информацией, и глубоко огорчался ошибкам его.

То есть вы сидели у себя с приёмником около уха и крутили, чтобы поймать?

Да, чтоб расслушать через этот грохот, надо уметь услышать. Если вот так поднести ухо, то можно иногда лучше слышать. И вот я огорчался теми

недостатками, которые это радиовещание имеет. И надо сказать, что эти недостатки оно имело все минувшие годы. Трудно переоценить значение той силы, какую могло бы представлять радиовещание, если бы Америка вела его правильно.

> Считаете ли вы, что население Советского Союза и сегодня слушает радио и им трудно поймать?

Конечно, слушают, но разочаровываются, как и я, очень многие. Тут надо понять... Я боюсь, что те, кто определяют общее направление американского радиовещания на русском языке, от самого начала не понимали и сегодня не понимают главной цели и задачи этого радиовещания. Если бы они понимали правильно, то за эти тридцать лет картина в Советском Союзе и в других коммунистических странах была бы другая. То есть без преувеличения скажу, что, может быть, сегодня мы бы не считали, что существует опасность новой мировой войны. Цель должна состоять в том, чтобы найти, установить взаимное доверие, тёплую симпатию и контакт с угнетёнными народами. И таким образом оторвать их, помочь им оторваться от их коммунистических угнетателей.

> Вы говорите, что за истекшие тридцать лет Америка делала ошибки в политике радиовещания советскому населению и что третьей мировой войны, к которой мы, может быть, подходим, можно было бы избежать, если б не было этих ошибок?

Да. Я боюсь, что теоретики вашего радиовещания по сегодняшний день этого не понимают, потому что сегодня происходит не улучшение линии, а, например на радиостанции «Свобода», ухудшение, резкое ухудшение. Для того, чтобы правильно составить это общее направление, надо ответить себе ясно, по крайней мере, на два вопроса. Первый вопрос: какова ситуация в тех странах, на

которые идёт радиовещание? И второй вопрос: каково состояние тех народов угнетённых, каковы их потребности, какова их духовная жажда? Запад, весь Запад, включая Соединённые Штаты, как будто заколдован, обречён постоянно пользоваться не правильным представлением о ситуации в коммунистических странах, но обречён рисовать себе приятные картины, иллюзии, и руководиться и следовать этим иллюзиям. Я напомню вам, что в 30-е годы, в самое страшное время сталинского террора, когда Сталин уничтожал многие миллионы, — в это самое время ваша передовая публицистика провозглашала Советский Союз страной мировой справедливости, где создаётся самая лучшая правда на земле. А ваш президент Рузвельт в это самое время протянул руку помощи Сталину, и ваши бизнесмены бросились туда с технической помощью, без которой Сталин не мог бы создать начала своей промышленности. А вслед за этим, по окончании войны, без всякой надобности американская администрация подарила Сталину всю Восточную Европу и отдала коммунизму Китай. Спрашивается: с какой целью сильный Запад мог бросить такую жертву — Восточную Европу? Сегодня вы восхищаетесь Польшей...

> Я хочу уточнить. Считаете ли вы, что президент Рузвельт и американское правительство тогда неправильно понимали советское правительство? Это были люди, с которыми нельзя было дружески общаться?

Надо было понимать, что они враги своего народа, а этого не понимали, отождествляли. Администрация Рузвельта и потом ещё десятилетиями американское общественное мнение отождествляли советское правительство и угнетённый народ. А они на самом деле прямо противоположны друг другу. Так вот, я говорю, вы сегодня восхищаетесь стойкостью Польши, а зачем же отдали Польшу в коммунистическое рабство, зачем? Сегодня очень принято говорить, что там почему-то, в том же Совет-

ском Союзе, почему-то не борются, вот рабы, которые не хотят бороться за свою свободу. Но я считаю рабами не тех, кто сидит в тюрьме, я считаю рабами тех свободных, кто видит, как строют тюрьму, и благословляет это — пусть строют тюрьму! Сегодня, вот недавно, отмечали годовщину берлинской стены. Кто раб? Рабы — те восточные немцы, которые не могли помешать постройке этой стены, или рабы — те западные силы, которые спокойно смотрели, как строют берлинскую стену, и ничем не помешали? Рабы — те в Западной Германии, кто сегодня пошли демонстрировать против приезда Хейга, вот это рабы, они сегодня протягивают свои руки под советские кандалы, они хотят добровольно отправиться на ГУЛАГ, вот это рабы!

Для наших зрителей скажите кратко, в чём разница между советским правительством и русским народом. По вашим словам, правительство — враг народа.

Это — основной факт, который надо всё время понимать как фундамент, но который ваши руководители всё время упускают.

Касается ли это всех коммунистических стран?

Решительно всех коммунистических стран. А западное представление: поскольку на Западе правительство избирается народом, вам кажется, что правительство и народ — это одно и то же. На самом деле — нет, у нас тут пропасть.

По вашим словам, значит, выходит, что мы должны поставить себе целью найти союзников в русском народе против советского правительства?

Да. Да. Я хочу сказать, что Рузвельт совершил в тридцатые и сороковые годы великую историческую ошибку. Эта ошибка обошлась всему миру ров-

но в половину земного шара, может быть меньше половины территории, но больше половины населения. А сегодня главная опасность, если вы её не разгадаете, состоит в том, что вы можете повторить ту роковую ошибку Рузвельта. Странным образом, но все эти годы повторялась одна и та же ошибка. Например, с Тито. Тито — убийца, палач своего народа. Он уничтожал, сразу после мировой войны, расстреливал сотни тысяч своих граждан. И тянулся захватить Триест. И нагло сбивал гражданские американские самолёты около австрийской границы. Это сегодня уже всё забыто и прощено. И его вознесли как великого деятеля, вождя какого-то несуществующего «неприсоединившегося» направления.

В Америке, вплоть до его смерти, он считался чуть ли не героем. Он был тем, что у нас принято называть «хорошим коммунистом». Но мы-то знаем, что «хороших коммунистов» не бывает. Президент Картер даже был горд, что отправил свою мать на похороны Тито.

То же самое повторялось с Кубой. На Западе провозглашали, что происходящее на Кубе — это народная революция. И то же самое повторялось с Северным Вьетнамом. Там была тоталитарная банда, которая шла захватить всю страну. А ваша передовая общественность провозглашала, что это национальное движение за освобождение. Никарагуа — на ваших глазах: тоталитарная группа коммунистов захватывала власть, и администрация Картера спешила помочь им деньгами, чтобы укрепить своего скорого будущего врага. Но самое страшное — это Китай.

До того, как перейти к Китаю, — почему, собственно говоря, так модно среди наших передовых общественных деятелей восхвалять режим в Никарагуа и партизан в Сальвадоре, а также режим в Камбодже и Вьетнаме?

Это — историческая роковая ошибка либерализма, не видеть врага слева. Считать, что враг всегда только справа, а слева, мол, врага нет. Это та самая ошибка, которая погубила русский либерализм в 1917. Они проглядели опасность Ленина, и то же самое повторяется сейчас, ошибка русского либерализма повторяется в мировом масштабе всюду и везде.

Считаете ли вы, что наша политика сближения с Красным Китаем — на уровне той ошибки, которую совершил Рузвельт, когда пошел на дружбу со Сталиным?

Именно, на том самом уровне. Именно на том. Если сейчас вы повторите эту ошибку... Сейчас Китай находится в том состоянии, как Советский Союз в тридцатые годы: он во всём нуждается. Он нуждается в американской помощи. Если вы сейчас бросите ему на помощь американскую экономику, а затем оружие, да, на некоторое время вы оттянете для себя мировую развязку. На некоторое время Китай будет служить вам защитой от Советского Союза, и то это проблематично. Но если вы вооружите Китай, то в результате вы отдадите ему вторую половину Земли, ту вторую половину Земли, в которой находится сама Америка. И тут вам уже некем будет загородиться.

Считаете ли вы, что правительство Пекина, правительство Мао, так же жестоко расправлялось со своим народом, как советские вожди?

Именно. Они обращались именно совершенно так же. И уничтожили миллионов, вероятно, больше, в пропорции к населению. Но Китай ещё более закрыт для иностранцев, чем Советский Союз. Вы знаете о Китае ещё меньше, чем знаете о Советском Союзе. Поэтому создаётся легенда о «хорошем» коммунизме в Китае. Когда лет через тридцать-сорок вы прочтёте китайский «Архипелаг ГУЛаг»,

то удивитесь: «ах, какая жалость, а мы ведь не знали...». Так надо знать! Надо знать вовремя, а не тогда, когда будет поздно. Надо сегодня знать! Я хочу сказать, что эта ошибка угрожает вам потерей существования самой Америки в конце концов.

Ближе к нашей теме. Тут разговор не беспредметный. Дело в том, что действительно, вот совсем недавно, руководитель Агентства Международных Связей Соединённых Штатов поехал в Китай и вернулся с розовыми впечатлениями. Он заявил, что он поражён, как дружелюбно разговаривают китайские руководители. А как же им разговаривать, если они нуждаются в вашей технике, как же им ещё разговаривать? Он с доверием повторяет то, что ему там сказали: что Китай стремится к правам человека; что Китай старается стать открытым обществом; что китайское коммунистическое правительство заботится о развитии своего народа. И ваш директор Агентства Международных Связей сегодня всё это повторяет!..

> Многие слои общества в Америке очень озабочены развитием отсталых народов, правами человека, помощью нуждающимся. Считаете ли вы, что вожди Красного Китая говорят всё это своим американским посетителям только с целью извлечь какую-то пользу от них?

Это совершенно та же самая картина, то же самое лицемерие, которое проявлялось десятилетиями советским правительством. Они говорят для того, чтобы получить.

> У нас в Америке идут большие споры по вопросам прав человека в других странах. Например, когда свергли персидского шаха, в нашей стране говорили, что он был плохим правителем, что он нарушал права человека. Очень немногие из критиков шаха возьмутся утверждать, что теперь в Иране больше прав

человека. Существуют ли хоть какие-нибудь коммунистические страны, в которых соблюдаются права человека?

Когда говорит китайское правительство, что оно якобы заботится о развитии народа, нельзя придумать ничего более бессмысленного. Никакое коммунистическое правительство никогда не заботится о правах, о развитии своего народа. Коммунистические правительства подобны раковой опухоли: они бессмысленно растут только для двух целей: для того, чтобы укрепить свою власть, а как только укрепят свою власть, так расширить её на дальнейшие пределы. Такие цели всегда были у советского правительства, и только такие, только такие цели у китайского правительства. Заметьте, как только корреспондент «Вашингтон Пост» написал об одном случае, как китаец сидит в тюрьме за права человека, сейчас же ему сделали строгое предупреждение, что он будет выслан. И с этим правительством ваш «Голос Америки» заключает, — я возвращаюсь к нашей теме, — ваш «Голос Америки» заключает соглашение о борьбе с дезинформацией! Это совершенно смехотворно. С какой же дезинформацией может помочь вам бороться китайское радио? Китайское радио занято сплошной дезинформацией: оно скрывает всё, происходящее в его стране, оно есть воплощение дезинформации. Или, например, о Камбодже. Неужели китайское радио поможет «Голосу Америки» узнать, как красные кхмеры уничтожали свой народ? Или поможет найти братские могилы камбоджийцев по 60 тысяч? Как я сказал, западное общественное мнение как будто обречено всё время неверно представлять себе ситуацию в коммунистических странах.

Но второй вопрос: не менее лёгкой задачей является понимать состояние того народа, к которому обращено радиовещание. Понять его духовную жажду, его трудности, к чему он тянется. От древности известен метод Сократа: если ты хочешь убедить

собеседника, то стань на его точку зрения и развивай её. А пословица говорит: если хочешь иметь друга — стань прежде другом сам.

Не считаете ли вы странным, что разрыв между правительством и народом, как в коммунистических странах, существует и у нас, — колоссальная разница между теми, кто направляет страну, и народом?

У вас разрыв не такой безнадёжный, и в другом смысле. Но, действительно, должен сказать, что, если я сопоставляю свои впечатления от вермонтского окружения, от простых людей, и прессу Нью-Йорка и Вашингтона, я должен с огорчением сказать, что — да, есть большой разрыв. Этот разрыв — не конфронтация, не то соотношение, как в коммунистических странах, не соотношение угнетателей и угнетённых. Но и у вас есть... разнопонимание.

Считаете ли вы, что наше руководство больше наивно, чем действует по злому умыслу?

Совершенно верно.

Значит, выходит, что, вместо того чтобы приставлять к затылку пистолет и расстреливать людей, у нас ведут на убой с закрытыми глазами?

Корень всего в том, что руководители вашего общественного мнения, которые влияют на правительственную политику, они десятилетиями питаются иллюзиями и ложными представлениями, особенно в отношении противостоящих Америке стран. Они всё время рисуют более розовую, приятную картину, чем она есть на самом деле.

Давайте перейдём теперь к внутреннему положению в Советском Союзе. Наше население не знает ни из журналов, ни из прессы или телевидения, что такое жизнь в Советском Союзе.

А живя в Советском Союзе, тем более неоткуда узнать подлинной информации. Информация внешняя в советских газетах и телевидении искажена до неузнаваемости. Информация внутренняя ещё больше искажена. Советский житель ещё знает отдалённо, и в общих чертах, что происходит в мире, но что происходит в соседнем городе, в соседней области — он совершенно не знает. Почему так важно ему радиовещание извне, — он может получить оттуда сведения о самом себе, о том, что происходит с нами самими.

> В Америке, во время вьетнамской войны, все американцы могли следить за военными событиями на экранах телевидения, на новостях. А рядовой советский человек знает ли, что происходит, скажем, в Афганистане?

От правительства — всё извращено. А ошибка «Голоса Америки» в том, что он сам себя ограничил в источниках информации. Они, например, считают, что имеют право информировать только таким образом, чтобы не раздражать коммунистических руководителей и не использовать богатых материалов антикоммунистического происхождения. Во Франкфурте-на-Майне, например, есть эмигрантский антикоммунистический журнал «Посев». Там обильные материалы публикуются об Афганистане, его сотрудники ездят в Афганистан и встречаются с афганскими борцами сопротивления. Никогда «Голос Америки» не унизится передавать это для Советского Союза, потому что это «слишком» антикоммунистический журнал. Вместо этого «Голос Америки» кормит нас какими-то третьестепенными сплетнями о том, что́ в Дели дипломаты слышали из чьих-то третьих уст. Фактически, вместо того чтобы оперативно дать нам новости, «Голос Америки», в общем, помогает нам тоже не знать. Это связано с принципиальной ошибкой, предписанной «Голосу Америки»: он должен действовать так, чтобы, не дай Бог, не нарушить политику Госдепартамента.

И вот, они нам дают камень вместо хлеба, вместо настоящей информации, которую могли бы давать. Вот ещё один пример: в СССР было знаменитое новочеркасское восстание, в 1962, но больше десяти лет о нём не передавало западное радио, ни одно! никогда! потому что или не знали, или знали, но не из «достаточно проверенных источников»! Потому что, раз к ним не пришёл документ, они не могут без документа передавать о восстании. И вот, мы десять лет не могли дождаться по западному радио сообщения о крупном восстании в Новочеркасске.

> Краткое замечание: вы говорите, что наше правительство, Госдепартамент и их радиостанция сознательно смягчают тон передач, чтобы не раздражать советских вождей, не передают новостей, могущих вызвать недовольство советских лидеров, а передают безобидное.

Я сам на себе хорошо это испытал. В декабре 1973 года, находясь сам в Советском Союзе, я напечатал на Западе «Архипелаг ГУЛаг». И «Голос Америки», собственно говоря один диктор «Голоса Америки», немедленно взял и прочёл кусок из «Архипелага» по радио. И тут же московское радио закричало, что «Голос Америки» не имеет права вмешиваться во внутренние дела Советского Союза, что это портит международный климат. И что же сделал «Голос Америки»? Отстранил диктора от той работы и с согласия Госдепартамента запретил чтение «Архипелага ГУЛага» для России! Даже более того: в течении нескольких лет запрещали по «Голосу Америки» цитирование Солженицына, чтобы только не повредить коммунистической пропаганде. Значит: книга моя написана для русских, на Западе её читали в миллионах экземпляров, а для нашей Родины её не должны читать! Потому что иначе «Голос Америки» испортит отношения с Советским Союзом. Вот таким вот образом затыкается информация для нашей страны. Я хотел бы не по-

терять нашей линии и поговорить об общем состоянии народа, для которого ведётся радиовещание.

Да, важно узнать: какова жизнь в Советском Союзе?

Мы 65 лет работаем почти бесплатно. 65 лет работают в семье и отец, и мать, и их совместная зарплата недостаточна, чтобы содержать семью. Их труд никогда не оплачивался выше десяти или двадцати процентов его стоимости. Все эти излишки забираются государством для того, чтобы готовить вооружения и нападения на другие страны на Земле. Мы, в нескольких поколениях, голодаем 65 лет! Это уже становится близко к физическому вырождению. Нас отравляют алкоголем. Женщины несут нагрузку, которую не могут вынести мужчины, двойную нагрузку. У нас резко падает рождаемость и резко повышается детская смертность. Мы отравлены и физически, и морально. Физически отравлены, потому что все военные производства делаются без всякой охраны окружающей среды, никто не контролирует, как отравлена вода, как отравлен воздух. Мы отравлены морально, потому что 65 лет в нас внедряют коммунистическую ложь. Всё это вместе приводит народ в состояние, близкое к смерти, к духовной и физической смерти. Отбита всякая память о том, какое у нас было прошлое, какая у нас была история, и особенно история последнего века. История последнего века особенно опасна для коммунистов, потому что она их враг. Тот, кто знает историю перед революцией, и самой революции, и после революции, — тот уже освободился от коммунистов. Но коммунисты тщательно уничтожают все следы истины, чтобы мы ничего не знали о себе. Я бы вот с чем сравнил: когда в сталинские времена арестовывали вместе отца и мать семьи, то маленьких детей отправляли в детский дом, заменив им фамилию, так что они уже никогда не знали, чьи они дети, какое у них происхождение, какое у них прошлое. Вот в таком состоянии находится наш

народ. Он лишён памяти о себе самом. Наш народ подобен смертельно больному, который лежит на ложе и умирает, а американское радиовещание подобно вошедшему визитёру, не доктору, а визитёру, который пришёл очень довольный собой, весёлый, прекрасно одетый, садится и начинает: «я тебя сейчас забавлю, сейчас я тебе расскажу, сколько у меня костюмов, как я одеваюсь, какая у меня прекрасная квартира, какие вещи я купил недавно, как я замечательно храню свои деньги, как я прекрасно провожу время, а хочешь, я тебе попляшу?» — и начинает перед ним плясать разные пляски. Вот так ведётся сегодня радиовещание Америки на Советский Союз.

Иными словами, вы говорите, что содержание наших передач для тех, которые так угнетены, только показывает им мир, в котором они всё равно не могут жить, и ничего не даёт, чтобы утолить их духовную жажду, для того чтобы противостоять гнёту своего правительства?

И не только так, не только так. Да, не даёт ничего, чтобы утолить нашу духовную жажду. А вместо этого с чужого голоса нам читают нотации, как понимать мiр, — самоубийственная позиция для радиовещания. Ведётся пропаганда, как всё понимать с либерально-демократической точки зрения, — но всякая пропаганда нам уже опротивела за 60 лет. И это ещё одна сторона. Это главная сторона для нашего народа, но есть другая сторона, наиболее важная для вашего народа. Ваше радиовещание даёт картину, не соответствующую духовной картине жизни ваших людей. Ваше радиовещание ведётся так примитивно, что оно даёт ложную картину относительно вашей страны, оно берёт самое поверхностное, пошлое. И, таким образом, у нас, у нашего народа, создаётся об американском народе мнение ниже, чем американский народ того заслуживает. Невероятное количество дребедени наполня-

ет ваши радиопередачи. Если говорить, например, о «Голосе Америки», то можно перечислить столько передач, просто нельзя понять, зачем Америка тратит на это деньги, вместо того, что́ надо было бы передавать. Ну, например, я скажу: ведётся три отдельных программы джаза, это не три повторения одной программы, а три отдельных программы джаза. Потом отдельная программа поп-музыки, отдельная программа танцевальной музыки и отдельная молодёжная программа, в которой это всё повторяется. Это такое заблуждение: что, может быть, вот эта публика, которая интересуется джазом, она на какие-нибудь пять минут включит раньше или выключит позже и послушает ещё что-нибудь, кроме этого джаза. Но дело в том, что та очень узкая прослойка у нас, которая интересуется джазом, она не нуждается в ваших программах, вот этих, которые глушат, потому что к их распоряжению все мировые программы джаза, которые никто не глушит. Они прекрасно их слушают. Таким образом, вы не привлекаете никакой публики к себе, но вы только тратите драгоценные часы радиовещания на дребедень, на пустоту. Или, например, спорт. С большой важностью, с большой серьёзностью вы передаёте программы о спорте. Но спорт — это любимая тема советского радио, это единственная тема, которую советское радио охотно внедряет в нашу молодёжь. Потому что в Советском Союзе спорт играет роль опиума для народа. Он отвлекает от того, чтобы молодёжь задумалась о своём положении, о происхождении своего народа и о политике. И вот всей этой пустотой занимаются ваши радиопередачи. Хуже того, находится время для того, чтобы передавать программу «хобби». Это передача, которая может вызвать у советского слушателя только отвращение, только негодование, выключить приёмник и больше не слушать, только презрение к этому радиовещанию, потому что рассказывают о том, как бездельники, у которых много времени, собирают этикетки от чего-нибудь или пус-

тые пивные бутылки. Ну, это совершенно ужасно! Или подробно обсмаковывают удобства международных путешествий. А всё это время можно было бы потратить на драгоценные для нас передачи, которых и не думает передавать ваше радиовещание, особенно — исторические и религиозные.

Иными словами, содержание наших программ на Советский Союз неприятное, раздражает людей, не учитывает положения у вас, и мы не делаем того, что Америка должна была бы делать для подавленного народа?

Я суммирую это так: ваше радиовещание не даёт той духовной помощи, в которой наш народ нуждается. Это — одна сторона. Вторая сторона — вы подаёте себя ниже и более незначительными, чем вы есть на самом деле, то есть вредите сами себе. И в-третьих, вы ограничиваете даже простую информацию о событиях, которые происходят сегодня. Во внешнеполитических информациях вы очень щепетильно обходитесь с источниками, вот как с Афганистаном. А в том, что касается внутреннего положения Советского Союза, вы сосредоточились только на том, что дают диссиденты из Москвы. Если завтра диссидентское движение окончательно разгромят, то вы эту информацию вообще потеряете. Но есть огромные области информации о Советском Союзе, в которых мы нуждаемся, ваше радиовещание таких сведений или не имеет, или не желает пускать, за недостаточной проверенностью. И что даётся взамен? Взамен этого широко, непомерно широко передаются новости о еврейской эмиграции из Советского Союза. То есть целыми получасами передаются интервью с новыми эмигрантами: как им нравится Америка, как они устроились, сколько они зарабатывают, как они обставляют свой дом. В этом всём плохого нет, кроме того, что это непомерно раздуто и заменяет собой внутреннюю информацию о Советском Союзе. И какие чувства это может возбудить у советского слушателя? — раз-

дражение. Никто из советского населения не может уехать на Запад. Уехать на Запад может только некоторое количество евреев. Зачем же хвастаться, как они хорошо устроились, зачем раздражать тех, кто там остался?

> Наши передачи, значит, раздражают население рассказами о том, как нам хорошо живётся, потому что остальные не могут выехать.

Это бестактно. Наши хотят, чтобы им рассказали, как стоит у нас рабочий вопрос, в каком положении находятся рабочие у нас в стране, — об этом ваше радиовещание не передаёт. В каком положении находится наше крестьянство, — об этом никогда не передают. Состояние советской провинции. Какая жестокая обстановка в Советской армии. В армии же слушают радиопередачи, там же много радиоприёмников коротковолновых. Но об этом всём никогда не передают. Да ваши станции и не хотят об этом знать. У нас есть ещё потрясающие проблемы, например с инвалидами. У нас инвалидов Отечественной войны убирают из общества, чтоб их никто не видел, ссылают на отдалённые северные острова, — инвалидов, тех, кто потерял здоровье в защите родины. Инвалидов преследу́ют, стесняют. Об этом ничего по радио нет. Рассказывают о счастливых беглецах, как хорошо устроились те, кто бежали от этого всего.

> Что насчёт Советской армии? Вы говорите, что у них есть радиоприёмники, которые они могут слушать, а мы не стараемся с советскими солдатами снестись. Есть ли потенциальная возможность разложения? Потому что говорят, что войска, посланные в Афганистан, отказываются стрелять в мусульман, в гражданское население?

К сожалению, вы никогда не интересовались внутренним положением советского рабочего, советского крестьянина, советского военнослужащего. Все

они находятся под страшным давлением, и никогда ваше радиовещание не занималось тем, чтобы исследовать это, получить такую информацию и передавать. Повторяю, в эмигрантской прессе сейчас очень много такой информации, и это можно было бы всё передавать в СССР, без большого труда, но это может нарушить политику Госдепартамента, московские руководители вдруг рассердятся на Госдепартамент и вдруг откажутся покупать у вас самую передовую электронику, без которой они жить не могут. Вот чего вы боитесь!..

Самая большая потребность нашего народа — ощутить себя, кто он. Если бы эти тридцать лет вы помогали бы нашему народу вспомнить, кто он есть, стать ему духовно на ноги, — вся мировая обстановка сегодня была бы другая. У нас растоптана вся ближайшая история и искажена до неузнаваемости, она вся пропитана пропагандой. Я очень хочу, чтобы американский телезритель представил себе это, это трудно представить. Наш рядовой гражданин, по сути, ничего не знает: какие причины вызвали революцию; как революция происходила, каким образом это всё перешло к большевикам под тоталитарное господство; какие грандиозные были народные движения против большевиков и все подавлены, как террористически уничтожалось наше крестьянство и рабочий класс. Мы нуждаемся в правде об этом. И если бы нам дать это знание, мы стали бы духовно независимы от нашего правительства, — и те, кто состоят в гражданской жизни, и те, кто находятся в армии. Но общие цели и общие программы вашего радиовещания ведутся идеологами, которые, к сожалению, находятся под влиянием мифов, ложных мифов о России. Скажу, что в первом происхождении этих мифов находим Карла Маркса. Маркс провозгласил, что русский народ, вообще как таковой, русский народ является «реакционным». И отсюда пошло: «реакционна» вся русская история, «реакционна» монархия, «реакционны» русские традиционные представления, «реакционны» большин-

ство русских деятелей, «реакционна» даже наша религия — православие. И идеологи вашего радиовещания вот что делают: они проходят как автоматной очередью по нашей истории, они простреливают две трети всех исторических фигур, какие у нас были, в боязни, чтобы кто-нибудь не остался «реакционный». Если только о каком-нибудь русском деятеле какой-нибудь американский журналист, один, или один второстепенный американский учёный, один раз сказал, что тот «реакционер», — тот русский деятель или мыслитель выбрасывается из истории, его больше нету. Парадоксально. Идеологи вашего радиовещания подают руку коммунистам. Коммунисты борются с нашей исторической памятью, и ваше радиовещание борется с тем же. Вот, я не могу пропустить самый ближайший пример: вот недавно, в этом сентябре, было семьдесят лет со дня смерти, со дня убийства крупнейшего русского государственного деятеля XX века, премьер-министра Столыпина. Мало того, что сам акт его убийства открыл террор XX века, но этот человек сумел за 5 лет Россию из полного хаоса и развала поднять к цветущему состоянию. Так вот, две ваших радиостанции, находящихся под разным руководством, — радиостанция «Свобода» и радиостанция «Голос Америки» — одинаково зарезали передачу о Столыпине, юбилейную передачу. Была подготовлена на «Свободе» прекрасная передача, её запретили без всяких разговоров и объяснений. А в «Голосе Америки» на днях было объявлено восьмиминутное чтение из моей главы о Столыпине. Передача была уже объявлена по радио, и её тут же зарезали. Это показывает, что дело не в отдельных администраторах, а дело в руководящей идеологии вашей.

Как бы ни относиться к Столыпину, одни считают его либералом, другие считают его консерватором, — но это крупный государственный деятель России, как же можно подвергать его цензуре? Я хотел бы обратить внимание на поразительный факт, что американское радиовещание, обе радио-

станции, независимо одна от другой, производят *цензуру,* причём цензуру предварительную, и даже с таким скандальным обстоятельством, что объявляют уже слушателям, что передача пойдёт, а потом её снимают. Радиостанция «Свобода» в этом году ввела предварительную цензуру только исключительно русских ведущих передач, причём предполагают увеличить бюрократическую надстройку, ввести целые советы консультативные, и только для цензуры. Это не умещается в голове. Увеличить расходы, укрупнить организацию — для цензуры.

> Перейдём к состоянию религии в Советском Союзе. С 1917 года подавляло ли советское правительство религию? Хотят ли они уничтожить духовные истоки, уничтожить дух?

Весь марксизм основан на ненависти к религии, и Ленин, придя к власти, это кажется парадоксальным, не видел более опасного врага, чем русское христианство, и он нанёс бешеные удары, уже Ленин, а потом это продолжалось при Сталине, при Хрущёве, и при Брежневе продолжается то же самое, несколько в разных формах. Русское православие пережило за эти 65 лет свою Голгофу. Мы испытали гонения, которые превосходят объёмом все гонения на христианство в античные века. Были приняты бескрайние усилия, чтобы полностью уничтожить христианство в России, выкорчевать его из памяти и из сердец. Это последовательная политика советского правительства, и вот она приводит сегодня к тому, что десятки миллионов людей вообще не имеют возможности бывать в храме. Многие живут так, что до ближайшего храма 300 миль, то есть они могут поехать, ну, ребёнка окрестить, а в воскресенье они съездить туда не могут. Наше население сердечно нуждается в том, чтобы по радио слушать церковные службы, чтобы отмечались по радио наши праздники христианские, чтобы объяснялись богослужебные особенности, термины, чтобы какая-то передача была для детей, наиболее

в СССР лишённых религии. Этого всего нас лишила коммунистическая власть, а ваше радиовещание, ваши идеологи, исходя из глупой мысли о «реакционности» русского христианства, ведут ту же самую коммунистическую линию, опять они смыкаются с коммунистами плотно. То есть там у нас христианство давят, и ваши здесь стараются всеми силами сжать и вытеснить русское православие.

Вам, наверное, смешно, когда вы слышите, что Картер, например, сказал: он думал, что может Брежнева обратить в христианство.

Ужасно!.. Так вот, ваши радиопередачи все 30 лет направлены на то, сознательно направлены, планомерно, чтобы не дать русскому православию подняться и стать организующей общественной силой в России.

Давайте кратко поговорим о положении в Польше сегодня, потому что в Польше есть организованное инакомыслие, противостояние правительству. Как вы думаете, сколько помог этому польский Папа?

Польский Папа чрезвычайно воодушевил поляков. Но, кроме того, католическая Церковь никогда не была так разгромлена, как наша православная. Я ничего не знаю о польских передачах американского радиовещания. Я допускаю, что они были великолепны, допускаю, что они поддерживали польское католичество, укрепляли его. Но для русского народа радиовещание ведётся прямо противоположно, то есть вы как будто бы нарочно задались целью, чтобы не создать у нас польской ситуации, чтобы у нас не могло быть такой силы Церкви и такого церковного объединения, как в Польше.

В Польше — пример хороших радиопередач: в соединении с Церковью, под покровительством такого лидера, как Папа. Я хотел бы спросить вас об информации из Ватикана:

они подозревают, что Советы, Кремль участвовал в покушении на жизнь Папы.

В чём можно не сомневаться: в том, что польский Папа чрезвычайно мешал и мешает советским коммунистам одним своим существованием.

Вы бы не удивились, что через сеть террористов они узнали о турке, который хотел убить Папу, и Советы сказали своим агентам...

Что вообще мировой терроризм направляется Советами, я в этом не сомневаюсь, да.

Я хотел бы подытожить всё, что сказано. Мы не говорим о бóльших затратах, мы говорим об изменении принципиального подхода к управлению и содержанию «Голоса Америки» и радиостанции «Свобода». Когда у нас были выборы, в прошлом году, мы выбрали человека, который ясно, очень чётко стоит по отношению к советскому правительству, это нельзя подвергать сомнению. Он говорил о Советах, что они оставляют за собой право делать любое преступление, лгать, обманывать, чтобы достичь мирового владычества. Ясно, что президент Рейган понимает советский подход. Видите ли вы изменения в нашем подходе к радиопередачам на СССР за последний год?

Президент не мог успеть с этим за один год, при множестве отраслей такого грандиозного государства, как Соединённые Штаты. Поэтому до радиовещания, видимо, руки его ещё не дошли. И парадоксально, я должен сказать: наоборот, в этом 81-м году произошёл на радиостанции «Свобода» крутой поворот к худшему. Всё, что шло годами к худшему, ещё резко повернулось известным меморандумом, который принят к руководству на радиостанции «Свобода». И если не остановить этого

развития, то они развалят окончательно русскую секцию «Свободы». Я не стану говорить о пятнадцати национальных передачах радиостанции «Свобода», которых я не знаю, но шестнадцатая, для русских, сегодня настолько уже доведена до вырождения, настолько плоха, что если ещё продолжать в том направлении, то лучше её вообще упразднить. Потому что она больше вредит отношениям русского народа с американским.

Вы подчеркнули, что, если бы 30 лет тому назад мы вели себя по-другому, мы бы, может быть, предупредили Третью мировую войну. Но в октябре 81-го года мы говорим, что ничего не изменилось, что всё только к худшему. Неужели слишком поздно, если мы изменимся, или действительно Третья война неизбежна?

Латинская пословица говорит: dum spiro — spero, пока живу — надеюсь. Да, 30 лет упущено, но это не значит, что не нужно начать сегодня. Мы не знаем, какие сроки нам ещё отпущены историей, и, может быть, ещё можно сделать многое, если приняться за исправление вашего радиовещания активно. Я подчёркиваю, что говорю сейчас не об увеличении финансирования, а о том, что надо сменить принципиальную установку, протрезвиться, прийти в себя.

То есть именно для советского народа передачи мы должны изменить? Но мы должны тоже, мне кажется, изменить подход нашего правительства по отношению к торговле с Советским Союзом, не давать им передовую электронику, которую они используют для вооружения против Запада, ведь это продолжение политики Рузвельта.

Мы сегодня сосредоточились на проблеме радиовещания, а в общем виде я сказал: да, была одна историческая ошибка, когда вы отдали половину

Земли. Не повторите сегодня этой же самой ошибки и доверием к Китаю не отдайте второй половины Земли, ибо сейчас главную угрозу во внешней политике нынешней американской администрации я вижу в доверии её к Китаю. Это невозможно! Это совершенно те же самые коммунисты, те же самые методы и то же самое уничтожение.

> Вы сказали, что, с тех пор как вы уехали из Советского Союза, вы сохраняете вашу мечту вернуться в Россию. Время проходит, и ваше правительство не меняет своей политики, ваша надежда, может быть, сейчас падает?

Вы знаете, нет, надежды не падают. Я, может быть, Бог даст, ещё какое-то время поживу. А минувшее время я не потерял, всё время неотрывно пишу. Сейчас я кончаю эпопею об истории революции 17-го года. А кроме того, писатель всегда имеет тот запасной выход, что если не вернётся он сам на родину, то вернутся его книги.

> Ваши книги, «ГУЛаг» и другие, запрещены по каким-то причинам нашими радиостанциями. Если эта политика изменится, то помогли бы вы как-то изменить содержание радиопрограмм для советского народа?

Я сегодня сказал многое из того, что нужно сделать. Но я думаю, что все силы и возможности — в руках вашей администрации.

> Я думаю, что большинство людей, которые будут смотреть эту программу, будут поражены, что наше правительство не хочет, чтобы ваши слова были услышаны вашим народом, это не Советский Союз, а наше правительство не допускает. Особенно когда цензура в нашем же правительстве, которое делает это только потому, что они боятся огорчить и рассердить советских лидеров. Большинство из наших слушателей будут не только пора-

жены или шокированы, а захотят узнать, почему это так и почему это продолжается. Выступая на такой программе, вы должны знать, что она доступна среднему человеку в нашей стране, широкому кругу средних людей, и даёт им информацию, которой они никогда раньше не имели.

Я понимаю. Я буду очень рад, если мы посодействовали выяснению обстановки.

СООБРАЖЕНИЯ ОБ АМЕРИКАНСКОМ РАДИОВЕЩАНИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В дополнение к уже обсуждённому в телеинтервью с конгрессменом Лебутийе, я должен ещё остановиться на основных чертах проблемы.

Такое впечатление, что руководство американским радиовещанием почти не видит или забывает реальное состояние того народа, которому ведётся вещание, — народа, принесенного в жертву, десятилетиями постоянно голодающего, но вынужденного оплачивать за счёт своего здоровья и жизни международные захваты коммунистов и насаженные ими режимы по всей Земле. Вся эта коммунистическая авантюра, её размеры, тщательно скрываемые властями от своего народа, — либо умалчиваются и западными радиостанциями, либо подаются смягчённо, обтекаемо, в лад «детанту», оставляя накалённые вопросы народного существования без света, не помогая народу осознать глубину трагической ситуации.

Народ находится в безвыходности, отчаянии, апатии, у него отнята память и сознание о самом себе, — а американское радиовещание не помогает ему освободиться от коммунистической вдолбленной пропаганды, вернуть себе утраченные ценности и память о своей истинной истории, без которой он не может найти в себе силу противостоять коммунистическому гнёту, как это началось в Польше.

Верная линия радиовещания вызвала бы доверие в угнетённом народе, благодарность к Соединённым Штатам, — и вы нашли бы союзника, без которого Западу на сегодняшней Земле уже и не

выстоять против коммунизма. Нынешняя линия идёт в ущерб самим Соединённым Штатам.

Все 30 лет американское радиовещание (я слежу и разбираю вещание только на русском языке) отклонялось от истинной цели — найти себе союзника в порабощённом русском народе — или даже шло против этой цели. Очевидно, уставы, которыми руководствуются «Голос Америки» и русская секция радиостанции «Свобода», порочны в самой своей основе — иначе не повторялись бы всё те же ошибки даже при смене администраторов. Вместо того чтобы дать русскому народу то, к чему он тянется, дать в русских понятиях, и хорошим русским языком, — передачи содержат (кроме ценной части своей — новостей, политических анализов и образовательных передач) —

либо ничтожный хлам, дурно представляющий США в глазах русских слушателей, ниже истинного американского уровня, и на это впустую уходят и американские средства и время русских слушателей;

либо поучения, пренебрегающие национальными традициями русского народа и его православной религией, т. е. как раз в том самом направлении, как действуют и советские коммунисты. Вместо того чтобы привлечь к себе симпатии русского народа — его оскорбляют и отталкивают.

Эту ложную и вредную линию я объясняю предвзятостью тех теоретиков, которые вырабатывают стратегию американского радиовещания на русском языке, и даже невежественностью их в отношении того, что составляет суть русской истории и русской культуры многих веков. Они находятся в плену распространённых на Западе мифов, враждебных России, источник которых идёт ещё от Карла Маркса и питался революционными эмигрантами из России в начале XX века: о неисправимой якобы «реакционности» всего русского народа, его традиционных взглядов, его государственного устройства и даже его религии. И вот, с самоуверенным легко-

мыслием направители американского радиовещания берутся «исправить» русскую историю перед тем, как вернуть её обеспамятевшему русскому народу, препарировать её, убрать и замолчать всё, что кажется «неприличным» леволиберальному взгляду. Это приводит к установлению предвзятой *цензуры*, которая особенно настойчиво вводится в 1981 году в русской секции радиостанции «Свобода» после служебного меморандума г-на Джеймса Кричлоу, уже принятого к исполнению. (Этому невежественному и опасному документу я посвящаю Приложение А, а некоторым деталям действующей цензуры — Приложение В.)

Естественно, что американское радиовещание представляет американские взгляды на устройство государства и общества, но 1100-летнему народу это должно предлагаться как вариант, а не как директива, зачёркивающая его историю. И во всяком случае, ожидалось бы — полное американское разнообразие взглядов, включая «молчаливое большинство», а не всегда только — взгляды журналистской столичной интеллигенции.

Русская секция «Голоса Америки». При богатстве передаваемых обзоров международных событий, всегда проявляется дипломатическое бремя от Госдепартамента, не позволяющее «Голосу Америки» высказывать о советском режиме всю полную жестокую правду. Внутренние события в СССР, наиболее интересные слушателям, освещаются скудно: собственная информация «Голоса Америки» бедна, а пользоваться, например, сообщениями антикоммунистической эмигрантской русской прессы (такими, как журнал «Посев» во Франкфурте, газета «Русская мысль» в Париже) радиостанция воздерживается. Даже когда приходят сведения о народных волнениях в СССР, радиостанция опасается их передавать (за недостаточной документированностью...), хотя люди, давшие те сведения (например, Михаил Зотов о забастовке в г. Тольятти в 1979), платятся

за них свободой. Внутренние (из СССР) сообщения почти ограничиваются материалами немногих оставшихся в Москве диссидентов и отражают ограниченный круг населения. Все глубины страны остаются неосвещёнными.

«Голос Америки» проявляет повышенный интерес к литературным однодневкам новейшей эмиграции и почти не пользуется 60-летним огромным культурным богатством, созданным миллионной русской послереволюционной эмиграцией. На Западе существует несколько десятков книг той эмиграции, освещающих духовную и физическую историю нашей страны, в поисках этих книг русская молодёжь платит и тюремными сроками. Эти книги следовало бы читать по радио, и даже по несколько раз, — но это никогда не делается.

У русского населения создаётся от американского радио ощущение чужести: не знают нас и не интересуются нами, а всё о себе.

При нынешнем объёме передач без какого-либо повышения расходов «Голос Америки» мог бы производить многократный эффект. Сейчас он даёт одну подлинно важную историческую передачу — «35 лет назад» (послевоенные события). Освободив свои часы от дребедени, он мог бы добавить несколько важных программ: «Русская история начала XX века» (совершенно исковерканная в СССР), «История революции и гражданской войны 1917—1920», «История ленинского и сталинского правлений», «Борьба населения СССР против коммунистов во Вторую мировую войну» (эта тема тщательно избегается американскими радиостанциями, ибо Сталин ведь был союзником США!..). Но все эти исторические программы будут иметь пользу, только если подходить честно к русской истории, а не извращать её ещё новыми сокрытиями и однобокой трактовкой.

Особенности радиостанции «Свобода». По многим областям контактов с русскими слушателями радио-

станция «Свобода» год от года не прогрессирует, а регрессирует. И особенно значительное ухудшение произошло в 1981 году.

В отличие от «Голоса Америки» — официальной радиостанции США, радио «Свобода» было задумано как недостающий голос подавленного населения СССР (отчего и говорят они в передачах «наша страна», имея в виду не США, а СССР). «Свобода» имеет 15 редакций на языках наций СССР, о работе их я не могу судить. Но 16-я радиостанция должна была бы быть русской. И так — называется. Но русскому народу отказано в том, что получают остальные нации. На радиостанции «Свобода» господствует ложная теория, что не может быть собственно русских передач, а лишь передачи «вообще для советского народа». Так с самого начала русские интересы и русские национальные чувства и сознание изживаются, подавляются, обречены на стирание. Из передач на русском языке создаётся бессмысленный «советский» гибрид, не удовлетворяющий никого. Из русской истории вычёркиваются многие события, крупные деятели и мыслители, не подходящие под либерально-демократическую трактовку. К суждению об отдельных моментах русской истории всегда охотнее привлекается не русский деятель, не русский учёный, а западный историк, хотя бы даже второстепенный, с поверхностными познаниями, или даже корреспондент. Для рельефности взгляда это неплохо — но не взамен взгляда русского, а наряду с ним.

Однако и объёма современной советской жизни радиостанция даже не пытается представить. Вне её изображения остаются: жизнь колхозного крестьянства; жизнь провинции (хотя по условиям глушения именно в деревне и в провинции «Свободу» только и слушают); жизнь рабочего класса; жестокий быт армии; жизнь молодёжи, лишённой образования и брошенной в рабочие общежития; воспитание детей под полным контролем государства, — то есть всё основное, что и составляет советскую

жизнь. Вместо этого передачи наполняются скриптами на ограниченные темы, составленными на восприятие узкого столичного круга (где «Свобода» почти и не бывает слышна).

Радиостанция «Свобода» также находится в затруднении, куда помещать обильные притекающие материалы о жизни современного Израиля, о жизни еврейской эмиграции в Израиле и в Соединённых Штатах, о еврейской сегодняшней литературе и т. д. И ошибочно втискивает это всё в 16-ю «общесоветскую» секцию вместо правильного достойного решения — открыть отдельную еврейскую секцию.

Передачи для православных. Развивая доктрину, что не должно быть отдельных русских передач, а только «для всего советского народа», обе радиостанции, но особенно «Свобода», и особенно в последний год, сильно теснят и изживают православные передачи, стараясь сделать их «общерелигиозными». При этом упускается, что католики получают свои отдельные передачи из Ватикана (не глушатся), а также в литовской и украинской секциях; протестанты Прибалтики получают передачи на эстонском и латышском языках; мусульмане — в 5 национальных редакциях; есть еврейская религиозная еженедельная передача; баптисты, адвентисты, мениониты беспрепятственно слушают передачи десятка миссионерских радиостанций, а православной такой нет ни одной. И даже оставшиеся полчаса в неделю (с повторениями — 2 часа из общего объёма передач на «Голосе Америки» 112 часов, а на «Свободе» значительно больше) не отдаются православию, но — общецерковным вопросам.

Однако (не считая атеистических потерь) — две трети населения СССР принадлежат традиционно к православию. Ему — 1000 лет (приближается юбилей), и именно оно было ведущей силой русской истории и культуры, главной традицией народного миропонимания. Именно по православию пришёлся самый первый и страшный ленинский удар — и по-

вторялся при Сталине, при Хрущёве, при Брежневе, одно время — до полного уничтожения всех церквей, а по числу жертв и беспощадности расправы, очевидно, превосходя все жертвы античных христиан.

Радио могло бы живительно восстановить церковные службы, на которые недоступно попасть большинству населения; не упускать православного календаря; популяризировать богословие; читать Священное Писание; ввести отдельные передачи для детей, кому христианская вера наистрожайше запрещена коммунистами; передавать церковную музыку, прослеживать христианские мотивы в русской литературе, давать материалы из православных зарубежных журналов «Вестник РХД», «Русское Возрождение» и других. И для этого стоило бы выделить много часов в неделю, ибо укрепление народа в своей вере — самое важное в его противостоянии безбожному коммунизму. Но этого ожидаемого радиослушатели не получают, и фактически американская администрация опять оказывается в союзе с коммунистами. Только «Голос Америки» в свои стеснённые полчаса иногда даёт в малом количестве малую часть этих элементов. Религиозные же передачи радиостанции «Свобода» от года к году сужаются, теснятся подробностями экуменической жизни мировых церквей, и в оставшиеся полчаса на русском языке для православия собственно уже и не остаётся места. Вот свежий яркий пример: в 1981 году православная передача пришлась на 27 сентября — то есть на день Воздвижения Креста Господня, крупный праздник. Но даже *единым* словом не был упомянут праздник, — а бóльшая часть передачи была посвящена еврейскому Новому году и еврейским религиозным песнопениям. (Что, очевидно, само собою отмечалось и в еврейской религиозной передаче.)

Такое последовательное изгнание православия из американского радиовещания никак не случайно, оно отражает настроения ведущих лиц.

Но прежде всего вредит самим Соединённым Штатам.

Очень желательно, чтобы высшее руководство радиостанциями осуществляли люди, сочетающие понимание американских интересов с чуткостью к нуждам и запросам русского народа, от которого так много будет зависеть в ближайшем будущем, и высоко подготовленные профессионально в области русской культуры и истории. При подборе же редакторских кадров «профессиональная пригодность» сейчас понимается странно: зачастую такими считаются лица, журналисты и редакторы, многие годы и десятилетия служившие советскому режиму в его машине дезинформации и лжи.

Приложение А

О МЕМОРАНДУМЕ г-на КРИЧЛОУ

В начале 1981 была произведена поспешная поверхностная ревизия русской секции «Свободы», на основе которой был составлен пресловутый меморандум Кричлоу, с тех пор, по сути, и принятый для русской секции как руководящий документ. Этот меморандум — образец предвзятости и некомпетентности. Его деловые предложения — самые не деловые: увеличить бюрократическую надстройку (очевидно, увеличив и расходы) и установить над ведущими передачами русской секции предварительную цензуру — к тому же со стороны чиновников, очевидно недостаточно знающих и русскую жизнь, и русский язык (снова не стесняясь расходами на переводы), — и всё для препарирования русской истории и подавления зачатков русского национального духа.

Автор исходит из распространённой на Западе доктрины о чрезвычайной опасности для мира русского национализма. Но здоровый русский национализм нисколько не противостоит Западу: напротив, он направлен на самосохранение измученного, изможденного народа, а не

на внешнее распространение, чем заняты правители СССР.

Автор меморандума с лёгкостью предлагает запретить к упоминанию многие имена исторических русских деятелей и мыслителей; загораживает нам беспристрастное освещение русской истории, выметает остатки её из радиопрограмм. (Договаривается до гомерического абсурда, что К. Аксаков был... предшественник Сталина.) Он вводит цензурные запреты и в подаче новейшей истории Запада.

Примеры его советов:

— рыцари-крестоносцы терзали Русь в самое время татарского ига, — скрыть (неблагоприятное освещение европейских действий);

— не критиковать декабристов, например, склонности Пестеля к тоталитаризму (ибо декабристы боролись против царя, и тем самым вне критики);

— отмечание в 1980 году 600-летия Куликовской битвы (победы над татарами) Кричлоу считает грубой ошибкой радиостанции — «это обидит татар»;

— не выказывать сочувствия противникам коммунистов в гражданской войне 1918—1920 (очевидно, требуется подход «фифти-фифти»);

— не критиковать вздорного политического клоуна Керенского, ввергшего Россию в предтоталитарный хаос (ибо Керенский числился «председателем демократического правительства»);

— фразу «европейская культура вышла из христианства» — снять из передач как оскорбление магометан и евреев;

— поправку редактора, что Украина (вместе с Россией) получила христианство из Византии, а не из Рима, — считать оскорблением Папы Римского.

В религиозных передачах Кричлоу советует помнить об интересах атеистов (чьи интересы агрессивно защищены коммунизмом!). А дружбу народов он предлагает строить на обмане, утаивая от русских слушателей всё невыгодное для Запада: скрывать любые недостатки Запада и в прошлом, и в настоящем; скрывать ошибки в высказываниях западных деятелей; что Запад после

Второй мировой войны выдавал коммунистам на расправу советских граждан — скрыть, не упоминать; что «Запад пренебрегал Восточной Европой» — вычеркнуть (а кто же отдал её коммунистам в 1945?); что «Запад не может справиться с терроризмом» — вычеркнуть (хотя противоположное ещё не продемонстрировано).

Но вершина невежества Кричлоу — его заявление, что он считает *бестактным* чтение по радио из апостола Павла! — именно того отрывка и именно в тот день, как это положено по церковному уставу.

И на таких принципах и приёмах формируется руководящая линия радиостанции «Свобода»...

Приложение В

ПРИМЕРЫ ВНУТРЕННЕЙ ЦЕНЗУРЫ И ПРИСТРАСТНОГО ОТБОРА МАТЕРИАЛА НА РУССКОЙ СЕКЦИИ РАДИОСТАНЦИИ «СВОБОДА»

— Без объяснений запрещена в сентябре 1981 года передача о русском премьер-министре Столыпине, подготовленная к 70-летию со дня его убийства (1911). Важнейшая в истории России годовщина (поворотный пункт её истории) осталась вовсе не отмеченной. (Как, тем более, и в СССР.)

— В течении последних лет несколько раз отвергался яркий скрипт о крупной русской поэтессе Цветаевой, — видимо, по той причине, что там цитировались её стихи, сочувственные к антикоммунистическим силам в борьбе 1918-20 гг. Такое решение администрации совпадает с постоянным извращением памяти Цветаевой коммунистическими властями.

— Напротив, администрация находит время для чтения из книг Ильи Эренбурга, известного коммунистического лицемерного беспринципного журналиста. Или даже для аргументов в пользу коммунистического палача в поэзии Демьяна Бедного.

— Запрещён скрипт автора Парамонова с критикой

поэта Евтушенко, угодного коммунистическим властям; скрипт того же автора о Карле Марксе (!).

— Запрещена передача о Пушкине как религиозном типе (основанная на трактовке известного философа С. Франка).

— «Русская государственная власть ликвидацией крепостного права (1861) выполнила общенациональную задачу.»

> Вычеркнуто цензурой: противоречит либеральной трактовке, не могла русская монархия сделать что-либо положительное.

— «Либеральная оппозиция в России перед 1917 не оказалась на высоте национальных задач, а своею борьбою против власти усилила хаос в стране.»

> Хотя именно это и доказано ходом февральской революции в направлении к октябрьской — это место вычеркнуто: нельзя создавать у русского населения впечатление, что либеральная оппозиция может когда-нибудь оказаться не на высоте национальных задач.

— «Февральская революция 1917 остановила действие столыпинской реформы крестьянского устройства, обогащавшей крестьян, — и тем самым направила страну к разорению крестьянства.»

> Вычеркнуто: не может радикально-демократическая революция совершить что-нибудь плохое.

— И даже такие выражения вычёркиваются, чтобы не раздражать советских руководителей:

«советская фальсификация о Госплане»;

«ничего лучшего нельзя было ожидать от брежневско-косыгинского руководства, закреплявшего сталинские порядки».

Примеров — множество, и их перечисление за годы деятельности радиостанции «Свобода» могло бы занять целые тома.

23 октября 1981

ВАТИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ОБЩИЕ ХРИСТИАНСКИЕ КОРНИ ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИЙ»

Чем более мы продвигаемся по мрачному ущелью XX века и частные подробности десятилетий отходят в даль — тем отчётливее мы видим, что весь поворот мира за прошедшие три века есть часть единого грозного процесса утери человечеством Бога. И не отвлекаясь политическими частностями сегодняшнего дня и отдельных стран — мы видим уже совсем рядом обрыв, куда может бесповоротно рухнуть вся христианская цивилизация. И нам, кто это понимает, остаётся искать из наших последних возможностей соединённые усилия: огласить эту опасность и звать предупредить её.

27 октября 1981

ОБЫСК У СЕРГЕЯ ХОДОРОВИЧА

7 декабря 1981

В том голоде, который сейчас разлился по Советскому Союзу, голоднее, нищее и бесправнее всех — семьи заключённых. Скромную регулярную помощь они получают только от ненавистного властям Русского Общественного Фонда. Распорядитель его Сергей Ходорович, всегда под изнурительной плотной слежкой КГБ и террором подсылаемых от КГБ уголовников, — в дни пышного выезда Брежнева в Европу подвергнут новому обыску — и главным трофеем схвачен подробный список заключённых и перечень их детей. Вот где угроза для коммунистов — помощь детям.

Ракетная держава — доискалась врагов!

КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана (октябрь 1965). — Единственная газетная публикация А. И. Солженицына в Советском Союзе вплоть до изгнания («Литературная газета», 4.11.1965). Цензурные рамки не позволили указать на порчу русского языка социалистическими перьями начала XX века, затем и всею коммунистической печатью. Статья имела отклики, которые «Литературная газета» помещала в течение нескольких месяцев вслед за публикацией. По-английски напечатана в «Russian Literature Triquarterly» (Анн Арбор), vol. 11, Winter 1975.

Ответ молодому учёному (ноябрь 1966). — Записка, упомянутая в тексте, была прислана А. И. Солженицыну среди многих других от слушателей его публичного выступления в Курчатовском институте в Москве в конце октября 1966, с чтением отрывков из пьесы «Свеча на ветру» и романа «В круге первом». Ответ автор пустил в самиздат. Эпизод с птичницей подробнее разработан в «Раковом корпусе», глава 27. Текст впервые опубликован в «вермонтском» 20-томном Собрании сочинений*, т. 10, с. 7.

---

* *Александр Солженицын.* Собрание сочинений: В 20 т. Вермонт — Париж: YMCA-press, 1978—1991. Далее при упоминаниях будем называть его: Вермонтское Собрание.

Все тексты данного тома, за исключением трёх, печатаются по указанному Собранию: Том 10 (1983): Публицистика. Общественные заявления, интервью, пресс-конференции.

Тексты, не вошедшие в Вермонтское Собрание («Выступление в Институте Востоковедения», «Письмо IV Всесоюзному съезду писателей» и «Ответ о. Сергию Желудкову»), выверены автором для настоящего издания.

Заметки между делом (1963—1966). — Попутные заметки разных лет. В 1966 К. И. Чуковский, подготавливая издание своего рукописного альманаха, попросил дать автограф для «Чукоккалы». А. И. Солженицын собрал и отдал в «Чукоккалу», в частности, эти заметки. Однако к моменту издания альманаха (1979) имя писателя уже было под полным запретом. «Заметки» впервые опубликованы в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 467.

Выступление в Институте Востоковедения (30 ноября 1966). — Приводимый текст основан на беглой попутной записи кого-то из присутствовавших в зале во время встречи А. И. Солженицына с сотрудниками института. Текст затем ходил в самиздате. Для данного издания правлен автором по памяти. Публикуется впервые.

Письмо IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей (16 мая 1967). — История написания изложена автором в книге «Бодался телёнок с дубом». Письмо было разослано по почте в 250 адресов в середине мая 1967, один экземпляр принесен лично автором в технический секретариат съезда 16 мая и сдан под расписку. Первая публикация — по-французски в газете «Monde» (Париж), 31.5.1967; позже — ряд газетных публикаций на разных языках; по-русски — множественно в эмигрантской печати. На родине Письмо впервые напечатано спустя 22 года — в журнале «Слово» (Москва), 1989, № 8; в журнале «Смена» (Москва), 1989, № 23, и др.

Ответ трём студентам (октябрь 1967). — Три московских студента посетили автора в Рязани. «Ответ» как дополнение к разговору был послан им вслед лично. Позже ходил в самиздате. Первые публикации на Западе: по-русски — «Новый журнал» (Нью-Йорк), 1969, № 94; по-английски — в лондонском журнале «Survey», vol. 73, Autumn 1969.

Ответ поздравителям (12 декабря 1968). — Ответ на поздравления, присланные к 50-летию автора в Рязань открыто, почтой и телеграфом. Не был опубликован ни «Литературной газетой», ни «Новым миром». Ходил в самиздате. Из первых публикаций на Западе: по-русски — «Новый журнал», 1970, № 98; по-английски — в сборнике: Solzhenitsyn: A Documentary Record/Labedz. New York: Harper & Row, 1971.

Открытое письмо Секретариату Союза писателей РСФСР (12 ноября 1969). — Написано в ответ на исключение из Союза писателей. Обстоятельства вокруг исключения и этого письма изложены в книге «Бодался телёнок с дубом», глава «Душат». Из первых публикаций на Западе: по-русски — журнал «Посев» (Франкфурт), апрель 1970; по-английски — «New York Times», 15.11.1969. В России текст впервые напечатан в московском журнале «Смена», 1989, № 23.

Вот как мы живём (15 июня 1970). — Написано в защиту Жореса Медведева, сопутствующие обстоятельства изложены в книге «Бодался телёнок с дубом», глава «Нобелиана». Текст пошёл в самиздат, сразу же широко печатался в западной прессе. Из первых публикаций: по-русски — журнал «Посев», июль 1970; по-английски — «New York Times», 17.6.1970. В России впервые — в журнале «Искусство кино», 1989, № 5.

Поминальное слово о Твардовском (27 декабря 1971). — Составлено в часы траурной церемонии в Центральном доме литераторов в Москве 21 декабря 1971 (обстановка на похоронах Твардовского описана в книге «Бодался телёнок с дубом», глава «Нобелиана»); доработано и отдано в самиздат к девятому дню — 27 декабря. Было напечатано по-русски в «Посеве», январь 1972; по-английски — в «New York Times», 12.2.1971. В России впервые напечатано 18 лет спустя — журнал «Наш современник», 1989, № 9.

Шведской Королевской Академии (12 апреля 1972). — Письмо достигло Шведской Академии тою же весной 1972, но не повлияло на её решение. Копию письма автор тогда же послал В. В. Набокову. Впервые опубликовано в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 477.

Ответ о. Сергию Желудкову (28 апреля 1972). — Написано в ответ на самиздатское письмо о. Сергия к А. И. Солженицыну с критикой его «Письма Патриарху». Тогда же отдано в самиздат. Впервые напечатано в журнале «Вестник Русского Студенческого Христианского Движения» (Париж), 1972, № 103.

Из интервью агентству «Ассошиэйтед пресс» и газете «Монд» (23 августа 1973). — Интервью взяли американец Фрэнк Крепо и француз Ален Жакоб — в Москве, в прослушиваемой квартире в Козицком переулке, отчего бóльшая часть ответов была представлена письменно. Во Франции интервью было задержано министерством иностранных дел, затем всё же помещено в «Monde», 29.8.1973, — но в сильно изрезанном виде; тогда же напечатано по-английски (в обширных выдержках) — в «Times» и «Daily Telegraph», 29.8.1973. Первая публикация по-русски — в журнале «Посев», январь 1974 (но текст неполный и не вполне точный); полный русский текст впервые — в книге «Бодался телёнок с дубом» (Париж: YMCA-press, 1975). В России впервые напечатано в «ЛГ — Досье», январь 1990; затем — в «Новом мире», 1991, № 8. Здесь приводится бóльшая часть интервью, за исключением вопросов частного характера.

Письмо А. Д. Сахарову (28 октября 1973). — Написано по следам гебистской инсценировки: нападения «арабских террористов» на квартиру Сахаровых. Письмо было передано Сахарову и ходило в самиздате. Тотчас напечатано по-английски — «New York Times», 31.10.1973. По-русски — газета «Русская мысль» (Париж), 13.12.1973,

и журнал «Посев», декабрь 1973. В России впервые напечатано в «ЛГ—Досье», январь 1990; затем — в «Новом мире», 1991, № 8.

Заявление прессе (18 января 1974). — Первый ответ автора на трёхнедельный — со дня опубликования «Архипелага ГУЛага» — взрыв клеветы советских газет, агентств и радио на многих языках. Заявление было передано в самиздат и корреспондентам в Москве, тотчас широко распространено на Западе. Первые публикации: по-русски — «Русская мысль», 31.1.1974; по-английски — «Times» (Лондон), 19.1.1974, и «New York Times», 19.1.1974. В России впервые опубликовано в «Новом мире», 1991, № 8.

Интервью журналу «Тайм» (19 января 1974). — Вопросы журнала были заданы накануне, письменно (чтобы избежать подслушивания), и бо́льшая часть ответов тоже передана письменно. Интервью содержит первое упоминание ещё не обнародованных в то время «Письма вождям» и «Жить не по лжи!». По-английски — сам журнал «Time» дал лишь часть интервью, но лондонский «Times» и «New York Times» напечатали 22.1.1974 полный текст, содержащий даже устные вопросы-ответы, которые не были зафиксированы автором и потому не напечатаны при публикации русского текста в книге «Бодался телёнок с дубом» и в сборнике «Жить не по лжи» (обе — Париж: YMCA-press, 1975). В России впервые опубликовано в «Новом мире», 1991, № 8.

Заявление прессе (2 февраля 1974). — Написано в момент самого высокого взлёта атак и обвинений против автора, всё более принимавших личную форму. Так, Н. Д. Виткевич, вызванный властями из Брянска, дал через АПН интервью газете «Christian Science Monitor». Напротив, в самиздате появлялись письма в поддержку писателя. По-английски заявление опубликовано (в вы-

держках) в «New York Times», 4.2.1974. По-русски полный текст приведен в книге «Бодался телёнок с дубом» и в сборнике «Жить не по лжи» (обе — Париж: YMCA-press, 1975). В России впервые — в «Новом мире», 1991, № 8.

На случай ареста (13 февраля 1974). — Арест представлялся почти неизбежным, и черновик заявления был написан в августе 1973. В ночь после ареста А. И. Солженицына жена писателя пустила его в самиздат и передала западным корреспондентам (см. «Бодался телёнок с дубом», глава «Пришло молодцу к концу»). По-английски опубликовано в тот же день — «New York Times», 13.2.1974; по-русски — напечатано в сб. «Жить не по лжи» и в приложениях к «Бодался телёнок с дубом». Впервые в России — в «Новом мире», 1991, № 8.

Не сталинские времена (март 1974). — Письмо в защиту генерала П. Г. Григоренко было обсуждено А. И. Солженицыным и И. Р. Шафаревичем за несколько дней до ареста писателя, но не окончено. Высылка Солженицына задержала окончание письма на месяц. Циркулировало в самиздате. Первые публикации: по-английски — «New York Times», 9.4.1974 (в выдержках); по-русски — парижская «Русская мысль», 30.5.1974.

Реплика (март 1974). — Первое, что написано А. И. Солженицыным после высылки на Запад. В парижском «Вестнике РСХД», 1973, № 108-109-110, была напечатана анонимная статья «Опыт журнальной утопии» (за подписью XY; много позже своё авторство открыл Б. Шрагин). Статья, в частности, предлагала журналу отказ от богословской его части и от православного направления, так как это противоречит «плюрализму», у советской интеллигенции «есть все основания быть предубеждённой против православия» и православной Церкви следует прежде «вернуть себе потерянный авторитет и доверие

интеллигенции». «Л. Венцов» и «С. Телегин» — также самиздатские псевдонимы. Первая публикация — «Вестник РСХД», 1974, № 111.

Ответ корреспонденту «Ассошиэйтед пресс» Роджеру Леддингтону (30 марта 1974). — В ответе содержится первый публичный отклик писателя на упрощённые и ложные истолкования в американской прессе «Письма вождям», только что (в марте 1974) появившегося по-английски. Ответ был напечатан в «New York Post», 1.4.1974; «Washington Post», «International Herald Tribune», 2.4.1974. По-русски впервые опубликован в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 48.

В Палату Представителей Соединённых Штатов (3 апреля 1974). — Открытое письмо. «Ответственный деятель», готовый бы вести разрядку со Сталиным, — Вилли Брандт, согласно его заявлению, сделанному в те дни. Упоминаемое шаткое перемирие — вьетнамское (Киссинджер — Ле Дык Тхо). По-английски — полный текст опубликован как часть слушаний Палаты Представителей о разрядке, начавшихся 8 мая 1974. Первая публикация по-русски — в парижской «Русской мысли», 23.5.1974.

Заявление (5 апреля 1974). — Попытка привлечь внимание западной общественности к полицейской системе прописки в Советском Союзе, оборачивающейся для граждан современным крепостным правом. Непосредственно вызвана насильственным увозом правозащитника Александра Гинзбурга от семьи из Москвы. Первые публикации: по-английски — в лондонском «Times» (полный текст) и в «New York Times» (в выдержках) 6.4.1974; по-русски — «Русская мысль», 11.4.1974.

Ответы журналу «Тайм» (3 мая 1974). — Интервью дано было в Цюрихе американскому журналисту Дэвиду

Тиннену. Опубликовано по-английски — «Time», 27.5.1974; по-русски — «Русская мысль», 30.5.1974. Здесь воспроизводится часть интервью, приведённая в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 54; другая часть — о подлогах КГБ, о подделке почерка — будет напечатана в приложениях к ещё не опубликованным «Очеркам изгнания».

В газету «Афтенпостен» (25 мая 1974). — Написано в защиту московского учёного-архивиста Г. Г. Суперфина, осуждённого в СССР на 5 лет строгого режима за содействие самиздатской «Хронике текущих событий», и ленинградского профессора Е. Г. Эткинда, подвергшегося травле в своём институте по указке КГБ. Передано приехавшему в Цюрих корреспонденту газеты П. Хегге. Напечатано в «Aftenposten» (Осло), 27.5.1974. Первая публикация по-русски — «Русская мысль», 6.6.1974.

Из телеинтервью компании CBS (17 июня 1974). — Первое большое телевизионное интервью, данное писателем после высылки. Записывалось в Цюрихе. Перевод в обе стороны был непрофессиональный, отчего для западного зрителя многое искажено. Помимо США интервью демонстрировалось и в некоторых странах Европы и Азии. По-английски полный текст напечатан в американском «Congressional Record» (Вашингтон), vol. 120, 27.6.1974; в выдержках — в английском журнале «Listener», 4.7.1974. Полный русский текст — в публицистическом сборнике автора «Мир и насилие» (Франкфурт: Посев, 1974). В настоящем издании приводится бо́льшая часть интервью; вопросы личного характера — будут напечатаны в приложениях к «Очеркам изгнания».

Слово к журналу (июнь 1974). — Написано в Цюрихе для первого номера журнала «Континент», по просьбе главного редактора В. Е. Максимова. Напечатано впервые по-русски — «Континент» (Париж), 1974, № 1; затем при иноязычных изданиях «Континента», в переводах на соответствующие языки.

Интервью с норвежским корреспондентом Нильсом Удгордом (27 июля 1974). — Первое на Западе интервью писателя на литературные темы. Происходило в Штерненберге (нагорье Цюриха). Нильс Удгорд — норвежский историк, в то время корреспондент в Москве. Напечатано по-норвежски в «Aftenposten», 28.8.1974; по-немецки — в «Die Zeit», 6.9.1974. По-русски впервые опубликовано в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 479.

Не дадим погибнуть Светлане Шрамко! (23 августа 1974). — Письмо явилось откликом на сообщение московского корреспондента «Нью-Йорк Таймс», где и опубликовано 30.9.1974. Русский текст впервые напечатан в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 83. В России письмо появилось спустя 17 лет — в газете «Рязанский вестник», 18.2.1991.

Достойный истолкователь (11 сентября 1974). — Статья была вызвана выступлением Жореса Медведева в Осло, его ответами на вопросы о Сахарове. Содержит косвенную ссылку на более ранний текст автора в защиту Ж. Медведева («Вот как мы живём», см. в этом томе, с. 39). Опубликована в «Aftenposten» 20.9.1974; затем по-английски (в переводе с норвежского — в американском бюллетене «Foreign Broadcast Information Service Daily Report», vol. III, 1.10.1974; впервые по-русски — «Русская мысль», 26.9.1974.

Сенату Соединённых Штатов Америки (30 октября 1974). — Послано в ответ на единогласное решение Сената (октябрь 1974) о присуждении А. И. Солженицыну почётного гражданства США. Палата Представителей не поддержала этого решения. После ноябрьских выборов Сенат в новом составе вторично проголосовал за присуждение, и Палата Представителей вновь не поддержала. Упоминаемые в тексте «лишь два человека», удостоенные этого звания, — маркиз де Лафайет и Уинстон Черчилль.

По-английски текст напечатан в «Congressional Record», vol. 121, 24.2.1975; по-русски — «Русская мысль», 12.12.1974. Впервые в России — в «Независимой газете», 28.5.1991.

Пресс-конференция о сборнике «Из-под глыб» (16 ноября 1974). — Дана в Цюрихе, в доме писателя, через день после пресс-конференции авторов сборника в Москве (14 ноября 1974). На пресс-конференцию в Цюрих приехало более 20 корреспондентов, отчёты о ней появились во многих европейских газетах и журналах и в русской эмигрантской прессе. Почти полный английский текст опубликован как дополнение к «Radio Liberty Research Bulletin», 14.2.1975. Полный русский текст издан вместе с текстом московской пресс-конференции (Две пресс-конференции. Париж: YMCA-press, 1975). В России впервые — в сборнике «Из-под глыб» (Москва: Из глубин, 1990); затем — «Независимая газета», 28.5.1991.

Пресс-конференция в Стокгольме (12 декабря 1974). — Дана корреспондентам многих стран, съехавшимся на Нобелевские торжества 1974 года, когда писатель смог получить премию, присуждённую ему в 1970. Первое (неполное) русское печатание — «Русская мысль», 16.1.1975. По-английски — в журнале «National Review» (Нью-Йорк), 6.6.1975, и «Congressional Record», vol. 121, 4—5 June 1975. Наиболее точный и полный текст (с магнитофонной записи, ведшейся во время пресс-конференции) был опубликован в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 122. Этот последний текст воспроизводится в настоящем издании.

В полицию для иностранцев Цюрихского кантона (7 января 1975). — Ответ А. И. Солженицына на нижеприводимое (в переводе с немецкого) письмо цюрихского Шефа полиции для иностранцев адвокату писателя д-ру Фрицу Хеебу. Письмо из полиции было вызвано

пресс-конференцией по поводу выхода сборника «Из-под глыб», имевшей место 16 ноября 1974 в доме писателя в Цюрихе:

3.12.1974

Глубокоуважаемый г-н Доктор!

Из прессы мы узнали, что Ваш клиент, Александр Солженицын, получивший 24 июня 1974 г. право на жительство в кантоне Цюрих, провёл 16 ноября в Цюрихе пресс-конференцию. Темой этой пресс-конференции было в первую очередь представление очерков разных советских авторов.

Но из газетных сообщений также явствует, что А. Солженицын излагал на указанной пресс-конференции и критические соображения о коммунизме вообще и о практическом его применении в Советском Союзе. Его высказывания носили, таким образом, хотя бы отчасти, политический характер.

В соответствии с постановлением Федерального правительства от 24 февраля 1948 г. касательно выступлений иностранцев, иностранцы, не имеющие прав гражданства (Niederlassungsbewilligung), могут говорить на политическую тему на открытых или закрытых собраниях только получив разрешение. Такое разрешение не было для вышеупомянутого мероприятия испрошено.

Просим Вас подробно разъяснить это постановление Федерального правительства Александру Солженицыну и попросить его впредь подавать, не позднее чем за 10 дней до собрания, соответствующее прошение в полицию по делам иностранцев Цюрихского кантона.

Благодарим Вас за Ваши хлопоты и остаёмся с глубоким уважением.

Д-р Цеентнер
Шеф полиции для иностранцев
Цюрихского кантона

Письмо Солженицына впервые опубликовано в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 154.

Конец одного советского десятилетия (январь 1975). — Написано в первых днях января для швейцарской «Neue Zürcher Zeitung». «Владивостокская встреча» — встреча Брежнева и президента Форда. «Новый период в СССР» — западное выражение тех лет в связи с надеждами «разрядки». Опубликовано по-немецки — «Neue Zürcher Zeitung», 15.1.1975; по-английски — отчет в «New York Times», 16.1.1975. По-русски впервые — Вермонтское Собрание, т. 10, с. 156.

Ответ П. Литвинову (февраль 1975). — В «Вестнике РХД», 1974, № 114, напечатано «Открытое письмо» П. Литвинова — реакция на «Реплику» Солженицына (см. выше: «Вестник РСХД», 1973, № 108-109-110). Ответ писателя был напечатан в том же номере: «Вестник РХД», 1974, № 114.

Беседа со студентами-славистами в Цюрихском университете (20 февраля 1975). — Беседа велась на русском языке, записывалась на магнитную плёнку. Текст впервые напечатан в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 482. В России впервые — «Литературная газета», 27.5.1992.

Пресс-конференция в Париже (10 апреля 1975). — Первое публичное выступление А. И. Солженицына в Париже. Помощь Генриха Бёлля российскому самиздату и автору была оглашена на этой пресс-конференции с ведома Бёлля, в связи с политическими нападками, которым он подвергался в то время в Западной Германии. По-французски подробный отчёт — «Monde», 12.4.1975; «France Soir», 12.4.1975. По-русски текст печатался в отрывках и изложении в «Русской мысли», 17 и 24 апреля 1975. Полный русский текст впервые напечатан в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 162.

Телеинтервью в Париже (11 апреля 1975). — Происходило по приглашению программы «Apostrophes», веду-

щий — Бернар Пиво (Вторая программа французского телевидения). Вызвало много публичных откликов во Франции, много писем в редакцию. Почти полный французский текст под заголовком «Soljénitsyne en direct» напечатан в журнале «Contrepoint», 1976, № 21. Русский текст со звукозаписи впервые напечатан в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 186.

Пасхальное обращение к канадским украинцам (3 мая 1975). — Было записано на плёнку канадским корреспондентом украинского происхождения Иваном Опареком во время краткого пребывания А. И. Солженицына в Монреале. Передавалось канадским радио на английском и украинском языках, 4 мая повторено украинской программой «Голоса Америки», напечатано в отрывках в канадских газетах. Полный русский текст впервые напечатан в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 204. В России впервые — журнал «Звезда», 1993, № 12.

Телеинтервью компании NBC. Программа «Встреча с прессой» (13 июля 1975). — Происходило в Нью-Йорке. «Встреча с прессой» — популярная и старейшая в Соединённых Штатах ежевоскресная передача, во время которой журналисты от видных органов информации поочерёдно задают приглашённому в студию гостю по два вопроса. Английский текст интервью опубликован в серии «Meet the Press», Proceedings, vol. 19, № 28, 13.7.1975 (Washington: Merkle Press). Русский текст со звукозаписи впервые напечатан в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 206.

Заявление для «Нью-Йорк Таймс» (21 июля 1975). — Сделано в связи с сообщениями печати, что президент Форд приглашает писателя в Белый дом. Написано на толстовской ферме (штат Нью-Йорк) 21 июля 1975 и оттуда передано по телефону в «New York Times». По-английски опубликовано — «New York Times», 22.7.1975; по-русски — «Новое русское слово» (Нью-Йорк), 22.7.1975.

Письмо из Америки (июль 1975). — Начато в июне 1975 в Пемброке (канадская провинция Онтарио), в отзыв на церковные публикации «Вестника РХД», 1974, № 114. Продолжено по впечатлениям американского путешествия. Закончено в конце июля 1975 в Норвиче, штат Вермонт. Впервые по-русски — «Вестник РХД», 1975, № 116.

Заявление о суде над Владимиром Осиповым (25 сентября 1975). — Написано при получении известия о суде, до вынесения приговора. Передано телеграфным агентствам. По-русски впервые напечатано в «Вестнике РХД», 1975, № 116.

Конференции народов, порабощённых коммунизмом (Страсбург, 27 сентября 1975). — Написано в Хольцнахте (Базельское нагорье). В конце сентября 1975 представители восточно-европейских эмиграций собрались в Страсбурге на «Конференцию угнетённых народов Европы», приурочив время её к заседанию Европейского парламента, — с тем чтобы привлечь больше внимания к проблемам своих народов. По их просьбе и написано было это письмо. По-английски (в цитатах) — отчёт агентства UPI из Страсбурга, 5 октября 1975. Русский текст впервые напечатан в «Вестнике РХД», 1975, № 116.

Заявление в связи с присуждением Нобелевской премии мира А. Д. Сахарову (9 октября 1975). — Передано агентствам по телефону из Хольцнахта, где писатель узнал о событии из радионовостей. Распространено агентствами «Reuters» и UPI из Осло 9.10.1975. По-русски впервые опубликовано в «Посеве» (ноябрь 1975). В России впервые: «ЛГ—Досье», январь 1990.

Сообщение прессе о притеснениях И. Р. Шафаревича (14 октября 1975). — Передано телеграфным агентствам

из Хольцнахта. По-русски впервые напечатано в «Вестнике РХД», 1975, № 116.

Шлессинджер и Киссинджер (ноябрь 1975). — Написано в начале ноября в Хольцнахте в отклик на перестановку в американском правительстве (Шлессинджер был выведен из правительства, а компетенция Киссинджера расширена). Предназначено и послано в «Нью-Йорк Таймс», где и опубликовано 1.12.1975. Русский текст впервые напечатан в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 231.

Обращение к русским эмигрантам, старшим революции (декабрь 1975). — Написано в Цюрихе. В конце 1975 — начале 1976 напечатано во всех главных газетах русского зарубежья (см., например, «Русскую мысль», 25.12.1975). Вызвало несколько сот откликов в виде малых и больших рукописей, присланных А. И. Солженицыну. Все они два года спустя вошли в состав Всероссийской Мемуарной Библиотеки, основанной Солженицыным в Вермонте.

Интервью журналу «Ле Пуэн» (декабрь 1975). — Парижский журнал взял это интервью у писателя в Цюрихе к своему новогоднему номеру, в котором объявляется избранный журналом «человек года» (минувшего). Таким был избран за 1975 А. И. Солженицын. Во вступлении к интервью журнал объяснил это так:

Зачем было провозглашать Солженицына «человеком 75-го года»... Героем дня он был в 74-м, когда Запад с изумлением открыл для себя одновременно и его гений и значение его свидетельств для всей Европы. Коммунисты повсеместно молчали. Они принадлежат к породе тех, кто умеет молчать, когда разражается гроза. Ибо грозы долго не длятся. Затем стоит только подсушить одежду — и можно снова трогаться в путь.

Так дело обстоит и сейчас. Солженицын сегодня не перестаёт всё глубже проникать в массы, но он уже не совсем в моде у интеллигенции. Это не случайно.

Огромная пропагандная машина разных «интеллектуальных партий» начала свою подрывную работу. Раз нельзя заткнуть рот Солженицыну, раз нельзя помешать распространению его книг, — остаётся возможность его оклеветать. Все средства хороши: например, запустить ложную информацию о том, что он едет в Чили на встречу с Пиночетом, или, извращая его заявления, приклеить ему ярлык «сторонника холодной войны», вот он вам и роднх Фостеру Даллесу или соучастник в осуждении Розенбергов, уж конечно невинных... Да и вообще, скажут, он человек другого времени, до Гоголя. Он не принадлежит к новому миру, к тем, кто осенью 75-го года во Дворце Спорта в Париже млел над кинофильмом «Броненосец Потёмкин» и аплодировал стоя, переполненный сочувствием к героям русской революции. В этом мире фантазмов автору «Гулага» нет места. Постепенно его замалёвывают...

Но это легко не даётся. Лагеря и тюрьмы всё тут же... Не Солженицын виноват в той трещине, которая прохо́дит сквозь сердца коммунистов, а — та истина, которую он возвестил и которая изо дня в день распространяется по всей земле. Что́ вы? Солженицын и вправду не «человек года». Он человек целой эпохи.

Интервью опубликовано по-французски в журнале «Le Point», № 171, 29.12.1975; по-английски — в журнале «Encounter», April 1976. По-русски впервые напечатано в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 238. В России впервые — в журнале «Нева», 1992, № 9.

Телеинтервью компании Би-Би-Си (22 февраля 1976). — Снято 22 февраля 1976 года под Лондоном. Передавалось по британскому телевидению 1 марта 1976 в программе Би-Би-Си «Panorama». Вызвало в Англии большой отклик, повторялось весной 1976 ещё несколько раз. В США первый раз показывалось 27 марта 1976 в программе Уильяма Бакли «Firing Line», позже повторялось. По-русски передавалось русской службой радио Би-Би-Си

9 марта 1976. Полный английский текст — в публицистических сборниках Александра Солженицына: «Warning to the West» (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1976) и «Warning to the Western World» (London: Bodley Head and BBC, 1976). Русский текст со звукозаписи впервые напечатан в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 250.

Телеинтервью компании Би-Би-Си в связи с выходом книги «Ленин в Цюрихе» (25 февраля 1976). — Записывалось 25 февраля в Лондоне. Интервьюер — Роберт Робинсон. Демонстрировалось 27 апреля 1976 по телевизионной программе Би-Би-Си «Book Program». Тогда же напечатано по-английски в журнале «Listener», 29.4.1976. По-русски впервые опубликовано в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 503. В России впервые — в петербургской газете «Невское время», 2.9.1992.

О работе русской секции Би-Би-Си (26 февраля 1976). — Беседа с руководителями иновещания Би-Би-Си. Происходила в Лондоне, в здании Би-Би-Си, записывалась на магнитофон. По-русски впервые напечатана в журнале «Континент», 1976, № 9; по-английски — отчёт и пересказ в «East-West Digest», December 1976.

Письмо Генеральному директору Би-Би-Си (28 февраля 1976). — Написано в связи с возникшей угрозой: под влиянием друзей бывшего британского министра иностранных дел Антони Идена запретить демонстрацию фильма «Последняя тайна» (режиссёр Роберт Ваш). Письмо было оглашено в Палате Лордов. Показ фильма удалось отстоять. Напечатано в «House of Lords Debates», vol. 369, № 47 (17.3.1976). Русский текст впервые опубликован в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 276.

Телеинтервью японской компании NET-TOKYO (5 марта 1976). — Снято в Париже приехавшей бригадой япон-

ского телевидения. Интервьюер Госуке Утимура — бывший военнопленный, сидел в советских лагерях. Вне Японии интервью не демонстрировалось и не публиковалось. Русский текст впервые напечатан в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 277. В России впервые — «Независимая газета», 23.3.1991.

Выступление по французскому телевидению (9 марта 1976). — Выступление следовало непосредственно за показом фильма «Один день Ивана Денисовича» и состояло в ответах на вопросы телезрителей программы «Les dossiers de l'écran», которые они задавали по телефону. Множество вопросов сортировалось группой сотрудников, часть вопросов ставил ведущий. Интервью вызвало официальный советский протест. По-французски изложение и выдержки — в «Monde», 11.3.1976; по-немецки — в «Neue Zürcher Zeitung», 12.3.1976. По-русски текст впервые напечатан в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 293.

Из интервью газете «Франс Суар» (10 марта 1976). — Интервью дано в Париже, на следующий день после выступления автора по французскому телевидению. Опубликовано во «France Soir», 12.3.1976. Политическая часть интервью была напечатана по-русски впервые в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 316. В настоящем издании приводится более полный текст.

Телеинтервью на литературные темы с Н. А. Струве (март 1976). — Дано в Париже, по приглашению издательства «Seuil», затем выпустившего на основе этого интервью телевизионный фильм. Н. А. Струве — профессор русской литературы Парижского университета, многолетний редактор журнала «Вестник РХД» и руководитель старейшего эмигрантского издательства YMCA-press. По-русски интервью впервые опубликовано в «Вестнике РХД», 1977, № 120. По-английски — в сборнике: Solzhenitsyn in Exile: Critical Essays and Documentary

Materials/John B. Dunlop, Richard Haugh, Michael Nicholson (eds.). Belmont, Mass.: Nordland House Publishers, 1983. В России впервые опубликовано в «Литературной газете», 27.3.1991.

Выступление по испанскому телевидению (20 марта 1976). — Последнее публичное выступление А. И. Солженицына в Европе в 70-х годах, до переезда в Америку. Автор дал это интервью в Мадриде, после десятидневной поездки по Испании. Интервью передавалось в прямом эфире, в популярной поздневечерней программе испанского телевидения «Directisimo». Вызвало волну негодования в левой печати. Подробный отчёт — в мадридской «Informaciones», 22.3.1976; короткие — в английских «Times», «Guardian» и в «New York Times», 22.3.1976. Русский текст впервые напечатан в журнале «Континент», 1976, № 8. В России впервые — в «Комсомольской правде», 4.6.1991.

Пресс-конференция в Мадриде (20 марта 1976). — Дана сразу после телевизионного выступления, в том же здании, уже около полуночи. Отчёт с цитатами — в мадридской «Informaciones», 22.3.1976. Русский текст впервые напечатан в «Континенте», 1977, № 11 (текст не совсем полный из-за технически неполноценной магнитной записи).

Об аресте Александра Гинзбурга (4 февраля 1977). — Передано по телефону из Вермонта телеграфным агентствам, которыми и распространено. По-русски — в нескольких эмигрантских изданиях, см., например, «Новое русское слово» (Нью-Йорк), 5.2.1977; по-английски — «New York Times», 6.2.1977.

Письмо распорядителям Русского Общественного Фонда (25 мая 1977). — Написано в ответ на письмо Т. С. Ходорович и М. Н. Ланда, возглавивших Фонд после ареста Александра Гинзбурга. Переправлено ад-

ресатам в Москву. Ходило в самиздате. Опубликовано в эмигрантских газетах и журналах, см., например, «Русскую мысль», 2.6.1977.

Всероссийская Мемуарная Библиотека. Обращение к российским эмигрантам (сентябрь 1977). — Написано весной 1977 в Вермонте. Опубликовано осенью, когда в доме автора была закончена техническая подготовка к приёму материалов. Обращение широко печаталось в эмигрантской прессе, см., например: «Новое русское слово», 27.9.1977; «Русская мысль», 29.9.1977; «Вестник РХД», 1977, № 122. По-английски напечатано целиком в «Baltimore Sun», 18.10.1977; в выдержках и цитатах — в «New York Times», 19.11.1977. В России впервые, частично, в «Известиях», 13.5.1992.

Письмо читателя (сентябрь 1977). — Полемика с рядом публикаций журнала «Вестник РХД», постоянным читателем и автором которого А. И. Солженицын был все годы изгнания. Напечатано впервые в «Вестнике РХД», 1977, № 122.

Сахаровским Слушаниям в Риме (ноябрь 1977). — Послано в Рим письмом из Вермонта, оглашено на одном из заседаний Сахаровских Слушаний. Печаталось в русской эмигрантской прессе; первая публикация — «Новое русское слово», 26.11.1977; по-английски — выдержки в «New York Times», 26.11.1977.

Телеграмма Коалиции демократического большинства (26 января 1978). — Текст телеграммы был оглашён на церемонии 26 января 1978, где была объявлена премия Коалиции «хельсинкским группам» в СССР. В Сенате США демократы составляли в то время большинство. Коалиция не раз выступала в защиту советских инакомыслящих. В журнале «Посев» (апрель 1978) текст был

приведён в обратном переводе с английского. Оригинальный русский текст впервые напечатан в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 349.

О лишении советского гражданства М. Ростроповича и Г. Вишневской (17 марта 1978). — Передано агентствам по телефону из Вермонта. Оглашено на пресс-конференции Ростроповича и Вишневской в Париже. По-русски печаталось в эмигрантской прессе, см., например, «Русскую мысль», 23.3.1978.

К суду над Александром Гинзбургом (8 июня 1978). — Устное заявление перед прессой на университетском дворе, тотчас после произнесения Гарвардской речи. По сведениям из Москвы — суд над А. И. Гинзбургом ожидался в ближайшие дни (состоялся в Калуге в июле 1978). Распространялось агентствами, в тот же день передавалось русскими службами радиостанций «Голос Америки» и «Свобода». Русский текст напечатан впервые в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 351.

Ответ польскому журналу «Культура» (27 октября 1978). — Польский эмигрантский журнал, выходящий в Париже, но имеющий большое распространение и влияние в Польше, задал автору приводимый вопрос. Ответ опубликован: по-польски — «Культура», 1978, № 12/375; по-русски — «Русская мысль», 16.11.1978.

Радиоинтервью компании Би-Би-Си (февраль 1979). — Записано в Вермонте 2 и 3 февраля 1979. Передавалось русской службой Би-Би-Си — 13 и 18 февраля 1979 (было приурочено к пятилетию высылки автора из СССР). Первая публикация по-русски — «Вестник РХД», 1978, № 127. По-английски опубликовано с небольшими сокращениями в английском журнале «Listener», 15&22 February 1979, и в американском «Kenyon Review», New Series, 1979, vol. 1, № 3, 4.

Письмо о положении Игоря Огурцова (12 июня 1979). — Послано по почте двум влиятельным сенаторам-демократам Джексону и Мойнихену. Передано телеграфным агентствам. Тогда же печаталось в русской эмигрантской прессе, см., например, «Новое русское слово», 15.6.1979. (Одновременно автор послал письмо о состоянии Огурцова президенту Картеру, текст не публиковался.)

И вновь о старообрядцах (июль 1979). — Отклик на письмо читателя из СССР, опубликованное в «Вестнике РХД», 1979, № 128. Напечатано в «Вестнике РХД», 1979, № 129.

Сахаровским Слушаниям в Вашингтоне (сентябрь 1979). — Написано в Вермонте, оглашено на Третьих Сахаровских Слушаниях в Вашингтоне, осенью 1979. Публиковалось по-русски в эмигрантских газетах и журналах, см., например, «Новое русское слово», 9.10.1979. По-английски напечатано в английском журнале «Spectator», 3.11.1979.

Персидский трюк (октябрь 1979). — Статья была вызвана множественным появлением сравнений русского православия с мусульманским фундаментализмом в Иране. Напечатана по-русски в «Новом русском слове», 20.11.1979; в «Русской мысли», 22.11.1979; в ряде русских эмигрантских журналов. По-английски — в газете «Jerusalem Post», 20.12.1979; в журнале «Encounter», vol. 54, 2.2.1980; по-немецки — в газете «Die Welt», 12.11.1979; по-французски — в журнале «Express», 24.11.1979; по-итальянски — «Il Giornale», 22.11.1979.

Письмо Борису Суварину (11 февраля 1980). — На четыре года запоздалый ответ на обширную статью Суварина, напечатанную в его французском журнале «Est et

Ouest», 1976, № 570. По-русски впервые опубликован в «Русской мысли», 17.4.1980; следом в «Вестнике РХД», 1980, № 131. По-французски — в журнале «Histoire», 1980, № 22. В России впервые — в журнале «Нева», 1993, № 12.

Письмо Дэвиду Аткинсону (15 апреля 1980). — Письмо послано в ответ на полученное через Аткинсона официальное приглашение на съезд британской консервативной партии осенью 1980. Д. Аткинсон — член британского парламента, общественный и религиозный деятель. Письмо впервые опубликовано в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 386.

Интервью с Хилтоном Крамером, критиком «Нью-Йорк Таймс» (20 апреля 1980). — Дано в Вермонте, в доме автора, в связи с выходом в Соединённых Штатах книги «Бодался телёнок с дубом». Напечатано в обработке Крамера в «New York Times Book Review», 11.5.1980. Русский текст со звукозаписи впервые опубликован в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 541.

Об аресте Иосифа Дядькина (14 мая 1980). — Заявление было передано телеграфным агентствам и распространено ими (см. английскую «Guardian», 23.5.1980; американскую «Wall Street Journal», 23.7.1980). Печаталось по-русски в эмигрантских газетах и журналах, см., например, «Новое русское слово», 20.5.1980. Сама работа Дядькина «Статисты» ходила в самиздате и была аннотирована в самиздатской «Хронике текущих событий» в 1976. Рекомендована А. И. Солженицыным издательству американского университета Rutgers (штат Нью-Джерси), где и вышла в свет в английском переводе (*Iosif G. Dyadkin.* Unnatural Deaths in the U.S.S.R. 1928—1954. Transaction Books, 1983).

О фрагментах г-на Суварина (июнь 1980). — Написано в продолжение спора, в ответ на статью Суварина в «Histoire», 1980, № 25. Напечатано по-французски в «Histoire», сентябрьский номер 1980. По-русски — в «Русской мысли», 18.12.1980; в «Вестнике РХД», 1980, № 132. В России впервые — в петербургской газете «Невское время», 10.9.1992.

Бастующим польским рабочим (20 августа 1980). — Телеграмма. Получила широкое распространение через телеграфные агентства (см. отчёт UPI от 20.8.1980 из Кавендиша, Вермонт). Русский текст тогда же напечатан — в «Новом русском слове», 22.8.1980; в «Русской мысли», 28.8.1980.

По поводу суда над священником Глебом Якуниным (25 августа 1980). — Распространено телеграфными агентствами. Русский текст — «Новое русское слово», 27.8.1980; «Русская мысль», 4.9.1980.

Об угрозе Польше (4 декабря 1980). — Было передано телеграфным агентствам в дни, когда сгустились признаки подготовки советского вторжения в Польшу. Получило широкое распространение на европейских языках. По-русски — см., например, «Русскую мысль», 11.12.1980.

КГБ топчет дальше (22 января 1981). — Заявление сделано по угрожающим сведениям из Москвы об обысках и допросах в связи с работой Русского Общественного Фонда Солженицына и о преследованиях его распорядителя Сергея Ходоровича. Распространено телеграфными агентствами. Печаталось в эмигрантской прессе, см., например: «Русская мысль», 29.1.1981.

Конференции по русско-украинским отношениям (апрель 1981). — Письмо написано в ответ на приглашение участвовать в этой конференции в Торонто. Опубликовано по-русски («Русская мысль», 18.6.81, и «Новое русское слово», 20.6.81) к предстоящей в июле 1981 очередной Неделе Порабощённых Наций. Публиковалось и оспаривалось также в нескольких эмигрантских украинских газетах. В России впервые напечатано в журнале «Звезда», 1993, № 12.

Академику Сахарову (14 мая 1981). — Телеграмма, поздравляющая А. Д. Сахарова с 60-летием (21 мая 1981). Послана телеграфом в ссыльный адрес Сахарова и передана телеграфным агентствам. По-русски напечатана в «Русской мысли», 21.5.1981.

Телеинтервью с конгрессменом Лебутийе об американском радиовещании на СССР (12 октября 1981). — Записано телекомпанией NBC в Вермонте 12 октября 1981. Передано в программе «Tomorrow» 27 и 28 октября сокращённо, двумя 15-минутными отрывками. Полный русский текст (с магнитной плёнки) появился в нескольких эмигрантских изданиях, см., например, «Русскую мысль», 19.11.1981. Имеется также ряд англоязычных публикаций, в частности — в «National Review» (Нью-Йорк), 30.4.1982, откуда были перепечатки в Австралии и Канаде.

Соображения об американском радиовещании на русском языке (октябрь 1981). — Написано вскоре после интервью с Лебутийе, в дополнение и восполнение нетранслировавшейся части; 23 октября послано как приложение к письму на ту же тему президенту Рейгану. Впервые опубликовано в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 425. Впервые в России — в бюллетене «Граду и міру (Urbi et orbi)» (Новосибирск), 1991, № 5.

Ватиканской конференции «Общие христианские корни европейских наций» (27 октября 1981). — Послано письмом из Вермонта. Оглашено на конференции. Опубликовано в ватиканской ежедневной газете «Osservatore Romano», 5.11.1981. По-русски — «Русская мысль», 12.11.1981.

Обыск у Сергея Ходоровича (7 декабря 1981). — Передано телеграфным агентствам, сообщения появились в ряде американских и европейских газет. По-русски — см., например: «Русская мысль», 17.12.1981.

СОДЕРЖАНИЕ

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ (1965—1974)

НА ЗАПАДЕ (1974—1981)

Солженицын А. И.

С 60 Публицистика: В 3 т. Т. 2. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1996. — Т. 2: Общественные заявления, письма, интервью. — 1996. — 624 с.

ISBN 5-7415-0462-0

Предлагаемое трёхтомное собрание публицистических произведений Александра Солженицына впервые печатается в России и существенно расширено и дополнено по сравнению с западными изданиями.

Во втором томе представлены, в хронологическом порядке, общественные выступления писателя за годы 1965—1981. Читатель найдёт в этом томе большое разнообразие публицистических жанров: открытые письма, статьи, обращения, газетные, журнальные, телевизионные и радиоинтервью, заявления, беседы, пресс-конференции.

С $\frac{4702010204}{М 139—(03)—96}$ 96 ББК Р7

Художественно-публицистическое издание

Александр Исаевич Солженицын

ПУБЛИЦИСТИКА

В трех томах

Том 2

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПИСЬМА, ИНТЕРВЬЮ

Составление и пояснения
Натальи Дмитриевны Солженицыной

Редактор Т. Н. Спирина
Художник В. Х. Янаев
Художественный редактор Т. А. Ключарева
Технический редактор В. М. Панфилова
Корректоры Т. Л. Козлова, Т. В. Чупина

ЛР № 010008 от 17.09.91.
Сдано в набор 14.09.95. Подписано в печать 09.02.96.
Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. Гарнитура школьная.
Печать офсетная. Усл. п. л. 32,76. Уч.-изд. л. 26,45.
Тираж 10 000. 1-й завод — 5000. Заказ 617.
Цена «С» № 64.

Верхне-Волжское книжное издательство
Комитета Российской Федерации по печати.
150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12.

АООТ «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.